А. М. Агафонов (Глянцев)

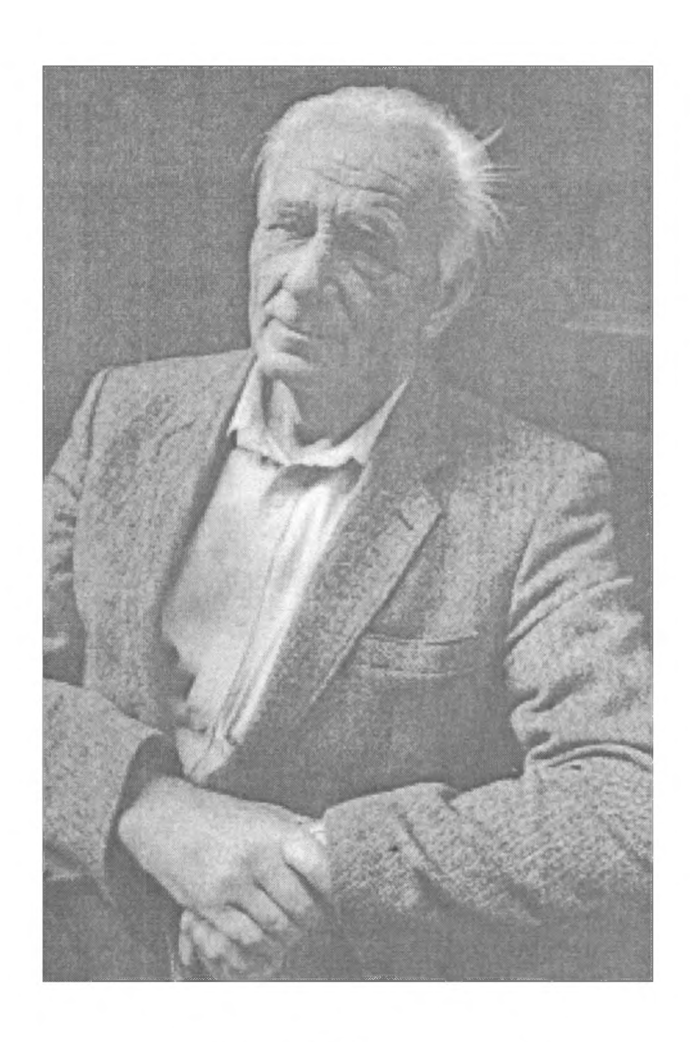
ЗАПИСКИ БОЙЦА АРМИИ ТЕНЕЙ

Эта повесть-хроника принадлежит перу человека удивительной судьбы. Не единожды ему довелось побывать в камерах смертников и невероятным образом избегать гибели. Удивительно, как одна человеческая жизнь смогла вместить столько драматических событий.



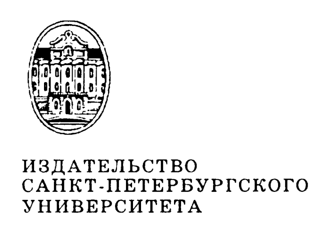


Библиотека
журнала
«НОВЫЙ
ЧАСОВОЙ»



А.М.Агафонов
(Глянцев)

ЗАПИСКИ БОЙЦА АРМИИ ТЕНЕЙ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ББК 84-4
А23

Библиотека журнала «Новый Часовой»

Ответственный редактор А.В.Терещук

Агафонов А.М. (Глянцев)

А23 Записки бойца Армии теней. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998. — 456 с., илл. — (Библиотека журнала «Новый Часовой»).
ISBN 5-288-02238-0

Эта книга принадлежит перу удивительного человека. Александр Михайлович Агафонов (Глянцев) восьмилетним мальчиком был привезен из СССР в Югославию, к родителям, эмигрировавшим во время Гражданской войны. Юность, прошедшая в Белграде, война, немецкий плен, участие во французском Сопротивлении, в подпольной антифашистской борьбе на территории Германии... Четырежды приговоренный к смерти, дважды сидевший в Бухенвальде (до и после Победы), прошедший Лубянку и ГУЛАГ, он выжил и оставил современникам и потомкам свои воспоминания.

«Записки бойца Армии теней» — это захватывающий читателя с первых же страниц талантливый рассказ о драматических перипетиях этой необыкновенной жизни, о людях, с которыми сводила судьба, о преисполненной трагизма эпохе.

Книга адресована самому широкому кругу читателей.

ББК 84-4

ISBN 5-288-02238-0

ПАМЯТЬ И СУДЬБА АЛЕКСАНДРА АГАФОНОВА

«Каждая судьба уникальна, неповторима» — в этот трюизм судьба Александра Михайловича Агафонова (Глянцева) решительно не помещается. Причудливым узором вплелись в нее штрихи истории России, Советского Союза, Югославии, Франции, Германии, снова Советского Союза и снова Франции.

Судите сами, хотя бы по самому краткому ее контуру.

Родился в 1920 году в Крыму, воспитывался в Харькове у бабушки. Родители, после войны и революции оказавшиеся на чужбине, в Сербии, разыскали его через Красный Крест, и в 27-м — «маленьким большевичком» со значком «Друг детей» на груди — он перебирается к ним в Белград. Годы учения: Русско-Сербская гимназия, медицинский факультет университета, офицерское училище. Считаные дни боевых действий против вермахта завершились для югославского юнкера Глянцева 20 апреля 1941-го — пленом: шталаги близ немецко-французской границы — в Трире, Саарбрюкене и Сааргемюнде-Штайнбахе. Август 41-го: блестяще подготовленный и блистательно исполненный побег, нырок в ряды Сопротивления.

В Париже началась его, на волоске от гибели, жизнь подпольщика («Армия теней» — не метафора, а как бы один из реальных «псевдонимов» Резистанса). Многократная перемена паспортов, имен и фамилий (Георгий Соколов, Александр Попович, Александр Качурин). Осенью 41-го — работа металлистом на заводе в Курбевуа под Парижем, затем — «вербовка» на полгода в Германию: искусный, но смертельно опасный (на грани разоблачения) саботаж на «Askania-Werk AG» в Берлине. Возвращение в Париж в апреле 42-го, «командировка» во Франш-Конте у швейцарской границы, где «молодых необученных» макизаров обучал обращению с оружием всех систем и одновре-

менно учился сам — азбуке Морзе на латинице, боевой профессии радиста. Но вскоре — вызов в Париж и новая «командировка» в Германию: в Берлине — учеба на шофера, в Рейнланде — работа на виноградниках и на расчистке разбомбленного Майнца, после чего автоколонну перебросили в Бретань на обслуживание сети военных объектов строящегося «Атлантического вала». В 1943 году — провал, тюрьма СД в Нанте: военно-морской трибунал в городке Ляболь приговорил его к расстрелу, но друзья отбили его по дороге в тюрьму.

Снова Париж, встреча с Ренэ, в которую он уже давно влюблен: встреча поистине роковая, если учесть, что она закончилась провалом летом 43-го. Затем — гестаповская тюрьма Фрэн, допросы и тот самый страшный «морозильник» на рю де Соссэ, выморозивший из него просчитанное признание в том, что он... не Качурин, а югослав Глянцев, беглец из шталага в Штайнбахе. Впрочем, и это сурово наказуемо: концлагерем. Станция назначения эшелона, сформированного в Компьени (пересыльный лагерь в 60 км от Парижа), — Бухенвальд: по дороге — неудачная попытка побега сквозь пропиленную перочинными ножичками дыру в торце вагона и — чисто случайное избавление от досрочного «направления» в бухенвальдский крематорий.

С 29 января 1944 года — отсчет жизни безымянного «хефтлинга» (узника) № 44445: стечением обстоятельств он попал в персонал «ревира» (лагерного лазарета), но синекура эта едва не завершилась крематорием после того, как странный фельдшер вздумал заступиться за больных венгерских евреев (чтобы спастись — снова пришлось прятаться за чужие фамилию и номер: свои он «отдал» скончавшемуся накануне Петру Бабичу). 5 ноября, под Кельном, побег, на сей раз удачный; с помощью остарбайтеров легализовался в рабочем лагере и связался с «кельнскими партизанами» (их называли еще «эдельвейс-пиратен»; сам он и тут стал одним из атаманов — Сашкой-переводчиком), подвальные малины, эсэсовские облавы, лагеря для «восточных рабочих», брошеная казарма в Кобленце, Нойендорф и, наконец, в начале марта 45-го — долгожданное освобождение: приход французов и американцев. Последние, впрочем, отнеслись к нему с подозрением, тогда он бежал и от них.

День Победы застиг его в Лимбурге, в лагере для «перемещенных лиц». Ничего лучшего, как добираться до Югославии через советскую оккупационную зону, он не придумал, и в июле 45-го американский грузовик с негром за баранкой домчал его до передаточно-пропускного пункта в Торгау: так замкнулся круг, и, спустя долгие 18 лет, Агафонов снова оказался в цепких руках своей советской родины.

И что же она с ним сделала? Неужели поверила в то, что он по всем статьям международный герой, а не английский шпион? Нет, не поверила и отправила его... в Бухенвальд, назначив при этом кем-то вроде коменданта от заключенных! Это кажется просто невероятным, изысканно сюрреалистичным, но советская власть при этом не моргнула, ни единым мускулом не вздрогнула, не ощутила всей исторической самоиронии своего шага (кстати, сам Агафонов, употребив свою власть для того, чтобы провести для интернированных немцев принудительную экскурсию по достопримечательностям нацистского Бухенвальда, проявил недюжинное историческое чутье). Но конфликт с лагерным особистом «исправил» дело: через лагерь Фюрстенвальде-Кетчендорф под Берлином Агафонова увезли на восток, в Россию, на студеные островки ГУЛАГа.

На этом, в сущности, и заканчивается повествование Агафонова. Я перечислил его вехи совершенно сознательно, без тени страха отбить у читателя охоту к чтению самой книги: поверьте — это захватывающее чтение, оторваться от текста трудно!

Она написана превосходным русским языком, каждая фраза продумана и как бы взвешена на ладони. Но дело еще и в композиции целого, в своеобразной полифонии, образующейся благодаря «курсивным» вставкам, где автор описывает свое, наверное, самое трудное и самое невыносимое состояние из всех, что довелось пережить, — камеру-морозильник. В этих «курсивных вставках», маркирующих и прошивающих собой все повествование, Агафонов хотя и не отступает от положения «рассказчика от первого лица», но все-таки показывает себя и со стороны, с успехом прибегая к инструментарию собственно прозы.

Книга сильна органическим сочетанием художественности и документальности. Иной раз «сюжет» закручивается настолько, что невольно задумываешься: а не выдумка ли все это? И тут,

как правило, срабатывает природный авторский историзм, в сносках или в иллюстрациях сухо документирующий подлинность того или иного неправдоподобного витка. После чего испытываешь восхищение еще и перед агафоновской памятью: впрочем, ее тренированностью, как он сам шутит, он обязан исключительно своим следователям — из абвера, из гестапо, из СМЕРШа, из НКВД.

У Агафонова — какие-то свои, особые, точнее, сверхобычайные отношения со смертью. Первый же день войны в Белграде был ознаменован первой вражеской смертью от его рук: немецкий шофер-лазутчик, на полном ходу сраженный метким выстрелом. Второго — это тоже был шофер — он заколол, но и тот всадил в Агафонова свой штык. А через три дня здоровяк-юнкер был уже на ногах: выщербив кусочек ребра, штык немного не дошел до сердца. В книге — десятки случаев, когда вероятность погибнуть по сравнению с шансом выжить была несоизмеримо большей.

Итак, Бухенвальдом заканчивается 15-я глава и с нею книга, но далеко не заканчивается невероятная судьба ее автора. Все последующее — гулаговское и постгулаговское — Агафонов, к сожалению, отложил до другого раза и уместил в скупом эпилоге: и строительство Шекснинской ГЭС под Рыбинском, и Ухту, и Сыктывкар, и внезапный вызов в Москву в 49-м (новый срок: еще 5 годков), и снова Коми (Вожаэль и Ветлосяны). Уже после смерти Сталина, в феврале 54-го, он вышел на свободу. В 62-м — вторично получил советское гражданство, стал работать учителем труда в селе Любимовка под Севастополем. Реабилитация — в 73-м. А в 81-м, ровно в 60 лет, выходит на пенсию и переезжает в Колпино под Ленинградом. Там находят его французские друзья, и в июне 91-го он снова приезжает во Францию. В Париже застал его и августовский путч 1991 года — событие, после которого 70-летний старик как бы отмотал ленту назад (примерно до Кобленца) и, по советским понятиям, стал невозвращенцем. Жил сначала в Шаркемоне на границе со Швейцарией и вот уже несколько лет живет в Монморанси, в старческом приюте для русских эмигрантов.

Он и не скрывает, что хотел бы увидеть свою книгу напечатанной. Но у книги его судьба тоже не была простой. Еще в 1991

году «Записки бойца Армии теней» стояли в плане IV квартала издательства «Современник»; были даже определены ее тираж (100000 экземпляров!) и цена (1 р. 30 к.!). Но это было уже время, когда планы чаще рушились, чем осуществлялись.

В 1993 году берлинское издательство «Rowohlt» выпустило частичный (и несколько своевольный) перевод книги на немецкий, дав ему раздражающе неточное название «Записки заядлого дезертира». На гонорар автор купил себе подержанный автомобиль и такой же компьютер, на котором заново набрал свою 400-страничную рукопись, попутно ее шлифуя и редактируя. Фрагменты книги выходили в течение 1995–1996 годов в австралийской газете «Единение», в русской прессе появилось несколько публикаций о самом Агафонове.

Александр Агафонов — человек невероятной физической силы и воли, его медвежьи ручищи и сегодня производят внушительное впечатление, но еще большим зарядом обладает сдобренная юмором сила оптимизма, которой его одарила природа. Секрет его «прост»: «*Я всегда смотрел вперед и ждал именно того, что потом и происходило*».

И вот, наконец, полноценное русское издание выходит к своему читателю — в России и за ее рубежами. Приветствуя это событие (а это — событие!), не удержусь от одного пожелания, обращенного к старенькому агафоновскому компьютеру: не подкачать при подготовке продолжения!

Москва *Павел Полян*

Выполнив наказ бывших моих учеников,
посвящаю этот труд юности новой России!

ВВЕДЕНИЕ

Ать-два... Ать-два... Ать-два...

— Вы слышите скрип кованых сапог? Не забывайте его!!!

1938... 1939... 1940... 1941... Как цунами, орды нацистов обрушились на Европу, не оставляя позади себя ничего, кроме руин, опустошения, варварских расправ и террора. Ein-zwei, links!.. Ein-zwei, links, links, links! Раз, два... Левой, левой, левой!.. Как мы до этого дошли? Ведь Германия высказывала желание «прийти к дружескому с другими народами урегулированию спорных проблем». — Так публично заявлял Гитлер. Но с 1934 года он уже не скрывает перед своими приближенными, что «Германия не будет настоящей Германией, пока не станет — всей Европой». И он маневрирует, чтобы одного за другим нейтрализовать своих противников, поощряемый нерешительностью, скорее пособничеством правителей западных демократий.

— Значит, я сделаю так и направлюсь сюда...

— Пусть будет так! Делайте, пожалуйста!

— Я веду переговоры, и мы договариваемся... Я подписываю, мы подписываем соглашения... в узком интимном кругу...

«Усатик» тоже договаривается, тоже подписывает соглашения: — «Потерпите, шут вас возьми! Я еще не готов!»... Наплевать на другие нации и народы! Они не более, как разменная монета. Ать-два... Ать-два... Ать-два...

После Австрии и Испании на очереди Чехословакия, Венгрия, Польша, Дания, Голландия, Бельгия, Франция, Румыния, Югославия, Греция, СССР. При каждой остановке на этом «Крестовом походе» посланцы нового образа двух лагерей и шли друг к другу с визитом, чтобы сказать «Чур меня!» и выторговывать соглашения за счет третьих стран.

Беспечность правителей и предательство генералов или, наоборот, если не всё вместе под одной крышей, развернули красный ковер для триумфальных встреч.

«Heili, heilo... Heili, heilo... Heili, heilo, heila... ha... ha... ha... ha... ha... ha...» — распевали покорители в расстегнутых мундирах, с закатанными рукавами, маршируя в пыли дорог среди полей с недозревшей пшеницей. Из кубка Коллективной Безопасности, разбитого под удвоенными ударами наших волшебников-подмастерьев на тысячу кусков, народы потекли прахом. И понадобится много времени и крови, чтобы вновь его склеить. Дряхлые старики и провалившиеся на выборах нежеланные политики всплыли на поверхность мутной водицы, чтобы внедрить «то, над чем они работали так долго, но чего так и не смогли достичь». И «Квислинги» местного производства воздают почести Оккупанту и поют льстивые оды его величию. «Heili, heilo... Heili, heilo... Heili, heilo, heila... ha... ha... ha... ha... ha... ha...»

Порабощенные народы волей или неволей работают на гитлеровскую военную машину. Экономика оккупированных стран систематически разворовывалась. Самые бедные категории населения, кто не был в состоянии отовариваться на черном рынке, осуждены на голодное существование. Собственность, принадлежащая патриотам, арестованным и сосланным евреям, и та, которая являлась государственной музейной коллекцией — художественные картины, стильная мебель, драгоценности и т. п.,— была бесцеремонно разграблена в пользу «бонз» Третьего Рейха.

Но чем более оккупированные страны облагались налогами, подвергались давлениям, голоду, тем более крепли и разрастались оппозиция и сопротивление. Организованное Сопротивление вооружалось, переходило в атаку. Соответственно возрастали и репрессии со стороны оккупантов. Поезда с вагонами для скота потянули к центру Германии и ее концентрационным лаге-

рям и лагерям уничтожения патриотов и евреев всех оккупированных европейских стран — цвет их юности и их культуры. Сотни тысяч военнопленных всех стран влачили жалкое существование в бесчисленных лагерях. Под влиянием голода или пропаганды, ведомой некоторыми из них и обвинявших их, большинство покорилось своим узурпаторам и согласилось на безропотное существование. Малое же число отказалось от рабства. Бежать, чтобы продолжить борьбу, стало целью. Клыки ищеек, штрафные лагеря, виселица и расстрел, — ничто не смогло заглушитъ волю стать свободным и продолжить борьбу... Неудачи товарищей служили уроком для тех, кто несмотря ни на что так и не отказался пойти на риск.

За помощь благодарю: Е. Болотова, А.Перхова, Н.Черкашина, Ю.Апенченко, Кураторий «Шлосс-Эттерсбург» и евангелического пастора Томаса Зайделя, Мартина Станковского, Ярослава Трушновича, Объединение гимназистов І-й Русско-Сербской Гимназии (Нью-Йорк), Феликса Бернинэ, французского историка †Анри Ногера, экс-министра †Кристиана Пино и многих, многих других!

Глава 1. ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ

Они меня жгли огнем, били линейкой и плеткой из воловьих жил, сжимали голову удавкой, накладывая ее на глаза и закручивая на затылке, — шнур врезался в переносицу; рвали тело щипцами; пилили предплечья расческами; наручниками стягивали запястья; кололи иглами. Боль жгла не переставая. И я думал, что страшнее и больнее им уже ничего не придумать. Но вот они приказали мне раздеться догола и повели по узким, еле освещенным крутым ступенькам, куда-то во мрак, всё ниже и ниже, будто в преисподнюю. С лязгом открыли железную ржавую дверь и с силой толкнули внутрь. Тело, будто кипятком, ожег ледяной пол, но я лежу неподвижно минуту, другую. Потом не выдерживаю и приподнимаюсь. Из зарешеченного окна, за которым темнота, в комнату струится облачко пара. Я догадываюсь, куда меня вбросили: мне рассказывали об этом. Морозильник! Пол, как лед. Я ужаснулся. Потом меня охватила

страшная злоба, и я заметался. Вспомнил огонек в холодных глазах следователя, ухмылку на тонких губах: «На отдых его!»...

— Скоты! Нелюди! — Сжимал я израненные пальцы. Уперся плечом в холодную, серую стену. Во рту было сухо, горело, и я зарыдал без слез от бессилия. Распухшее от побоев тело болело, разбитые в кровь ступни ног приклеивались к бетонному полу. Я начал быстро ходить, но вскоре охватила апатия, вялость. И не было сил их превозмочь. Я присел на корточки, сжался в комок, обхватил колени и уткнулся в них носом. Ноги вскоре заломило. Закололо в ступнях. И тут в дальнем углу я увидел тряпочку. Схватил ее, присел на нее на цыпочках. Долго ноги не выдержали, задрожали от напряжения. Тонкая боль схватила суставы. Лизнул руку языком — холодная. Тепло медленно уходило из меня...

«Ничего не добьетесь!» — сорвался с места и кинулся на ледяной пол всей грудью: пусть лучше погибну от пневмонии! Меня вскоре начала бить судорога, тело изгибалось, корчилось и подпрыгивало в конвульсиях. О бетон разбил подбородок. Снова сел на корточки, наступив кончиками пальцев на тряпочку. Уткнулся в колени и стал ждать конца, медленно прощаясь с собой и с миром. Почему-то вспомнилась бабушка, и я окунулся в прошлое...

* * *

...Она была седой, ее добрые глаза улыбались мне. Интересно: почему в этом мрачном месте именно ее образ всплыл над всеми прочими воспоминаниями и выше всех дорогих мне людей? Не потому ли, что самое раннее детство оставляет неизгладимое впечатление сильнее всех последующих душевных ощущений? А в детстве самым близким человеком была моя любимая бабушка Маня. Ей были мои первые улыбки; она делила со мной мои первые радости, утирала первые мои слезы и облегчала первые горести, мыла изодранные коленки, студила своими губами ожоги, прикладывала медяки на шишки на лбу, водила моей рукой, когда я вырисовывал первые палочки и буквы в тетради, учила читать по слогам.

Образ бабушки повлек за собой целый сонм воспоминаний. То отдаляясь, то охватывая меня с новой силой, они чередовались, сталкивались, перескакивая одно через другое как в чехар-

де, скрываясь в тумане и вновь накатываясь с еще большей силой...

Сентябрь 1927 года. Поезд мчит меня на Запад. Мне почти восемь лет. Сквозь мутные окна вагона мелькают телеграфные столбы с нитями проводов, проносятся полустанки, станции, села, города.

В купе десять мальчишек. Из многих городов Советского Союза нас надо развести по разным странам — к родителям. Самому старшему из нас двенадцать лет. Среди них я один из Харькова, с Малогончаровской улицы, номер 28/30. Сопровождает нас женщина средних лет с белой повязкой на рукаве. На повязке — красный крест.

Помню: были спешные сборы, слезы тетей Веры и Риты, дяди Вали и моей старенькой бабушки, которая еще вчера была для меня единственной мамой. О другой я не ведал. В козырек моей ушанки, с тыльной стороны (чтобы никто не отнял!), прикрепили красную металлическую звездочку, гордость всех моих сверстников с Малогончаровки. Мне приготовили маленький фанерный чемоданчик, куда вложили пачку карандашей, несколько тетрадей и любимые мной журнальчики «Огоньки». Какая-то женщина, хорошая знакомая нашей семьи, ровесница бабушки, тоже пришла помочь снаряжать в дорогу. Обняв меня на прощание, она приколола мне к курточке свой значок с надписью: «Друг детей». Очень красивый: на вершине скалы стоят двое и держат развевающееся красное знамя. Надпись эта была внизу. С тех пор я долго не разлучался с ним, он мне был как бы высокой «правительственной наградой».

— Помни! Никогда не забывай!— последовал мало мне тогда понятный наказ.

Потом бабушка привезла меня, вместе с чемоданчиком, в Москву. На первом этаже крытого пассажа, в одной из комнат с табличкой Красного Креста, мне был выдан полотняный мешочек с документами. Его надо было носить на груди. Среди бумаг в нем была книжечка в красном переплете с золотым тисненым гербом с серпом и молотом и надписью: «Заграничный паспорт СССР».

Я уже умел читать по слогам. Сколько раз я украдкой вынимал эту книжечку, чтобы полюбоваться надписью и гербом! Рас-

крывая ее, растягивал сложенный гармошкой твердый листок бумаги: с него на меня удивленно смотрела пухленькая мордашка. В нашей квартире не было зеркала, но я понял, что это было моим лицом. Во вкладыше было написано много, но мелко. Зато моя фамилия «Агафонов» была выведена красивым крупным почерком и легко читалась. Было много подписей и печатей. Мне запомнилась четкая подпись красной тушью: «Ягода».

Когда меня бабушка вновь усаживала в вагон, но на этот раз оставалась на перроне, я сопротивлялся и рыдал, упрашивая ее ехать вместе со мной.

— Я уже старенькая, останусь здесь. А ты поедешь к маме и папе, побудешь там немного и вернешься. Я буду тебя ждать!

* * *

Иногда нашу группу ссаживали с поезда, на автобусах отвозили в дома, там купали, кормили, укладывали спать, чтобы затем через день-два отправить опять в путь. Менялись и наши сопровождающие. Первая остановка была в Варшаве. Люди там говорили на малопонятном шипящем языке.

Вторая остановка была в Вене. Здесь взрослые разговаривали так, что ни мы их, ни они нас понять не могли. В двух- или трехэтажном доме нас разместили в большой комнате, где стояли кровати и длинный стол с табуретками вокруг. Принесли вареный картофель с подливой и кошелку темного хлеба, похожего на наш ржаной. Но когда мы поднесли его ко рту, в нос ударил какой-то незнакомый запах. Мы, как сговорившись, тут же с отвращением отбросили его от себя. Мы не знали, что такое тмин, и были возмущены: нам дали «провонявший» хлеб!

Затем дружно схватили корзину, подбежали к раскрытому окну и с размаху выкинули ее в сад. Что с ними зря объясняться!? Все равно не поймут. Присутствовавшие взрослые даже рты пораскрывали от недоумения.

Надо сказать, что возбуждены мы были еще до того: во-первых, нас поразило, что взрослые нас не понимают. Во-вторых, незадолго до обеда, когда нас привели после бани, в нашу комнату забежали какие-то дети. Они стали нас дразнить, кривляться и обзывать, по-видимому, очень обидными словами. Произошла потасовка. Кому-то влепили в глаз, кому-то разбили нос, губы. Кровь! Мы осатанели. С криками: «Полундра! Наших

бьют!» мы все разом, гуртом, тесно сомкнувшись плечами, по-бычьи наклонив головы, плотной шеренгой ринулись в бой. Мы погнали перед собой этих выхоленных, в коротеньких штанишках на подтяжках, в длинных белых носках-гольфах с кисточками по бокам, чужих и наглых мальчишек-буржуйчиков. Вышибли их из нашей комнаты и помчались за ними по длинному коридору....

На крики и визг прибежали взрослые. Порядок вскоре был восстановлен, мы были водворены в нашу комнату.

Мы были горды своей победой. И вдруг этот «провонявший» хлеб! Вонючий! Не месть ли это взрослых? Не решили ли они наказать нас за их трусливых мальчишек? Мы объявили голодовку, отодвинули от себя миски. Наша взяла и тут! Нам снова принесли корзину с хлебом и, боязливо поставя на стол, отошли в сторонку. Самый старший из нас, всеми признанный «атаман», подошел, поднес к носу, понюхал:

— Нормально, годится! — сказал он, и мы принялись за еду.

* * *

В пути наша группа постепенно таяла. В Будапешт прибыло нас меньше половины. Помню, переехали через широкую реку. Я узнал, что то был Дунай. В сгустившихся сумерках город по обе стороны реки был на возвышенности. Сияя огромным количеством огней, он, как сказочный, словно парил в небе. Ничего другого о нем в памяти не осталось.

Потом я в купе остался совершенно один: сопровождавшая высадила последних двух моих попутчиков и сама не вернулась.

Была поздняя ночь, когда поезд остановился. В вагоне я попрежнему один. Было это не то на двенадцатые, не то на четырнадцатые сутки путешествия. Стало холодать. Я скрючился у окна, поджав под себя ноги, и вскоре задремал. Возможно, прошло около часу, когда я вдруг, сквозь дрему, ощутил, что в купе кто-то посторонний. Я открыл глаза: двое штатских, наклонившись, светили фонариками под сидениями. Позже я узнал, что какой-то диверсант Матушка развлекался тем, что подкладывал в пассажирские поезда «адские машины» — бомбы с часовым механизмом.

Луч фонарика осветил меня, и штатский от неожиданности привскочил. Уставился на меня и второй. На языке, чем-то напоминавшем русский, но грубоватом, они обратились ко мне с вопросами. Вместо ответа я показал им на свой магический мешочек на груди: я уже знал, что в нем находится то, чем так интересуются взрослые. Один из штатских вытащил документы и стал их рассматривать. Какая-то из бумаг, видимо, что-то ему разъяснила:

— Београд, Шуматовачка улица № 107. Глянцев... — прочитал он вслух, обращаясь к своему напарнику. Оба оказались полицейскими. Долго советовались, потом, взяв меня за руку и прихватив чемоданчик, вышли из вагона.

Стояла гадкая осенняя погода. Моросил мелкий противный дождик, рывками дул пронизывающий ледяной ветер, качая фонари, тускло освещавшие перрон. Позже я узнал, что этот ветер называется «кошава».

Мы вышли на привокзальную площадь, где ждало пять или шесть тосковавших фиакров-извозчиков. Один из них знал, где находится Шуматовачка. Мы сели и поехали.

Город освещен плохо. Некоторые улицы были вообще без фонарей. Мостовая из грубо отесанного камня, много ям, рытвин. Цокали копыта лошадей, фиакр грохотал. Иногда он, переваливаясь с боку на бок, одним из колес так проваливался в яму, что казалось, вот-вот опрокинется. Называют такую мостовую турецким словом «калдрма». Созвучие слова как нельзя лучше соответствует чему-то, что трясет, дребезжит, выворачивает кишки наизнанку...

Скоро эта треклятая калдрма кончилась, но от этого не стало лучше: грунтовую дорогу размыло, ее изборождили выбитые колесами колеи и размытые водой канавы. Нам надо было свернуть в еще более узкую, совершенно не освещенную улицу, но тут извозчик наотрез отказался везти дальше: по-видимому, понял, что пассажиры — полицейские, а они, как известно, никогда не платят. Долго переругивались полицейские с извозчиком, но тот был непреклонен, как скала. Нам пришлось вылезти и продолжить путь пешком.

Спотыкаясь и чертыхаясь, погружаясь по самые щиколотки в густую липкую грязь и с трудом выдергивая из нее ботинки,

мы медленно продвигались вперед. Минут через двадцать добрались наконец до нужного нам номера 107.

Высокий дощатый забор с узенькой калиточкой. Что за забором — не видно. У калитки на проволоке — деревянная ручка. Один из полицейских подергал ее. Где-то вдали послышался приглушенный звук колокольчика и замер. Полицейский подергал еще несколько раз, более энергично. Безрезультатно: к нам никто не выходил. Тогда он перелез через забор и с той стороны отворил калитку.

Тропинка, устланная кирпичом, вела куда-то в темноту. Слева от нее шел соседний забор. Справа угадывалась посадка каких-то деревьев. Вскоре лучи фонарика выхватили из темноты несколько шатких ступенек и покривившееся крыльцо. Полицейский забарабанил в дверь. Сквозь дверные щели завиделся свет.

— Кто там? — послышался женский голос.

— Полиция.

Сердце замирает: как меня встретят? «Не плачь, Сашочек! Тебе приготовили много-много игрушек. Целый сундук! Там и самолеты, пистолеты, барабан... чего только там нет! А главное, ты будешь у папы с мамой!» — вспоминаются прощальные слова бабушки. Так я и узнал, что у меня есть еще одна мама, есть и папа. Какие они? И вот я здесь. За этой дверью — они!

Дверь открыли. Перед нами стояла незнакомая высокая и очень худая женщина. В волосах — бумажные папильотки, на плечи накинут халат. Бледно-желтым неприветливым слабым светом горела в сенях маломощная лампочка, скудно освещая убогое убранство помещения. В конце сеней была приоткрытая дверь в освещенную комнату. Там виднелась кровать, на которой кто-то лежал.

— Ваша фамилия? — понял я вопрос полицейского.

— Глянцева.

— Точно! — и полицейский без обиняков сообщил, что доставил ей сына.

Только тут женщина меня заметила. Она как-то странно взмахнула руками и повалилась набок! Полицейский еле успел ее подхватить и усадить на стул.

Из видневшейся через приоткрытую дверь кровати послышался мужской голос. Скорее, то был стон. Со вторым полицейским мы подошли ближе к двери, но в комнату не вошли: на наших ботинках были огромные куски грязи. Тут женщина пришла в себя и, поддерживаемая первым полицейским, подошла ко мне.

— Это твои мама и папа! — понял я торжественно произнесенные слова полицейского, указывавшего мне на женщину и на лежавшего в кровати мужчину.

Соблюдая долг вежливости, усвоенный еще в Харькове у бабушки, я поздоровался и представился:

— Здравствуйте, товарищ мама! Здравствуйте, товарищ папа!

Мама снова чуть не упала в обморок, а полицейские громко расхохотались.

Таким было мое прибытие в эту, как пелось в одной из песенок, «страну, страну чудес, — королевство СХС» (королевство сербов, хорватов и словенцев).

* * *

В конце первой мировой войны мой отец, Михаил Саввич, был тяжело ранен на русско-германском фронте. Лечился в ялтинском военном госпитале, где сестрой милосердия работала мама, Мария Анатольевна. Мне было уже несколько месяцев, когда перед своим отступлением «белые» генерала Врангеля первым делом эвакуировали госпиталь, а вместе с ним и моих родителей. Видимо, брак свой они зарегистрировать не успели, и я, оставшись с бабушкой в селе Кореиз, под Ялтой, получил метрическое свидетельство или на ее фамилию, или на девичью — мамы.

Много операций перенес отец и сейчас лежал после очередной: из бедра удалили еще несколько осколков шрапнели, а кость все гнила. С большим трудом накопив необходимые средства, им удалось выписать меня через Международный Красный Крест. Зарабатывали они на жизнь разведением рассады цветов и саженцев деревьев, а также разбивкой садов и парков. Одновременно оба учились на агрономическом факультете.

От бабушки часто приходили посылки и бандероли: мне — с книгами, отцу — с лекарствами. Ему собирались, было, ампу-

тировать ногу, но лекарства, присылаемые бабушкой из харьковской гомеопатической аптеки, спасли ее.

Со свойственным детству эгоизмом и уже тогда крайне принципиальный, я был обижен и раздосадован тем, что никакого для меня «сундука с игрушками» у родителей не оказалось. Я не понимал, в какой бедности они жили и с каким трудом сводили концы с концами в этой чужой стране.

Примерно через месяц, после проверочного экзамена, меня приняли в младшую группу эмигрантской начальной школы. Долго пробыть в ней не довелось: несмотря на запрет родителей, я неоднократно демонстрировал перед сверстниками свой красивый советский паспорт и распевал песенки, выученные в Харькове. Одна из них особенно приводила в неистовство учителей школы:

Во всем, что строим заново,
Срубив старье сплеча, —
Во всем заветы Ленина,
Заветы Ильича!
Так рушьте же, так рушьте же
Все старое смелей!
Так стройте же, так стройте же
Все новое скорей!

Зависть у одних, негодование у других ребят вызывали мой значок «Друг детей» и красная звездочка. Хоть и прятали их родители, прятали и паспорт, но я их находил и опять брал в школу. И никто не мог их вырвать из моих рук, такой я поднимал вопль. Возможно, именно потому, что эти реликвии вызывали такое негодование, они и были для меня высшей гордостью. С еще большей настойчивостью я злил ими людей. И они прозвали меня «большевичком». Для них, видимо, это было страшным ругательством, а для меня — высшей гордостью. Все глубже и шире образовывалась трещина в отношениях между мной и учителями. Наконец, меня, как несносного, с треском исключили из школы. Не скажу, чтобы это было неожиданным для родителей и чтобы огорчило их. Однако перед ними встала новая проблема: как все-таки дать мне образование?

Часто вспоминалась мне моя Малогончаровка, вспоминались наши игры в «казаков-разбойников». Но то были «наши» казаки и «наши» разбойники. Хотя бы потому, что все были с

нашей и прилегающих улиц, тех, что под Холодной Горой. А здесь были чужие, ненавидящие меня и наше. Хоть и ребенок, но я отчетливо ощущал это. Мы на Гончаровке жили намного бедней, чем здешние «барчуки». Мои родители так их и называли. Впрочем, в минуты сильного гнева звали они так и меня: возможно, неутихавшие во мне претензии на «большой сундук с игрушками», которого у них не было, сильно ранили их. К тому же среди эмигрантов мои родители оказались в числе бедняков, ввиду инвалидности отца. Здесь царил закон: «Богатому все карты в руки!»

На следующий год, после домашней подготовки, я сдал экзамен «экстерном» и поступил прямо в Русско-Сербскую гимназию. Число сверстников увеличилось, и я перестал чувствовать себя одиноким. Мне стали оказывать внимание и взрослые. Они интересовались моими рассказами о жизни в Харькове, а еще больше их внимание привлекли книги и журналы «оттуда», которые продолжала высылать дорогая бабушка. Родители и я охотно переводили им отдельные абзацы, рассказы из советской литературы. Эти взрослые тоже называли меня «большевичком», но это звучало по-иному, не так, как в начальной школе. Скорее, это звучало ласково, нежно...

— Ну, как успехи у нашего маленького «большевичка»? Чем он нас сегодня порадует? — говаривали они, когда я приходил в гости, и тут же угощали меня всякими сладостями и любимыми орехами.

Из книг, что я получал, мне запомнились: А.Дуров — «Мои звери», Арсеньев — «Дерсу Узала» и «По Уссурийскому краю», М.Зощенко — «О чем пел соловей», Н. Островский — «Как закалялась сталь», М.Горький «Мать» и, конечно, «Огоньки». Я увлекся чтением. Часто приходилось обманывать родителей: под учебником им случалось находить постороннюю книгу. За это пороли меня нещадно. Чтение в ущерб учению не могло не сказаться на моих гимназических успехах. Но разве можно устоять перед романами А.Дюма, В.Гюго, Л.Буссенара, Д.Лондона, В.Скотта, Конан Дойля! А их так много было в гимназической библиотеке, этих чудесных писателей! Надо торопиться читать. Читать и читать! Меня охватила жажда приключений, романтики, душевного благородства, бескорыстной и самоотверженной

дружбы. Я этим жил, витал в мечтах. И... даже сам занялся сочинительством: начал писать стихи! Их вывешивали в нашей гимназии, за них мне давали премии. А за сочинение на тему не то «Не единым хлебом жив человек», не то «Настоящее — сын прошлого и отец будущего» мне была присуждена высшая премия — пошитый по мне отличный суконный костюм! Первый за всю мою жизнь!

* * *

На фоне разгоравшегося в мире кризиса дела в моей семье шли хуже и хуже. Мне было уже четырнадцать лет, когда одно событие в корне подкосило бюджет семьи.

Один министр, до сих пор помню его фамилию — Узунович, заказал родителям парк в своей огромной усадьбе.

Больше месяца вычерчивали и раскрашивали родители различные варианты планов: стиль французский — с правильными геометрическими фигурами клумб и аллей; стиль английский — произвольные витиеватые формы; стиль итальянский — со всевозможными альпинумами и фонтанами... Один из вариантов был принят. Узунович уплатил аванс и стоимость деревьев и цветов. Почти четыре месяца трудились мы всей семьей, наняв в помощь и нескольких поденщиков-безработных. Копали грядки, сеяли траву, высаживали рассаду цветов, саженцы декоративных деревьев — туй, буксусов, елей, тополей, разбивали аллеи, посыпали дорожки гравием, трамбовали... Парк оказался на диво! Отец оделся попарадней и отправился к Узуновичу за расчетом.

— А платить я не буду! — заявил неожиданно министр.

— Как это, не будете?! Вы же подписали контракт!

— Да, подписал. Ну и что? А платить не буду.

Отец все еще думал, что Узунович просто шутит:

— Тогда мне придется подать на вас в суд!

— Не подадите. Вы же знаете: никакой суд меня не осудит. Я же — министр!

— Может, вам что-нибудь не понравилось? — пробовал что-то понять отец.

— Нет, все отлично. Даже здорово! Мне уже завидуют, спрашивают, кто это всё сделал. Так что я вам создал отличную рек-

ламу. А за рекламу тоже надо платить. Будем считать, что вы уже заплатили... той суммой, что я вам был должен. Вот мы и квиты!

— Но в договоре нет ни слова о рекламе!

— Хватит бесполезных разговоров! — отрезал министр. — А будешь шуметь, прикажу вот этому жандарму выставить тебя. Единственное, что ты можешь, это — ненавидеть меня. Но это — твое личное дело, меня оно не интересует. Проваливай!

И гордый своим всемогуществом, министр удалился. Жандарм провел отца к выходу.

Итак, всей семьей мы почти полгода проработали впустую. Не менее нас возмущенные поденщики проявили рабочую солидарность, отказавшись от части своего заработка.

* * *

Европу лихорадило. Болезнь, как зараза, распространялась все дальше и дальше. То был КРИЗИС. Он пришел из Нового Света — из Америки, этого Эльдорадо переселенцев, и стал поражать Европу, которая благодаря заверениям политиков и шансонье, распевавших «Все хорошо, прекрасная маркиза!», считала себя неуязвимой. Во всех государствах, не пощадив ни единого, безработица дошла до критической отметки. Кризис охватил все отрасли экономики, за исключением завидно преуспевающей военной промышленности. В Бразилии кофе стали сжигать в топках локомотивов и ссыпать в океан. Овощи и фрукты закапываются в ямы. Молоко цистернами выливают на асфальт. Пахотные земли забросили, предоставив их перею и вьюнку, прочим сорным травам. Одновременно население лишается покупной способности и обрекается на полуголодное существование.

В январе 1933 года Шикельгрубер-Гитлер стал канцлером Третьего Рейха. Оппозиционной прессе тотчас же заткнут рот, многие партии запрещены и распущены. Коммунистам и социал-демократам запрограммирована Варфоломеевская ночь. Но Лейпцигский процесс, на котором Димитров обвинялся в поджоге Рейхстага, обернулся для Геринга конфузом. Тем не менее в рейхе, близ Мюнхена, у городка Дахау, был построен первый немецкий концентрационный лагерь.

В Югославии, как с 1931 года (согласно энциклопедичес-

кому словарю «Ларусс», а мне и югославам известно, — с 3-го октября 1929!) стало именоваться Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, тоже стало неспокойно. Почувствовав приближение опасности с севера и с запада, она спешит заключить с соседями «договоры о взаимопомощи и ненападении» — союз «Малую Антанту». Одна за другой следуют неудачные попытки покушений на нашего короля Александра I. И вот, он отправляется во Францию, чтобы заручиться ее поддержкой и гарантией...

Помню, как ранним утром 10 октября 1934-го года я вынул из почтового ящика листок с экстренным выпуском газеты «Политика», № 9482. Там сообщалось о чрезвычайном происшествии в Марселе:

«...Из толпы, приветствовавшей кортеж правительственных машин, выскочил какой-то субъект, вскочил на подножку автомобиля с королем Александром и французским министром иностранных дел Луи Барту и разрядил в них свой парабеллум. Король смертельно ранен, Барту убит наповал. Наш посол во Франции ринулся к месту происшествия и услышал последние слова короля: «Чувайте (берегите) Югославию!»

В последующем коммюнике сообщалось: «...подбежал и другой наш министр. Ему удалось разобрать продолжение последнего пожелания нашего короля: "...и дружбу с Францией!"...»

* * *

Для нашей семьи это было большим горем, так как у нас любили Александра. Именно по его Указу мы стали в 1928 году подданными Югославии, полноправными гражданами страны, ставшей для нас второй Родиной. Это он разрешил прокат советских фильмов на экранах Белграда. Первым был фильм «Броненосец Потемкин»[1]. Уже давно поговаривали о необратимости происшедших в России перемен. Все же фильм ожидали с неким недоверием и опасением, а он, вопреки этому, вызвал совсем другую реакцию, — у многих открылись глаза: «Вот, почему вспыхнула революция! Вот, какая она, революция!» В то же время зрители, в числе которых был и я, в Черноморской эскадре, в тумане набросившейся на «Потемкин», увидели военноморскую мощь Советского Союза, с которой-де придется считаться в случае возможного конфликта[2].

При просмотре фильма «маленький большевичок», дремавший во мне, вдруг проснулся при сцене на баке корабля, когда матрос Вакуленчук, борец за справедливость, в поединке с усмирителями победил, заставив их опустить оружие. Конечно, с точки зрения кадровых офицеров, каждое проявление недовольства со стороны им подчиненных считается нарушением дисциплины, «бунтом», и карается соответственно, вплоть до применения оружия. А этим и пользуются, чтобы безнаказанно кормить залежалыми и червивыми продуктами. И я видел в протесте Вакуленчука справедливое напоминание, что он — человек, хоть и подчиненный, и что об этом никто не должен забывать! Слезы лились у меня при сцене на пирсе. Я громко негодовал, видя, что творилось на Одесской лестнице. С ужасом и болью следил за катящейся вниз детской коляской... С детским энтузиазмом я вскочил с сидения и, как бы озвучивая матросов на экране, кричал «Ура-а-а!..». Настоящий экстаз охватил меня![3]

То был удивительный, совсем новый для нас фильм! Что мы, белградцы, смотрели раньше? В основном американскую продукцию «Парамаунта» или «Метро Голдвин Майера» со львиной мордой: про ковбоев Тома Микса, Тим Мак Коя; комедии с Бастером Китоном, Патом и Паташоном; серии с Тарзаном... Были и фильмы с Чарли Чаплиным. Особенно мне запомнился фильм «Модерн Таймз» («Огни большого города») — о горестях маленького человечка в огромном, чуждом для него мире, стоически и с юмором преодолевающего все невзгоды.

После немого «Броненосца Потемкина» появился первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь», произведя сенсацию не только в Югославии, но, думаю, во всем мире. После гражданской войны, а еще больше после раскулачивания и насильственной коллективизации, осталось огромное количество беспризорных сирот. Они стали большой проблемой для общества. Фильм рассказывал о попытке ее разрешить, об ее успехах и неудачах.

Всей душой я переживал за двух положительных героев — «Кольку-Свиста» (как раз к тому времени я ушел из дома, и моя судьба была очень схожа с его судьбой) и Мустафу, характер которого полностью совпадал с моим: самые трагические моменты в жизни он всегда был готов обернуть в шутку...

Мустафа дорогу строил,
Мустафа ее любил.
Мустафу Жиган зарезал,
Колька-Свист похоронил...

Чудесный фильм! Его лейтмотив, если можно так сказать, отобразился в печальной песне беспризорных, которую запела почти вся Югославия:

Позабыт, позаброшен с молодых, юных лет,
Я остался сиротою, счастья-доли мне нет!..

С пятого класса гимназии мы стали изучать латинский язык. Фраза «HOMO HOMINI LUPUS EST» (Человек человеку — волк) была опровергнута «Путевкой», борьбой за человека. Страна СССР, как нам тогда показалось, позаботилась о судьбе детей, лишенных всего самого дорогого (а по чьей вине? — это я спрашиваю себя сейчас), чтобы сделать из них достойных граждан.

Наперекор недоброжелательным суждениям некоторых русских эмигрантов, считавших, что Советская страна — это «страна уркаганов» и только, Югославия стала видеть и слышать о великих достижениях науки и техники в СССР, таких, как строительство Днепрогэса, как подвиг экипажа воздушного шара «Сириус», достигшего рекордной для того времени высоты в 22 000 метров, как рекорд Чкалова... А рекорды следовали один за другим. Все это доказывало, что в молодой стране творится что-то необычное...

* * *

После убийства Александра I тайна террора, его организаторы, истинные мотивы долгие годы оставались нераскрытыми.

В обезглавленной Югославии начались интриги и борьба за власть. Всевозможные слухи наводнили страну. Король Александр якобы успел оставить завещание в трех экземплярах: один — у королевы Марии, второй — у патриарха Варнавы, третий — у принца Павла. По этому завещанию, якобы, до совершеннолетия наследника Петра власть должна принадлежать... и тут, вопреки коммюнике «Политики», слухи расходились: одни говорили — патриарху, другие — вдовствующей королеве, третьи — принцу Павлу. Наконец, появилось официальное примирительное сообщение: править будут все трое.

Народ начал успокаиваться. Но... принц-регент Павел быстро прибрал власть к своим рукам. Патриарх Варнава, как говорили, был отравлен. Королева Мария бежала к своей матери в Румынию. Под маркой укрепления порядка и дисциплины в стране расцвело насилие. До предела разрослись шовинистические настроения. Апогея достиг так называемый «хорватский вопрос».

* * *

После случая с министром Узуновичем у родителей опустились руки. Они стали раздражительны. Семейные ссоры доходили до бурных сцен. Произошел разрыв: отец уехал в Косовскую Митровицу работать на руднике, а меня сразило чувство первой любви, я стал поздно возвращаться домой. Мать предупредила: «Придешь позже десяти вечера, — в дом не пущу!» И вот передо мной закрытая дверь, — я задержался на именинах. Я не долго стучал. Повернулся и пошел спать на штабеля кирпича заброшенного завода. С утра готовил уроки у своего одноклассника. Когда там все садились обедать, «на обед» уходил и я. А с двух часов — занятия в гимназии. И опять ночь — под открытым небом, иногда под моросящим осенним дождиком. Вскоре родители одноклассника (разве скроешь что-нибудь от взрослых!) догадались, что со мной произошло, и приютили у себя. Вот почему, как уже упоминал, в жизни и проблемах Кольки-Свиста я увидел собственные.

Кроме семьи одноклассника Яши Орлова, встретился на моем пути и еще один взрослый — студент Иван Семенович, по кличке «Акела» (волк из романа Киплинга «Маугли»). Приняв меня в скаутскую оранизацию, которой руководил, он не дал мне поскользнуться. Об этом можно написать целый роман, роман о том, как мальчишки 12–15-летнего возраста, вроде Тома Сойера и Гека Финна (и меня, конечно), начинают и благополучно продолжают самостоятельную, ни от кого не зависящую жизнь, работают на всевозможных работах, одновременно учатся, оканчивают гимназию и поступают в университет. Конечно, не всегда и не все бывало легко и гладко, бывали и неудачи.

Как ни говори, а жизнь была очень неустроенной, полной периодов голода и ненадежного крова над головой. В гимназии меня приметил старшеклассник Никита Ракитин и его друг — студент Прокопович. Определенную роль в этом сыграло то, что

я был выходцем из Советского Союза. Я стал посещать руководимый ими негласный кружок, где ознакомился с «Коммунистическим манифестом», успел прослушать несколько глав из «Капитала». Много открылось для меня нового и неожиданного. Я узнал, кто такие эксплуататоры и кто — эксплуатируемые. Откровением для меня стало, что труд — товар, который продается и покупается...

Администрация гимназии разогнала кружок, всех участников исключили. Не знаю, какой стала судьба Прокоповича, но Никита Ракитин пробрался в Испанию, в интербригады[4]. Лишь благодаря усилиям моего классного руководителя, Е.А.Елачича, которому тоже многим обязан, на следующий год меня снова приняли в гимназию. И опять Е.Елачич![5] Он заметил мои способности к иностранным языкам, и за его счет я обязан был брать дополнительные уроки у преподавательницы французского языка. А это в моей жизни сыграло решающую роль. Кроме того, Елачич часто приглашал меня к себе на Шуматовачку улицу, где собиралось по нескольку гимназистов: кто в шахматы играл, кто читал редкие книги из библиотечки преподавателя. Перед нами на столе всегда было блюдо с орехами и сладостями.... Елачич относился к поистине настоящим педагогам, педагогам по зову сердца и души!..

Временное исключение из гимназии заставило меня отправиться к отцу, с которым всегда поддерживал хорошие отношения. Он заведовал складом взрывчатки на горизонте медного рудника — английской концессии «Трепча Майнз Лимитед». Был я рослым, крепким парнем и с радостью окунулся в рабочую жизнь. Что может быть лучше, чем зарабатывать собственными руками!

«Шлам» — масса пустой породы после химического извлечения меди из руды-пирита — высыпался в отстойники, и оттуда его надо было грузить на вывоз. Из взрослых не было желающих работать на этом участке с ядовитыми газами серной кислоты, и для меня всегда находилось вакантное место. Работать полагалось в противогазе, но разве в нем много наработаешь? Пары были тяжелые, стлались у ног. Взмахи совковой лопатой поднимали их, и я придумал свой способ: подпрыгивая, набирал полную грудь воздуха, потом сгибался и успевал раза два мах-

нуть лопатой. За вредный и опасный труд платили даже больше, чем подземным рудокопам. Волдыри и ожоги снижали производительность, но для такого парня, как я, все это было романтикой. Здесь я приучился превозмогать боль от ожогов.

Отец, как и все рабочие рудника, был членом профсоюза «Югорас» (Югославского рабочего Союза). Стал им и я. Иначе и быть не могло: «Югорас» облегчал существование своим членам, предоставляя им право на кредит в продовольственном магазине.

Каким наслаждением было окунуть после работы свое натруженное и обожженное тело и промыть кровоточащие ноздри и потрескавшиеся губы в чистых и холодных водах реки Ибар! А рыбалка!

По выходным мы с отцом ходили на реку. Мимо часто проплывали байдарки с одним или двумя юношами. Отец пояснил:

— Это — немецкие туристы. По-моему, они сочетают приятное с полезным: охотно вступают в контакт с местным населением — албанцами, босанцами, курдами, здешними немцами... Сверяют по своим картам рельеф. Очень их что-то Югославия заинтересовала!

Я знал, что отец недолюбливает «швабов», как именовали здесь немцев. Не ранение ли, не инвалидность ли тому причиной?

— При чем тут инвалидность? Война есть война. Без жертв, ран, плена она не бывает. Но войны бывают разные, и по-разному в них вскрывается зверь в человеке. Вот смотри: мне дали почитать вот эту книжицу. И я узнал, к чему готовит, к чему призывает, чему учит их «фюрер». Получается, что германская раса — высшая. Остальные народы — удобрение для нее. А это — призыв к реваншу, к уничтожению и порабощению! Я согласен, что Версальский договор не решил всех проблем должным образом. Может, даже несправедливо ущемил побежденную Германию, интересы ее народа. Как теперь говорят — лишил жизненного простора. Но кто первым применил такое варварство, как их ядовитые газы — иприт, фосген?! Сколько из-за этого погибло людей, сколько осталось калек на всю жизнь, сколько живет со страшными мучениями! Но наказать надо было верхушку, а не весь народ...

Я с интересом полистал «Майн Кампф» («Моя борьба»).

— Боюсь, что эта книжка станет немецкой библией, вернее — ее антиподом! — горько покачал головой отец.

* * *

Зарабатываемых на руднике денег хватало лишь на первое время. А дальше... дальше мне помогали различные благотворительные организации — не без посредничества моего классного руководителя Елачича. Помогал и школьный родительский комитет. Из организаций, таких как «Армия Спасения», я получал время от времени талоны на ночлежки и на бесплатные обеды. А обеды эти были с неограниченным количеством хлеба! Что еще нужно для полного счастья? Кров, побольше хлеба к двум малюсеньким котлеткам с гарниром! А если удавалось наскрести и на национальное рабочее блюдо «Чорбаст пасуль са пастрмом» (густая фасоль с кусочком грудинки) или чечевицу, то я был в полном блаженстве, и мое тело благословляло такой сверхудачный день с прямо-таки «лукулловским пиршеством»! И я вспомнил шутку отца — ответ на вопрос: «много ли человеку нужно?» — «Ножку цыпленочка, ножку теленочка — вот и сыт человечек! А для утоления жажды — бочоночка пива достаточно!»

Иван Светов — «Акела» великодушно отдал мне свою старенькую пишущую машинку. Я быстро научился печатать, и вокруг меня собралась группа ребят помоложе. Мы создали редколлегию нашего собственного подростково-юношеского журнала. Сами были его литработниками, художниками, печатниками, распространителями-продавцами. Посылали его и заграницу. Однажды сам Олег Иванович Пантюхов, старший русский скаут, прислал нам в конверте купюру в пять долларов! Правда, мы не знали, что с ней делать, и она была у нас вроде реликвии. Сева Селивановский, с тринадцатилетнего возраста сотрудничавший с нами, был поистине отличным художником. Он не просто иллюстрировал, но и, научившись у отца, рисовал «стрипы» — приключенческие романы в рисунках, бывшие тогда в большой моде. Тираж журнала — 40–50 экземпляров, сколько позволяла выдать желатинистая шапирографная лента. «Типография» наша долгое время размещалась в комнатушке, где я

жил — в семье Шурика Акаловского на Пальмотичевой улице, что у «Байлоновой пиаццы».

Само содержание журнала-ежемесячника было наполнено нашими раздумьями о жизни настоящей и будущей, видевшейся нам в самых радужных красках. Оптимизм, веселые приключения, викторины-загадки, «Знаете ли вы, что...», философские изречения и мысли, анекдоты, собственные сочинения о красоте природы, ночевках в лесу у костра, в снегу и... наши поэтические пробы — всё это выливалось на его страницах. Большим подспорьем к раздумьям были для нас два тома Л.Н.Толстого «Круг чтения». Особенно рассказ «Суратская кофейная» (если не исковеркал названия). Сюжет: посетители кофейной спросили у дикаря, сидевшего в углу, что это он так старательно вырезает? — «Вырезаю себе бога из священного дерева. Буду его носить, и он будет меня охранять». Его подняли насмех: «Разве может человек делать себе Бога? Бог сам Творец!» Поднялся спор. Люди разных вероисповеданий стали каждый превозносить свою религию, утверждая, что она — единственно истинная. За разрешением спора обратились к капитану. Тот ответил притчей: «Слепой утверждает, что-де свет не существует, нет и солнца, так как он их не видит. Безногий, уверен, что солнце — огненный шар, регулярно поднимающийся из-за той горы и, пройдя свой путь по небосводу, спускающийся вон за той. Абориген, никогда не покидавший этого острова, утверждал, что ничего подобного: солнце выныривает из океана, а к вечеру опять опускается в него. Так вот, — закончил капитан, — я проплавал по всем морям и океанам, убедился: не солнце ходит вокруг земли, а земля и другие планеты вращаются вокруг него! Солнце есть, но каждый видит его и понимает по-своему!»

Обложка журнала — парящее в лучах «выныривающего из океана» солнца название «Вожак».

Велся строгий финансовый учет. На собранные от продажи деньги покупали бумагу, ленту, шапирографные копирку и чернила, краски, глицерин. Выплачивались и «гонорары», которые большей частью шли в общую кассу на приобретение необходимого для будущих совместных походов — круп и консервов. Шатры брали у наших скаутмастеров — Юры Андреева или Андрюши Михонского. «Хозрасчет», двойная бухгалтерия, «самооку-

паемость» были у нас на высоком уровне, хоть сами эти термины были нам неизвестны. К ним нас привела великая учительница — Жизнь. А она, наша жизнь, была увлекательнейшей, интересной, хоть подчас и полуголодной. Неважно, что мы ходили или в брезентовых скаутских штанишках, или же в самых дешевых «пумпхозах» — хлопчатобумажных, немецкого производства, штанах чуть ниже колен, выдерживавших от силы полгода. У одного Севы были чудесные австрийские шортики из «чертовой кожи» на подтяжках. Но ведь он — наш художник![6]

Походы... Лагеря летние, лагеря зимние — палатки в снегу... Шагает кучка ребят в десять-пятнадцать человек. Бодро, весело, с песнями... Излюбленным местом была гора Авала, в двадцати километрах от Белграда. За нею находилась большая полянка среди вековых буков и дубов. Рядом — источник с ледяной водой. Вывешивали «приказы» — распорядок дня и ночи, с распределением должностей и дежурств: кому сегодня поваром, кому — ответственным за порядок в лагере, кому и в какие часы дежурить ночью у костра... Полная самостоятельность! Каждый из нас становился то ли «краснокожим», то ли Тарзаном... Я и некоторые другие, как Шурик Акаловский, предпочитали сплетать себе ложе в кроне деревьев, повыше над землей, нечто вроде гамака, и там спать. Днем — сигнализация флажками, свистками, игры, хождение и бег по азимуту — по компасу и карте... Вечером, у костра — целые концерты с интермедиями, миниатюрами, пантомимами, песнями... И, конечно, с обязательным индейским жертвенным танцем, с «Журавлем» (частушками)... Вспоминаю и улыбаюсь, и бодрею: как прекрасна жизнь! А ведь, бывало, вставали в четыре утра, чтобы проделать эти двадцать километров пешком, поиграть в футбол, другие игры, побыть хоть немножко (если поход однодневный) у костра, и поздно ночью вернуться домой! Как приятно было чувствовать, что наливающиеся мышцы «мешают ходить»! Участвовали мы и в «джембори» — международном слете скаутов в Топчидере. Затем нашу организацию оживили и прибывшие из Сараева скаутмастеры Б.Мартино, В.Пелипец и Малик Мулич; в противовес нашему, появился их журнал «Мы», отпечатанный на ротаторе.

* * *

Окончив гимназию, я поступил в медицинский институт Белградского университета. На первое время снял комнатушку в трущобном районе Ятаган-Мала. Казалось, начинается светлый путь обучения с приобретением твердой, благородной специальности на благо людям, путь, который избрал сам и по которому пройдет спокойная, полезная жизнь.

Но вот пронеслись продавцы газет. Размахивая ими, они неистово выкрикивали: «Германия напала на Польшу... Она обвиняет Польшу в ...» Я схватил газету. Как-то неясно, сбивчиво объяснялось, что в отместку за польскую диверсию немецие войска вошли в Польшу. На следующий день было опубликовано заявление Италии, что она-де «остается вне войны». Великобритания и Франция требуют немедленного прекращения военных действий и вывода немецких войск из Польши.

По радио из Берлина прорывается голос Гитлера. Говорит он быстро, сильно картавя и часто до выкриков повышая голос. В ответ — рев многочисленной толпы, ее дружные и частые восторженные возгласы «Зиг хайль!». Это действует устрашающе. Будто огромная стая тысяч озлобленных волков гонится за тобой, вот-вот настигнет, а у тебя или совсем нет сил, или они на исходе, и ты еле-еле, на последнем дыхании, уносишь ноги...

Новые сообщения: 3-го сентября 1939 года, Великобритания объявляет ультиматум Германии. То же, несколькими часами позже, делает и Франция. В душе облегчение: теперь Германия одумается, и конфликт будет ликвидирован. Нет, ультиматум не достигает цели, и Англия с Францией встают на защиту Польши. «Молодцы!» — думаем мы. Сдержали свое слово, стали на зашиту! Теперь-то они быстро обуздают зарвавшийся наглый фашизм. Ну что может какая-то там Германия против двух столь мощных держав?! Что будет дальше? Гитлер добивался Силезии, потом Данцигского коридора. Ему во всем уступали, ублажали... Доублажались! У моих сербских друзей давно было недоверие и неприязнь к «швабам»...

США объявляют о своем нейтралитете. И, действительно, какое им дело до какой-то там далекой от них Европы!

Немецкие войска углубляются в Польшу. 15-го Варшава отклоняет предъявленный ей ультиматум о капитуляции — поляки все еще верят в действенную помощь Англии и Франции.

Героический народ! Вот только непонятно: почему они не просят помощи у великого соседа? Ведь еще немного, и гитлеровцы их раздавят! И тут неожиданное сообщение: части Красной Армии тоже вступают в Польшу! Сообщают, что, мол, «по-дружески», без единого выстрела! Очевидно, Советский Союз решил-таки помочь своему слабенькому соседу. Как благородно!

19-го, чтобы избежать, как мы считали, конфронтации с мощным Советским Союзом, Гитлер умеряет свой пыл и останавливает продвижение войск. 28-го Варшава капитулирует, правительство бежит в Румынию. Туда же тянутся, не желая попасть в плен, остатки польской армии. Все произошло так молниеносно, что большинству польских войск так и не довелось участвовать в боях.

Газеты полны схем, планов военных действий, сообщений о советско-германском пакте о разделе Польши. Вот оно что! Гитлер и Сталин, выходит, заранее обо всем договорились! Национал-социализм с коммунизмом? Не предательство ли это? — В голове не укладывается! В газетах новая схема: границы некоего нового «тампонного» государства, с Варшавой в центре, разделяющего сферы соприкосновения и влияния. Военные действия прекращены, страсти утихают. Затем возникает еще ряд пактов «о взаимопомощи и ненападении» между СССР и Эстонией... Латвией... Литвой. Прибалтийские страны предоставляют СССР опорные базы на своих территориях, в своих портах. Но Финляндия от предложенной ей «взаимоподдержки» отказывается.

Мир напуган. Но тут проносится слух, что Гитлер в своей речи в Рейхстаге 6 октября предложил мир Западу. И действительно: «на Западном фронте без перемен»! Друг против друга мирно располагаются и бездействуют две фортификационные линии: линия Мажино, чудо современной техники, и незаконченная линия Зигфрида. Умудренные политиканы — сербские крестьяне — и те не способны разобраться, что к чему. А через румынскую границу к нам, в Югославию, идут и идут большие и малые группы бывшей польской армии: они торопятся во Францию через Грецию, через Адриатику, чтобы там влиться в «действующую против общего врага» французскую армию и с ней продолжить борьбу.

Все предыдущие годы в гитлеровской Германии происходило не только наращивание военного и экономического потенциала, но и систематическая идеологическая обработка и фанатизация умов, начиная с юношества. Гитлер стал Мессией, его книга «Майн Кампф», как и предполагал мой отец, — библией национал-социализма. Рупором его стали министр пропаганды Геббельс, а затем Геринг и Гиммлер. Базой — бюргеры, мелкие промышленники, торговцы. А над всем этим стояли крупнейшие киты — промышленные концерны. Все они нацеливают на Восток, исполненные заветной мечтой реваншизма и колониализма — «Дранг нах Остен». И вдруг... договор, мирный раздел сфер влияния! Совершенно неправдоподобно!

* * *

Наконец-то блеснуло счастье: «Союз студенческой молодежи» предоставил мне место в общежитии! Сеняк, окраина Белграда, на улице Косте Главинича. И вот, после занятий по гистологии в лаборатории, размещавшейся в «Старом Университете», напротив «Управы Града Београда», а проще — жандармерии — «Главнячи», я отправился на новое местожительство.

В комнате на втором этаже стояло семь коек. Из жильцов пока никого не было. Пристроившись у своей тумбочки, я стал перерисовывать начисто все, что увидел в лаборатории через микроскоп, — строение клетки печени.

В комнату вошел приземистый студент, видимо, старожил. Я привстал, представился:

— Студент первого курса медицинского, Александр!

Тот глянул на меня изучающе и, молча кивнув вместо ответа, прошел к своей койке. Продолжая свою работу и сидя поэтому спиной к комнате, я слышал, как он разделся, открыл тумбочку... «Буль-буль-буль...» — услыхал я, как что-то льется. Затем приближающиеся шаги и... бух! — стукнула поставленная передо мной, рядом с чертежом, алюминиевая поллитровая кружка, до половины наполненная красным вином. Я обернулся: рядом, в одних трусах, стоял этот старожил с очень волосатой и широченной грудью. С полупустой бутылкой.

— Пей! — не терпящим возражения тоном сказал он.

Я достал свою кружку и поставил рядом. Незнакомец удовлетворенно хмыкнул и опорожнил в нее остаток бутылки. Мы чокнулись и выпили залпом.

— По нашей традиции только так положено знакомиться!— изрек он поучительно. — Я — Борисевич. Но здесь меня величают «Полковником». Студент четвертого курса медицинского. Приятно, что мы — коллеги. Подрабатываю боксом, о чем говорит моя переносица.

При этих словах Полковник пальцами сперва расплющил свой нос, затем растянул его и кончиком коснулся одной, затем другой щеки. «Виртуоз!» — восхитился я.

— Парень ты здоровый. Вдобавок, первокурсник. Будешь у меня «мешком».

— Чем-чем? — не понял я.

— Мешком! — повторил он. — Это снаряд такой, но нет денег на его приобретение, да и вешать негде. Я на тебе тренироваться буду... И тебе полезно, и мне необходимо, чтоб не терять формы.

— Я же в боксе ничего не смыслю! — попробовал я увильнуть от такой не очень-то приятной перспективы.

— Эт-т-то ни-че-го-о-о! — растянул Полковник. — Я тебя подучу. Совершенно бесплатно. Да еще при каждой моей победе на ринге тебе будет причитаться четверть моей премии.

Тут дверь отворилась, и в комнату ввалилась шумная ватага, — пришли постояльцы. Впереди — маленький, с огромной лысиной и длинным носом на бледном лице, студент. Остановился как вкопанный, начал водить носом во всех направлениях, смешно вытягивая вверх и чуть вперед свою гусиную тощую шею:

— Чую-чую-чую!... Чую неповторимый запах присутствия Бахуса, да будет благословенно имя его во веки веков, аминь! — произнес он торжественно и, как ищейка, стал на цыпочках подкрадываться к моей тумбочке. Заглянув в наши пустые кружки, он с явным осуждением уставился на нас и произнес с напускным негодованием:

— Нет, я вас спрашиваю: что это значит?.. Без общепризнанного «ксендза» и его благословения вы осмелились своим одиночеством осквернить величайшее таинство?! Немедленно

же оплатить индульгенцию и приступить к покаянию! На всех законных основаниях, согласно параграфам уголовного и общественного кодекса, священнейших правил нашей кельи приказывает вам это всеми единогласно избранный ксендз, студент четвертого курса юридического факультета, любимец и последователь гениальнейшего оратора всех времен — Марка Туллия Цицерона. Того Цицерона, который вежливо, но убедительно, обращаясь к сенаторам и называя их «патрес конскрипти», в речах своих — «орацио прима, секунда, терциа и кварта» — требовал изгнать хитрейшего и коварнейшего Катилину или, ну, хотя бы обезглавить его ликторами... Да будет мир праху твоему, мой великий праотец и учитель!.. Итак, я жду!

Пока Ксендз произносил эту длинную и витиеватую речь, Полковник успел извлечь из своих брюк тощий кошелек и торжественно звякнуть о тумбочку металлическим динаром. Скрепя сердце, положил и я, как виновник торжества, два динара. Это вызвало всеобщее одобрение, и каждый внес свою долю. Я, как новичок, а следовательно неопытный, был оставлен в комнате вместе с предусмотрительно ранее раздевшимся Полковником: ждать, пока тот натянет одежду, буйная ватага отказалась:

— Сами справимся! — и за ними захлопнулась дверь.

Прошло часа два. На лестнице вновь послышался веселый шум, смех, и дверь распахнулась. В комнату протискивался столбик из трех-четырех плетеных стульев, вдетых один в другой. Такие обычно стоят на улицах за столиками у небольших кафе. Это маленький, веснущатый, с очень подвижным лицом студент третьего курса агрономического, по кличке «Маймун» (мартышка), удачно провел экспроприацию дополнительной мебели для нашей комнаты.

За ним появился столбик из фарфоровых пепельниц и картонных пивных подставок, которыми жонглировал студент третьего курса физико-математического, по кличке «Дон-Жуан»: он был чуть выше среднего роста, довольно приятной наружности, с красивыми волосами и с тоненькими усиками под прямым римского профиля носом. Звали его Тошей.

Затем появились три еще дымящихся круглых подовых буханки, распространявших неповторимо аппетитный запах. Это ловкий студент второго курса химического, по кличке «Алхи-

мик», воспользовался моментом, когда пекарь, орудуя у печи и подсаживая выпеченные хлебы на деревянную лопату с длинным черенком, вынужден был открыть витрину на улицу. Лежавшие на прилавке буханки оказались в пределах досягаемости рук Алхимика и были им «схимичены».

Последним вошел Ксендз, и на столе выстроились три бутылки вина. Кто-то добавил кусочек колбасы, кто-то сыра, кто-то открыл консерву с паштетом. Так начался праздник новоселья. Говорились витиеватые тосты, пожелания, напутствия. Длинные и краткие речи... А то, что из-за подобных затрат мы на четыре-пять дней не дотянем до очередной стипендии, никого не удручало: общими усилиями как-нибудь да выкрутимся. А нет, то и перетерпим. Бывалые студенты привыкли к вечному недоеданию, которые нес с собой учебный год. Не всегда удавалось подработать случайной работой: носильщиками, статистами в театре, грузчиками... В трудные минуты выручал юмор, оптимизм, желание посмеяться над окружающими, позлорадствовать над скучными людьми, живущими в достатке, но как серо! «Веселее, веселее! Все заботы прочь!..» — было лейтмотивом прощальной песенки гимназиста-абитуриента, и он сопровождал его и всю последующую жизнь.

Нормы дров, выделяемых на сутки, хватало лишь на несколько часов. Но именно ночью студенты занимались, писали, чертили. Руки должны были быть теплыми, пальцы — гибкими. И вот придумали: перед общежитием улица была вымощена кубиками смолистого дерева. Вооружившись жигалом и кочергой, мы эти кубики «выкорчевывали» из-под снега и льда. Горели они превосходно. Но весной, когда снег сошел, на дороге перед общежитием зазияла огромная «лысина»!

* * *

Веселая и трудная студенческая пора! Вспоминаю несколько эпизодов.

Решение пошутить возникло внезапно. Впрочем, «экспромт» — залог всякой удачной выдумки. Захотелось поиздеваться над «стражами порядка» — жандармами.

Кто-то увидел лестницу. Лестница как лестница, — почему бы не привлечь ее, сделать из нее атрибут нашей выдумки? Уговорили хозяина дать нам ее напрокат.

Суббота, темная ночь. Из глухого переулка на чуть освещенную улицу выскакивает подозрительная личность. Воротник поднят, фуражка насунута по самые уши, ее длинный козырек скрывает черты лица. Субъект опасливо вглядывается в одну сторону улицы, в другую. Затем призывно машет рукой и бесшумными, кошачьими шажками перебегает к следующему перекрестку.

Из переулка, откуда он только что вынырнул, появляется странная процессия: длинная лестница, которую за концы несут два таких же подозрительных типа. Они останавливаются в ожидании и, как только первый поманил их, пружинистыми шажками бегут к нему. А тот уже у следующего перекрестка. На углу, откуда только что вынырнула процессия с лестницей, показывается тень четвертого. Внимательно оглядев «тылы», дает знак вперед, — «всё, мол, в порядке!», и бежит вслед.

От перекрестка к перекрестку перебегает эта странная компания с лестницей. Миновали второй, третий... пятый...

Сзади на миг блеснула кокарда. Еще одна блеснула справа. Затем — слева. Количество кокард увеличивается. И вот субъекты окружены:

— Ага! Попались, миленькие! — злорадствуют, крепко держа пойманных, жандармы и препровождают их в участок. Лестницу велят занести во двор. Затем входят в дежурное помещение. Там, как и положено, бодрствует капрал:

— Ну, рассказывайте: кого это сегодня грабить собирались? В чью квартиру залезть? На какой улице, каком этаже? Номер дома?

— Извините, господин капрал, но мы просто прогуливались...

— Как это «прогуливались»? С лестницей, что ли?

Хоть лицо капрала и злое, но он доволен: именно на его дежурстве такая удача — предотвращен опасный грабеж. И настроение у него благодушное. Ему мерещится похвала начальства, возможно и поощрение в виде денежной премии. Можно чуть-чуть развеяться, поиграть в эдакого Шерлока Холмса. Нет необходимости в немедленном мордобое, — для этого еще будет время!

— Ну так как? Будете добровольно признаваться, или вам помочь?

— Да что с ними разговаривать! — встревает в допрос один из постовых. — Мы их поймали с поличным...

— С каким таким «поличным»?! Мы решили погулять. А это законом не запрещается, — протестуют пойманные.

— Ишь ты какие! «Законом не запрещается»!.. Я вам сейчас такой закон пропишу!.. А ну, давайте ваши документы! У вас их, конечно, нет?

— Почему же... Вот, пожалуйста.

Задержанные вынимают и кладут на стол свои студенческие удостоверения. Капрал берет одну книжечку, другую... Выражение его лица меняется: вместо торжества в нем появляется растерянность и недоумение. Сличает фотографии с лицами задержанных. Все-таки не верит:

— Гм... студент четвертого курса медицинского... третьего юридического... студент агрономического... Ну и салат!

— Да чего они мозги пудрят! — возмущаются постовые, — студенты! Ха, ну и что? Мы за ними несколько кварталов следили. С такими уловками идут только грабители! Да и лестница, — разве это не доказательство их преступных намерений? Мало ли, что студенты! Подумаешь! И они могут грабить. Запереть их, а там пусть начальство разбирается!..

— А у вас есть ордер на арест? — переходят в наступление студенты.

— У нас достаточные улики: была лестница? — Была! Тащили ее ночью? — Тащили!.. Сейчас запрем вас, а утром разберемся.

— Так не пойдет! — не сдаются студенты, — согласно статьи такой-то уголовно-процессуального кодекса, вы имеете право задержать лишь по распоряжению начальника участка. Вот и вызывайте его! И студент третьего курса юридического дословно цитирует соответствующую статью кодекса, указывая даже страницу, где она фигурирует.

Капрал растерян: он прекрасно знаком с этой статьей.

— Начальник отдыхает: уже половина второго ночи!

— Тогда верните лестницу и отпускайте!

При упоминании о лестнице дежурный решается:

— Нет! Лестница — улика. И он посылает будить начальника. Тот спускается, на ходу застегивая пуговицы мундира:

— Что у вас тут стряслось? — спрашивает он раздраженно.

— Да вот, господин поручик, поймали тут четырех с лестницей. Крались по улицам кого-то грабить. Оказались студентами...

— Студенты? Ну и что? Раз их поймали, значит — посадить!

— Они требуют соблюдения всех формальностей. Один из них — студент юридического.

Поручик нехотя просматривает документы. Да-а, тут явно торопиться не стоит, неприятностей не оберешься.

— Странно... Что вы делали ночью с лестницей?

— Понимаете: она давно, бедненькая, стояла и скучала. Смотрим: день стоит, ночь стоит... Второй день, неделю... Все стоит и скучает. И стало нам ее жалко. Вот мы и решили взять ее погулять — пусть развеется.

— Как это «погулять»? — не может понять офицер.

— Мы же вам растолковываем: она, бедная, давно скучает в одиночестве. А мы, как кавалеры и джентльмены, решили ее хоть чуть-чуть развлечь. Она же женского рода, и ей надо оказывать внимание...

Жандарм недоуменно хлопает глазами. Обретя дар речи, опять набрасывается на студентов:

— Слушайте вы, «джентльмены»! Бросьте мне голову морочить! Где вы ее взяли, с какой целью и куда тащили?

— Никуда мы ее не тащили, а вежливо прогуливали. Вот адрес ее хозяина... Он нам сам разрешил и подтвердит это.

Поручик долго всматривается в лица студентов, постукивая пальцами по краешку стола. Остальные стражи притихли, стали переглядываться, затем кто-то фыркнул. Неожиданно для всех, поручик громыхнул раскатистым ржанием и схватился за живот:

— «Женского рода»... лестница... Ха-ха-ха!.. Во-о, дают!.. «Джентльмены-кавалеры!» «Погулять» взяли!.. «Барышню» нашли!.. Ха-ха-ха!..

Успокоившись, приказал:

— Перепиши фамилии этих «джентльменов»! Пусть забирают свою дурацкую «лестницу женского рода», ха-ха-ха! И пусть уматывают отсюда, пока я не передумал!...

...Не прошло и часа, как нас таким же порядком водворили в соседний участок. К нашему удивлению вместе с дежурным нас встретил и сам начальник, разбуженный, видно, совсем недавно:

— А-а-а, студенты со своей «барышней» пожаловали! — задрыгался он в смехе: — Ну-ну!.. Давайте-ка, поглядим на нее!..

Растерянные и ничего не понимающие «ловцы грабителей» провели начальника во двор к приставленной к стене лестнице.

— Она!.. Та самая!.. Ха-ха-ха... Что ж, продолжайте ее прогуливать хоть всю ночь, раз вам охота побалдеть! Только предупреждаю: вас больше никто задерживать не будет! Все участки и новая смена постовых поставлены в известность, так что «прогуливайте» ее, сколько вам угодно!.. Гуляйте на здоровье!

Но гулять больше не хотелось... Ловко все-таки работает жандармерия! Обдурили-таки нас! Оказывается, тоже обладают чувством юмора!

* * *

...Было пари, студенты любят заключать пари! Так вот: прогуляется ли кто-нибудь из нас с ночным горшком на голове? По главной улице!

Улица Князя Михаила — «корзо», то есть прогулочная улица, в центре столицы. Начинается она у площади Теразие. Как и водится, слева и справа — маленькие магазинчики, многочисленные кафе. Тротуары забиты гуляющими.

В магазин фарфоровых изделий вваливается группка студентов.

— Дайте мне, пожалуйста, вот тот горшочек! — указывает один из них на ночные горшки на полке. Продавец подает. Студент тщательно расматривает его:

— А с другим цветочком у вас не имеется?

Подают с ромашкой.

— А с чем-нибудь голубеньким? Вроде незабудочки?

С трудом продавец подыскивает ему нечто подобное.

— Очень мило, подходяще! — и студент снимает свой головной убор и вместо него пробует надеть на голову горшок.

— Вы знаете, немножко жмет... Нет ли у вас чуть большего диаметра? И хорошо бы, чтобы с двумя ручками... И поля чтобы пошире...

Подают один за другим различные горшки. Продавец растерян, но услужлив, улыбчив по-прежнему: он обязан услужить покупателю, какие бы у того экстравагантные и непонятные требования ни были. Покупатель должен быть удовлетворен, иначе ему грозит от хозяина разгон вплоть до лишения места работы. Магазин уже полон: сюда скапливаются ротозеи с улицы. На улице, с той стороны, к витрине приникла целая толпа: с удивлением глазеют, как перед зеркалом какой-то чудак-покупатель примеряет к голове ночные горшки! Невиданное доселе зрелище! Прелюбопытнейшее! Чем оно кончится?..

— Заверните!.. Нет не покупку, а мою шляпу! — наконец произносит студент, расплачиваясь. После того, как в последний раз посмотрел на себя в зеркало и наклонил горшок чуть набекрень, «покупатель» выходит. Толпа расступается и уважительно пропускает его впереди себя.

Медленно по улице движется «пробка» — ни пройти, ни проехать. Впереди — человек с ночным горшком на голове, сзади — толпа зевак. Движение парализовано: можно идти лишь вместе с пробкой, по ее течению. Жандарм растерян: вроде бы никакого нарушения, и в то же время... Подходит к человеку с горшком на голове:

— Извините... Но я бы попросил вас снять, гм... то, что у вас на голове!

— А зачем мне снимать мой головной убор?

— Видите ли, за вами из-за него столько народу собралось...

— При чем тут я? Если народу не разрешается собираться, на это должен быть соответствующий декрет...

— Да нет, я не то хотел сказать. Но...

Неизвестно, чем бы кончились дальнейшие пререкания, но тут подскочил какой-то шустрый господин и с величайшей любезностью пригласил нас четверых в свой ресторанчик: на бесплатный ужин! Через минуту все столы в ресторане были заняты! А раз ты сел, то, хочешь не хочешь, а заказывай! Такой здесь порядок! Хорошо поев, с полными желудками, мы распроща-

лись с гостеприимным хозяином и отправились домой. Уже без горшка, подаренного ему на память...

* * *

Жители близ площади Славия обратили внимание на кучку студентов. Они стояли плотным кольцом и о чем-то таинственно совещались. По временам оттуда доносился смех. Особенно горничные были заинтригованы: они знали, что такие сборища молодых людей обычно заканчиваются веселыми проказами. Студенты что-то надумали, что? Как бы не прозевать их забавной проделки! Через пару часов стало известно, что студентами нанята напрокат витрина бывшего магазина. В самом центре! С четырех и до восьми утра! Там что-то произойдет! Часам к шести у витрины собралось уже несколько любознательных девушек-горничных. Точно: внутри — кровать и стул. На кровати, под одеялом кто-то сладко спал. А на стуле, метрах в трех от нее, был развешен весь гардероб: ботинки, носки, вся одежда, куртка и... трусы! И трусы! Всем стало ясно: студенты решили подшутить над каким-то их товарищем. Видимо, подпоили его до потери сознания, притащили сюда, наголо раздели и уложили спать. Бедняга, как же он теперь выпутается из такого положения?

Некоторые горничные быстренько побежали предупредить своих подруг и хозяек. Народу стало прибывать, ведь впереди ожидается преинтереснейшее зрелище! Уже восьмой час, некоторым хозяйкам пора собираться на работу. Как бы поторопить, разбудить спящего? Потихонечку стали постукивать по стеклу витрины. Никакой реакции! Уже без десяти восемь! Стучать стали сильней. Из-под одеяла показывается голая рука, затем голова юноши. Он оглядывается кругом, на лице недоумение. Видно, как он под одеялом ощупывает себя, затем его взгляд падает на стул с одеждой, обращается к витрине, к скопищу людей. На лице нечто вроде ужаса. Жестами показывает публике на стул, на себя, просит разойтись: «Я же — голый! Разойдитесь, дайте мне дойти до стула, взять одежду!» — говорит его умоляющий взгляд. Смотрит на свои часы, показывает, что ему надо торопиться на занятия...

— А нам, думаешь, не надо?.. Нам тоже на работу давно пора! Одевайся поскорее!

Разговор мимикой продолжается. В публике злорадный смех: «Ага, попался! Ловко это тебя друзья облапошили! Давай, давай, вставай! Не зря же мы столько ждали!»

Все знают, что витрина нанята лишь до восьми. Значит, через минуту-другую произойдет самое-самое интересное. Как этот студент выкрутится?

Да, он уже сердится. Еще раз просит хотя бы отвернуться. «Э-э-э, брат, нет! Не зря же мы здесь столько топтались!..»

«Ну что ж, в последний раз прошу!» — угрожающе показывает пальцами «Раз!», жест рукой — «Разойдитесь!»... «Два!»... На «три» он сбрасывает одеяло, идет к стулу, берет одежду и спокойно уходит. Он был полностью раздет, но в майке!..

Сколько было таких проделок, которые согревали, вселяли оптимизм в самые тяжелые минуты жизни, воспоминания о которых не давали впадать в уныние!

* * *

Счастливое, почти беззаботное студенческое время, где ты? Наша комната была скроена из бескорыстной чистой дружбы. Все делилось, друг другу помогали. Взять хотя бы наш общий выходной костюм! Своего рода достопримечательность, «уникум». Он был составлен, помнится, из Тошиного («Дон Жуана») пиджака (с архитектурно-строительного, по фамилии Соболевский), брюк «Полковника» Борисевича, рубашки Коли Доннера (с юридического), галстука Пети Мартынова (с агрономического), полуботинок Володи Случевского (с электротехнического), целлулоидных воротничка и манжет с запонками Ростика Москаленко-«Ксендза». Полуботинки были новенькие. Хоть и «безразмерные», но одним жали, у других «хлюпали». Тогда разрешалось продевать в задник шнурок и завязывать его спереди щиколотки, и он служил им своего рода подтяжками. А если заставал на гулянке дождь, то, ничего не поделаешь, чтобы не подпортить, их снимали, прятали под плащ, возвращались босиком. А носки! Они у нас были трехсрочными: первую протертую дыру на пятке спускали под ступню, и они становились первого срока. Так же поступали и со следующей — второй срок. Третий и последний срок — когда носки переворачивали дырами вверх. К нашему единственному на всех выходному костюму отношение было самое что ни на есть нежное, почти благоговейное. В

выходные носили его по строгому графику, придирчиво следя за его чистотой. Воротнички и манжеты всегда хранились готовыми к употреблению: чистыми, надраенными мелом. Рубашки долго не выдерживали, и часто приходилось, несмотря на жару, оставаться в гостях в пиджаке и потеть, лишь бы скрыть, что рубашка твоя — дыра на дыре...

Бывали и хитрости. Однажды, потянув за ручку смывного бачка в туалете, я поразился, что вода еле стекает. И тут из трубы показался кончик носка. «Ксендз», оказывается, придумал оригинальный способ стирки нижнего белья: пересыпав стиральным порошком, загружал его в бачок: будут, мол, дергать за ручку, и белье будет ополаскиваться и «самостираться» без затраты на то сил и энергии!

Спать ложиться часто приходилось натощак, чтобы сэкономить деньги на завтрак. Это не всегда удавалось: желудок настойчиво требовал своего и засыпать не давал. Приходилось вставать, будить нашего «лавочника», тоже студента, и просить отвесить 30 граммов колбаски и граммов 100 хлеба. Все равно сон был беспокойным: терзали мысли, что теперь без завтрака придется отсидеть лекции, стараясь не отвлекаться мечтами об обеде... Что ни говори, а вспоминаешь это время с большой теплотой и гордостью!

* * *

Условия для занятий были крайне тяжелыми. Много предметов требовало практических занятий в специальных лабораториях: гистология, остеология, химия, биология, морг. А лаборатории были разбросаны в разных концах города. Кроме практических, читались и лекции, тоже в разных аудиториях города. Расписания же составлялись с учетом удобств профессуры, но никак не студентов. Подчас было совершенно невозможно присутствовать на всех занятиях. И многие студенты волей-неволей становились «вечными», обремененными «хвостами», не сданными вовремя зачетами и экзаменами. Им приходилось учиться не пять, а восемь-десять лет. Перспектива на будущее представлялась в очень туманном свете. И студенты стали требовать уважения и защиты их прав. Демонстрации с требованиями улучшения жизни проводились совместно с рабочими, а подготови-

тельные к ним сходки проходили под Белградом, часто на седьмом километре лесопарка Кошутняк.

Газеты «Политика» и «Время» сообщали о новых и новых изменениях и перекройках карты Европы.

Все балканские страны, кроме Югославии и Греции, оказались втянутыми в «ось Рим—Берлин—Токио»: и Италия, и Япония примкнули к агрессивной политике Гитлера. Надолго ли Югославия останется нейтральной? Раздираемая внутренними противоречиями, особенно национал-шовинистическим «Хорватским вопросом», она походила на страну, сотканную из взаимоисключающих разногласий: правительство выступало за союз с Германией и Италией, армия тяготела к Англии, а население Сербии, всегда тянувшееся к России, не скрывало своих симпатий к Советскому Союзу; в то время, как хорваты устремляли свои взоры к соседу — Третьему Рейху. В чем же причина такого антагонизма? Язык-то один! Да, язык один. Но сербы пять веков находились под Османским игом, а хорваты — под Австро-Венгрией. Поэтому последние и считали себя более европейцами и намного культурней. Да и религии разные: первые — православные, вторые — католики.

События набирали темп. 30 ноября 1939 года вспыхнула война между Финляндией и СССР. 14 декабря Лига Наций назвала Советский Союз агрессором и исключила его из своего состава.

На Западном фронте продолжалась «ля дроль де герр» — странная, до смешного странная война: никаких боевых операций, всё так же «без перемен». Кинохроника и недельные обозрения восхищаются жизнью гарнизона линии Мажино. Там — частые концерты. Перед солдатами поет и танцует знаменитая негритянка Жозефина Беккер. От скуки солдаты перед дотами на нейтральной полосе разводят огороды. Иногда, тоже от скуки, постреливают в сторону линии Зигфрида. Мирная, благодатная жизнь при состоянии войны!

В марте французский кабинет Даладье подал в отставку. Премьером становится Рейно. Может, хоть сейчас что-нибудь изменится?

Не знаю, как там на Западе, а вот у нас изменилось: накалилась обстановка. На улицы чаще выходят студенты с рабочими.

Кроме требований улучшить условия жизни, труда, быта, учебы, появились и политические лозунги: «Долой фашизм!», «Долой конкордат!» (договор с Ватиканом о слиянии католической и православной церквей — унии, с особыми правами католикам). Конная жандармерия врезается в колонны демонстрантов. С главной улицы Короля Милана демонстранты бегут к площади Славия, к Макензиевой, Шумадийской улицам... На головы сыплются удары «пендреков»-дубинок, сабель... Раздаются выстрелы, кровью обагряются улицы. Раненые, убитые... Убегавшего с демонстрации по случаю похорон убитых студентов, меня схватили с последней оставшейся листовкой. Трое суток дубасили в «Главняче». Но я — новичок, всего одна листовка. Занесли в черный список и выбросили на улицу. Теперь я исключен из университета. Но это сейчас не имело особого значения: сам он распущен на неопределенное время! Черную страничку в истории заполнил жандармский генерал Петр Живкович, ставший министром внутренних дел!

9 апреля немцы оккупируют Данию, затем высаживаются в Норвегии. Успехи никем и ничем не сдерживаемой агрессии Гитлера все больше будоражат умы в Югославии, разжигают шовинистические страсти. Хорватия получает автономию. «Бан» (глава) Шубашич и Мачек — во главе. Проскальзывают сведения о хорватской фашистской организации «Усташи» и об ее организаторе — Анте Павеличе, находящемся в Италии. И у нас в Белграде стала появляться газета «Борба» Льотича. Название такое же, как у книги Гитлера. Не профашистская ли?

Оживились и русские эмигрантские организации, особенно НТСНП — Национально-Трудовой Союз Нового Поколения. Он стал активизировать подготовку и засылку агентов-агитаторов в СССР.

10 мая фронт на Западе пришел в движение. 13-го немцы, повторив маневр первой мировой войны и обойдя линию Мажино, прорвались в Бельгию у реки Маас, между Намюром и Седаном, и покатились вперед. Тут же капитулировали голландцы, а затем и бельгийская армия. 27-го англичане, бросив все военное снаряжение и на произвол судьбы покинув своих союзников, благополучно эвакуируются из Дюнкерка. Эти «девять дней, которые потрясли мир», — дни эвакуации — вошли в ис-

торию Англии как «небывалый героизм». Через 48 дней капитулировала Франция. Вот тебе и великие страны, вся наша надежда! Помощи нам не ждать, а войны не миновать!

* * *

Итак, я больше не студент. Что делать? И я вернулся в Косовскую Митровицу. Несколько месяцев проработал на руднике «Трепча». Отец помог обзавестись хорошими характеристиками, и в октябре 1940-го я поступил в офицерское училище, расположенное на Банице, близ Белграда, — в «Низшую Школу Военной Академии».

* * *

А Гитлер все не унимался. Его войска вошли в Румынию, а итальянцы в конце октября напали на Грецию. Теперь и наши друзья-греки втянуты в войну, она подступила к нам вплотную. Греки стойко сопротивляются. Их генштаб сообщает, что в ноябре в горах Пинда разбито несколько итальянских дивизий. Немудрено: итальянским солдатам нечего было искать в Греции. Да и воевать, неизвестно зачем, не было желания! Рассказывали, что греки, имея лишь устаревшее вооружение (как, впрочем, и мы), сбрасывали со своих «авионов» модели 1925 года — Потезов и Брегэ, вниз, на итальянские полки, связки пустых консервных банок. В полете они производили страшный визг. Не зная, что это такое, итальянцы в панике распластывались на земле, закрыв голову руками. А греческие партизаны врывались в их ряды и подбирали оружие! И таким способом, оказывается, можно неплохо вооружаться!

15-го гитлеровцы совершают воздушный «рейд устрашения»: их бомбардировщики стирают с лица земли английский город Ковентри. Варварская акция! В отместку английские самолеты бомбят Берлин и несколько аэродромов Рейха.

В конце сентября к тройственной «оси» присоединяются Румыния и Венгрия. Всё! Теперь Югославию прочно сжали в тисках! Ни охнуть, ни вздохнуть!

В училище мы полностью отрезаны от гражданской жизни: «Армия — вне политики!» Но... сама жизнь шла наперекор этой устарелой установке. 25 марта 1941-го министры Цветкович и Цинцар-Маркович подписали в Вене пакт, по которому Югославия, «как друг», обязывалась пропустить через свою террито-

рию немецкие войска на помощь увязшим в Греции итальянцам. «Предательство! Мы вас кормим, одеваем, а вы, наше войско, неспособны защитить нашу честь!» — негодовали белградцы и стали метать в проходивших офицеров камни. Увольнения в город прекращены. А 27 марта был совершен военный переворот, в котором участвовало и наше училище. Им руководил генерал авиации Симович.

Правительство принца Павла свергнуто, он бежал, пакт разорван. Объявлено, что главою страны отныне будет сын Александра — Петр II.

В корне изменилась структура преподавания в училище. Так, на лекциях по «Военной географии» нас стали знакомить со стратегически важными объектами и точками не только с этой, но и с чужой стороны границы.

В городе, под звуки громкоговорителей, транслирующих одну за другой патриотические песни и маршевую музыку, ликующие толпы скандировали: «Боље рат, него пакт!» (Лучше война, чем пакт!) То же происходило и в училище, хоть никто и не обольщал себя исходом войны: «Лучше мертвый лев, чем живая собака!» Сохранение и защита чести — превыше всего. Мы чувствовали себя связанными дружескими узами и обязательствами с греками и были горды, что не предали их в критическую минуту, — отказались пропустить немецкие войска.

Пятого апреля к нам въехала автомашина с советским флажком. Из нее вышел и в сопровождении встречавших прошел в училище генерал в простом кителе — советский военный атташе. Мы мигом обступили водителя, угостившего нас папиросами «Беломорканал». Конечно, мы бережно спрятали этот «сувенир» из страны, которую чтили, хоть ничего о ней толком и не знали. «Мајка-Русија» (Мать Россия)! Великая наша мать, не раз протягивавшая свою руку помощи. Она помогла свергнуть пятивековое османское иго, сохранить веру, обрести свободу и независимость. И вот она опять с нами, в самый критический момент: со всех сторон мы окружены врагами, лишь коротенькая южная граница соединяет нас с гордой свободолюбивой Грецией, единственным нашим другом и союзником.

Нам сообщают, что сегодня подписан договор с Советским Союзом о взаимопомощи, и что 150 советских дивизий готовы

сразу же ринуться на нашу защиту. Именно так было сказано начальником училища — генералом Гужвичем. Мы окрылены: не все потеряно, мы не одни! Завтра всем нам дадут увольнение в город, которого несколько недель мы были лишены из-за неспокойной обстановки. Через две недели Пасха! Погуляем, как следует!.. Призрак войны отошел на задний план...

Воскресенье, 6 апреля. Настроение приподнятое. Надраиваем бляхи с раннего утра: после завтрака — смотр и... увольнение. Правда, выглядим мы не так парадно: наши красные галифе и синие кителя сменила униформа цвета хаки, вместо шпаги — нож-штык. Предусмотрительно, на случай возможной войны, нас переодели в полевую защитного цвета форму: было ясно, что Гитлер не простит разрыва пакта.

Около семи утра. Мы в столовой, в подвале трехэтажного корпуса. Идет раздача завтрака. Не успели мы поднести первую ложку ко рту, как послышались звуки разрывов, задрожало здание, закачались люстры. Что это? Мы вопросительно глянули на дежурного офицера.

— Маневры! — успокоил он, отвечая на наш немой вопрос.

Взрывы ближе, сильней. Офицер заволновался, пошел наверх. Через несколько секунд скатился вниз:

— Тревога! Без оружия... через главные ворота!.. Замаскироваться в роще!..

Через минуту мы распластались под голыми еще акациями. В воздухе стрельба, хлопки взрывов. С любопытством перевернулся на спину: в небе среди редких ватных хлопьев от взрывов — туча самолетов с черными крестами. Кружат, пикируют, стреляют очередями. С нашей высотки хорошо видны далекие крыши столицы. Там — зарево пожаров, медленно вздымаются клубы дыма... Как же так? Ведь город был объявлен «открытым» — в нем только мирное население! Варвары! Убийцы! Звери!..

С противным завыванием сирен пикируют на нашу рощицу «штуки». Где-то рядом зататакало несколько пулеметов. Это из соседнего унтерофицерского училища. Один из пикировщиков задымил, взрыв, и он разлетелся на куски. Молодцы, курсанты!

За пикировщиками широким развернутым фронтом надвигается линия тяжелых бомбардировщиков. Считаю — не пере-

считать! Первая волна, вторая, третья... Летят и летят... Уханье взрывов, всплески пламени. Над городом увеличивается число пожаров, в воздух поднимается все больше и гуще облаков дыма, и он постепенно утопает в черной туче. Несколько бомб упало в рощицу и на корпуса нашего училища...

В нескольких метрах от меня лежал Лев Мамонтов. Я его подозвал и он подполз. В это время я увидел, как над головой отделилась из бомбардировщика серия бомб. Их хорошо видно: черные, все увеличивающиеся точки, они летят прямо на голову! Тупой удар в землю; она, дрожа, вздрагивает. Почему-то представилось: будто нож с усилием врезается в плотную массу твердого сыра...Через минуту увидели, что там, где только что лежал Лев, зазияло в земле отверстие — вход в кривой подземный туннель: бомба, к счастью, не взорвалась, и мы, и многие другие остались поэтому живы!

Из серии сброшенных на училище бомб, штук двенадцать, взорвалась лишь одна, у главного входа, посреди асфальта. Осыпанный и оцарапанный кусками штукатурки и асфальта часовой, стоически, будто ничего не случилось, продолжал стоять на своем посту.

Одна из бомб, пробив крышу корпуса, разломилась пополам. Задняя часть, проваливаясь с этажа на этаж, как раз по туалетам, поразбивала на своем ходу по унитазу на каждом этаже и, разбив последний внизу, улеглась рядом, в собственном желтом толе и, наверное, гордая проделанной работой уничтожения. А нос бомбы, тем временем пробив стену наружу и упав во двор, покатился вслед убегавшему поручику Милютиновичу... Тот потом долго заставлял очевидцев рассказывать, как «он шел, а за ним катилась бомба»:

— Так ты говоришь, я шел, а за мной катилась бомба? Так это было?

— Да-да, господин поручик. Вы спокойно шли, а за вами катилась бомба...

— А я что?

— Да ничего особенного. Вы себе спокойно шли, а за вами катилась бомба!..

— Ну-ка, повтори еще раз!.. Значит, говоришь, я шел... А дальше?

В толе разломившейся бомбы мы нашли клочок бумажки с нацарапанным на нем кратким посланием: «Привет от чешских братьев!» Спасибо вам, братья славяне, своим саботажем вы многим из нас спасли жизнь!..

Из очередной волны бомбардировщиков вывалились большие черные точки, над ними вспыхнули купола парашютов. Парашютисты! Только что, в перерыве между бомбардировками, мы успели сбегать за нашими карабинами. «Пусть только спустятся пониже, теперь-то встретим их достойно!» И тут в одного «парашютиста» попал, видимо, снаряд. Раздался сильный взрыв, и на том месте стало расплываться желтое облачко. То была люфтмина! При соприкосновении с землей мины эти, взрываясь на ее поверхности, воздушной волной заваливали окрестные дома, словно карточные домики...

Через два часа небо очистилось. Нам приказали снести вниз все наши походные сундуки и ящики с амуницией, самим готовиться к эвакуации. Оставив от каждого отделения (их было четыре) по десять добровольцев (в их числе был и я), длинная колонна курсантов с преподавательским составом двинулась на юг, к какому-то селу Сремчице. А мы, добровольцы, обязаны были ждать грузовиков, чтобы на них погрузить наши сундуки и ящики с архивом.

Примерно через час проехал мимо курьер-мотоциклист. Доложил: ждать грузовиков бесполезно, их не будет: автоколонна уничтожена в первый же налет. Уничтожены все мобильные и другие военные объекты, даже пекарни... Да-а, местные немцы — «пятая колонна» — оказались на высоте! Что же делать? Как спасти архив? Как выполнить данный нам приказ? Предлагаю реквизировать какой-нибудь грузовик из тех, что улепетывают из горящего города. Получаю от нашего старшего — поручика — «добро».

С четырьмя другими курсантами выходим на шоссе Авалски Друм. Для большего веса примыкаем наши ножи-штыки. Поток беженцев почти прекратился. Лишь изредка проползет в гору редкая, доверху груженная, машина, полная людей, скарба. Останавливать? Духа не хватало: разве можно лишать несчастных их шанса на спасение из подобного пекла? И вот сверху показался грузовичок. Странно: почему он мчится в столицу, а

не, как все, из нее? Перегородили дорогу, остановили. Шофер говорит, что везет маленького сына к его родителям. Он, мол, в кузове. Бросились к кузову проверить. А водитель, воспользовавшись, что дорога перед ним освободилась, ка-ак газанет! Еле успели отскочить. Ах ты, мерзавец!..

— Стой! Стой! Стой, стрелять буду! — по-уставному крикнул я вдогонку, вскидывая карабин. Куда там! Форд-полуторка, пользуясь спуском, был уже метрах в ста, все пришпоривает и пришпоривает... Я прицелился. Выстрел. Машина как-то странно завиляла, будто за рулем пьяный. Проехав еще немного по шоссе, ринулась с насыпи влево и вклинилась носом между двух деревьев. Мотор заглох. Тишина... Подбежали, отворили дверку: шофер завалился на правое сидение. От рваной дыры в задней стенке кабины и до места, где сейчас голова — кровавая дуга: пуля угодила прямо в затылок! Первый день войны, первая моя жертва!..

Когда вытаскивали тело, вывалились какие-то бумаги. Я их машинально сунул в свой нагрудный карман. Рассуждать, что делать с грузовиком без шофера, долго не пришлось: в проходившей мимо через рощу пулеметной роте оказался автомеханик. На счастье, радиатор и фары остались целыми, были помятыми лишь передние крылья. Механик с нашей помощью выдернул машину из тисков, в которые были зажаты деревьями передние колеса, и вырулил на асфальт. Показал, как включать двигатель, как менять скорости, и тут же помчался догонять свою часть. Эх, разве в подобной горячке запомнишь все манипуляции рычагом скоростей! Водителей среди нас не оказалось:

— Я водил только быков...

— А я правил лошадьми!...

Мне как-то посчастливилось сесть на мотоцикл и проехать на нем метров пятьдесят. Рискнуть, что ли? — и я влез в кабину. Сесть рядом со мной, на створожившуюся лужу крови никто не захотел, все забрались в кузов: никакого ребенка там не было, зато стояла полная бензина столитровая бочка и канистра масла-автола.

Какая мука в первый раз в жизни стронуть машину с места! Да еще, когда забыл, где какая скорость! Двигатель то сразу глох, как только отпустишь педаль сцепления, то судорожно рвал и

прыгал, «как барс, пораженный стрелой»... Кроме проблем со скоростями, еще одна — с рулем: колеса, как дурные, норовят ехать не туда, куда надо! Кручу руль туда-сюда, никак не найду его середины! Машина устремляется к левой обочине — кручу вправо. А она уже у правой бровки, кручу влево... А в кузове ребята беснуются, тарабанят в крышу:

— Куда ты, Ацо? Влево крути, влево! Вправо, вправо крути!.. будто я сам не вижу. Но так занят, что и огрызаться не успеваю, мне не хватает ширины дороги!.. А тут поворот в улочку к училищу. Еле вписался. Но впереди еще один крутой поворот влево, а перед ним узенький мостик. Под ним ручей, метра три вниз. Раньше, когда мы ходили пешком, мостик был совсем нормальный, даже довольно широкий, а сейчас... Э-да, была — не была! Прицелился, покрепче обхватил руль, до упора нажал на газ и... зажмурился, чтобы не видеть, как полетим в пропасть!

— Ацо, куда ты? — по-сумасшедшему забарабанили в крышу. Открыл глаза: мостик уже позади, а машина прет прямо на изгородь из колючей акации-гледичья. В последний момент успеваю свернуть влево... Минуты через три мы благополучно прибыли во двор училища. У-ф-ф! Не опрокинулись! Весь измочаленный я выскочил из кабины, а «питомцы» посыпались из кузова, потирая свои ушибленные бока: они предпочли лежать в кузове, и там их порядком кидало из стороны в сторону. И все-таки, потеряв более часу, миновав всевозможные аварийные ситуации, мы все-таки доехали целыми и невредимыми! Задание выполнили — грузовик доставили. Но где же наши? Обращаюсь к часовому у входа.

— Они давно ушли. — А ты чего стоишь?

— Жду разводящего. Без его распоряжения пост покинуть не имею права. Стою уже четыре часа. Хоть бы кусочек хлеба...

Не обращая внимания на кружащие в небе самолеты, мы бросились к кухне: после вчерашнего ужина во рту ничего не побывало! На противнях аппетитно румянились кусочки жареного мяса. Набросились, как саранча. Без ложек, без вилок! Утолили голод, затем затолкали в наши сумки по буханке хлеба и туда же, до отказа, насыпали обойм с патронами. Погрузили ящики с архивом, с патронами, аптечный шкаф — как же без аптеки! Для наших сундуков места не нашлось. Сверху всего, в

кузове установили два пулемета: один — дулом вперед, другой — дулом назад: для круговой обороны. Война ведь, мало ли что может приключиться!

Когда через десяток минут проезжали мимо унтер-офицерского училища, перед глазами предстала жуткая картина: в проволоке его забора застряла чья-то голова, рука, кровавые ошметки... Немецкие летчики сумели отомстить за гибель их пикировщика! Пусть же вам, бравые унтер-офицеры, будет вечный покой: вы достойно, в бою, приняли славную смерть!..

* * *

Через Топчидер и Дединье спустились вниз и поздно ночью, неизвестно на каких скоростях, минуя неизвестно сколько пробок и аварийных ситуаций, мы добрались до села Сремчице, куда, как знали, должно было эвакуироваться училище. Расспросы, расспросы... Да, курсантов видели, проходили. Наконец:

— Вон они, там, в рощице...

Преодолели последнее препятствие — благополучно переехали через настил, ведущий через бровку с дороги в усадьбу. Но в ворота вписаться я не сумел, и половина их въехала вместе с нами...

Темно. Небо густо устлано тучами, из которых моросит смесь дождя и снега. Земля раскисла, грязь. Во дворе копошились полумертвые от усталости курсанты. Вид жутчайший! Все мокрые, ноги до крови натертые... Можно представить: с полной выкладкой, ничего не евши после вчерашнего ужина, беднягам пришлось протопать чуть ли не 50 километров! Более суток без еды! Большинство попадало прямо в грязь под деревьями... Навстречу бежит капитан, обрывает мой рапорт:

— Еду привез? Где хлеб, бочки с повидлом?...

— Был приказ доставить архив...

— На кой нам твой архив!.. — раздается исступленная ругань. Курсанты тоже подскочили, настоящий голодный бунт!.. На наши пять хлебов набросились, вырывают друг у друга... Вспомнилось, что Христос пятью хлебами накормил 5000! Но то Он!.. А мы чуть общую свалку со стрельбой друг в друга не устроили!..

Что ж, задание мы выполнили. Жаль, что думали лишь о нем, не подумали о своих товарищах... Во мне как-то сразу по-

ник нервный подъем, охватила смертельная усталость. Спать! Спать!.. Где? Не в грязи же и под дождем: у меня есть крыша — кабина. Не очень удобно, но кое-как примостился, обхватив руками руль и положив на него голову. И тут же забылся...

Только заснул, не знаю, минут через 20 или 30, меня растолкали. Никого не интересовало, шофер я или нет.

— Езжай немедленно назад: на дороге отстали преподаватели и часть курсантов. Собери их и привези!..

— Я не сумею выехать!

Нашли какого-то гражданского. Вырулить на дорогу он согласился. Но только вырулить. А ехать дальше не может: болен. Разгрузили машину. Только тут поблагодарили за привезенную аптечку. Около фельдшера и нее сразу же образовалась очередь...

Привез человек пятнадцать. У развилки на нашу дорогу, у какого-то дома, видимо корчмы, увидел сидящего на крыльце курсанта. Остановился, подбежал: Лев Мамонтов! Обхватив руками карабин, он спал! Еле разбудил, и он, спросонья, сел в кабину рядом. Но, чтобы не вымазаться в крови, на пятно крови он положил одеяло.

Только подъехал, меня опять погнали в Белград за повидлом и за всем съестным. На этот раз рядом со мной усадили какого-то старшину: уважили мое замечание, что я могу заснуть на ходу. Этот старшина и будет меня в такие минуты расталкивать...

Затем с несколькими курсантами надо было «зафрахтовать» на сахарном заводе на Чукарице (предместье Белграда) еще один грузовик с шофером, забрать в гараже на Дединье и привезти легковую одного из наших офицеров. Потом ехать по такому-то адресу, по другому к семьям офицеров с записками... И еще, и еще...

Три дня и три ночи мне если и удавалось вздремнуть между поездками, то не более чем на 15–20 минут. Колесил и колесил, выполняя различные поручения. Теперь всегда рядом сидел какой-нибудь старшина с пистолетом. В его задания входило и главное для меня — не давать мне заснуть. А это было необходимо. Особенно, когда я пересел в легковую офицера «Бьюик». То была чудо-машина!

Часто над головой кружили немецкие самолеты. За эти дни я многое перевидел. На Чукарице проехал мимо зацепившейся стропами парашюта за шпиль здания и висевшей над самым тротуаром огромной однотонной махины-бомбы. Вот, какая она, эта люфтмина! Видел, что натворила она на площади Славия. Там ее взрывной волной были завалены все окрестные здания. Сама площадь была усеяна окровавленными осколками и частями тел. Дежуривший там жандарм рассказывал, что, увидев спускавшегося «парашютиста», сюда сбежалось много народу... с топорами, с вилами, кто чем горазд, чтобы «попотчевать» незванного гостя-«шваба». На площади Теразийе, полыхали жарким костром гостиницы «Москва» и высотная «Албания». На Обиличевом Венце горел и наш «Стари Универзитет». Всюду полыхало, скворчало, потрескивало, разносился мерзкий смрад. Угодили бомбы и в бомбоубежище на Шумадийской улице, там погибли все, около ста человек...

Не помню, на второй или третий день решил заехать к маме, вывезти ее из Содома и Гоморры. Что с ней? Жива ли?.. Пусть у нас с ней не все было гладко, но это же мама! Подъехал к Светосавской церкви, на улицу Скерличеву: она жила тут — я всегда был в курсе всех ее перемещений. Вошел. Навстречу — она! Бежит! Бросилась ко мне: — «Ты жив!..» Обняла, зарыдала. Успокоилась и стала показывать свои владения: своими слабенькими руками она за эти дни вырыла себе щель, накрыла ее досками, прикидала их землей... Считала это «бомбоубежище» сверхнадежным! С какой гордостью продемонстрировала она это свое творение! Бросить все это?! Ни в коем случае!

— Нет, Сашок. Никуда я не поеду! От судьбы не убежишь! А ты, Сашок, береги себя... пожалуйста...

Последние объятия. Слезы свои она гордо сдержала.Только перекрестила, поцеловала и долго махала вслед. Не знал я, что вижу ее в последний раз!.. Но сцена эта осталась в памяти навечно. Оказывается, она меня все-таки любила! Эх, какие мы были оба гордые, друг к другу непримиримые! Да, я был дерзким, своенравным мальчишкой, не мог стерпеть ее диктаторства. Плюс ко всему — моя первая любовь! Как ты этого не поняла, мамочка? Если бы ты только знала, как мне тебя недоставало, как не хватало ласки, на которую ты всегда была скупа! А мо-

жет, именно это и сделало меня крепче?.. Эх, мама-мамочка, как я перед тобой виноват!

* * *

Веки отяжелели, стали пудовыми, непроизвольно смыкаются. Хоть спичками их подпирай! Частые пробки на дорогах, нервное переругивание таких же, выбившихся из последних сил, водителей немного взбадривали. Но монотонное гудение двигателя, однообразный цвет бесконечно тянущейся передо мной дороги — все это вновь нагоняло сонливость. К счастью, как уже говорил, рядом сидел какой-нибудь старшина, следил за мной, развлекал разговорами, расталкивал, если видел, что глаза мои закрывались. На третьи сутки я стал впадать в забытье каждые четыре-пять минут.

Особенно тяжело было ночью: ехать приходилось с потушенными фарами, чтобы не навлечь на себя урчащих в небе пикировщиков. Монотонность... как ты тяжела, как опасна!.. Из головы испарились все мысли, ни о чем не хотелось, не было сил, думать, напал приглушенный автоматизм... Вдруг резкий крик, удары в бок. С трудом приподнимаю непослушные веки: двенадцатицилиндровый «Бьюик» бесшумно мчит вперед, а впереди — чуть виднеющееся серое, монотонное полотно дороги круто сворачивает влево. Но что это прямо по курсу? Начинаю различать, как за его насыпью, из лощинки, будто продолжение асфальта, вырисовываются и начинают белеть расплывчатые очертания трехэтажного строения! Рывок, успеваю сбросить скорость и, чуть не опрокинувшись, в последнюю минуту вписываюсь в поворот... Силы окончательно покидают меня... Успеваю заглушить мотор и остановиться.

— Больше не могу!.. — промямлил я и тут же головой поник на руль. Мы оба заснули одновременно. Не заметили, что фары брызнули ярким светом — я нечаянно задел тумблер...

— Под трибунал!.. Под трибунал, мать вашу так!.. — услышал я, как кто-то орет над самым ухом. Меня трясут, что есть силы. Наконец, пришел в себя: какой-то полковник!

— Зачем демаскируете дорогу?.. Под трибунал!..

К счастью, он быстро разобрался, в чем дело, бешенство его сникло:

— Немедленно погасить фары! Отсюда ни с места! Приказываю ждать: я вам пришлю шофера.

Мы заснули опять. На этот раз разбудил меня старшина с требованием ехать дальше. Шофер так и не появился. Утром мы доехали до своих.

Отоспаться мне и сейчас не дали: помощник моего командира — поручик Ратко Николич — препроводил меня в дом хозяина усадьбы. За столом сидело несколько офицеров. Я отрапортовал, что прибыл по их вызову. Строго оглядели:

— Курсант-ефрейтор, как вы приобрели грузовик?

Я рассказал.

— Кто дал вам право стрелять в гражданского?

— Он не подчинился приказу, вдобавок пытался обмануть. Приказ военного, выполняющего задание, в войну должен быть законом для гражданского...

— Молчать!.. Вы застрелили югославского гражданина, а на это у вас приказа не было. Кто он?

Вспомнив, что в кителе у меня документы убитого, я выложил их на стол. Офицеры просмотрели одну бумажку, другую. Какая-то произвела на них особое впечатление: внимательно ее разглядывали, молча показывая друг другу, покачивая головой и по временам бросая на меня испытующие взгляды. Затем приказали мне выйти и ждать снаружи. Поручик вышел со мной:

— Дрянь твое дело! Это — трибунал. Кто мог на тебя донести?

Тут зовут его одного, а мне — ждать. Через несколько минут Николич выскочил, радостно потряс мне руку:

— Браво! Ты спасен! То был немецкий агент. Скоты, даже с «аусвайсами» (удостоверениями) разъезжают! Решили представить тебя к медали, за инициативу и храбрость...

Хозяин дома, пожилой шумадиец, узнав, чему мы с поручиком радуемся, пригласил нас в погреб. Там стояло несколько дубовых бочек с ракией-сливовицей. Взял посудину из высушенной грушеподобной полой тыквы с двумя отверстиями: одним — в торце длинного хвостика-ручки, другим — в дне тыквы. Погрузил ее в бочку. Когда она наполнилась, он, заткнув большим пальцем отверстие в ручке, вынул ее и, приподнимая над ним палец, наполнил три кружки. Провозгласил тост:

— Нек нам живи Југославија!

— Да здравствует! — ответили мы с поручиком. Из своей торбы хозяин вынул вкусно пахнущую лепешку, разломил ее на три части и поставил перед нами миску с каймаком. Какой радушный хозяин, но какой грустный и задумчивый! Это объяснимо: мы уйдем, а он останется. Как сложится жизнь его семьи, как разовьются события? А если сюда придут «швабы», сколько горя придется испытать?!

Да, не все было просто. Югославия, мы это чувствовали, была на грани катастрофы. Хоть мы и горели желанием ее защищать изо всех сил, но одного желания было недостаточно. Как и чем могло малюсенькое государство противостоять огромной, вооруженной современным оружием, гитлеровской армии? Безнаказанный налет и бомбардировка Белграда и других городов это доказали. Даже Франция и то не смогла устоять. У нас семнадцать миллионов населения, у Германии — сорок! Нет, не зря, находясь в кольце врагов, мы надеялись на помощь нашей «матери-России»! Метко подметили черногорцы: «Нас без Руса — пола камиона» (Нас без русских — полгрузовика), «Нас и Руса — двеста милиона!» (Нас и русских — двести миллионов!)

Но с «мајком Русијом» происходило что-то неладное. В 1937 году процесс генералов, в 1939-м, как гром среди ясного неба, — германо-советский договор! Все же... все же Советский Союз пообещал нам помочь, защитить нас... На него возлагались наши последние надежды. Возможно, уже сегодня приведены в движение те 150 дивизий, о которых говорил генерал Гужвич? Может, они уже спешат к нам на помощь? Но как они далеко! Успеют ли? Сможем ли мы до тех пор выстоять? Итак, надо сопротивляться, выиграть время! А положение внутри страны? Нет, военный переворот улучшений не принес. Наоборот! Развал, усиление национал-шовинистической вражды, распаленной до предела вражеской агентурой, действующей нагло, без препятствий. У «Пятой колонны» всюду своя рука. Пошли слухи, что немецкие части на тыльной стороне некоторых афиш, на рекламных тумбах, находят вычерченные для них схемы и разведданные. По городу Крагуевцу якобы промчались немецкие танки, и в панике был взорван военный завод. Оказалось же, опять по слухам, что части танков были доставлены в запломбирован-

ных вагонах на завод колбасника Шварца-немца. Там их смонтировали, прокатили по улицам, посеяли этим панику. Танки эти через пару часов были обнаружены во дворе брошенного к тому времени завода. Да что говорить: у самого нашего училища, за два дня до бомбардировки, были задержаны две миловидные блондинки. Оказались немками, интересовавшимися училищем. Вот только не знали они, что уже три дня, как охрану его несли сами курсанты. Неблагополучно было и в армейском командном составе: когда я курсировал по дороге Сремчице—Белград, то проезжал мимо взмокших артиллеристов: трижды приходилось им выполнять диаметрально противоположные приказы — то подниматься с орудиями на высотку, то немедленно с нее спускаться. Нередко в зарядных ящиках вместо снарядов оказывался металлолом. Панические слухи дезорганизовывали, производили сумятицу, вселяли неуверенность... Как тяжело телу без головы, да и голове без тела, по всей вероятности, не легче!

Через несколько дней, из Сремчице длинной колонной, маскируясь у опушек, мы двинули на юг. Стороной обходим села, будто не по собственной земле идем. Куда? Зачем? Где враг? Какое положение на фронте? — никто ничего не знал. Иди себе молча, ни о чем не спрашивай! Вот вдоль колонны шепотом идет приказ: «Снять колпачки с карабинов!» (Их в ту пору надевали, чтобы предохранить стволы от дождя.) «Занять круговую оборону!» Новый приказ: «Встать в колонну, следовать дальше!»... Неужели враг рядом? Эх, как худо быть овцой в стаде, которое гонят «туда — не знаю куда»!..

Наконец мы в теплушках. Через несколько часов наш поезд вдруг начинает двигаться вспять. В чем дело? — Говорят, что города Ужице и Сараево подверглись бомбардировке, пути разрушены, приходится ехать окольными путями. Опять движемся вперед, по другой дороге. Через день прибываем в город Фочу, Босния.

Выгрузились. Разместились в бывшем монастыре. Мы, как на дне колодца: вокруг — лесистые склоны гор. По моим понятиям, настоящая мышеловка. Не осталось ни одного офицера, кроме Ратко Николича и одного старшины: «Все мобилизованы на фронт!» — поясняют нам. Но где он, этот фронт? Думается, командование задалось целью сохранить наши кадры и вывести

нас к грекам. Но... ворвавшиеся из Болгарии немцы заняли город Ниш, Македонию и отрезали нам путь. Итак, идти, ехать некуда, мышеловка захлопнулась! Ни туда, ни сюда...

Через день или два один из местных жителей сообщил, что видел за горой три немецких грузовика, продвигавшихся в нашем направлении. Разведка? Командования рядом не было, и мы, впятером, с карабинами и двумя легкими пулеметами, помчались наперерез. Только заняли подходящую высотку над дорогой и прилегли за пулеметами, как из-за поворота тяжело заурчали машины. Подпустили их вплотную, резанули очередями. Первый грузовик тут же вильнул и с шумом сорвался в пропасть. Второй врезался в скалу, третий — в него. Все произошло быстро. Тихо. Ни урчания машин, ни стонов. Никакого движения: из крытых кузовов никто не выскакивал! Обоз? В обуявшей нас горячке мы скатились вниз. Я рванул дверку кабины. Меня обожгли чужие глаза: в руках немца нож-штык. Он меня ткнул им в грудь, я всадил свой. Так вот, какой он, враг! Почувствовал, что по груди течет что-то горячее, в глазах потемнело...

Позже рассказывали,что, когда меня несли в монастырь, один из друзей сжимал мне рукой рану, из которой хлестала кровь. Я определенно родился в рубашке: фельдшер определил, что штык немногим не дотянул до сердца, выщербив кусочек ребра! Я был горд: немецкий штык оказался не в силах пробить славянскую грудь! Случилось это 14 апреля, а к 17-му я уже был на ногах.

Что толку! Перед строем поручик Николич объявил, что Югославия капитулировала, мы отныне демобилизованы, обязаны сдать оружие и можем разъезжаться по домам. В бессильной злобе мы со всего размаху кидали на кучу наши карабины, стремясь причинить им побольше ущерба, вывести из строя. Оружие, которое мы перед тем так лелеяли, — пусть теперь оно придет в негодность!.. Молча взирал на это поручик, затем повел к сундуку и стал из него выдавать каждому по купюре в 1000 динаров. Таких купюр до тех пор мне видеть не приходилось. Кучу нашего оружия стали охранять двое гражданских старичков с дробовиками.

На следующий день к железнодорожной станции доставили две изрешеченные пулями теплушки. В них — трупы курсан-

тов, которые накануне попытались на свой страх и риск прорваться к грекам. Да, война — не шутка!

В тех, кто хоть чуть удалялся из Фочи, стреляли со склонов. Мы были окружены! Говорят, что то были банды каких-то хорватских националистов-«франковцев». Кто еще такие?

Донесся слух, что еще 10-го хорватский генерал Кватерник объявил независимость Хорватии, что 13-го гитлеровцы вошли в Белград, что правительство, во главе с королем Петром II, прихватив весь золотой запас страны, на нескольких самолетах приземлилось в Афинах. Ну а нам, «стрелочникам», нам всю чашу придется, видимо, испить до дна! «Потерявши голову, по ногам не плачут!»

20-го к монастырю подъехали мотоциклы с колясками. Немцы! В очках, касках, в прорезиненных плащах, в коротких сапогах с широкими голенищами (очень удобно, практично, быстро можно надеть!)... На колясках удобно закреплены легкие пулеметы. Затворы покрыты воронением и не блестят. (А нас, дураков, заставляли надраивать их кирпичным порошком до блеска!) Да-а, в такой экипировке можно воевать!

Без всякого конвоя, в товарняках, нас повезли на север. Кто жил вблизи от этой дороги, сходил с поезда и шел домой. Другим надо было ехать до Белграда. Доехали. У разбитого Белградского вокзала мы были окружены немецкими частями и под конвоем препровождены в казармы королевской гвардии на Дединье. Перед казармами — направленные в нас пулеметы. Итак, вопрос отпал: никакого возвращения домой — мы взяты в плен! Через несколько дней нас отконвоировали в Панчево, на левую сторону Дуная. Впервые я ознакомился с истинным лицом фашизма: раненых, упавших по дороге, чтобы с ними не возиться, приканчивали штыком или пулями! Первая встреча с фашизмом! И не страх, а злоба и желание отомстить стали накапливаться в моем сердце...

В Панчево объявили: «Хорваты, босанцы, македонцы, словенцы, русские! Выйти из строя!» Я почувствовал себя сербом, подданным страны, которая дала нам убежище, приняла в свое лоно, и остался с друзьями. Так же поступили и все другие русского происхождения! По-братски поделим чашу скорби!

Следующий лагерь, лагерь в Секелаже (по-видимому, в Венгрии), был поистине жутким. К тому времени греческое правительство тоже капитулировало, король Греции бежал на остров Крит. Эх, как хорошо быть королем, — успевает вовремя бежать! Из Афин срочно эвакуировались «защитники Греции» — английский корпус. В Иерусалим прибыл наш король Петр II...

Лагерь в Секелаже. Участок болота, обнесенный колючей проволокой. К тому времени в различных клетках, огороженных высокой проволочной сеткой каждая особо, было напрессовано около 200 000 пленных. Никакой воды! Никакой гигиены... Хочешь пить — болото под ногами. Хочешь лечь — часами топчись на месте, сгоняя прочь болотную жижу... Еда — буханка ржаного хлеба в 1200 г на десять человек плюс литровый черпак недоваренной (не было времени вскипятить!) жидкой баланды из кислой капусты или брюквы. Начался мор. За ночь гибло по 100–150 пленных. Наконец нас, курсантов, повезли в Германию. Закрытые наглухо вагоны, без еды, без воды... Трое суток в пути... Полуживые прибыли мы в «Шталаг XII-Д», на горе над городом Трир. Парадокс: вот что уготовил нам народ Карла Маркса — привез в город, где он родился!

Прекрасно обустроенный, опрятный лагерь. Старожилы — французские и польские пленные. А теперь появились мы и немного греков-эвзонов, в их странном одеянии — юбочках. Французы тоже любопытны: со страшным грохотом маршируют в своих «сабо» — деревянных башмаках и распевают маршевые песенки и, конечно, их излюбленную «Мадлон»...

Прощай, моя вторая родина! Привет тебе от без боя разбитых! Не поминай лихом, не наша в том вина!..

* * *

В отрочестве, когда усиленно стремился разобраться в сущности и смысле жизни, в начале и устройстве самого мироздания, в законах взаимного общения и в других высоких материях, которые так будоражили мой ищущий ум, я был поражен, вычитав у французского философа о существовании двух различных понятий: психологии личности и психологии массы[7].

Психология индивидуума — понятно. А психология массы? Это, когда множество индивидуумов, по тем или иным причинам, составляют одну массу — толпу. В толпе множество соб-

ственных «Я» подчиняются воле какого-то одного более сильного «Я» — вожаку. И я представил себе кучу мелкой щебенки, где каждый камешек имеет свои характерные острые и неровные края, свои особенности. А если эту кучу камешков вращать? Тогда каждый из них будет тереться о другие, сталкиваясь с ними, от них отталкиваясь, обламывая при этом собственные шероховатости и превращаясь постепенно в круглую гальку. Будут обломаны все его индивидуальные выступы и острые углы, неровности, и индивидуум перестанет быть личностью, потеряет собственное лицо. Он превратится в незначительную частичку массы. Вся масса этой гальки — нечто иное, как стадо баранов, доверившееся и безропотно следующее за более крупной, сильной личностью. И куда она поведет, туда слепо пойдут все. Пусть даже в пропасть!..

В неестественном сборище сотен тысяч военнопленных с насильственно обломанными у них характерами и свободой проявлять себя и проявилась психология массы—толпы. Хоть каждый еще и сам по себе, но все были, как стадо баранов, в одном проволочном загоне. Объединяло лишь одно: мысль, как поесть, где это достать, как достать воду, как согреться... Ни того, ни другого не осуществить, и масса металась без цели, без смысла, ибо не было вожака. Так было в лагере на болоте — в Секелаже. Тысячам так и не удалось выжить. И все это под смех и издевательства «сильных и власть имущих» вооруженных охранников, наших «победителей». Было несколько эпизодов, где для меня по-новому проявился «человек». Например, один «бизнесмен», которому удалось сохранить свою шанцевую лопатку, тут же организовал распродажу воды из маленькой ямки, которую ею вырыл; а другой, которому мы из сострадания позволили посидеть на нашем одеяле... короче, проснулись мы от холода: не стало ни шинелей, которыми мы укрылись, ни этого солдата. «Не зевай, Фомка, на то и ярмарка!»...

Здесь, в Трире, в обезличенных, но со все еще тлевшими проблесками разума существах вновь стало пробуждаться человеческое начало. Этому способствовали улучшенные — «человеческие» — условия существования.

Лагерь представлял собой целый город в двести тысяч обитателей. Бараки, прямые улицы, площади. Своя огромная кухня,

санчасть, баня. Были и отдельные бараки со льготными условиями — для офицерского состава. Повсюду громкоговорители, передававшие под звуки фанфар о новых победах армий Рейха, а иногда и различные приказы. Было и несколько бригад французов, работавших в городе. Счастливчики!

Повара-французы тепло относились к нам, югославам, доставленным сюда в очень плачевном состоянии. Достаточно было произнести французские слова: «Дю рабийо, же ву з ан при!» или «Сюпплеман, силь ву плэ!», как нам отпускали дополнительный черпак и приветливо при этом улыбались. Были приятны как черпак, так и улыбки. Что больше? Думаю, что улыбки были особо важными, сглаживали чувство унижения у «попрошаек», не давали ранить достоинство и гордость. Никогда не думал, что мне когда-либо пригодятся мои знания французского языка! Спасибо вам, Евгений А. Елачич и мадам Хлюстина, моя строгая учительница! Я быстро научился произносить целые фразы, чем сразу же привлек благосклонность французов. Вот только меня они понимали отлично, я же не успевал толком вникнуть в ответную скороговорку. Ничего, и этот барьер будет вскоре преодолен!

Находился в лагере и особо огороженный барак, куда доступ был затруднен. Что там за люди? Любопытство способно преодолеть любые препятствия. Там оказались интербригадовцы. С ними быстро был установлен контакт, и я стал их навещать. Удивительные люди! Разных национальностей, разноязычные, они с полуслова понимали друг друга. Жили дружно, слаженно. А какая дисциплина, какая чистота! И все в постоянном труде. Разбившись на группки, изготавливали сувениры разного рода: лакированные шкатулочки, портсигары с орнаментами из соломки; блестящие, полированные самолеты разных типов на красивых подставках, с кабинами из пластмассы. Материал подручный: алюминиевые котелки, ложки, ручки зубных щеток. Расплавив металл, выливали его в песочные опоки, сформованные заранее. Детали опиливали надфилями, полировали. Отверстия для соединения высверливали самими же изобретенными дрелями, где сверлами служили пикообразно расплющенные гвозди. Работа шла по конвейеру: одни занимались своими деталями, другие — доводкой и сборкой, окончательной отделкой.

Готовые изделия обменивались на продукты. Заказов от охранников хоть отбавляй! Они же и снабжали инструментом, наждачной бумагой, прочим. Я сдружился с одной из групп, где почти все были русскими. Ими руководил Иван Троян. У них, у «трояновцев», мы и переняли опыт. Нас сгруппировалось человек пятнадцать. «Трояновцы» снабдили нас образцами, обучили изящному кустарному производству.

* * *

Репродукторы возвестили: «11-го мая бежал на самолете в Шотландию психически заболевший Рудольф Гесс». Гесс? Это же правая рука Гитлера! Зачем ему понадобилось «бежать»?

Второе сообщение привело весь лагерь в волнение. Подолгу стояли у репродукторов и слушали-слушали... Слушали и не верили: «22-го июня войска Германии перешли границу и продвигаются вглубь Советского Союза». Массовая сдача красноармейцев в плен! Последовало сообщение о «первом в истории» парашютном десанте на остров Крит и капитуляции его английского гарнизона.

Будто с цепи сорвавшиеся репродукторы транслируют победные марши и сообщения о «победоносном и несокрушимом марше по России», о захвате города за городом... Группки французских и польских офицеров, стоя у репродукторов, тут же на песке вычерчивают западные границы СССР, отмечают захваченные города, делятся впечатлениями, прогнозами...

Иван Троян и его группа русских стали для нас учителями в труде, в жизни, в оптимизме. Естественно, что именно к нему я и побежал в панике:

— Что же теперь будет? В нас еще теплилась надежда на помощь русских, а их... перемалывают!

— Цыплят по осени считают! — спокойно, глубокомысленно изрек Иван. — Нечего вешать нос. Раз напали на Россию, там себе и шею свернут!..

Я уже знал историю Трояна, хоть он и не отличался многословием. С 1924 года он состоял членом ФКП — французской компартии. Тогда же в нее вступили и другие русские, в основном бывшие гардемарины: Георгий Шибанов, Алексей Кочетков, Николай Роллер, Николай Качва, Александр Покотилов, Леонид Савицкий...[8] В 1936 году большинство из них посчитало

долгом броситься на защиту Испанской Республики и вступило в Интербригады. Они понимали, что именно в Испании надо и можно сражаться с набиравшим силу фашизмом. Шибанов, например, стал политкомиссаром одной из бригад. Шли кровопролитные бои. Франция, с ее политикой «невмешательства», перестала пропускать в Испанию военную помощь, сугубо осложнив этим положение ее защитников. Теснимые со всех сторон превосходящими силами франкистов, республиканцы отступили к Пиренеям, надеясь на убежище во Франции. Она их приняла, но тут же заключила в лагеря для интернированных. Оттуда, чуть позже, препроводила в тюрьму в городе Кастр. Иван Троян, Г.Шибанов и югославы — генерал Л.Илич и М.Калафатич — тоже были в этой тюрьме, откуда удалось бежать без И.Трояна, — тот бежал вскоре после нашей встречи в Трире. Интербригадовцы, после капитуляции Франции, были затребованы немецкими оккупационными властями и переправлены в этот «Шталаг XII-Д», где мы с ними и встретились[9].

— Уверен, что мы с тобой еще увидимся. Ни мы, ни вы сложа руки сидеть не будем. Это точно. Будем с вами по одну сторону баррикады, значит, возможность встречи не исключается. Не забывайте, что вы — солдаты. С нас, пока идет война, этого звания никто не снимет. Следовательно, все еще впереди. Все помыслы должны быть — вырваться и опять в бой с оружием в руках![10]

В июле нас, курсантов, переместили в город Саарбрюккен, где разместили в бывшей конюшне. Почему отобрали именно нас? Как оказалось, курсантов высшего военного училища, согласно Женевской конвенции, должны были приравнять к офицерскому составу, который освобождался от работ. Кроме того, после почти двухмесячного пребывания в сравнительно хороших условиях в Трире, хорошо окрепнув, мы могли бы сойти за неплохое пополнение для вермахта или частей СС. Но для этого — гитлеровцы еще не рисковали нарушать международные соглашения — необходимо было добиться нашего письменного согласия.

Рано утром нас выгнали во двор и заставили построиться в длинные шеренги. Солдаты-автоматчики стали сзади и спереди.

— Ахтунг! Ахтунг! — скомандовал офицер. Взял у стоявшего рядом адъютанта лист и стал читать. Толмач переводил на сербскохорватский. Нам предлагалось подписать декларации, стопками лежавшие на столе, о добровольном согласии работать на Германию.

Наступила тишина. Затем по шеренгам пронесся шепот. Из рядов шагнули двое. Они подписали по бумажке, их похлопали по плечу и увели. Всё снова замерло. Офицер не выдержал, подскочил к крайнему курсанту и заорал на весь двор:

— Унд ду? (А ты?)... Подпишешь или нет?

Тот мотнул головой и тут же получил удар кулаком. Потом офицер шагнул к следующему... И так десять часов: мы стояли, а они нас били. Только к вечеру, стреляя поверх голов из автоматов, пленных загнали обратно в конюшню. Еду в тот день не дали. Через несколько дней нас погрузили в телятники и под конвоем доставили в штрафной лагерь XII-Ф, в город Сааргемюнд, в Лотарингии, аннексированной Третьим Рейхом.

Глава 2. «СОПРОТИВЛЕНЦЫ В КОРОТКИХ ШТАНИШКАХ»

Возможно, история эта покажется очень сентиментальной, но слишком уж удивительна, чтобы о ней не упомянуть. Особенно потому, что случилась в годы самой кровожадной войны. В любой войне резко выпячивается не только изуверство. Неугасимым светом и теплом побеждают тьму и общий хаос те чувства, из-за которых человек и достоин называться Человеком.

Франция была побеждена. От нее отторгли целые регионы: Эльзас и Лотарингия были аннексированы. Там сразу же наложен запрет на все французское: на язык, на народные песни, традиции. На места бежавших перед нашествием были водворены немецкие колонисты. Некоторые села целиком, таким образом, оказались в руках этих новых «хозяев»[11].

Круто и методично шло принудительное онемечивание. Этому способствовал строжайший надзор, сопровождаемый террором. Не было села, где не разместилось бы око и ухо вездесущего гестапо.

Надписи не только на улицах, но даже и на надгробных памятниках, если они были на французском, должны были быть стерты и заменены на немецкие. Приказ есть приказ, и его выполнили. Но как! Не стирая, их просто закрасили, а поверх вывели другие, готическим шрифтом. Вероятно, это было первым, хитроумно скрытым выражением молчаливого протеста, сопротивления: закрашенное всегда можно будет очистить в недалеком, неминуемом будущем. Не в этом ли крылся зародыш будущего Сопротивления?!

Сопротивление! Когда и как оно началось? Об этом хорошо сказал французский историк Анри Ногер:

«Французское Сопротивление родилось в Бордо 17 июня 1940 года, ровно в 12 часов тридцать минут. Именно в этот час глава правительства, маршал Петен, передал по радио своим старческим дребезжащим голосом, что-де он, маршал, приносит себя в жертву, чтобы смягчить несчастье Франции: "Скрепя сердце говорю всем: надо прекратить сопротивление! Оно — бесполезно!"»[12]

Таким образом он, даже не издав предварительного приказа сложить оружие, признал, что дальнейшие боевые действия против напавшего врага бессмысленны. А между тем нетронутыми остались огромные ресурсы не только в колониях Африки, но и на отдельных массивах почти всей Франции. И, конечно, не все вняли такому воззванию. Вместо того чтобы покорно, как стадо баранов, пристраиваться к колоннам военнопленных, которых несколько солдат в серомышиных униформах погонят в лагеря Германии, они продолжили борьбу, которая и стала отныне называться движением Сопротивления. Раз враг напал на родную землю — ему необходимо дать отпор!

Вдоль новой границы на севере Франции, от Швейцарии до Бельгии, самый промышленный регион был объявлен «Запретной зоной» — «Зон энтердит» и был подчинен, как и Бельгия, административному управлению с демаркационной линией, отделяющей ее от остальной Франции, вернее от ее остатков. Такой же демаркационной линией были поделены и эти остатки: на «Северную», или «оккупированную», с центром в Париже и на «Южную» («неоккупированную», или «зон но-но») зону с центром в Виши. Переходить демаркационные линии, как и границы, можно было лишь с особыми пропусками.

* * *

Он так и стоит в памяти, этот «Stalag XII-F» в Сааргемюнде-Штайнбах, ставший позднее печально известным как «Черный лагерь». Корпуса бывшей психбольницы. Больных перед тем уничтожили. Высоченные каменные стены со вцементированными вверху острыми осколками битого стекла. С внутренней и внешней стороны стен — спирали колючей проволоки. Ряд вышек с пулеметами. Внутри мрачного двора — корпуса с камерами. Стекла окон в камерах — толщиной в 4–5 см. Ночью в выходящих из корпусов стреляли без предупреждения. Завтрак — эрзац-кафе, затем работа по десять часов. По возвращении с работы — миска кислой похлебки из капусты или шпината, кусочек хлеба. Нацисты не признавали нас за людей, малейшая попытка напомнить им, что ты — человек, кончалась зверским избиением или пулей. Они — господа, мы — обыкновенные рабы. И нескончаемая цепь всевозможных унижений...

— Медики, врачи! Выйти из строя! — объявляет на разводе офицер. Несколько человек, обрадовавшись, что предстоит легкая и чистая работа, выходят. Конечно, откуда среди нас быть врачам? Отобрано двадцать человек, их уводят. Мы завидуем счастливчикам. Минут через десять, когда нас выводили из лагеря на работу, они, «счастливчики», нам повстречались: с ведрами, в резиновых сапогах — их вели выкачивать нужники! Охранники хохочут:

— Это тоже относится к медицине! Ги-ги-ена!.. Ха-ха-ха!

Редко, кто не мечтал о побеге...

После нескольких дней изнурительной работы по расчистке в городе завалов разбомбленных строений мне повезло: администрации лагеря потребовалось четыре человека для работы в близлежащем селе Ремельфинген. Джока Цвиич, Михаило Иованович, Николай Калабушкин и я — все четверо из нашей спаянной группы — под конвоем одного гражданского с карабином направлены в село. Когда шли по нему, ощущали пристальные взгляды то из щелей в заборах, то из-за зашторенных окон, то из-за угла, из подворотен. А улицы были пустынными, будто все здесь вымерло. Наши пароконные подводы грохотали впереди, за ними шли мы под конвоем. Подметали, грузили кучи мусора, вывозили его на свалку. А в голубой дали виднелся лес, зеленые поля. Простор и приволье. Сделай шаг-другой, и ты на

свободе. И мы думали о ней каждую минуту. Конвоир один, его можно скрутить. Но как бежать без гражданской одежды? Куда? Где мы находимся? Далеко ли до Франции? Франция казалась нам решением всех наших чаяний: там определенно найдем людей, которые нам помогут! Несколько раз попытались заговорить с прохожими, но те шарахались от нас, как от чумных: население было предупреждено, что за связь с нами — концлагерь! Грустное, тяжелое ощущение западни и безысходности! И вот, когда мы уже стали терять надежду, к нам вдруг робко приблизились невесть откуда взявшиеся мальчишки. Впереди, чуть настороженно, старший, лет четырнадцати. Берет набекрень, широко открытые серьезные глаза. Личико худенькое. Нескладный какой-то, угловатый. Чуть позади — средний, с чуть раскосыми живыми глазами, круглолицый. Он жадно разглядывал нашу форму. Ему было лет одиннадцать — двенадцать. Рядом с ним широко расставил ноги полный достоинства карапуз годков девяти. Все белобрысые, вихрастые.

Конвоир был поглощен чисткой карабина. Не услышав его властного окрика, ребятишки подошли еще ближе.

— Месье, ки эт ву? — обратился к нам старший. Конвоир сделал вид, что ничего не слышит и не видит. Я ответил:

— Мы военнопленные югославы, из штрафного лагеря.

— Поль, — серьезно, по-взрослому, представился старший,— а это — мои друзья, братья Муреры, Жером и Эвжен. У нас каникулы.

Конвоир все чистил карабин.

Мальчишки совсем осмелели, засыпали вопросами о нашивках, знаках различия, о звездочке на погоне, о войне... Я рассказал им, как нас взяли в плен, показал шрам на груди, сказал, что мы были курсантами. Через минуту они залезли на подводу, трогали нашивки, значки на кителях, рассказывали о себе, своем селе... Но больше спрашивали.

— Ты слыхал о нашей стране? — спросил я старшего.

— О да, мы ее знаем. Это на Балканах, нам говорил учитель. А почему ваши товарищи не говорят?

— Они еще не знают французского.

Какие то были счастливые, радостные минуты! Истосковавшись по нормальному человеческому общению, по свободе, из-

мучившись в поисках путей к ней, мы так обрадовались ребятишкам! Не скрою, почти сразу родилась мысль установить с их помощью контакт со взрослыми. В лагерь возвращались окрыленные, повеселевшие, исполненные надеждой.

Мальчишки пришли к нам и на следующий день. Принесли какие-то свертки и спрятали их в телегу. Когда конвоир был занят своими делами, Поль заговорщически подозвал меня и раскрыл сверток. Бутерброды! С настоящим хлебом и колбасой! Пряча их от конвоира, попытались уединиться, но куда? Не выдержали и набросились на них тут же. До дрожи в душе вдыхал я аромат бутерброда и жевал, забыв обо всем на свете. Сунув очередной в рот, я посмотрел на ребят. Они глядели на нас широко раскрытыми глазами. Оглянулся: товарищи уплетали столь же самозабвенно. От их отрешенного вида, от вида ребятишек, ошарашенных нашей реакцией на обыкновенные по их понятию продукты, меня разобрал смех. Друзья оторвались от еды, повели глазами сначала в мою сторону, потом на мальчишек и тоже начали смеяться.

— Нет, но вкусно же! — оправдываюсь я, нюхая еду и по-собачьи дергая ноздрями. Это вызвало новый приступ смеха у всех, и мы долго хохочем вместе с мальчишками.

Ничто, наверное, не раскрепощает и не сближает так людей, как хороший, здоровый смех. Наши новые друзья совсем перестали нас опасаться, да и мы стали считать их своими. Даже мысль промелькнула: «Эх, как бы хорошо было, чтобы это были наши собственные сыновья!» Поль взял лопату, начал кидать мусор на телегу. Получалось плохо. Смех, визг. Один стал вырывать лопату у другого. Возня...

Опомнились, оглянулись на конвоира. Он равнодушно курил. Мне показалось, что и он ухмыляется. Странно, что он за человек?

Часть бутербродов отнесли в лагерь больным и ослабевшим товарищам.

На следующий день мы опять в окружении тех же ребят.

— Алекс! — шепчет мне Поль, — сегодня вас ждет приятный сюрприз.

Все поведение ребятишек отдает таинственностью. Глаза их возбужденно блестят. Передаю сообщение Поля друзьям. На

вопросы ребята отделываются упорным молчанием, только с многозначительным видом поднимают палец. Чувствуем, что они и сами горят нетерпением поделиться «секретом», но сдерживаются изо всех сил.

Приходит час перерыва, и наш страж ведет нас к какой-то подворотне. Ребята шумно шагают рядом. Даже, как нам кажется, указывают ему дорогу. Что, и он с ними в сговоре? Входим во двор. Строения окружают нас со всех сторон, и с улицы нас не видно. Чудеса: перед нами в закутке стол, накрытый белой скатертью, скамейка, стулья. На столе пять приборов, большая ваза с нарезанным хлебом. Даже двухлитровый графин с вином! Приносят супницу, разливают по тарелкам, приглашают сесть. Всем этим занимаются трое пожилых крестян. Конвоир садится рядом. За время обеда ребята то и дело один за другим поочереди выбегают на улицу: дежурят, видно, чтобы предупредить об опасности.

Узнаем, что наш конвоир — эльзасец. Нанялся служить у немцев, чтобы избежать мобилизации. У него большая семья, ее надо кормить. Старший из гостеприимных хозяев, по фамилии Людман, интересуется, где мы воевали, как к нам относятся гитлеровцы (так и сказал «гитлеровцы»), чем нас кормят. Местных жителей интересует настоящая правда, а не та, которую им преподносят оккупанты: что на самом деле кроется за образом «добряка-фельдфебеля», держащего на руках пухленького смеющегося ребенка. Так показано на расклеенных всюду плакатах. Что именно скрывается за изобилием публичных концертов и выставок на тему «Родина изящных искусств и художественной литературы», где Гёте рядом с Гитлером, а Бетховен — с Геббельсом?

Почти три недели подкармливали нас крестьяне во главе с Людманом, снабжая продуктами и для товарищей в лагере. У них мы узнавали о последних новостях с фронта. Увы, в них не было ничего утешительного! Зато в стране и в городе расклеенные гитлеровцами плакаты-предупреждения говорили о многом:

Во время отдания почести немецкому флагу каждый прохожий обязан остановиться и снять головной убор. Иначе...

С большим негодованием приходится констатировать, что молодежь преднамеренно занимает всю ширину тротуара, пытаясь этим за-

ставить немецких офицеров сходить с него. Подобный образ действия молодежи преследует определенный замысел...

Учитывая, что акты саботажа и терроризма продолжают осуществляться, особенно на железнодорожных ветках, на складах, молотилках, мельницах и т. п., в регионе устанавливается комендантский час с 21.30 и до 5.00 утра. Все празднества и собрания запрещаются...

В ночь с 16 на 17 августа произведено вооруженнное нападение на немецкого часового. Мерзкий преступник до сих пор не найден. В случае его неявки будут взяты и расстреляны заложники...

В наказание за преступление, в случае неявки виновников, ... числа будут расстреляны 25 коммунистов и евреев. Если преступники и через 12 дней не будут выявлены, то дополнительно будет расстреляно еще 30 заложников...

Постепенно, начиная с безобидных действий протеста, таких, как надписи на стенах, как отказ перевести часы по немецкому времени, Сопротивление растет и переходит к более значительным актам: снабжению бежавших из плена гражданской одеждой, созданию «цепочек» по переправке людей из одной зоны в другую, через границу; помощи эльзасцам и лотаринжцам, противящимся онемечиванию; сбору оружия, брошенного французскими частями во время отступления; перерезанию и порче телефонных кабелей; поджогам немецких автомашин и гаражей; организации забастовок и саботажа на промышленных предприятиях и шахтах; повреждению коммуникаций сообщения и, наконец, — к вооруженным нападениям.

* * *

Все сильнее укрепляются узы с жителями Ремельфингена, называвшегося ранее, под Францией, Ремельфеном. Но мы попрежнему осторожны и никому не говорим о планах побега. И в то же время все наши мысли направлены именно на это: бежать, соединиться с любой, действующей против гитлеровцев, армией и продолжить борьбу. И, естественно, наши надежды — на ребятишек. Зондирую почву:

— Поль, что бы ты делал, будь на нашем месте?

— Я? Конечно, бежал бы. Добрался бы до Африки или Англии: там армии, которые дерутся с бошами.

— Правильно. Об этом и мы думаем. Но как отсюда бежать? Как перейти через границу? Да и из Франции надо еще пере-

плыть через Средиземное море или океан. И из самого лагеря бежать не так-то просто...

Поль, как неплохой реалист, задает вопрос в свою очередь:

— А что, были уже попытки?

— Были, Поль, были. Но... неудачные.

Жером и Эвжен подошли ближе, навострив уши. Вступают в разговор:

— Расскажите о них, Алекс!

— Ладно. Только никому ни слова! Обещаете?

— Пароль д‘оннэр! (Честное слово!) Будем немы как рыбы...

Лица их посерьезнели, будто они и в самом деле полностью отдавали себе отчет в стоимости «честного слова». Жером вдруг спросил:

— Не ваших ли недавно ловили в лесу? Говорят, одного из них повесили...

— Да, Жером. То были наши товарищи. Один из трех, бежавших с работы. А двух других растерзали собаки... Привезли его полумертвым. На нем живого места не было, мясо висело клочьями. А лицо... если бы ты только видел лицо!.. Повесили перед строем. Пробовали бежать и из лагеря ночью. Но их срезали пулеметные очереди. Один из них, тяжело раненый, висел на стене, зацепившись за проволоку, стонал. Комендант запретил к нему приближаться. Лишь после смерти сняли его... Это, чтобы на всех на нас нагнать побольше страху и доказать, что побеги — пустая затея...

Лица ребят потемнели. Слезы заблестели на глазах Жерома и Эвжена.

— Что это ты им рассказал? — встревожился Михайло. — Смотри, на них лица нет!

— О неудачных побегах и чем они закончились.

— Зря ты это! — Николай с упреком покачал головой. — Такого нельзя детям рассказывать!

— А может и не зря! — засомневался Джока. — От правды не уйти. Помню, я сам любовался и завидовал марширующим в кино «гитлерюгендам» и итальянским «балилам»: какие парадные! Мог ли я тогда предполагать, что из них воспитывают зверей... Сколько еще продлится война — не знаем. Возможно, Поля

заставят вступить в гитлеровскую молодежь. А правда,что Алекс рассказал, предупредит его, не даст одурачить...

* * *

В тот день мы работали молча, погруженные в мысли о судьбе нашей и ребятишек. Всего неделю назад был тот страшный день, когда в петле в Штайнбахе корчилось в судорогах изгрызенное собаками тело нашего товарища. Был он из Шумадии, лесистой области Югославии. Как и все мы, любил он жизнь, свободу. Все немцы для него были нацистами. Ни его, ни его товарищей не напугали неудачи предыдущих побегов. Мы не знали, что у немцев имеются хорошо выдрессированные ищейки. Гордо и прямо старался он стоять, когда надевали петлю. Напряг, видимо остатки своей воли и своих сил. Мне казалось, что смотрел он на нас с немым укором и протестом: «Вот, меня вешают, а вы... вы смотрите. Никакой попытки что-либо предпринять!... Трусы!» И это глубоко запало в мою душу... Да и все мы жили тем жутким днем, и не было желания о чем-либо говорить. Ребята это поняли.

На следующий день разговор продолжился. Начал его Жером:

— А может не стоит бежать, рисковать? Война кончится, а пока вам у нас будет хорошо. Дома мы разговаривали о вас до поздней ночи. Родители возмущены. Нам страшно за вас. Будет очень горько, если вы погибнете...

Поль и Жером смотрят, словно ожидая ответа. Я перевел слова Жерома. Что им ответить?

Нет. Мы — солдаты, наше место в строю. Когда гибнут лучшие, а наши земли топчет чужак, мы не имеем права сидеть сложа руки и ждать, что кто-то принесет свободу. Вы сами перестали бы нас уважать, а мы вас любим и дорожим вашей дружбой.

Мои товарищи были того же мнения. Другого и быть не могло.

— А не попробовать ли вам бежать прямо из села? Мы бы отвлекли конвоира, и вы скроетесь. Вот только в окрестностях много сел с немцами. Если вас заметят, обязательно выдадут... Эти села необходимо обходить подальше.

— Кроме всего прочего, мы не знаем дороги. Спрашивать о ней — сами понимаете... Были бы карта да компас!.. — продолжаю я развивать мысль. — И одежда необходима...

Приобрести гражданскую одежду было одной из самых существенных, почти неразрешимых задач. Ребятишки пообещали что-нибудь придумать. Конечно, нельзя бежать, абы бежать, вслепую и неподготовленными. Как хорошо, что мы сплотили большую группу еще в Трире! Наше кустарное производство — изготовление сувениров — пришло в полный упадок: во время обыска у нас отобрали весь инструмент и детали. И пришлось переквалифицироваться в хоровую капеллу. Ею стал дирижировать Михайло Иованович. Щуплый, худенький, низкорослый, он обладал зычным басом, схожим, возможно, со звуками иерихонской трубы. Откуда только такой мощный голос в маленьком тщедушном теле?! Были у Михаила и отличные организаторские способности, умение составить программу выступления. Вначале мы пели для себя, для товарищей по несчастью. Потом стали приходить и охранники. Вскоре наш хор стал известен на весь лагерь. Охранники стали подбрасывать нам продукты. При нашем рационе — буханке хлеба на 8–10 человек — это было большой поддержкой. Добавка в питании могла облегчить возможность побега, и мы стали откладывать и накапливать продукты на всякий случай. А вдруг!..

Бежать решили тройками. Во главе первой будет Михайло. В нее вошли Николай Калабушкин, здоровый детина, и я, тоже не из слабеньких. Старшим второй тройки будет Добричко (Добри) Радосавлевич. Он тоже был крепким парнем и хорошо владел французским. В его тройке — Средое Шиячич и Джока Цвиич.

Малыши из Ремельфингена стали частью нашей жизни. Вместе с нами они делили все наши горести и радости, гордились дружбой с нами, тем, что мы с ними общаемся на равных. Ребятишки обучили нас песенке оккупированной, но не сломленной Лотарингии. Я до сих пор помню ее слова. Она была написана после войны 1871 года, когда Германия Бисмарка аннексировала Эльзас и Лотарингию:

Эльзас и Лотарингию вам не сразить!
И вопреки вам французы мы.

Вам онемечить удалось долину,
Но наше сердце вам не покорить!

(Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine;
Et malgré vous nous resterons Français
Vous avez beau germaniser la plaine,
Mais notre coeur — vous ne l'aurez jamais.)

В свою очередь я научил ребят лозунгам на русском и сербском языках: «Да здравствует Россия! Живела Югославия! Живела Француска! Живела слобода!»[13]

* * *

У ребятишек вошло в обычай поджидать нас по утрам и бросаться на шею. Мы для них стали что родные.

Время шло... В лагерном лазарете фельдшерами и санитарами работали французские военнопленные. Мы подружились с ними, попросили составить средства против ищеек, выделить нам флакончики йода, бинтов, вату и пр.

Перед отбоем мы тренировались бегу и хождению след в след. Установили, что первым должен следовать Михайло: к его короткому шагу проще было приспособиться, чем ему к нашему. Почему след в след? Очень просто: меньше следов — меньший расход средств от собак. Тренировками мы укрепляли силы, выносливость. Занимались одновременно и ремонтом обуви французских солдатских ботинок, выданных нам немцами взамен отобранных у нас сапог. Ботинки даже лучше, в них легче. И от них будет многое зависеть — для беглеца обувь дороже золота! Присматривались и к обычаям местного населения. Чистота и порядок здесь соблюдаются до педантизма: необходимо быть чисто выбритым, одежда должна быть опрятной, отутюженной, ботинки — надраенными до блеска. Если этого не соблюдать, то первый же встречный поймет, что ты — чужак. Гладить брюки в дороге просто: обрызгав их, разгладь и ложись на них спать. А если на влажной траве, то и обрызгивать нет надобности. Главное — не ворочайся во сне! А встанешь, они будут, как из-под утюга!

Кроме одежды нам, следовательно, необходимо было приобрести иголки, нитки, бритвенный прибор, сапожную мазь и щетку, мыло... Список необходимых вещей пополнялся по мере

детального изучения всего, что могло в дороге понадобиться. Где все это достать? Естественно, лишь через наших ребятишек!

* * *

Сегодня после работы у нас спевка: один из фельдфебелей нашей охраны получил предписание «на Восточный фронт» и решил «закатить» прощальный концерт. А чтобы у «хоровой капеллы» было хорошее настроение, он пообещал выдать нам несколько буханок хлеба, четыре килограмма сахару и... два ведра пива. Хлеб и сахар — ура! То, что нужно! Ребята будут стараться!

Фельдфебель Вальтер Бруно пригласил на концерт нескольких друзей. Было заметно, что, получив «путевку», он как-то сник.

В бывшую столовую медперсонала психбольницы, где будет концерт, Бруно ввалился с друзьями. Все были навеселе. Дают знак начинать. Михаило взмахивает руками и...

Отаџбино, мило мати,
Увек ћу те тако звати
Мила земљо, мили доме
Нек нам живи слобода
Југословенскога рода!
Нек нам живи, нек нам живи
Југославија!

(Родина, милая мать,
Всегда тебя буду так звать!
Дорогая земля, милый мой дом!
Да здравствует свобода
Югославского народа!
Да здравствует, да здравствует Югославия!)

— мощно и стройно загремела песня. Она заполнила огромное помещение, потекла вначале как журчание ручейка, чтобы затем разразиться ураганом, сотрясшим стекла. Все свои концерты мы начинали именно с этой песни. Она была для нас зовом нашей родины, недосягаемой, но в ней становившейся близкой, будто совсем рядом. Мне и друзьям в эти минуты виделись родные картины юности.

За ней следовали песни Черногории, Шумадии и... русские, всем нам известные:

Волга-Волга, мать родная,
Волга, русская река...

Плавно плывет песня. Необъятная ширь, непоколебимая мощь, безграничная удаль казацкая слышатся в ней. Мы ее очень любим, исполняем с душой. Но что это?.. Не может быть! Вальтер плачет! Толкаю локтем соседа, глазами показываю на столь необъяснимый феномен. Фельдфебель уже не плачет — рыдает по-настоящему, со всхлипами, подрагивая плечами. Обхватив голову руками, раскачивается из стороны в сторону... Другие «завоеватели», с кислыми минами, стараются его успокоить. Видимо, здорово «перебрали». Уже хотим закруглиться, но Вальтер поднимается и неуверенными шагами подходит:

— Югославен!.. Нох маль «Волга-Волга»... битте! — и он поясняет, что завтра или послезавтра отправится на Восток.— Фаре нах Остен!.. Я-я... фри...рен! (На восток, да-да, замерзать!)— бормочет он заплетающимся языком.

* * *

Фельдфебель свое слово сдержал. Как и было решено заранее, нам, претендентам на первый побег, выделено два килограмма сахару.

Подготовка к побегу идет и в Ремельфингене. Полю удалось раздобыть карту департамента Мозель. Жером с триумфом вручил мне компас, который для нас передала вдова французского майора, мадам Эрвино. А вот с цивильным плохо: наш рост, Николая и мой, — 180 см. Здешние же жители мелковаты! Вдруг Поль задал необычный и неожиданный вопрос:

— А как вы будете защищаться, если вас обнаружат?

— Какой-нибудь способ да найдем. Живыми ни в коем случае не сдадимся!

— Ну а все-таки?

— Как бы тебе сказать... пока не знаем, об этом не думали. Все будет зависеть от обстоятельств. Разве можно всё предвидеть?

И действительно, мы знали одно: если поймают — смерти не избежать.

— А мы кое-что придумали, Алекс. У нас в селе живет нацист. У него сын в «гитлерюгендах», таскает пистолет. Мы могли бы его украсть... если вы согласны.

Это предложение было настоль неожиданным, что я растерялся. Соблазн велик, но, посоветовавшись друг с другом, ре-

шили отказаться: нельзя малышей и их семьи подвергать такому риску!

* * *

Прекрасный солнечный август. Уже более двух недель, как работаем в селе. На полях поспел картофель. Ветви фруктовых деревьев ломятся от сочных плодов. Что может быть лучше подобных даров, которые сама природа предлагает путникам?..

— Нун, майн либер Алекс! — неожиданно обратился ко мне конвоир. — Хватит играть в прятки! Я знаю, к чему вы готовитесь!

Я весь напрягся.

— Слушай внимательно: я не могу допустить, чтобы вы бежали отсюда. Пойми: у меня семья, трое таких же ребят... Думаю, у вас все подготовлено? Учтите, что в этом и моя заслуга: я смотрел и... «не видел». Рад, что наши парнишки такие молодцы. Нет, не бойся, — я вас не выдам. Но нужно ваше слово: перед побегом вы обязаны меня предупредить. И я вас переведу в другую команду. А там — дело ваше...

Вздыхаю с облегчением. Невероятно, но факт: конвоир — на нашей стороне, наш сообщник! Конечно, подвести его мы не имеем права, хоть это и осложнило наши планы, но с чистым сердцем обещаю предупредить. Лихорадочно стали закруглять наше пребывание в селе. Поль приносит последние, недостающие нам, брюки. Не по росту, зато... цивильные! Ввиду невозможности пронести в лагерь туалетные принадлежности (штатское надели под униформу), договорились с ребятами, что забежим за ними после побега.

* * *

В Штайнбахе бригады построены на выход. С замиранием сердца ждем, как выполнит, и выполнит ли, свое обещание наш конвоир. Вот он подходит к старшему и что-то ему говорит. Тот перелистывает блокнот, делает какие-то пометки. К воротам вызывают Цвиича, Радосавлевича, Шиячича и еще одного. Они выходят в сопровождении нашего бывшего конвоира. Молодец! Выполнил все, как и обещал. Теперь Джока Цвиич будет нашим посредником: познакомит новеньких с ребятишками — «сопротивленцами в коротких штанишках». А нас включили в боль-

шую бригаду из сорока человек. Шесть конвоиров, седьмой — унтер с собакой и велосипедом. Под разрушенным мостом переходим через речушку. Налево — дорога на Ремельфинген, но мы сворачиваем направо. Место нашей работы — огороженная невысоким каменным забором площадка. В ней — взорванная в начале войны водонапорная башня. Теперь она превращена в огромные куски бетона. В некоторых местах забора — трещины после взрыва. За забором, рукой подать до опушки леса. Надо осмотреться, познакомиться с порядком охранения, с распорядком дня.

Отбойными молотками разламываем бетон на мелкие куски, относим их в сторону, расчищаем место для восстановительных работ. Одни работают пневмомолотами (компрессор урчит рядом), другие кантуют или таскают глыбы. Пересчитывают нас каждые 10–15 минут, визуально. За невысоким земляным валом — дощатая уборная. Тут же определяем: через стену легко будет перебраться по ее трещинам... Стучат молотки, трясутся руки, тело, голова... Через короткое время стук начинает болью отдавать в ушах. К обеду привозят бачок с едой. На раздаче — один из конвоиров:

— Лос, давай-давай!.. Дальше, следующий!..

С постов оцепления ушли все: у них тоже обед, в дощатой будочке. На часах остается лишь один: по мнению охраны, никто не решится бежать, не доевши своей баланды, не воспользовавшись счастливыми минутами полной тишины и прострации, когда вдобавок можно растянуться и раскинуть свои дрожащие руки. После грохочущего стука десятка отбойных молотков, в голове такой гул, что долго еще не слышишь даже стука ложек! Раздатчик тоже удалился в будочку. Оставшийся часовой, пересчитав нас во время раздачи баланды, скучающе стал ходить взад-вперед на облюбованном им холмике. Он тоже рад тишине. Но она ему вскоре надоедает, и он начинает насвистывать популярную солдатскую песенку:

Мит дир, Лили Марлен,
Мит дир, Лили Марлен...[14]

У нас примерно десять минут. Мы расселись подальше друг от друга: не надо приучать посторонних видеть нашу компанию

вместе! Обменяться же наблюдениями и впечатлениями успеем и в лагере.

— Лос! Шнеллер! Построиться!

Конвоиры уже на своих местах. Нехотя становимся в строй. Унтер считает нас, пересчитывает. Все в порядке:

— Ин орднунг! Веггетретен! — приказывают разойтись по местам.

И опять зататакали адские очереди молотов. Работаем без рукавиц — их не имеется. Руки покрыты волдырями, которые лопаются, голое мясо разъедает соль пота. Нам, новичкам, еще ничего. Но как беднягам, которые на этой работе уже три недели?! Поистине, каторга! Нас продолжают пересчитывать так же часто, как и до обеда: каждые 10–15 минут. Значит, лишь в обеденный перерыв у нас будет фора во времени, примерно 30–40 минут. Телефонного кабеля не видно, это — хорошо. Но плохо, что собака: помогут ли наши специи? К концу работы «молотобойцев» шатает, все чаще и чаще опираются они на свой инструмент...

* * *

Вернувшись в Штайнбах, разворачиваем карту. У нас три реальных направления: на запад — к Люксембургу, на юг — во Францию, на восток — к Швейцарии. Четвертое направление, на север, нереально: надо бы было протопать через всю Германию... Вот и лесок у водонапорной башни, она тоже помечена на карте. За ним другие леса, один возле другого. Подойти к Ремельфингену легко. Но, чтобы запутать следы, решаем начать свой бег на север: уверены, что погоня будет брошена именно в том направлении. Ведь естественно, что беглецы должны были бы устремиться по кратчайшей дороге к себе на родину. А это и есть северное направление. Пусть преследователи помчатся туда. А мы тем временем, через пару километров, свернем под прямым углом на запад, а еще через несколько километров повернем на юг, к Ремельфингену. Там возьмем чемоданчик с необходимыми принадлежностями...

С нетерпением дожидаемся возвращения товарищей из села. Вот и они.

— Знает ли конвоир, в какую бригаду нас перевели?

— По-моему, вряд ли, — отвечает Джока.

— Ну, а наши «сопротивленцы», как они?

— Были очень обеспокоены, что вместо вас пришли другие. Объяснили, что вас просто перевели в другую бригаду. Поль спрашивал, нельзя ли подойти к лагерю. Я начертил, указал, где вышка, у которой бы вы смогли его поджидать. Сказал, что хотел бы тебя, Аца, увидеть...

— Как же он меня увидит? Только, когда будем возвращаться с работы...

— Я ему так и объяснил. Впрочем, вот его записка.

«Дорогой Алекс, твои товарищи. Почти все собрано. Дело за чемоданчиком. Его обещают дать завтра. Отец был удивлен, обнаружив пропажу своего рабочего костюма...»

В записке был перечень собранных вещей.

— Конвоир поинтересовался, когда вы намереваетесь бежать. Я ответил, что, думаю, не ранее, чем через неделю. Он улыбнулся и больше ни о чем не спрашивал.

Еще раз внимательно изучаем карту, объясняем друзьям из второй тройки, почему мы избрали именно такой витиеватый маршрут. В мыслях уже бредим первой ночевкой на свободе: лес, костер, печеная в золе картошка...

«Ах, ты, милая картошка-тошка-тошка...»

Стоп! А спички? Прошу Джоку передать Полю дополнительный заказ: спички, кусочек целлофана, чтобы предохранить их от дождя, сырости...

— Вам бы еще и зонтики! — шутит Добри.

— Вы их и прихватите! — парируем в ответ. — Не забудьте также спальные мешки, маникюрный набор и обязательно... галстуки. А то ни одна француженка вам глазки не состроит!..

Настроение — на высоте, «чемоданное»: все случайности при подобной тщательной подготовке сведены вроде бы до минимума. Лишь бы обувь не подвела — слишком уж хлипкая! Я вспомнил, как отец учил меня словами А.Суворова: «Хочу — это уже половина могу!» А мы очень-очень захотели!

* * *

Последний концерт. Для нас — прощальный. В этот вечер, когда мы вместе в последний раз, нам хочется петь гимны и романсы всем песням, которые нас объединили, сплотили и, вопреки суровым охранникам, дали понять истинную прелесть и

величие настоящей дружбы... И грустно на душе от предстоящей разлуки... «Капель-дудка» Михаило уступает свое место преемнику — Добричко. Пусть тренируется!

«На граници стража стоjи...» (На границе стража стоит...) — звучит шуточная черногорская песенка. Видимо, родилась она после свержения пятивекового турецкого ига, когда Черногория впервые обрела собственные границы. Кстати, а как нам повезет на границе? Как миновать эту «стражу», отнюдь не занимающуюся, как это в песне, лишь «подсчетом подозрительных лиц»? Не там ли ждет крушение всех наших надежд? Ведь мы не имеем ни малейшего о ней понятия! Но... как говорится во французской поговорке, «кто не рискует, тот не выигрывает!». Вспоминается Козьма Прутков:

Всё стою на камне: дай-ка брошусь в море!
Что судьба пошлет мне? Радость или горе?
Может, озадачит; может, не обидит:
Ведь кузнечик скачет, а куда? — не видит!..

* * *

Вернувшись на следующий день из села, Джока сообщает, что к 21.00 надо подежурить у стены, прилегающей к дороге: Поль хочет перебросить «привет от всей борющейся молодежи, которая любит свою Францию». Ну и хватил! Джока продолжает:

— Он сказал, что верит вам и в ваш успех. Убежден, что придаст вам решительности... Всегда будет помнить о вас, ждать встречи в лучшие времена...

Джока явно растроган.

— А еще дал вот этот адрес во Франции. Его двоюродный брат живет недалеко от границы, в городе Домбаль...

Тут же разворачиваем карту. Да, вот он, Домбаль! Рядом с Нанси, как раз на избранном нами направлении. Молодчина!

В назначенный час притаились близ стены с вышкой. Вслушиваемся в тишину. Башенные часы Сааргемюнда начинают отбивать: первый удар, второй... восьмой... И тут послышался шелест летящего предмета, который тут же стукнулся невдалеке от нас. Но что это? — Часовой на вышке вдруг заметался, зажег прожектор, стал шарить им вдоль стены. Потом луч его побежал вдоль наружной ее стороны. Окрик с вышки: «Хальт!.. Хальт!» Короткая очередь.

— Ферфлюкте лумп! — ругается часовой.

— Вас ист лос? — спрашивают с соседней вышки.

— Какой-то маленький паршивец!.. Я его пугнул, а он такого стрекача дал, ха-ха-ха!..

Пока идут объяснения, улучаем момент, и камень, вокруг которого обернута бумажка, оказался в руках. В комнате, при слабом свете, разобрали каракули: «Я с вами. Чемодан готов. Кураж, бон шанс! (Храбрости, удачи.) Поль».

Итак, все готово, бежим завтра. «Что день грядущий мне готовит?»

Рано утром, 22 августа, мы надеваем под свою униформу цивильное. В специально нашитых карманчиках у каждого из нас по кусочку ваты, бинтик, по флакончику йода, специи от собак... У меня, кроме того, компас и карта. У каждого по малюсенькой сумочке сахарного песку. Мало ли что может случиться, пусть у каждого будет и своя индивидуальная аптечка и «провиант». Перед разводом прощаемся с остающимися товарищами.

* * *

Очень трудно и жарко работать в двойной одежде. Как и договорились, приучаем часовых к нашим частым отлучкам в уборную. Делаем вид, что у нас сильный понос. Подобное явление здесь не в редкость. Видеть, как кто-то мучается животом — развлечение и удовольствие для часовых. Перебрасываются плоскими шутками:

— Смотри, вон один опять побежал «работать»!

— Да еще как! Будто тысяча чертей за ним гонится!..

— Интересно, чем они так обожрались?

— Эй, Франц! Еще один мчится на подмогу! Как бы ты не оглох от их духового дуэта!..

— Точно, Франц! Отойди подальше, а то погибнешь во цвете лет от удушья!.. Ха-ха-ха...

Шутки и насмешки вскоре приедаются, часовые постепенно привыкают и перестают обращать внимание на наши частые «экскурсии». Ими овладевает привычная скука...

Привезли обед. Получив баланду первыми, отходим, ставим котелки на землю и по одному, придерживая животы и скорчившись, трусим к уборной. Как только вал скрывает меня от

глаз часового, быстренько сбрасываю униформу. Поднимаю глаза и... холодок пробегает по телу: передо мной двое незнакомых гражданских! Тьфу ты! — Это же преобразившиеся Михайло и Николай!.. Униформы сваливаем на одну кучу. Эх, жаль моей хорошей шинели! Кучу обрызгиваем вонючим снадобьем, посыпаем смесью перца и табака. Протираем этими же средствами свои подметки. Взмах! и мы на другой стороне каменной стены. Вокруг никого. Вперед, каждая секунда дорога! Вбегаем в лесок. Скаутский «индейский шаг» — пятьдесят бегом, пятьдесят шагом: экономный и быстрый режим продвижения. Главное, чтобы след в след. На это сейчас все наше внимание, хоть и хотелось мчать, лишь бы вперед да подальше... Километра через два капаем в наши следы, присыпаем порошком и опять вперед... Останавливались раз пять, чтобы обработать следы, пока не израсходовали все наши химикалии. Продвигались по разработанному плану: на север, затем на запад, потом на юг, туда, где должен быть Ремельфинген... Часа через три увидели шпиль знакомой колокольни...

Спутники маскируются в кустах на опушке, а я, подходя к селу, прикладываю к щеке платок, будто страдаю зубной болью, и этим частично скрываю лицо. Свернул в улицу, где дом Жерома. Только постучал в дверь, как из-за поворота заслышался скрип телег. Приближаются наши, с конвоиром! Вдруг не сумеют скрыть удивления, увидев меня! Куда деться? И тут приоткрывается дверь, высовывается чья-то рука и меня втягивают внутрь. Дверь захлопывается за моей спиной. Передо мной — женщина! Лицо ее смертельно бледное, по лицу текут слезы... Догадываюсь: мать Жерома!

— Присядьте на пол, чтобы через окно не увидели!

— А где Жером?

— Алекс! — появляется он и бросается ко мне. Слезы. То ли от радости, то ли от страха. Скорее от всего этого... Только сейчас соображаю, что ведь я их подверг смертельной опасности...

Жером помчался к мадам Эрвино за чемоданчиком. Вернулся с ней:

— А где остальные? — спросила она.

— Ждут в лесу. А где Поль?

— Он вчера сильно разодрал колено о колючую проволоку.

Отец ему здорово всыпал, чтобы по ночам не шлялся. Сейчас лежит дома, никуда не выпускают... Алекс, правда, что в него стреляли? Он хвастается, что еле увильнул от пуль...

— Да, Жером, правда. Стреляли...

* * *

Жером с чемоданчиком, в котором, кроме прочего, котелки и фляжки, выходит первым. Оглядывается, подает знак. Выхожу. В арьергарде шествие замыкает девятилетний Эвжен. Успеваю заметить, как мне взмахнули платочком: это мадам Эрвино, наш благодетель и союзник, еще раз пожелала нам «Пасьянс э кураж» — терпения и храбрости. Минут через десять мы у опушки. Свистнул. Никого! Свистнул громче, и перед нами предстают Николай и Михайло. Последние прощальные объятья... Дорогие наши «сопротивленцы в коротких штанишках» — «les résistants en cullotes courtes», мы вам многим обязаны! Жаль, что не было Поля!.. Мы пообещали ребятишкам никогда их не забывать: при первом же случае постараемся дать о себе знать. Обязательно!

— Мама передала вам адрес моей сестры. Ее зовут Анни Террон. Живет в Париже, на углу бульваров Сен-Дени и Севастополь... — сказал на прощанье Жером.

Углубляясь в начавшую темнеть чащу, оглядываемся еще и еще раз, машем рукой ребятам... Наш путь на юг. Какой-то зверек шарахается из-под ног. Ну чего ты боишься? Мы же свои! И нам хочется запеть во все горло...

* * *

...Да, то было в августе 41-го. Сколько радости: мы вырвались на свободу! Сколько было уверенности, что долг свой ребятишкам вернем и подаренную нам свободу окупим. Из Берлина в адрес Поля и Жерома полетели мои весточки: «Спасибо! Все живы. Все удалось, мы боремся!»... А сейчас я — в этом холодном каменном мешке. А те там, за дверью, ждут... Ждут когда же он сорвется, когда застучит в дверь, станет умолять о пощаде? Когда он станет «раскалываться» и перечислять всех, с кем был связан, кто ему помогал... вплоть до этих ребятишек? Как я сейчас ненавидел этих извергов-палачей! Одна эта мысль о подобном признании всколыхнула во мне страш-

ную злобу. Я не владел собой. Вскочил, заметался по камере, начал ее кругом ощупывать. Нет, из нее никакого выхода, кроме двери. Но там — они. Это конец. Они всесильны!.. Так лучше смерть, чем стать предателем. Я заскрежетал зубами от своего бессилия. Опять бросился плашмя на пол. Всё!

Как сквозь туман донеслись звуки глухих шагов. Чу, затихли у двери! Лязгнула шторка глазка-шпиона: за мной наблюдают! Пусть! Не буду поворачиваться: мерзко видеть торжествующий взгляд тюремщика, этого ничтожества... Минут пять-десять шторка не падает. Сколько же можно подглядывать? Ладно, смотри, скотина, смотри! Пусть вытечет у тебя твой мерзкий глаз!.. Вдруг до меня доносится шепот: «Армер Керл! (Бедный парень!) Как тебе должно быть холодно!» Чувствую в шепоте неподдельное участие. Это приводит меня в еще большее бешенство. Вместо ответа рычу, извергаю грязное ругательство. Проходит еще несколько минут, шторка опустилась. Но что это? — Явственно слышу, как лязгнул запор, раз, другой... Ага: больного, немощного льва и паршивый осел считает своим долгом лягнуть! Знаем мы вас! Что ж, бей, избивай, приканчивай! Это даже лучше! Я повернулся: приму смерть лицом к лицу! Вижу: в щель приоткрывшейся двери просунулась рука, показалось плечо с погоном ефрейтора. В руке — дымящаяся сигарета! Недоверчиво встаю...

— Покури, бедняга! Теплей станет!

Дымящийся огонек, неожиданное человеческое участие, доверие — не побоялся открыть дверь — не знаю, что именно, но как-то мигом растопило чувство озлобления. Я даже растерялся. Взял сигарету. Через полчаса тюремщик вновь приоткрыл дверь, протянул полную миску густого, горячего горохового супа. О, это не тюремная баланда! Настоящий, жирный гороховый суп с мясом! Очевидно, из их солдатской кухни.

— Ешь поскорее, иначе мне капут!.. Я — не гестаповец, я — солдат. С фронта... после ранения...

Миска жгла закоченевшие, негнущиеся пальцы. От нее шел пар. Я сунул в него лицо. Чувствуя теплоту, щекочущий вкусный запах, стал есть, обжигая рот и разбитые потрескавшиеся губы. Тепло постепенно разливалось по телу. Мне стало легче, хотя холод тряс по-прежнему. Но не об этом я думал, воз-

вращая пустую миску. Одеревеневший, дрожащий, потерявший счет времени, я ухватился за спасительную мысль: если и здесь, в этих застенках, в этом саду китайских пыток, слуги не живут по волчьим законам своих гнусных хозяев и сочувствуют мне, «преступнику», по их понятиям, значит... значит «господа» не всесильны. Следовательно, есть надежда. Только бы не поддаться отчаянию! Надо забыть о холоде, о смерти! Остается терпеть! Думать о том, что было, о товарищах по борьбе, об их дружбе... Еще раньше я заметил, что это придает силы...

Глава 3. «EN PASSANT PAR LA LORRAINE...»

«Проходя по Лотарингии в деревянных башмаках...» — поется в одной детской французской песенке. И в моем воображении вновь появляются мои друзья-спутники, наш с ними путь по этому региону.

По лесным звериным тропкам, стороной обходим селения, дороги. С трудом пробираемся через густые, колючие заросли. Уши наши насторожены: не натолкнуться бы, не дай Бог, на человека! Друг ли, враг ли — поди узнай! Во всяком случае, может он оказаться смертельной опасностью. Любой зверь для нас лучше. Вспоминаю песню «юных разведчиков»:

Крутыми тропинками в горы,
Вдоль быстрых и медленных рек,
Минуя большие озера,
Веселый шагал человек.
Одиннадцать лет ему было,
И нес на спине он мешок.
А в нем — полотенце и мыло,
Да белый зубной порошок.
И туча была вместо крыши,
А вместо будильника — гром...

Да, «нам путь не страшен, дойдем до облаков!». Песенка эта почти про нас, хоть нам и более «одиннадцати». Песенка про то, как мы шагаем по тропкам, про тучи, гром, облака... Во всяком случае, она мне сильно помогает в нашем пути «до обла-

ков»... «Он пел, и веселая песня ему помогала в пути». Пел и я. Мысленно: нельзя было поднимать лишний шум! И в нас действительно всё пело, было легко-легко! Одним словом — наконец-то мы были на свободе!

Если верить карте, мы в первую ночь протопали более двадцати километров, петляя, продираясь в темноте сквозь заросли. По карте двадцать, но это — в птичьем полете. Нам же приходилось кружить, обходить села, выискивать кратчайшее расстояние от одного леса до другого, чтобы как можно меньше бывать на открытой местности. Помогала в этом и сама ночь. И все же, очень был переполнен нервным напряжением наш первый бросок!

Как только забрезжил рассвет, измотанные и разбитые, мы набрели на тихий и, казалось, заброшенный хуторок. Стоящий на отшибе сарайчик показался нам вполне безопасным. В нем было полно сена, и мы тут же замертво свалились. Не думали ни о чем, на это не хватало сил. Я даже не успел почувствовать блаженства отдыха, как провалился в глубокую пропасть полной отрешенности и безразличия, пудовые веки закрыли мои глаза. Сквозь сон мне почудился неясный скрип двери. И еще раз она скрипнула. Но не было мочи хотя бы приоткрыть сомкнутые веки, приподнять мое, ставшее чужим, тело, оторваться от удобной вмятины в пушистом, пахучем, опьяняющем сене.

Когда проснулись, сквозь щели сарая пробивался свет яркого солнца, стоявшего высоко в небе. И тут, потягиваясь и оглядывая наше убежище, увидели: у самого входа лежат три аккуратненьких свертка, а рядом стоит двухлитровый кувшин. Полный молока! В свертках хлеб и сало. Конечно, нас взволновало благородство незнакомых хозяев! Быстро поглощаем «манну небесную». Не удерживаюсь, чтобы не нацарапать на клочке бумажки то, чем были переполнены наши сердца: «Гран мерси!»

* * *

Третьи сутки пути. Теперь единственное наше питание — по ложке сахару и по галете (было их сорок штук!). Трижды в сутки. Зато вчера мы выкопали несколько картофелин и испекли их.

На мигом потемневшем небе, в свинцом налитых грозных тучах засверкали стрелы молний, раз за разом заухали раскаты грома. Гроза разразилась сильнейшим ливнем. Еле успели прижаться к стволу развесистой густой ели (вопреки, конечно, скаутским правилам: может поразить молния!). Думали, это спасет. Нет: через несколько минут нас обдало струями воды, и мы промокли насквозь. А дождь хлещет-хлещет. Как пригодился чемоданчик, целлофан: кроме продуктров, успели засунуть и карту и компас! Ливень не собирается утихать. Промокшим насквозь терять нечего, и мы пошли дальше. Стала пронизывать дрожь, и мы чуть ли не до бега ускоряем шаги. Беспокоит состояние нашей обуви. Сколько она выдержит? В лесу стало совсем темно, но тут вдали посветлело, и мы вышли на просеку, вдоль которой шли рельсы узкоколейки. Ржавые. Значит, по ним уже давно не ездили. Хоть и не совсем в нашем направлении, но пошли по ним. Будочка! Как-никак, а крыша. Дверь прикручена проволокой. Заглядываем внутрь: ничего не видно. Открываем, перелезаем через какие-то препятствия. Достаем спички, чиркаем: кругом навалены лопаты, кирки, а посредине — железная печка с выведенной наружу трубой. Около нее — штабель наколотых дров. Настоящее счастье! Растопили печь, игривые языки пламени осветили убежище. Приводим все в порядок, увеличиваем свободную площадь. Теперь будет куда кое-как примоститься. Раздеваемся догола, выжимаем одежду, развешиваем. Стало тепло, потом жарко. Тут же неудержимо стало клонить ко сну. Полусидя, полулежа, кто как, приспосабливаемся и забываемся. В столь неудобном положении и сон тревожный. Это помогает вовремя подбрасывать дрова. Эх, если бы кому-либо снаружи взбрело на ум глянуть сюда через окошко! Вот бы шарахнулся без оглядки, завидя у горящей печки голые привидения в самых причудливых позах!

Даже не верится, что человек и в таких условиях способен отдохнуть и восстановить силы... Давно рассвело, когда мы открыли глаза. Вся одежда высохла, но в каком она жутком виде! Прогладить бы! Обувь так покоробилась и пересохла, что стала жесткими колодками. С трудом обулись. Да-а, ножки мы натрем — будь здоров! Что поделать, спасибо и на том! А как бы мы провели ночь, если бы не эта будочка, не печурка? Подкре-

пились сахаром, галеткой и, учитывая наш вид, с крайней осторожностью двинулись в дальнейший путь. Тут только я обратил внимание, что на моих штанинах отпечатаны какие-то круглые бомбы с языком пламени. Что бы это означало? Артиллерийский знак?

* * *

Продвигаемся гуськом. Впереди Михаило, потом я, сзади Николай. Вдруг Михайло поднимает руку. Тот же знак повторяю я. Остановились, притаились. Вижу: Михайло приседает у кустарника, ползет чуть вперед, выжидает, прислушивается... Затем крадучись подползает ко мне, шепчет:

— Голоса... В форме фельджандармов...

— Не двигаются?

— Нет. Сидят. На чем-то вроде дота...

— Спрячьтесь поглубже в кусты! Посмотрю, что за люди...

Ползу со всеми предосторожностями. Лес становится реже. Впереди прогалина, проселочная дорога. На чуть возвышающемся над землей бетонном куполе с пустыми амбразурами сидели и тихо беседовали четверо жандармов. Долго ли будут сидеть? Наблюдаю за ними. Вдруг один из них делает предостерегающий жест, все замирают, прислушиваются... Наконец, они успокоились, возобновили тихую беседу. О чем — не слышно. Понял: это встретилось два патруля. Засада, ждут... Не нас ли? Осторожно возвращаюсь, шепчу:

— Там засада. Здесь, видимо, проходила линия Мажино... Неужели у каждого дота установлены посты? Во всяком случае, попытаемся их обойти.

Сориентироваться на карте помогла просека и дорога. На ней доты не помечены, но видно, что рядом болото. Вот мы и пойдем по его кромке. Сделав порядочный крюк, обошли опасное место и оказались километров на пять юго-западней. Невезучий день: проделали чуть ли не десять километров лишних!

Близ города Дьёз нам надлежит пересечь шоссе Дьёз—Аркакур. Кое-как привели свою одежду в порядок, надраили обувь. Идем параллельно шоссе — ищем, где безопасней его перейти. Нашли подходящий поворот за возвышенностью. Что за поворотом — не видно. Зато дорога впереди далеко просматривается. Перешли, и тут из-за поворота послышался цокот копыт. Это

опасно, куда скрыться? Как на зло, перед нами пашня, до леса далеко, до него не успеем. На пашне стадо коров. Увидели там и пастуха. Направляясь к нему, побросали в кусты сумки, чемоданчик. Только дошли до него, как на дороге показался пароконный фаэтон с четырьмя шупо-полицейскими. Сердце ёкнуло. Кажется, мы влипли... Став спиной к асфальту, заговорили с пастухом. На его куртке нашит прямоугольник с буквой «Р» (поляк). Так гитлеровцы метили этих представителей «низшей», по их представлению, народности. Я стал подбирать польские слова, но поляк, не отвечая, смотрел мимо нас. «Цок-цок.. цок.... цок» — замедляется, чтобы совсем прекратиться, звук копыт: коляска остановилась. Не выдерживаю, поворачиваю голову к дороге: худо — к нам, не торопясь, направляется полицейский, похлопывая себя кнутом по блестящим голенищам сапог... Ой, как худо! Вот тебе и момент, когда на карту поставлено все. Я говорил Полю, что живыми не сдадимся. Правильно, но что предпринять?.. Что надо этому шупо? Мысленно оглядываю себя, спутников. Одежда наша не должна бы насторожить, выглядим опрятно, выбриты, ботинки начищены...

— Кто такие? — маленькие глазки подозрительно ощупывают. Поляк, стоявший к полицейскому в пол-оборота, гордо поднял голову и дерзко, с вызовом, ответил вопросом на вопрос:

— А в чем дело?

Лицо полицейского исказилось злобой. Он резко взмахнул плеткой и огрел ею поляка по лицу:

— Шапку долой, польская свинья!

Второй взмах плеткой, и кепка слетела с головы поляка. Полицейский повернулся к нам, но наши береты были уже в руках. Стоим по стойке «смирно». Гордый произведенным эффектом, полицейский направился назад к фаэтону. Вновь зацокали копыта, и коляска вскоре скрылась.

Попытались поговорить с поляком, но тот, прижав рукой красный рубец на щеке, окинул нас презрительным взглядом:

— Проваливайте, жалкие трусы! А еще и солдаты! — и он посмотрел на мои брюки. Я убедился, что знаки на них говорят о принадлежности к французской армии. Полицейский искал, видимо, беглецов-югославов, а не пленных французов... Мы быстро ретировались с этого неприятного места.

К границе подошли на седьмой день. После происшествия с поляком, Николай стал раздражаться по пустякам. То призывал к большей осторожности, то угрюмо заявлял об обреченности нашей затеи. Всеми силами мы старались не дать ему скиснуть: отшучивались на его едкие замечания, «не замечали» его колкостей и оскорблений или просто не отвечали на них. С каким нетерпением хотелось поскорее закончить этот трудный путь по треклятой Германии! Как хотелось отдохнуть или хотя бы немного передохнуть. Мы чувствовали, что как физические силы, так и нервы — на пределе. Именно поэтому, наверно, подойдя к границе вплотную и завидев каланчу села Жювелиз, судя по карте, мы, позабыв обо всякой осторожности, вышли прямо на шоссе. Как легко и хорошо идти по асфальту! Неплохо бы было порасспросить о границе, где она проходит, как ее охраняют, в каком месте лучше ее перейти... Но у кого, как?

Село в лощине, нам виден лишь шпиль колокольни. И тут, из-за склона шоссе, появляются двое велосипедистов. Девушка и парнишка. Педалят нам навстречу. Обоим лет под шестнадцать. Очень похожие друг на друга, как близнецы. Что-то очень уж они пристально к нам приглядываются. Это настораживает, и мы их не останавливаем. Велосипедисты проехали мимо. Вдруг они останавливаются, поворачивают назад и, ведя в руках свой транспорт, идут за нами следом. Не гитлерюгенды ли? Мелькнула мысль, что их придется обезвредить... Чувство пренеприятное! Я сунул руку в карман, покрепче обхватил рукоятку ножа...

— Месье, куда вы спешите? — спросила нагнавшая нас девушка. Мы остановились: пусть оба подойдут поближе!

— В село. Ищем работу.

— Нет, месье. Туда вам ни в коем случае нельзя идти. Там вас ждут еще с позавчерашнего дня! — без обиняков, залпом выпалила девушка.

— Моя сестра оказалась права, когда сказала, что это вы и есть. Раз понаехали со всех сторон жандармы и полицейские и повсюду расставили заслоны, значит, кого-то собираются ловить. Кто-то из наших бежал из плена и приближается к границе... — затараторил мальчишка.

— А когда сегодня с утра запретили жителям выходить из села, догадка наша укрепилась. Мы, шасть! Выбрались огородами и поехали вас предупредить..

— А завидев вас, вначале побоялись, — перебил сестру парнишка, — но тут я увидел ваши знаки на брюках, и все сомнения отпали...

Ребята тараторили так просто и непринужденно, так были рады своей удаче, что им удалось нас найти, предупредить и, следовательно, спасти, что не поверить им мы не могли. Скрывать, что мы беглецы, было абсурдно.

«Велосипедисты» дали нам первый совет, очень благоразумный: сойти с дороги, пока нас никто не увидел, и замаскироваться в кустах. Там нам вкратце дали первые сведения о границе. Вдоль всей пограничной полосы, пояснили они, перебивая друг друга, построены высокие наблюдательные вышки. Между ними часто курсируют патрули. Но можно проскользнуть. Главное: незаметно подкрасться почти вплотную к полосе, подождать прохода очередного патруля, а тогда и переползти за его спиной. Показали болото, которое нам надлежит перейти вброд:

— Оно неглубокое. И там нет засад... Видите седловину на горизонте? Там и проходит граница.

Посоветовали подождать здесь до наступления сумерек. Тем временем они привезут нам еды. Почему границу так строго охраняют?

— Когда мы были подсоединены к Германии, молодежь стали брать в армию. Вот она и начала бежать во Францию, где у многих имеются родственники. Поэтому и устроили такой заслон...

Хоть мы и не очень надеялись, но к началу сумерек ребята были снова у нас. С полной корзинкой снеди и бутылкой сухого вина: — Чтобы вы согрелись после болота!..

* * *

Предстоит решающий скачок. Или пан, или пропал! Нас охватывает приступ суеверия: двинемся в путь тогда, когда на небе появится тринадцатая звезда! Небосвод стал темнеть быстро. Наши взоры устремлены в него. Вот и первая звезда... вторая... девятая... Как только кто-то заметил тринадцатую, вскочили, трижды перекрестились и двинули в путь. У болота раздеваемся догола. Со свертками одежды на голове вошли в теплые воды болота. Вода Михайле по шею. Бредем неслышно. Вскоре

благополучно выбираемся на берег. Чуть обсохнув, вновь одеваемся. После воды чувствуем прилив бодрости. Это отлично. Как и поясняли велосипедисты, за болотом было шоссе, и мы его пересекли. Следующим ориентиром было высокое дерево. Но стало так темно, что мы его не увидели. Да, небо заволокло тучами, уже ни зги не видно. С одной стороны, это нам на руку, с другой... Идем гуськом, наощупь. Идущего впереди не видно, только слышно... Впереди Николай. Вдруг он на что-то наткнулся, я врезался в него, Михайло в меня, и мы рухнули наземь. Тут раздался такой страшный грохот, будто тысяча ног затопала перед нами и рванула в сторону. Объятые страхом, вжались в землю и затаили дыхание. Лежим ни живы, ни мертвы... Что это такое? Но тут грохот оборвался, будто его и не было. Тишина...

Переждали немного, гадая, как это объяснить. Нет, необъяснимое — не объяснить! Как у Козьмы Пруткова: «Нельзя объять необъятное!»... Что ж, не век же лежать! Осторожно встали и побрели дальше. Вновь раздался грохот. Аж земля затряслась под ногами. Мы опять в страхе бросились на землю. Что за наваждение?! На голове и волосы зашевелись... Вдруг послышалось блеяние. Тьфу ты! Это же овцы, чтоб им пусто было! Мы набрели на загороженный загон! А вот и его проволочная изгородь... Михаил полубеззвучно хихикнул, Николай зло заворчал и крепко ругнулся. Постояли немного, отходя от пережитого испуга и вслушиваясь в темноту. Впереди нас — изгородь загона. Мы ее не видим, а нащупываем вытянутыми вперед руками. Бредем вдоль ограды. Но она, как назло, петляет то вправо, то влево. Ориентацию потеряли окончательно, идем наугад. Где же граница? Компас сейчас бесполезен: без света не увидишь, а чиркнуть спичкой нельзя... Тут внезапно врезались во что-то шуршащее. Ощупали: стволы полусухой кукурузы. Ну и шуршит же! Такое поле не перейти, приходится идти вдоль его кромки, но куда? Направо или налево? Когда же оно кончится? Оно явно ведет нас в сторону!.. Наконец-то! Но под ногами пахота. Это еще хуже: идти по невидимым крупным комьям земли, когда то ноги проваливаются в борозды, то ступни подворачиваются, срываются с кочек то влево, то вправо... Часто теряем равновесие, падаем... Уф, закончилось наконец и это испытание.

Теперь под ногами что-то мягкое, пахучее. Нагибаюсь, щупаю: клевер! Но где юг, где север? — Никакого понятия! Граница где-то рядом, если... если не сбились с пути. Если она близко, то надо соблюдать предельную осторожность. Решаем продолжить путь ползком. Впереди — я. Ползу осторожно, вытягивая вперед руку, чтобы вовремя нащупать препятствие. Щупающая рука натыкается на натянутую проволоку. Слегка дергаю ее, и тут же невдалеке раздался легкий металлический скрежет, будто что-то трется друг о друга. Ага, понял: это — ловушки, связки пустых консервных банок, подвешенные к проволоке. Закачаешь проволоку, и они зашумят. Что делать? Пробую ту проволоку, что над землей, приподнять как можно выше. Получилось! Один за другим спутники проползают через эту дыру. Затем один из них, уже с той стороны, держит проволоку, пока не переползу я, и осторожно опять ее опускает. Если она действительно натянута по границе, значит, будет ориентиром: ползти вперед, перпендикулярно к ней. Некоторое время под нами клевер. Хорошо, что мы ползем осторожно: рука опять натыкается на проволоку, тоже с ловушками — связками банок! Так же, как и раньше, переползаем и под ней. Начинает разбирать сомнение, не сделали ли мы по клеверу дугу и не вернулись ли снова к той же проволоке?

Тогда... тогда мы все в той же Германии! Будто в подтверждение, перед нами опять пахота. Та же последовательность: пахота—клевер—проволока—клевер—пахота!.. До предела натянутые нервы начали сдавать. Вскакиваем на ноги и, насколько это позволяет пахота, на которой ноги скользят, подворачиваются, проваливаются, бежим, спотыкаемся, падаем, шепотом ойкаем, чертыхаемся... Еще немножко, еще чуть-чуть... лишь бы подальше вперед! А вперед ли? Не бежим ли мы назад?.. Все равно, из последних сил продолжаем бежать, лишь бы бежать. Уже шумим, натыкаемся друг на друга, ругаемся... Сейчас нами руководит, придает последнюю энергию какое-то слепое, отчаянное упрямство. Вдруг где-то сзади послышалось что-то вроде выстрела. Тут же валимся на пашню, вжимаемся в нее. Вспыхивает яркий-яркий свет, становится светло, как днем. Свет этот неестественный, мертвенный, словно от карбидной лампы. Чуть поворачиваю голову: с неба медленно опускается яркий светиль-

ник. Ракета на парашюте! Увидят нас или нет? Лежим недвижимо, словно трупы. Так проходит, как нам кажется, целая вечность... В тишину начал постепено вклиниваться далекий звук приближающихся самолетов. Ракета угасла. Вторую не выстрелили. Или нас не заметили, или не решились демаскировать границу.

Когда мы бросились на землю, потеряли всякое представление, откуда и куда перед тем бежали. Встали. В каком направлении продолжить путь — неразрешимая загадка! Идти наугад бессмысленно. Присели поплотней друг к другу, из всех курток соорудили над головой нечто вроде шалаша. Один из нас на ладони установил горизонтально компас, другой над ним чиркнул спичкой: стрелка указала север-юг. Как нам показалось, бежали мы перед тем на север!

— Не туда!.. Не туда мы бежали!.. Мы бежали обратно в Германию!.. — вскричал, запаниковав, Николай и набросился на меня с руганью: — Ты нас предал! Завел обратно в Германию!.. Мы дважды переползали под той же проволокой!.. — орал он и тряс меня изо всех сил, готовый растерзать на части.

У меня не было сил вырваться из его цепких рук. Крик он поднял такой истерический, что надо было быть поистине глухим, чтобы издали не слышать его. И... мне пришлось ударить его в висок рукояткой ножа. Попал, видно, хорошо: он сразу обмяк. И нам с Михайлой пришлось его волочить. Еще сто, еще двести шагов, еще, еще... Пахота кончилась, трава. Николай очень тяжел, мы на него израсходовали все остатки сил. Хоть бы стог сена! Такая тьма, что друг друга не видим... Услышали журчанье ручейка, повеяло сыростью и прохладой. Еще несколько шагов протянули Николая на звук ручья... и упали в полном изнеможении...

В глаза стали ударять лучи поднимавшегося солнца, и я проснулся. Мы лежали над самым ручьем, над которым поднимался пар. Оглядываюсь: шагах в ста от нас стояло три невысоких стога сена. Метрах в двухстах тянется лента узенькой асфальтовой дороги. По ней взбирается велосипедист. Вскочил, со всех ног бегу к нему:

— Месье, где я? Все еще в Германии или уже во Франции?— с тревогой задаю я вопрос, который меня так гложет, что не в силах был понять его коварного смысла.

— Бонжур, месье! Германия — там, вон за тем бугром сзади вас... приветливо заулыбался крестьянин. — Полкилометра отсюда...

Охватил неописуемый восторг. Даже забыв поблагодарить, я стал бросать вверх и ловить мой берет, приплясывать, делая немыслимые антраша, прыгать, как сумасшедший... Затем помчался к своим:

— Эй, рохли! Разлеглись тут! Вставайте! Мы во Франции! Ура! Свобода!..

* * *

...Я вспомнил, как все встрепенулись, будто ошпаренные, запрыгали, заплясали... Вспомнил, как крепко стал меня обнимать Николай, радостный, всепрощающий и одновременно виноватый, хоть и с хорошей «плямой» на виске. Он тискал меня и все время повторял одно и то же: «Ты... ты... ты...» И здесь, в этом ледяном гробу, я самодовольно улыбнулся...

* * *

...Свобода! С каким удовольствием мы полоскались в ручье, отмачивали лопнувшие волдыри на ногах! Казалось, вся прежняя смертельная усталость растворилась в этом подарке человеколюбивой природы. Побрились тупыми лезвиями, и боль, которую они причиняли, вызывала шутки. Привели в порядок одежду. Даже набрякший на груди рубец перестал болеть. Свободная жизнь, жизнь без страха. Наконец-то! Мы тронулись в путь, окрыленные охватившим нас чувством величайшего счастья. Вперед, к видневшемуся селу, французскому, свободному! Табличка, уже не готикой: «Жюврекур». Мы не сбились с намеченного еще в лагере маршрута. Интересно: почему у крестьянина было такое странное поведение: ответив на мой вопрос, он тотчас же повернул назад. Почему? Ответ не заставил себя ждать: крестьянин, как оказалось, поспешил сообщить селу, что, мол, «еще троим беглецам удалось вырваться из плена!». И все село, несмотря на ранний час, высыпало на улицу. Глядят восторженно на «храбрецов», расточают улыбки, поздравляют: «Вив! Вив! Браво!», машут платочками, беретами. В ответ тоже улыбаемся, насвистываем мотив солдатской песенки «Ля Мадлон», зачем уменьшать их радость? Пусть и дальше думают и гордятся, что мы их соотечественники!

Городок Арракур. Ведем себя так же шумно, будто у себя дома. Вдруг...

— Бонжур, месье! Зайдите, пожалуйста, в бистро! — приглашает нас пожилой незнакомец.

В кабачке он стал нас укорять:

— Вы что, не в своем уме?.. Тут же битком коллаборационистов, гитлеровцев! Ведь это — «зон энтердит» (запретная зона). Здесь на каждом шагу проверяют документы, частые обыски, облавы...

«Коллаборационисты»? Понятие для нас новое. Очевидно, сотрудники-наймиты. Вот тебе и долгожданная свобода, жизнь без страха!

В бистро задержались не более двадцати минут. Нас снабдили несколькими талонами на хлеб, насобирали около двадцати франков. Как всем этим пользоваться? Что можно купить на один франк? Не имеем никакого понятия. Одно ясно: и дальше необходимо быть настороже! Проблемы, проблемы... Вышли подавленные: свои документы и карту мы сожгли еще там, у ручья, когда узнали, что мы во Франции. Наш путь — к Домбалю. Там живет кузен Поля. Уж он-то даст нам первые уроки в новой жизни, объяснит, что к чему. Там и передохнем. Но до него еще целых сорок километров! И необходимо дойти сегодня же, чтобы спокойно отдохнуть. Да-а, чувствую, что с рубцом на груди не все в порядке: давно он покраснел, набряк, болит... Будто чирей, видимо рана загноилась... Мы твердо убеждены, что кузен этот поможет. На него сейчас вся надежда.

Стараясь ничем не привлекать к себе внимание, проходим через другой городок — Люневилль. Он чуть в стороне от нашего маршрута, зато на более оживленной дороге, по которой безопасней и незаметней дойти до Домбаля. Нам остается еще километров пятнадцать, но силы на исходе. Идем, как в тумане, ведомые одним упорством и уверенностью найти настоящий отдых. На стенах домов и заборах Люневилля обратили внимание на намалеваные знаки: латинская буква «V» с лотарингским крестом внутри. Что это означает? Позже узнали, что «V» от слова «Victoire» — победа, а крест — символ Движения Внутреннего Сопротивления. Значит, здесь есть патриоты, и их надо найти. И еще деталь: фамилию «Де Голль» можно расшифровать и как

«две палки». А знак победы и состоит из «двух палок»: лотаринжцы, да и большинство во Франции, свое освобождение увязывали с надеждой на генерала Де Голля, первым произнесшим в своей речи 18 июня 1940 года по лондонскому радио, что борьба должна продолжаться, и призвавшим к Сопротивлению.

Нет, не могу себе сейчас представить, откуда у нас набралось столько сил, чтобы за эти сутки переползти через границу и пройти оставшихся до Домбаля сорок километров! В Люневилле произошло самое страшное — рана вскрылась, по груди и по рубашке потекли струи крови и гноя... Несмотря на это, мы часто сходили с дороги, чтобы заполнить свои желудки плодами груш и слив с деревьев на обочинах... Непостижимы человеческое упрямство и выносливость!

Домбаль оказался маленьким городишкой. Пришли в него в поздние сумерки. Расспросы... На моем клочке бумажки, где я по морзе записал фамилию кузена Поля, знаки стали еле различимы. Ошибочно, я разобрал: «Кюри»...

— Кюрэ? — уточняли жители.

— Нет, Кюри.

— Такого у нас нет.

Наконец кто-то из жителей сообразил:

— Раз он Луи, то у нас есть один. Его фамилия Кюни... и нам указали его дом. Было уже около восьми вечера. Наконец-то нам будет долгожданный отдых, дошли все-таки! Ноги еле держат. Мы постучали. Дверь приотворилась. Перед нами маленький человечек. Оглядел нас настороженно. Да, он — Луи Кюни, родственник Поля Негло. Думали, что нас тут же пригласят войти, и мы сразу же плюхнемся, пусть даже на пол. Лишь бы поспать! Нет...

— Подождите! Посоветуюсь с женой — и дверь зхлопнулась.

За дверью услышали неясные голоса, недовольный женский голос. Наконец Луи вышел:

— Принять вас не могу. Поищем кого-нибудь... и мы стали с ним бродить по разным улочкам, стучать в разные двери. Повсюду отказ. Было уже за полночь, когда я, при очередном отказе, в изнеможении прислонившись к стене, стал скользить вниз: ноги меня больше не держали, силы покинули окончательно.

Кровь и гной проступили по всей рубашке на груди. Луи растерялся, махнул рукой «Ладно уж!», подхватил меня под руку. С трудом добрели мы до его дома. Там он шикнул на жену и провел нас на второй этаж до лестницы на чердак:

— Лезьте наверх! Ложитесь там!..

— А вшей у них нет?.. Смотри, чтобы они чего-нибудь не украли!.. — услышали мы слова жены. Но не оставалось никаких сил, мы повалились рядом с луком, рассыпанным по полу для сушки. Из реальности мир унесся в туманное далеко...

Нас разбудили, как только чуть забрезжило. Дали ополоснуться, поставили по кружке эрзац-кафе и по кусочку хлеба. Минут через пять мы снова на улице. Рубашка заскорузла, рана сочилась и ныла. А на наших пятках... остался ли там хоть кусочек кожи?...

* * *

...Вспомнил это и задрожал. Меня передернуло. Все-таки мы выдержали и это испытание. Значит, может человек, если захочет, если сильно захочет, если нет другого выхода, быть сильным. Даже, когда почти перестает себя чувствовать... Сравнил: когда мне было хуже? Тогда или сейчас? Правда, то было на свободе. Относительной, конечно. Скорее, то был мираж свободы. А здесь, в морозильнике, нет свободы, даже нет ее миража. Будущее в полном тумане, скорей во мраке. Да и будет ли это «будущее»?.. Стоп! Что это я? Не впадаю ли в панику? Э-э, нет! Так не пойдет! Думай, думай, вспоминай, отвлекайся от мрачных мыслей! Тебе на это отпущена масса времени. И оно, время это, — единственное твое богатство! Единственное, чего у тебя не удалось отнять, — время и мысли, мысли и время...

* * *

... Где это я остановился? Ах да, Домбаль... Луи Кюни, сентябрь 1941-го. Конечно, оказаться перед перспективой быть арестованным, а то и хуже, как о том предупреждали развешенные повсюду афиши — «за оказание помощи беглецам», — мало кто рискнет: подальше бы от греха! Спасибо и на том малом гостеприимстве, за тех несколько часов крайне нам необходимого отдыха! И за то, что не донесли на нас, не выдали. Могли ведь это сделать? Могли, конечно[15].

Еле передвигая воспаленные и дрожащие ноги, бредем по улочкам этого чужого города, который был еще вчера нашей заветной мечтой. Улочка ведет в сторону соляных шахт. Мы — отверженные! Кроме усталости, нас гложет чувство тревоги и безысходности: в любой момент можем нарваться на проверку документов — вид у нас для этого самый что ни на есть подходящий.

Когда я был студентом, усвоил: за помощью стоит обращаться лишь к простому люду, только он посочувствует. Седьмой час утра. Появляются редкие прохожие. Это рабочие, шахтеры, идут на смену. Нас обгоняют две девушки. Обрывки их разговора доносятся до моих настороженных ушей: говорят по-польски. Это удача! С трудом догоняю их:

— Пшепрашам, пани кобьети! (Извиняюсь, девушки.) Обращаюсь к ним и без обиняков прошу о помощи. Сказал, кто мы. Нам необходимо отдохнуть, хоть немножечко!..

Наш вид, моя окровавленная рубашка — красноречивее всех слов. Девушки тотчас же повернули назад и помогли нам идти. Открыли калитку, завели в домик. Видимо, тут и жили. Закипела работа: расшурована еще неугасшая печь. На ней — таз с водой, затем сковородка, где заскворчала яичница с салом. Мы обмыты. Мне сделали перевязку. Нас накормили и уложили голяком на матрацы на полу. Всю одежду положили в стирку. Одна из девушек убежала и вскоре вернулась с подружками. Мы тут же заснули...

Когда проснулись, девушек не было. Белье было развешано и сохло. Рядом сидело двое парней. Накормили нас уже приготовленным обедом. Вскользь поинтересовались, кто мы, откуда и как бежали, из какого лагеря, как и где перешли границу... Вопросы задавали кратко. Слушали внимательно. Иногда кивали головой в знак согласия или одобрения.

Вскоре молодых парней сменили двое пожилых. Те более подробно уточняли некоторые детали из нашего рассказа. Мы понимали: доверять нам сходу не просто... Вдруг они предложили как выход из нашего неопределенного положения завербоваться нам на работу в Германию. Это, мол, осуществимо, и они в этом могут помочь.

— Нет! Ни в коем случае! — ответил я решительно. — На гитлеровцев работать мы не будем! Не для того мы бежали. Только сражаться, на то мы и солдаты.

Поляки вышли, минут через пять вернулись. Видимо, совещались. Старший сказал:

— Собирайтесь! Здесь оставаться вам нельзя. Вам на время придется расстаться...

Нас развели по одиночке по разным местам. Меня принял юноша-поляк, представившийся «Зденеком». Познакомил меня с родителями, сестрой. В семье ненавидели фашистов, зло насмехались над их «фюрером» — «ефрейтором-недоучкой», возмущались «Новым порядком». Это — родные Зденека. А вот сам он то заговаривал о победах немцев в России, то об их силе, о том, что, мол, лучше переждать войну, смириться... Когда речь заходила о Восточном фронте, я упоминал о словах Ивана Трояна в Трире: «Цыплят по осени считают!» Других аргументов подыскать не сумел, слишком для меня было все неясным и необъяснимым. Но я ничуть не сомневался, что мои соотечественники, как бы им сейчас туго ни приходилось, наберутся сил и отстоят свою честь и свою свободу. Неужели в такой огромной стране не найдется достаточно сил?!

— А как же «линия Сталина»? Почему она не устояла?

И вправду: в Югославии, перед войной, много об этом говорилось, много в газетах писалось. «Знатоки» клялись, что такие фортификации не сокрушить. Какой она была на самом деле, почему не устояла, — этого я объяснить не мог. Впрочем, не устояли ни знаменитая «линия Мажино», ни не менее знаменитая «линия Маннергейма»... Почему? — На такой вопрос и Зденек не сумел ответить.

Вскоре он мне доверился. Вначале показал небольшую газетку-листок «Юманите», затем такой же листок «Ля Ви Увриер», отпечатанные на пишущей машинке. Размножали их, видимо, где-то здесь. Я прочел: «Долг каждого — бороться!»... «Работать медленней!»... «Чтобы ускорить поражение Гитлера, необходимо саботировать всеми способами производство военной промышленности, средств передвижения и производство продуктов питания!»... «Ни единого грузовика, ни единого танка для немецкой армии!»... «Саботируйте, делайте фашистам жизнь

невыносимой!»... И все в таком духе. Конечно, призывы мне понравились: это то, что сейчас надо!

К Зденеку часто заходили его юные друзья, о чем-то с ним шептались, обменивались какими-то свертками. Сам он часто исчезал по ночам, возвращался под утро уставшим и валился спать. Я понял, что нахожусь в штаб-квартире рабочих-подпольщиков. Иногда по ночам снаружи слышались хлопки выстрелов. Было очень неспокойно. Были дни, когда меня «срочно переселяли» из дома в дом, с чердаков в подвалы, из сарая в сарай. Однажды за мной прибежал молодой поляк, и с ним пришлось бежать что есть духу в ближайший лесок. Там меня оставили, и я часов пять дожидался, пока за мной не придут: ждали пока все успокоится, так как происходили облавы, обыски... Ребята всегда были начеку, вовремя предупреждали и уводили от опасности. Что и как было с моими спутниками, не знаю, я их не видел.

Как-то я должен был провести ночь на каком-то чердаке. Только расположился, как снизу застучали в люк. То был Зденек:

— Помоги! — попросил он. — Меня ранило, царапнуло в плечо, не могу рукой пошевелить. А расклеивать — моя очередь...

Давно я мечтал об активной работе, хоть этим отблагодарю. Короткими перебежками мы продвигаемся в соседнем поселке Сен-Никола. От дома к дому, от перекрестка к перекрестку. Вспомнилось наше приключение с лестницей в годы студенчества. Тогда была шалость, а теперь... Я макал кисть в банку с клейстером, мазал стены, заборы и клеил. Зденек похвалил:

— Ловко у тебя получается!

— Опыт еще из Югославии, — не утерпел я, чтобы не прихвастнуть и не приврать.

Для меня то были ночи романтики! Несколько раз мы нарывались на патрули, стреляли нам в догонку. Мы удачно убегали: Зденек был здесь как дома, знал все лазейки. Можно сказать, что мы с ним подружились почти сразу.

И вот он пришел хмурым:

— Сегодня на вокзале схватили нашу связную из Парижа. С чемоданом с литературой. Беда! Оставаться вам у нас риско-

ванно: начнутся повальные обыски и аресты. Я сообщил о вас в Париж... Жду указаний.

Так прошло еще с неделю, пока не пришел приказ переправить нас в Париж:

— Обсудив ваш случай, Центр решил поручить нам организацию побегов из ближайших лагерей в Германии и дальнейшую переправку беглецов. Короче, надо организовать «цепочки». Для этого надо расширять наши людские резервы, а это всегда связано с большим риском. Так что работы, а соответственно и опасности, прибавилось. Вот и велено отправить вас в Париж. А мы свяжемся с вашими товарищами в лагере. Как, с кем, каким образом можно вступить с ними в контакт?

Настал день, когда из Варанжевилля, где я жил со Зденеком, меня привели на вокзал города Нанси. Там уже были Николай и Михайло. У Зденека сильно воспалилось плечо, поэтому прощальные объятия были осторожными. Он шепнул: «Хочу, чтобы ты знал: моя фамилия — Ковальский. Может, свидимся!»[16]

Сели в поезд. Согласно указаниям Зденека, под вечер сошли с него в Бар-ле-Дюке: за ним идет демаркационная линия, а следовательно, и обязательная проверка документов у пассажиров. Ночью прошли около тридцати километров по лесам, немножко подремали и к утру были в Витри-ле-Франсуа, городе уже в оккупированной зоне, где снова сели на поезд «Нанси—Париж». Так мы и избежали проверки на этом перегоне. Примерно к обеду прибыли на «гар де л'Ест» — восточный вокзал Парижа. Итак, мы покинули Лотарингию и отважных антифашистов.

Мы надеялись, что в Париже найдем то, что ищем, что нам там преподнесут это «на голубом блюдечке с золотой каемочкой». А почему бы и нет?!

* * *

...Надежда! Какая ты призрачная, неуловимая и в то же время какая в тебе мощная сила!

Окоченевший, почти заледеневший, сижу я в холодильнике, а она, надежда, согревает. Да еще как! Я знал, что обречен, что никакой еды мне не положено, а без нее не выжить... И вот опять тот же ефрейтор, заступивший на смену, тихо отомкнул кормушку, молча протянул миску такого же сытного и го-

рячего супа, что и в первый раз. Не свою ли порцию отдает он мне? Отошедши от холода и возвращая миску, я спросил:

— Как тебя зовут?

— Не надо... Если выживешь, они не успокоятся. Но как нам надоело выволакивать отсюда заледенелые трупы!.. Пусть побесятся! Эти ублюдки — не люди! Нет, не люди!..

Он сказал «нам». Значит, он не один, кому надоело служить таким хозяевам?! Вопреки всему! И именно такие, как он, являются той лакмусовой бумажкой, которая безошибочно определяет, кто есть кто, где добро, где зло. Странно все это. А следователи-гестаповцы ждали, когда же я буду сломлен, когда начну выкладывать фамилии друзей, их клички, адреса, и так далее, и так далее...

Что придумать?.. Впрочем, запасной вариант «признания» был продуман загодя. Но... нельзя торопиться, иначе не поверят «чистосердечному признанию», начнут проверять... Нет, торопиться нельзя! Еще немножко потерпеть, выиграть время. Так, чтобы по всем подсчетам им стало ясно, что я полностью доведен «до кондиции», до «момента истины», что теперь говорю истинную правду или то, что из нее запомнил... И я снова погрузился в прошлое...

Глава 4. В ПОИСКАХ...

...На Восточный вокзал мы прибыли к обеду, в разгар дня. Да-а, здесь полное засилие оккупантов: немецкие солдаты, офицеры... Летчики, подводники, моряки, танкисты, СС и СА — сновали по вокзалу привычно, как у себя дома. Холеные, лощеные. Молча, чтобы не привлекать внимания, бродили мы по залам, по перрону. Останавливались, я читал различные указатели, объявления, искал, где вход в метро... Рекламный щит. На нем куча объявлений, сообщений. Какие-то аккуратненькие, стандартные, красного цвета с траурным окаймлением листки, целый ряд, например:

Эмиль Тиссельман, Анри Готеро, оба из Парижа, приговорены к смертной казни за помощь врагу, выразившуюся в их участии в комму-

нистической демонстрации против оккупационных сил. Они расстреляны сегодня, 19 августа 1941 года...

Каждая афиша под названием «Ави-Беканнтмахунг» сообщала об исполнении смертного приговора над двумя, тремя, а то и над десятками людей: смерть за участие в демонстрации, смерть за саботаж, смерть за порчу телефонного кабеля, даже за содержание почтовых голубей! Под каждой — подпись: «Генерал от инфантерии, фон Штюльпнагель». Были и списки заложников с уже вычеркнутыми, считай казненными, фамилиями стариков, женщин, юношей, детей... Об этом говорили их имена, даты рождения.

Стиснув зубы, стоял я у этой доски Смерти и Скорби. Перевел содержание нескольких афиш своим спутникам. Наконец, нашли спуск в метро. Поскорей туда, где нам должны помочь!

А вот и огромный план Парижа с линиями метро. «Иври-на-Сене», так назывался пригород, куда мы должны были поехать. На какую ветку нам сесть, с какой стороны перрона? Нашел линию с конечной станцией «Порт д' Иври», а перед ней и нашу — «Порт де Шуази». Какое счастье: нам не надо делать никаких пересадок!

В вагоне второго класса, в давке, я рискнул обратиться к рядом стоявшему юноше, наружность которого мне внушила доверие: правильно ли мы едем? У него было настолько открытое лицо, что я сделал это без всяких опасений. Конечно, мой акцент не мог не вызвать некоего недоверия, и юноша оглядел меня с ног до головы. Видимо, был удовлетворен и с благородством и услужливостью гостеприимного хозяина-парижанина сопроводил нас до самой станции, поднялся с нами наверх, указал нужную улицу «рут де Шуази», пожелал «бон шанс!» — удачи — и опять спустился в подземелье. «Бон шанс!»... будто понял, что именно она, эта удача, и есть то, что нам сейчас крайне необходимо!

Какая длиннющая улица!.. Миновали какое-то кладбище с правой стороны и наконец остановились у нужного нам номера. Всем идти наверх не стоит: мало ли что могло случиться за это время! Мало ли, какое неприятное «вдруг» могло нас подстерегать! Предложил ребятам ждать невдалеке, а сам поднялся и условными знаками, как меня научил Ковальский, постучал. Дверь

открыл молодой человек лет двадцати. Судя по описанию Зденека — он, Пьер.

— Я от Зденека, — представился я. Пьер пригласил войти.

Малюсенькая, опрятная комнатушка. На газовой плитке в кастрюле с кипящим маслом — нарезанный длинными ломтиками картофель. Это — излюбленное французское национальное блюдо «пом фрит». Запахло домом. Пьер слушал мой краткий рассказ. Да, он нас ждал. Но гестаповцы напали на след нескольких смежных групп. Последовали многочисленные аресты. Естественно, приютить у себя Пьер не может, слишком опасно.

— А где остальные?

— Остались на улице.

— Правильно сделал!.. Ну а что касается вашей переправки в Африку или в Англию, — и он взволнованно заходил по комнате, — не кажется ли вам, что и здесь можно бороться?

Я сказал, что ребята не владеют языком.

— Как не владеют? А как же вы добрались сюда?

Он что-то забормотал, продолжая шагать взад и вперед. Об аресте в Нанси связной он уже знал. Это тоже намного осложнило ситуацию. Наконец, он предложил погулять часа два, затем снова подойти со спутниками к дому.

Поджидал он нас у подъезда. Повел по улице к какой-то подворотне. Свистнул, и к нам вышел мужчина в темных очках. Деловито задал несколько вопросов по-французски, затем внезапно перешел на довольно хороший русский. Поняв, что наше желание влиться в борющуюся с гитлеровцами армию серьезно, и, учитывая, что, пожалуй, иного выхода нет, — незнание языка тому причиной (а этого здесь не ждали!), — незнакомец, представившийся «Гастоном», предложил поехать в Ля Рошель, где ему известен капитан рыбачьего баркаса, занимающийся контрабандной перевозкой добровольцев. Сообщил, в каком кабачке мы его найдем, приметы, время встречи и пароль. А пока посоветовал остановиться по адресу, данному нам матерью Жерома, у Анни Террон. Извиняясь, подтвердил сообщение Пьера, что у них самих положение сейчас очень ненадежное, часто приходится менять «крыши», документы, клички. Если же Анни Террон не сможет нас принять, то тогда... ничего не поделаешь...

нам надлежит прийти к Пьеру к 21.00. На этом мы и расстались. Вот тебе и «блюдечко с голубой каемочкой»!..

На углу бульваров Сен-Дени и Севастополь — большой пяти- или шестиэтажный дом. На каком этаже квартира Террон? У кого спросить? Тут же, у парадных дверей, — маленький лоточек с овощами и фруктами. Продавец — пожилая, благообразная женщина. С вопросом обращаюсь к ней.

— Да, мадам Террон живет здесь. На верхнем этаже. Но она на работе, придет часа через три. А откуда вы ее знаете?

Лоточница оказалась консьержкой этого дома. Оглядев нас повнимательней, она догадалась, кто мы, и тут же пригласила зайти к ней:

— Вам не стоит долго оставаться на улице, слишком у вас вид не того...

Комнатка ее была у самой лестницы. Сверхобщительность и болтливость хозяйки закончились тем, что минут через пять помещение буквально ломилось от массы ее друзей и соседей, пришедших поглазеть на «беглецов из плена». После обычных расспросов о войне, о плене, со всех сторон посыпались анекдоты, где зло высмеивались как сами «боши» — немцы, так и их правители. Запомнился фривольный анекдот о том, как сам Геббельс, гитлеровский министр пропаганды, проживая якобы по соседству, приходил к хозяйке покупать овощи, и как она над ним и Гитлером издевалась... Игру слов я не понял, а когда мне шепотом ее растолковали, то и я чуть не взорвался от смеха. Действительно, французы остроумны, с развитым чувством тонкого юмора. Удивительно, что, несмотря на тяжелые времена, оптимизм не покидал их. Все трое мы почувствовали себя как дома.

Пришедшая с подружкой Анни встретила нас приветливо и сразу повела в свою комнатку в мансарде. В окошечко видно было лишь море различных крыш со стояками дымоходных труб с причудливыми флюгерами на них. Мы оказались не под, а «над крышами Парижа». Отсюда, к сожалению, не видно было ни собора Парижской Богоматери, ни других, известных нам по литературе, достопримечательностей, ни даже Эйфелевой башни... Жить пришлось в комнате безвылазно одним: Анни спала у подружки. Не забывали нас и кормить. На четвертые сутки Анни удалось наскрести денег на билеты до Ля Рошели, вечером про-

водила нас на вокзал и усадила в вагон. Прощай, город сказки — Париж! Так и не увидели мы ничего из того, чем ты так красовался в нашем воображении!

* * *

Нет слов: мы родились в рубашке! Переползли через границу, перебрались через демаркационную линию, протопали и проехали через всю Францию с востока на запад — через Лотарингию, «зон энтердит», Париж и добрались до самого Атлантического океана и... ни разу не попали в облавы, не нарвались на проверку документов, которых у нас не было! Вдобавок, на всем нашем пути встречали прекрасных, отзывчивых, самоотверженых, нам абсолютно до тех пор незнакомых, людей! Что же это за «рубашки»? Думается, заключались они в том, что французы, в массе своей, ни на йоту не приняли фашизм. Разные сами по себе, они нам сочувствовали, активно помогали, порой явно рискуя своей жизнью. Короче, видели в нас своих союзников. И вот мы у цели, на перроне вокзала Ля Рошели. Сейчас около часу ночи. С перрона входим в здание вокзала, откуда выход в город. Но что это? У всех выходных дверей стоят фельджандармы, милиция и у каждого выходящего просматривают документы. В самый последний момент, а влипли! Теперь нам явная крышка! Не паниковать! Искать выход!..

Приглядываемся к обстановке. К жандармам выстроилась очередь, предъявляют какие-то бумажки и выходят. Но почему не все пассажиры толпятся у выхода? Не суетясь, ничуть не волнуясь, эти пассажиры располагаются на скамейках. Будут ли и у них проверять бумаги? Мы тоже присаживаемся... Ждали-ждали, но к нам никто не подошел. Не заметили, как заснули. А проснулись — ни жандармов у дверей, ни... вокзал был почти пуст! Поняли: был комендантский час, и выход в город разрешался лишь тем, у кого были ночные пропуска. Да-а, у страха глаза велики! Мы вышли в город.

Ласковый теплый ветерок обдавал нас характерными морскими запахами, и мы жадно вдыхали воздух Атлантического океана. Как нам показалось, это и есть чудесный воздух обретенной свободы. Да, так казалось... Перед нами был океан, а за ним — свобода и борьба, выполнение не только нашего прямого солдатского долга, но и нашего долга перед многими людь-

ми, внесшими немалую лепту в то, чтобы мы целыми и невредимыми добрались сюда. Осталась малость: обогнуть на севере Бретонский полуостров, и мы — в Англии. Или поплыть на юг, обогнуть Пиренейский полуостров с Португалией, и мы — в Африке. Интересно: куда именно повезет нас капитан? Мы были уверены, что нас всюду примут с распростертыми объятиями: идет война, и солдаты нужны. Мы будем драться за свободу многих стран: Югославии, Франции, Польши, Греции, России... против их, против нашего общего врага — фашизма-агрессора.

Шум океана привел нас на набережную. А вот и оно, нужное нам бистро. Дверь его настежь открыта. Ничего удивительного: по утрам всегда заскакивают в такие заведения на чашечку, хоть и эрзаца, но горячего кофе. Памятуя предупреждение «очкастого» Гастона и Пьера, что необходимо быть крайне осмотрительным, я решил не спешить. Зачем торопиться? Мы уже на месте, но не вредно предварительно осмотреться. Странно: в бистро никто не заходит и из него не выходят! Почему? Без утреннего кофе, без того, чтобы посудачить о том, о сем? — Что-то не похоже на общительных французов. Невдалеке расположилась со своим товаром торговка зеленью. Подошли к ней. Я заказал фунт моркови, как-никак, а это дешево, заменит нам более плотный завтрак, от которого с нашими финансовыми возможностями мы предпочли воздержаться. Пока она взвешивала, я мимоходом посетовал на тяжелые времена: даже, мол, в бистро нет желающих зайти!..

— Что вы, месье! — боязливо оглядываясь, ответила она, — там вчера арестовали хозяина, а с ним увели и нашего капитана... В наручниках...

Стало ясно: там сейчас «мышеловка»! И мы поскорее удалились подальше. Куда теперь? Что предпринять? На обратную дорогу нет денег. Здесь оставаться нельзя: город буквально кишел немцами, патрулями жандармов. Заночевать на улице — самоубийство. Нам остается несколько часов, чтобы найти выход из положения, в каком оказались... А что если пойти на базар? Ведь должен он где-то быть. Раз базар, то там могут попасться и земляки: из Югославии много бедняков выезжало на поиски работы в Америку, Францию... Это называлось «печалбой» — поездкой на заграничный промысел. Некоторым, через десяток лет,

удавалось вернуться разбогатевшими, кому как повезет... Вдруг на базаре и попадется кто-нибудь из таких! И мы пошли на запах рыбы: в приморских городах на базарах торгуют преимущественно «дарами океана». Нос нас не обманул. Бродим по базару в толпе, прислушиваемся к разговорам. Чу! Славянский грубоватый акцент! За прилавком с креветками — славянин! Вступаю в осторожный разговор. Да, он болгарин.

— Значит, вы наш земляк! Мы тоже с Балкан! И я даже пропел ему отрывок из болгарского гимна:

«Шуми Марица окрвавлена, плаче девица люто ранена...»

Болгарин с удовольствием стал подпевать. Постепенно я ему открылся: мы ищем работу, у нас нет средств... Не поможет ли он чем-либо? Возможно, ему требуются матросы, или он знает, кому они нужны? Может сам он рыбак?

— Мне как раз нужны такие люди! Я вам помогу с дорогой душой, пристрою на работу, вы будете довольны... Вот только мне надо распродать товар: дело прежде всего, бизнес есть бизнес!

— Конечно. Мы это понимаем... — обрадованные такому везению, мы смотрим на него восхищенными глазами.

— Вы пока погуляйте! Подойдете сюда в полдвенадцатого.

Теперь, уже, как туристы мы стали гулять по улочкам города, отличного, прекрасного, гостеприимного города. Даже многочисленность немцев нас ничуть не беспокоит: мы себя чувствуем чуть ли не местными жителями... Ля Рошель! Надо же: город, в котором побывал сметливый Д'Артаньян, город, где мушкетеры ловко обвели вокруг пальца злую «миледи», хитрющего кардинала Ришелье! И я мысленно перелистал в памяти удивительное произведение А.Дюма. Мушкетеров было трое, плюс гасконец Д'Артаньньян. Нас тоже трое. Не окажется ли болгарин нашим благородным гасконцем?..

Часов у нас не было, и мы опоздали на целых полчаса. Не узнали нашего болгарина: он был разъярен, набросился на нас с руганью, почему мы опоздали? Пока вел нас куда-то, все время распекал за неточность, не давал нам и слова вставить. Конечно, мы виноваты, но так получилось... Вдруг он втолкнул нас в дверь большого углового дома:

— Быстрей, быстрей! Заходите!..

По широкой парадной лестнице со второго этажа спускался... офицер в форме войск СА! Нас бросило в жар. Куда это нас привели?

— Герр штурмфюрер, я, как вы и просили, нашел вам парней... Целых трех!

— Перерыв на обед. Приму через час.

— Но герр штурмфюрер, посмотрите: какие они ладные, крепкие...

— Вижу. Подойдут. Но приму через час. Перерыв есть перерыв, порядок есть порядок. Орднунг ист орднунг! — многозначительно по-немецки закончил он и назидательно поднял вверх палец.

Почти вытолкнув нас из холла, он запер дверь и удалился. Болгарин был раздосадован:

— Видите?.. Я же вам говорил! Теперь придется ждать целый час... Ладно, вы ждите меня здесь, никуда не уходите! Я схожу домой, принесу вам поесть..

Что же это за «офис»? В витринах огромные плакаты: строй эсэсовцев в касках и надпись — «С твоими европейскими товарищами, под знаком СС, ты победишь!», плакат с буквами «LVF» и надписью «Французский Легион добровольцев против большевизма»... Над входом свисало два красных полотнища со свастикой. Вот куда мы попали — в вербовочный пункт на Восточный фронт!

Как только силуэт болгарина исчез за углом, мы тут же, ноги в руки, и дали стрекача. Провались она пропадом, обещанная нам еда!..

Уныло бредем по дальним окраинам. Мысли самые безотрадные... Впереди идут две старушки. И вдруг донеслись обрывки их разговора. По-русски!

— Бедная Россия! — сетовала одна, сколько же ей терпеть!

— А проклятая немчура все прет и прет!..

— Извините, уважаемые дамы! — нагоняю их. — Нам бы ваш совет...

Старушки приостановились, вежливо ждут. И я без утайки рассказал о наших мытарствах.

Это судьба, ее добрые предначертания: в самый критический для нас момент мы повстречали именно их, этих двух ста-

реньких добрых фей! Они тут же взялись нам помочь. Привели в пустынную улочку, отворили калитку в дощатом заборе. Во дворике стоял ветхий домик с расшатанным, чуть живым деревянным крылечком. Поднялись. Они отперли дверь, и мы очутились в... библиотеке с ее характерным запахом. Настоящая библиотека, уставленная стеллажами с книгами! Одна из старушек, как оказалось, была ее хозяйкой. Эти старинные книги в свойственных их возрасту переплетах были для них всем.

— Это все, что осталось нам от любимой России! — грустно посетовали они, — храним до лучших времен...

К вечеру они принесли несколько одеял вместе с корзинкой всякой снеди. Подумать только: карточная, самая «экономная» система, а тут — целая корзина!

Оставшись одни, мы устроились, кто на полу, кто на стульях. Сейчас мы сможем отдохнуть вволю, без всякого страха и вдобавок не на пустой желудок! Сколько времени продлится такое счастье?

С утра следующего дня мы благоговейно притрагивались или листали то одну, то другую книгу, каждая из которых могла бы оказаться музейным экспонатом. Вспоминая об этом времени, с горестным чувством думаю о многих современниках, аккумулирующих в своих библиотечных шкафах не столько книги — творение человеческого гения, сколько «престижную» выставку красивых обложек, даже не собираясь притронуться и вникнуть в их содержание!

Каких только книг там не было! Вспомнил я и нашу библиотеку в Харькове... За первыми рядами мы обнаружили много книг «Госиздата» с серпом и молотом! Не сдобровать бы старушкам, если бы об этом узнали нынешние «властители мира», начавшие править с костров — «аутодафэ» неугодной для них литературы! Позже мы узнали, что такие книги приобретались библиотекой еще в мирное время: старушки несколько раз посещали советское посольство, смотрели некоторые кинофильмы, подписывались на различные издания. Они стремились лучше познать новую Россию. И были уверены: русские обязательно сломят фашизм. Зло не может победить добро.

Со строем в Советском Союзе они согласны не были. Считали, что он — очередное испытание для русского многостра-

дального народа. А вот в силу самого народа, в его мужество, в его свободолюбие и патриотизм, в сам «русский дух» верили безоговорочно. Ленин? Да, это представитель интеллигенции, мыслитель. К сожалению, революция и последующие годы или разогнали, или уничтожили интеллигенцию. «Мир народам!» Да, декрет о мире, пожалуй, величайшее деяние Ленина. «Фабрики рабочим, земля крестьянам!» Лозунг, как они считали, сугубо декларативный, агитационный, лишивший в итоге крестьян их хлеба, их жизни — земли. Что это за крестьянин, у которого нет собственного надела земли? Начатая же Столыпиным реформа обернулась страшной бедой для крестьян, оставив их теми же безгласными, бесправными крепостными... Коллективизация, да еще насильственная? И того хуже! Конечно, поставить сельское хозяйство на современную промышленную основу — сама идея прекрасна. Но надо учитывать и степень культурной развитости. Достаточна ли она? В этом наши собеседницы очень сомневались. В Сталине они видели того же царя, но жестокого, бесконтрольного. Процессы 1937–1938 годов? Не что иное, как самодурство, расправа с неугодными, умными, а поэтому и опасными диктаторскому режиму. Это — уничтожение претендентов, конкурентов в борьбе за власть. При всяком абсолютизме, тоталитаризме — одно и то же. И Гитлер правит так же. Вот только культуры у него побольше.

— Раньше на первых страницах букварей печатались оды «батюшке-царю», портреты царя и царицы. Сейчас — такие же оды «Сталину — красному солнышку», портреты его и «Ильича». Что же изменилось? Да, конечно, раньше в своих колясках разъезжали богачи — промышленники, купцы. А теперь в автомобилях — комиссары. А что остальной народ, не принадлежащий к этой кучке привилегированных? Как топал понуро в лаптях по грязи, так и топает, гнет свою спину... Даже о велосипедах не слыхали! В Советском Союзе утверждают, что они против эксплуатации человека человеком. Зато не мыслят жизни без узаконенной еще большей эксплуатации «избранниками — слугами народа» — всего остального населения...

С интересом прочитал я произведения русской писательницы Тэффи. Особенно запомнилась «Русская сказка». В ней рассказывалось, как русский эмигрант, гуляя по Булонскому лесу,

приморившись присел на пенек, произнеся «Ох!». Тут же из-за пенька появился старичок с длинной белой бородой, в лаптях, с палкой на плечах, на которой висела котомка. — «Я — дедушка Ох. Вы меня звали?» — «Вы русский?» — обрадовался эмигрант. — «А как же. И я из русской сказки подался в эмиграцию: житья в России нам не стало!» — «А как же с остальными мифическими персонажами?» — «Кому как... Одних, как царя Салтана, пустили в расход. Другим пришлось приспосабливаться по их умению и разумению. Вот и стали подыскивать какую-никакую работенку. Ведь там "кто не работает — тот не ест". Василиса Прекрасная, к примеру, на почтамт телефонисткой пристроилась и то по блату. Кащей Бессмертный в Чека мертвыми костями заведует. Конек-Горбунок в колхоз нанялся, водовозной клячей служит. Но жаловался, что долго не протянет: бывает, что кормить забывают. Бабу-Ягу костяную ногу и то раскулачили: помело в совхоз отдали, а медную ступу в торгсин снесли. Ивана-царевича, спасибо, не укокошили. Зато, за его непролетарское происхождение, на Соловки сослали. Жаль: Кота-ученого сожрали за время голодовки... Ох-ох-ох!» Дедушка Ох рассказал и о судьбе других сказочных знаменитостей, да все в голове не удержалось.

Попалась мне в руки и странная книга из газетных вырезок. То были воспоминания Солоневича «Россия в концлагере», где рассказывалось и о лагерях на Соловках. Солоневич? Я тут же вспомнил, что слушал его выступление в Белграде. Помнится, было их три брата и сестра Тамара. Он рассказывал об условиях в СЛОНе — Соловецких лагерях особого назначения. Говорил Борис, как им удалось оттуда бежать. Пока он рассказывал, я восхищался игравшими под короткими рукавами его рубашки бицепсами. Си-и-лён дядя! Поэтому и удалось совершить подобный героический побег. На нем были очки с толстыми стеклами и почти не было зубов — потерял в лагерях из-за цинги. Вскоре после нашей встречи с ним газеты сообщили, как им в Болгарии, где они обосновались, пришла почтовая посылка. Спасла их случайность: взрыв этой посылки-бомбы их не убил, но, кажется, была ранена жена. Так им мстили органы ГПУ! И я рассказал об этом старушкам.

— Да, мы знаем об этом. Но то было у вас на Балканах. А здесь, в центре Парижа, среди бела дня был выкраден генерал Кутепов, глава РОВСа (Русского Обще-Воинского Союза). Говорят, что, мол, он потом давал показания на Лубянке. Исчез и его преемник — генерал Миллер, другие... Чьи-то кости были обнаружены в яме с гашеной известью... Бедная Россия! Настроила она против себя! Но все равно, там наш народ, наша Родина. Она сейчас в величайшей беде. И мы с ней, против ее врагов. Народ наш здоровый, хороший. Взять хотя бы посла Раскольникова[17].

Они долго рассказывали об эмигрантах. Как и в Югославии, здесь эмигранты резко размежевались на бывшую элиту и имущих, злобствующих по поводу любых успехов в России (критиковать всегда проще и особого ума для этого не надо), и на других, для которых Родина осталась превыше всего. Но в минуту беды, нависшей над Россией, во многих заговорил патриотизм, отодвинув все разногласия на задний план. Особенно молодежь встала на сторону Отчизны. Но были и такие, кто нанялся к немцам. Старушки были убежденными патриотками. Но чем могли помочь? И чем могли помочь нам? Город кишит гитлеровцами: рядом в разгаре строительство огромной бетонной базы — убежища для десятков подводных лодок. Вдобавок, после того, как пяти мальчишкам удалось на двух утлых лодчонках переправиться в Англию (из Нормандии), что наделало немало шуму, их торжественно принимал сам Черчилль, и об этом протрубили все газеты, строго были наказаны обе береговые охраны: немецкая — за то, что упустила их, английская — за то, что проморгала их высадку на острова, дала «чужеземцам» с развернутым французским флагом проникнуть глубоко в страну. Так, мол, мог бы проникнуть в самое сердце Англии и матерый немецкий шпион и диверсант! И вот теперь гитлеровцы ужесточили охрану побережья: близко к берегу, даже на пляж, без пропусков не подпускают!

Почти две недели пробыли мы у наших старушек — добрых фей. Света зажигать нельзя было, и они часто, то вместе, то поодиночке, заходили к нам коротать наше мучительно тянувшееся бездействие. А мы все сидели и сидели, без денег, без документов и... без ясности на будущее. Сидели и не верили, что

нашим хозяйкам удастся что-нибудь сделать. Они и так сделали многое: дали нам убежище и пропитание. А ведь это баснословно много! Но сколько можно кормить таких здоровых парней? Мы старались есть поменьше, убеждая их, что сыты... И вот, старушки нашли-таки выход! И какой! Пришел день, когда они, сияя от счастья, торжественно сообщили, что насобирали денег на билеты и отправят нас в Париж. И не куда-нибудь, а в руки активных подпольщиков. Правда, в тот момент мы этого еще не знали.

— Париж — столица, — объяснили они, — а также и центр Сопротивления. Русские — его участники. Это они издавали листок «Резистанс» (Сопротивление). Теперь можно сказать, что вдохновителями и организаторами редколлегии были наши эмигранты — этнографы Анатолий Левицкий и Борис Вильде. К сожалению, они арестованы. Мы их немножко знаем. У нас, тут же, где сейчас вы, ночевал их посланец. Да, их схватили, но на их место уже встали другие и продолжают их дело...[18]

Итак, нам надлежало выехать в субботу ночью, чтобы утром явиться в русскую церковь на рю Дарю и там спросить «Мать Марию» или «отца Вениамина» (подпольная кличка Дмитрия Клепинина)[19].

Я с изумлением смотрел на этих двух милых благодетельниц и не верил, что из такой дали им удалось связаться с Парижем. Впрочем, что нам о них было известно? Ровным счетом ничего, мы не знали даже их имени-отчества! Хозяйки перехватили мой взгляд и не выдержали, чтобы не похвастаться:

— Мы и не такое можем!

* * *

Утром следующего дня мы были на рю Дарю. Вошли во двор, поднялись по ступенькам в церковь. Разгар молебна. Пахло ладаном, молились, крестились и отдавали поклоны многочисленные прихожане. Нет, здесь разговаривать, спрашивать неприлично. Прежде всего здесь молятся о России, о ее спасении. Впервые мы среди такой массы русских. Помолившись, вышли во двор. Тут тоже много народу. На наши расспросы нам представили мать Марию. В монашеском. Возраст? Какой возраст может быть у монашки?! Когда мы ей сказали, что прибыли из Ля Рошели, она кратко ответила:

— О вас мне сообщали, — и попросила подождать.

Через несколько минут она подошла с пожилым мужчиной:

— У меня сейчас битком, как вы знаете, — заканчивала она с ним разговор, — а эти молодые люди — из Югославии.

Мужчина представился:

— Полковник Приходькин.

Выслушав нашу одиссею, он согласился взять к себе. Я понял, что мы не первые и что у матери Марии хорошо налаженная связь и организация по приему и спасению тех, кому грозят арест и гибель. Довольно-таки опасная работа, требующая большой храбрости и самоотвержения. И я с благодарностью вспомнил о наших благодетельницах из Ля Рошели. Все эти люди действительно занимались рисковым делом, не думая о личном благе. Не только «сетовали»...

В доме, где жила семья Приходькина, на рю Вийемен, в 14-м округе, мы познакомились с его дочерью Екатериной Борисовной. Она взялась обучать Михайла и Николая французскому разговорному языку. Затем к ней присоединилась и ее подруга Мария Златковски. Судя по фамилии, я решил, что она полька. Обе знакомили нас с Парижем, показывали улочки, кварталы, но главное — проходные дворы, через которые мы, в случае облавы, могли бы скрыться. Благодаря им мы были обуты и одеты.

Вид у нас стал вполне «парижский». Одеть таким образом троих оборванцев, как мы, стоило огромных средств. Сейчас мы неплохо вписывались в окружающую среду. Стали посещать знакомых этой семьи. Через врача Зернова мы познакомились с Верой Аполлоновной Оболенской, умной и очаровательной, жизнерадостной женщиной. Борис Зернов, когда меня свалил приступ тропической малярии, быстро поставил меня на ноги. Но сколько пришлось проглотить препаратов хинина! По мужу Вера Аполлоновна была княгиней. Его самого мы никогда не видели. По вопросам, которые мне задавала Вера Аполлоновна, я определил, что встреча и знакомство с ней — не случайны.

«Викки» — так звали ее все и так представилась она нам — интересовалась каждой мелочью нашей прежней жизни. Вопросы свои задавала подчас шутливо и ненавязчиво, с удивительной душевностью откликаясь на все нами пережитое. Отличное качество — уметь слушать собеседника. И Викки владела им

преотлично. Но о цели столь обстоятельного разговора в первый день встречи не было ни слова. То, что она княгиня, мы узнали несколько позже от Марии Златковски. По Югославии я знавал многих русских князей, генералов. Большинство из них были несколько надменны и чопорны, в основном критически, скорее зло, относились к Советскому Союзу. И жили они особняком, в собственном кругу. Мечтали о троне, о возврате империи, а соответственно, об утерянных имениях, положении и привилегиях. Вспоминаю случай в магазине на улице князя Михаила в Белграде. Заходит туда русский генерал в полной форме, просит дать ему йоргован. Продавец отвечает, что в его магазине продают лишь постельные принадлежности, а не цветы. А генерал настаивает: «Вот я и прошу йоргован!» Я понял, что генералу нужен не «йоргован» — сирень, а «йорган» — одеяло. Он перепутал эти два слова. И объяснил это продавцу. Конфликт был исчерпан, но меня поразило бурчание выходившего с покупкой генерала: «Какая дикая нация! Уже двадцать лет, как мы живем здесь, а они до сих пор не научились русскому языку!» Так вот, Викки — полная противоположность таким людям. Да, такую замечательную женщину было за что уважать, и не случайно она оказалась среди тех, кто занялся нашей судьбой. Я заметил также, что среди Зерновых и их знакомых она пользовалась особым авторитетом. Часто у них проскальзывало: «А что скажет Викки?» Но это было совсем не то, что в «Горе от ума» («О, Боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексевна!»)...

На одну из встреч с Викки пришло двое незнакомцев. Они долго говорили с нами о движении Сопротивления, его задачах. Один из них почти все время молчал, лишь слушал, и плохо мне запомнился. А вот второй, Кристиан Зервос, грек по национальности, запомнился хорошо, тем более что в дальнейшем мы часто с ним встречались. Викки и Кристиан знали о нас все: и об организации и подготовке побега из плена, о моем знании языков. Более того, деньги для нас старушкам в Ля Рошели послали они. Знал Кристиан и о нашей встрече с «очкастым» и Пьером на рут де Шуази, о Варанжевилле и Ковальском...

В моей голове все перевернулось вверх тормашками! Оказалось, что люди, связанные между собой общей идеей борьбы

с фашизмом, окружали нас всюду. И мы, словно по цепочке, попадали туда, куда надо, всегда были под опекой, нам в нужный момент протягивали руку помощи. И многие из них даже не догадывались, что работают в одной и той же, хорошо законспирированной, подпольной организации, в то же время являясь ее звеньями. Как позже стало мне известно, организация эта называлась «ОСМ» — «Organisation civile et militaire» — «Гражданско-Военная Организация». Один Кристиан Зервос являлся ее связующим звеном с другой организацией — «МОИ» — «Main d'oeuvre immigrée» — «Рабочих-иммигрантов».

Зервос расспрашивал меня и расспрашивал: как я отношусь к коммунистам, об учебе в университете и в военном училище... А когда услышал ответы, сказал, глядя пристально в глаза:

— Думаем, подойдешь для работы здесь...

Я насторожился, не поверил. С моими знаниями Парижа! Но Кристиан на мои доводы не обратил внимания, а пригласил к нашей беседе Викки. Та мило улыбнулась и сказала:

— Вижу, вы друг другом остались довольны. Не боги горшки обжигают! Вы хотели воевать солдатами. Но ты, Алекс, можешь и должен делать большее. Твоя работа с нами принесет врагу намного больше ущерба, чем сотня простых солдат!

Зервос добавил:

— Это сейчас необходимо. Тебе предстоит серьезное задание, и мы уверены, что с твоими опытом и смекалкой ты с ним справишься.

Мог ли я возразить, тем более что мне оказывают подобное доверие? Николая и Михайла куда-то увели. На прощанье мы обнялись. Было горько: с ними я был в училище, с ними был в плену, с ними бежал, протопал по всей Франции, с ними... уходила часть прожитой жизни. Я же вернулся к Приходькиным. Как одиноко стало там без друзей! Что будет с ними? Куда их определили? Встретимся ли еще?...

На следующий день мы с Катей Приходькиной отправились в магазин «Юнипри», где я сфотографировался в автомате «фотоматон». Минут через десять, впервые за столько времени, я держал в руках свои еще сырые фотографии. Их у меня забрали. Через несколько дней мне вручили «карт д'идантитэ» и «сертифика де домисиль» — справку о парижской прописке. Так, че-

рез Викки я окончательно вступил в Движение Внутреннего Сопротивления. Началась жизнь под первой чужой фамилией...[20]

* * *

...Я встал и вновь затоптался по холодильнику. Холод скрутил меня так, что я переставлял ноги как автомат, рывками и чуть ли не со скрипом в суставах. Пятки уже ничего не ощущали. Особенно после того, как в них резко кольнуло. Я сообразил, что их немедленно надо растирать. Присел и занялся массажем. Хоть меня и колотило, как в лихорадке, но теперь у меня появилось занятие. И все же странное состояние, когда кажется, что душа живет собственной жизнью, будто отдельно от тела! Той жизнью, что осталась за пределами этих бетонных стен... Не к смерти я готовился. Чтобы выжить, мне предстояло «расколоться». Это — основное, о чем я думал. И, припоминая всё, что предшествовало моему превращению в «Георга Соколова», я пришел к выводу: об этом периоде гестапо не могло узнать. А вдруг Мария Златковски и Катя арестованы? Нет, не может того быть! Но меня-то арестовали? За что? Какой именно «шпионаж»? А может... Нет, все равно не могу понять! С Приходькиной я давно не имел никаких контактов: связь с ней прекратилась еще после моего первого отъезда в Берлин. Следовательно, с этой стороны опасности нет. Но ведь «Соколов» определенно числится в архивах берлинского гестапо. Как это случилось? Этот момент надо обязательно прокрутить повнимательней...

Глава 5. ПЕРВЫЕ ЗАДАНИЯ

Париж... Не думал, не гадал, что в этом городе сказки, созданном в моем воображении по романам А.Дюма, В.Гюго, в городе Гавроша, Жана Вальжана, братьев Люмьер[21], в городе со знаменитыми Эйфелевой башней, Лувром, собором Парижской богоматери, я каждый раз буду ходить по широким бульварам и улочкам словно в последний раз. Жизнь в постоянном ожидании ареста, жизнь начеку. Тусклый, затемненный по законам

войны, холодный и голодный Париж начала зимы 1941 года. Не верилось, что это он, тот самый, который был создан воображением. Трамваев давно нет, редки автобусы, двухэтажные омнибусы. Изредка проедет велотакси. Но четко работало метро. Казалось, что, как и метро, вся настоящая активная жизнь ушла в подземелье, в подполье. Людно лишь в очередях: за зеленью, овощами. Чаще всего это — рютабага, нечто вроде турнепса или брюквы. И за хлебом, мясом. Картофель — лакомство. Привоз продуктов в столицу сокращен до предела. Зато всё из страны вывозится нескончаемыми железнодорожными составами. На их локомотивах большими белыми буквами начертано: «Alle Räder müssen rollen für den Sieg!» (Все колеса должны вращаться на победу!). Техника, продукты — все шло на Восток, в нацистскую Германию — всё против Советского Союза, против моей Родины. Так же было и во всех странах покоренной нацизмом Европы. Но Франция жила и другой жизнью, скрытой. Днем и ночью работали подпольщики, те, кто не смирился с подобным положением вещей.

— Как у тебя с украинским? — спросил меня Кристиан Зервос, как только мне вручили документы. Вопрос не только неожиданный, но и непонятный. На нашей беседе присутствовали Викки и Марии Златковски. «При чем тут украинский?» — недоумевал я. Однако ответил, что знаю, также знаю и много песен. Меня тут же попросили спеть. Смутился, покраснел. Викки подбодрила, и я, вначале робко, потом погромче, затянул «Ревэ, тай стогнэ Днипр широкий». Внимательно прослушали, переглянулись, и Кристиан протянул мне какую-то тоненькую брошюрку на украинском языке. Удивился: на обложке красовалась странная эмблема — трезубец со свастикой. Что это?

Прочел вслух несколько строчек. По-моему, все были удовлетворены. Предложили завтра же сходить в клуб украинских националистов — «Украинську Громаду», и встать там на учет, заручиться поддержкой и получить направление в бюро по трудоустройству на Кэ д'Орсей. Операцию эту продумали до мельчайших подробностей, составив «легенду», объясняющую, почему у меня русская фамилия. Ознакомили вкратце с основными положениями националистов. Мне предстояло регулярно по-

сещать «сходы», слушать доклады, зарекомендовать себя ярым противником большевизма.

Характерно, что, как мне сказали, члены «Громады» плохо знают историю и не лучше географию. Тут же, чтобы меня подбодрить, рассказали анекдот. Якобы в «Громаде» висит карта России, на которой маленький овал с Питером и Москвой назван «Московией», а вся остальная территория — «Украина». И если, мол, заходит туда новичок, то «пан-пысарь» спрашивает: «Звиткиля це ты?» Получив ответ, что тот «з Владивостоку» или «з Владикавказу», «пысарь» бросается к карте, ищет, находит и глубокомысленно соглашается: «Так цэ — серьцэ Украины!»... И мне, стало быть, бояться поэтому нечего.

Действительно, в «Громаде» меня приняли благосклонно и без особых проверок, задали несколько вопросов и выдали требуемое направление. Так я попал на завод в парижском предместье Курбевуа, готовящий кадры специалистов-металлистов. Здесь я и получил мой первый настоящий документ с гитлеровским орлом — заводской пропуск «лессэ пассэ». Оккупанты явно нуждались в квалифицированных металлообработчиках: фронт требовал «мяса», оружия, машин. Немецкие тылы оголялись по мере хваленых «побед» в России, и нацисты заманивали иностранных рабочих повышенной зарплатой на пустевшие заводы.

С первых же дней на заводе в Курбевуа я столкнулся с величайшими для меня трудностями, которых не предполагал: не знал ни названий элементарных инструментов, ни терминов, которыми запросто владеет любой французский школьник. Прекрасно понимая, какое отребье сюда шло, я держался замкнуто, консультироваться с кем-либо было крайне опасно. После двух месяцев учебы экзамены предстояло сдавать нацистам, и проявить себя несведущим в элементарных вещах было бы явным провалом! Зубрил дома, был все время в напряжении и буквально через неделю взвыл от невыносимой нагрузки, а главное — от нервной напряженности. Рассказал об этом Кристиану: «Не могу, мол. Провалюсь!»

— Потерпи! — успокоил он меня. — Скоро к тебе подойдет наш человек. Он к тебе приглядывается. Сам понимаешь: не всё делается сразу!..

И вот возле меня, у верстака, остановился симпатичный, с живыми черными глазами, юноша. Ростом ниже меня, но крепкого телосложения. И... произнес условленную фразу! Я чуть не бросился ему на шею. Наконец-то я не один! Звали его Мишель Зернен. Родом из Туниса, учился в Версале. Провел уже несколько диверсий, застрелил предателя. В одной из операций был ранен. Короче, был членом подпольной молодежной организации «Бэ-Жи» (Батальон де ля Женес). Несмотря на молодость, на год моложе меня, был он подпольщик «со стажем». И... отличный друг! Если у меня возникали вопросы, подсказывал, помогал во всем. Учиться мне стало легче и безопасней. Однажды Мишель пригласил к своему другу:

— Надо ему помочь! — сказал он многозначительно. Потом, подумав, добавил: — Долгое время мы работали с ним в паре. Хотелось бы, чтобы ты его знал.

Дверь на рю де ля Конвансьон открыл молодой парень. Звали его Морис. На столе появились артишоки, уксус, прованское масло. Мы с собой прихватили несколько кусочков колбасы и хлеба.

— Сегодня мы с Мишелем прощаемся, — начал Морис, когда мы сели за стол. Задумался: — Берегите друг друга, как это было у нас. Мы крепко дружили, Жорж! — и предложил тост, от которого мурашки пошли по телу:

— За то, чтобы наши жизни, жизни наших друзей не остались неотмщенными и обошлись бы нацистам подороже! За то, чтобы моя сестренка никогда не прочла моей фамилии на нацистских траурных извещениях!

Такой мрачный тост этого девятнадцатилетнего красавца, уже думавшего о смерти, не был случайным. Морис был занесен в списки смертников. Родители, семья его скрывались. Морис вытащил пачку листовок «Юманите», за 25 сентября этого года. Там говорилось:

Правительство убийц! Это оно гильотинировало депутата Амьена Жана Катла. Фон Штюльпнагель, Петен, Дарлан проливают реки французской крови. Лишь террор обеспечивает им их временное господство. Но эти бандиты заплатят за все так же, как за все заплатят судьи их государственного трибунала. Против террора врагов родины народ находится в состоянии самозащиты...

Дальше шел список расстрелянных и гильотинированных мучеников национального освобождения и в конце было приписано:

Эти смерти будут отомщены!

Морис включил замаскированный приемник, и сквозь шорохи эфира и писки морзянки мы услышали перезвон кремлевских курантов. Здесь было десять часов вечера, а в Москве — полночь. Торжественная мелодия «Интернационала»... Я впервые слышал радиопередачу «Коминтерна» во Франции. Гитлер первого сентября напыщенно заявил, что, мол, «созрели все условия для того, чтобы нанести сокрушительный удар, который еще до наступления зимы должен окончиться полным поражением врага...». Москва на это сообщала спокойно и твердо о боях, которые шли на всех фронтах, о том, что после героической обороны пала Одесса, что защита Москвы доверена маршалу Жукову... В Москве состоялась сессия тройки по изучению вопроса об англо-американской помощи СССР, что, как обычно, в ноябре, на Красной площади состоялся парад...

Итак, положение Родины было крайне напряженным. Выключили приемник, и Морис его снова спрятал. В дорогу собирались молча. Морис достал браунинг, проверил обойму, вставил ее, и мы пошли. Глубокая ночь, комендантский час. Мы крались от подъезда к подъезду перебежками. Где в щели, где в почтовые ящики, где в открытую форточку всовывали листовки. Многие горожане знали, что по ночам подпольщики снабжают новостями, и кое-где были незапертые парадные двери. Несколько раз они нам сослужили добрую службу, укрыв нас от проходившего патруля. Мы — дичь, они — охотники, кто кого? На этот раз удача нам сопутствовала, рейд закончился без особых приключений. Спать не пришлось: Морис и Мишель долго вспоминали отдельные эпизоды из своих боевых дел, а я с интересом слушал. Прямо отсюда мы с Мишелем и отправились на завод в Курбевуа.

Я уже выучил названия инструментов и приспособлений, технические и физические термины и формулы, выполнил контрольные слесарные работы, требующие ювелирной точности, стал получать навыки работы на металлорежущих станках. И нам дали второе задание: изучать немецкий. Для этого снабдили

прекрасным учебником «Deutsch ohne Mühe» — «Allemand sans peine» («Немецкий без труда»), метод Берлитц-Ассимиль. Его нужно было изучить досконально.

— Знаешь, — сказал как-то Мишель, — не обижайся, что ни разу не пригласил к себе. Нельзя! И к тебе поэтому не хожу. Таковы наши правила. Как ты заметил, в комнате Мориса слой пыли: он там не живет. Это просто одна из наших многочисленных явок — «крыш». И, если с кем из нас что случится, она надолго замрет.

Листовки мы распространяли не только по ночам, но и днем — по выходным. Использовали для этого «механику»: пустая консервная банка с малюсенькой дырочкой в дне, флакончик с водой и фанерная дощечка или картонка. Один из нас взбирался на верхний этаж высокого дома, оттуда — на чердак. Мы знали дома, где это было возможно. Особенно в очень людных кварталах, как, например, на Монпарнасе, на рю де ля Гете. На чердаке он открывал форточку на улицу, клал пачку листовок на подоконник, прижимал ее дощечкой, на которую ставил груз — заранее наполненную водой банку. Форточку закрывал, сбегал вниз. Второй из нас обеспечивал безопасность ретировки, прикрывал работу первого. Какой детский восторг охватывал нас, когда ветер сдувал опорожнившуюся и ставшую поэтому легкой банку, а листовки разлетались, как мотыльки, падали на балконы, под ноги прохожим! Попробуй — найди, кто их «разбросал»! И неизвестно, откуда они слетели!

* * *

Время было тяжелым. Радио Би-Би-Си (Лондон) передавало неутешительные вести: японцы разгромили в Пёрл-Харборе американский флот. Гитлер объявил войну Соединенным Штатам. Коллаборационистская пресса всеми силами внушала миф о «непобедимости Великой Германии», о том, что она вот-вот раздавит Советский Союз. В метро, в автобусах слышался, скорее угадывался один и тот же вопрос: «Неужели России конец?» С другой стороны, был же ведь парад на Красной площади! Следовательно, там нет никакой паники... То Викки, то Кристиан, смотря с кем из них была встреча, поддерживали наш дух как могли. И вот наконец новость, поразившая всех от мала до велика: агрессоры отброшены от Москвы, освобожден Калинин! Ура,

не встречать им Новый год в Москве, как спесиво обещал Гитлер! Нас обуяла буря радости. А Гитлер низложил Браухича...

Несколько по-иному начали теперь смотреть парижане на «завоевателей»: с любопытством и злорадством, что, мол, получили?! Пока что шепотом они стали проводить параллель между нашествиями Наполеона и Гитлера... Придало это сил и нам, подпольщикам. Но нацисты, понимая, что их неудачи вызовут волну сопротивления, усилили террор и репрессии. Аресты за арестами, облавы, обыски, новые заложники.

В такой обстановке я сдал, наконец, последние экзамены и был готов к отправке в Германию. Был конец декабря. Мишель выедет позже, со следующей партией: он поступил на завод на неделю позже. Увидимся ли с ним? Мне назначена встреча на конспиративной квартире.

— Итак, Жорж, — торжественно начал Кристиан, — пора раскрыть перед тобой карты...

Я узнал, что мне в Берлине («Откуда ему известно, что я буду именно в Берлине?» — подумалось мне) предстоит связаться с иностранными рабочими, готовыми войти в группы саботажа. Викки и Кристиан сказали, что в Германию из Франции по просьбе немецких антифашистов («Странно: разве и такие существуют?») выедет несколько человек на различные военные предприятия. Там они будут выполнять обязанности посредников между иностранными рабочими и немецкими «антифа»: иначе было бы невозможным какому-нибудь немцу войти в доверие к иностранцу! К каждому из этих посредников подойдет немецкий подпольшик с особым паролем, и его поручения надлежит выполнять.

Перед самым отъездом мне дали указание побывать в «Украинськой Громаде», взять адрес их берлинской организации, чтобы встать там на учет. Для ширмы. Сказали также, что я с Мишелем еще увижусь. Хоть что-то, да утешающее!

Вместе со мной отправилось, и действительно в Берлин, сорок французов. Все по контракту оргнабора на Кэ д'Орсей, на набережной Сены. На вокзале нам были устроены помпезные проводы: с оркестром, транспарантами. Разместили в вагоне. «Германия с радостью принимает всех желающих!», «Нанимайтесь на работу в Германию!» — кричали транспаранты на пер-

роне. Фашисты были великими мастерами рекламы и обмана. И поезд под музыку тронулся к столице «Великой Германии», к голове самой ядовитой и кровожадной гидры... Что ждет меня там?

Глава 6. В БЕРЛИНЕ

В Берлин прибыли ночью, и он так и остался в моей памяти: зловеще холодным и мрачным, с глухо зашторенными окнами домов — «фердункелюнгеном» (затемнением), с мертвенно-голубым светом, еле пробивавшимся из специальных высоких уличных светильников, с огромными плакатами, предупреждающими о подслушивающих шпионах, с табличками в метро и С-банах («электричках»), призывающих экономить электроэнергию... По всему было видно: гитлеровцы, несмотря на «победы», затягивали пояса потуже. А может быть, это все-таки рациональная экономия?

Когда мы сошли с С-бана и шли по еле освещенным улочкам, нас внезапно оглушило завывание многочисленных сирен: воздушная тревога! Дается она двумя этапами: предварительная — завывания с короткими паузами и полная — без пауз. Сейчас тоже, почти сразу же за предварительной, воздух стала содрогать полная тревога: вражеские самолеты — в непосредственной близи. Заухали зенитные батареи, по небу зашарили лучи прожекторов. Бомбардировка! Несмотря на хвастливые заверения маршала гитлеровской авиации Германа Геринга, что, мол, «если хоть один вражеский самолет проникнет к Берлину, зовите меня не Герингом, а Майером!», Берлин все-таки бомбили! Правда, бомбардировка не была сильной: несколько бомб было сброшено на индустриальный пригород Сименсштадт...

Разместили нас в пригороде Берлина — Мариендорфе. Рабочий лагерь из нескольких сборных дощатых бараков. Все поместились в одной комнате с двухэтажными койками. Утром повели на завод «Асканиа-Верк А.Г.» Ознакомили с пропускной системой. Она была строгой: автоматы отмечали на личных карточках точное время прибытия и время выхода с завода. Опоздал хоть на минуту — отметка делалась в особой колонке крас-

ным цветом и штраф вычитался из заработной платы. За большее — суд. Рабочий день — двенадцать часов, в две смены. Все продумано до мелочей, каждая секунда должна работать на Великую Германию!

Я стал фрезеровщиком на станке повышенной точности с подвижным столиком. Фрезерование отверстий сложной конфигурации при помощи кондуктора. Вместе с чертежом-заданием в инструменталке выдавалось все необходимое: все указанные в чертеже инструменты и приспособления. Мастер-наладчик устанавливал приспособления с зажимами, требуемые скорости вращения и подачи, производил операции над первой деталью. Вторую деталь обрабатывал я, под его наблюдением. Затем обе детали я относил контролеру и, после проверки измерений, получив отметку пуансоном, уже сам приступал к серийной обработке. Менять что-либо из установленного наладчиком я не имел права. Наглядный показ всей технологии обработки исключал таким образом необходимость каких-либо разъяснений, проводился без слов. За всем строжайший контроль, каждая операция расписана, отработана. О каком саботаже может идти речь? Настроение мое упало: учился, рисковал, и вот работай теперь на врага, на фронт! Но вспомнились слова Кристиана: «События не торопить, основательно присматриваться!» И я продолжал «присматриваться». Рядом работали иностранцы: бельгийцы, французы, югославы, голландцы. А из немецких рабочих, мастеров и начальников, были в основном пожилые и инвалиды. Как же найти единомышленников? А ведь их придется искать!

Я стал присматриваться к тем, кто жил со мной в комнате. Один из них привлек мое внимание сразу же. Всем своим видом он часто выражал неудовольствие: то ему начальник цеха не по душе — очень уж молод и груб, да еще и нацист, то ему не нравился немецкий язык, в котором ничего не мог разобрать. «Гавкающий какой-то!» — возмущался он. Я не выдержал и спросил:

— Ладно, тебе не нравится, — что же ты нанялся сюда, чистенький такой?

Он подозрительно посмотрел на меня и буркнул:

— Обстоятельства вынудили.

— Платят тут отлично, всегда есть работа, да еще и чистая.

И кормят неплохо! — наседал я.

Но собеседник в запальчивости возразил:

— И деньги у них ворованные! Во Франции платят мало, а тут много потому, что деньги их ничего не стоят — сами печатают, сколько хотят!

Разговор зашел слишком далеко, и я ретировался. «Болтлив не в меру! Слишком болтлив!» — решил я. Прозвал я его «Рошаном». Почему? Как-то в вагоне метро он спросил у меня: что такое по-немецки «рошан верботан»?

— Откуда ты это взял? — не понял я.

— А вон, висит табличка!.

Я глянул: на табличке написано «Rauchen verboten» (курить запрещено). Если прочитать по-французски, как он это сделал, то и получится то, что он произнес. Меня разобрал смех, а он с негодованием отнесся к моему разъяснению:

— Даже писать по-человечески не умеют!

Так он и стал у меня «Рошаном».

Сблизился я вскоре с тремя другими французами и югославами. По ходу их высказываний убедился, что у них «зуб» на нацизм. Каждый имел с ним какие-то свои счеты, обиды. Именно из-за него, как это ни парадоксально, их и потянуло в Германию: дома им бы грозил арест. Как все-таки трудно в условиях жесткого контроля и террора искать и находить нужных людей!

Югославы, жившие в соседнем бараке, находились здесь уже третий-четвертый месяц, довольно хорошо знали Берлин, были в контакте со своими соотечественниками на других предприятиях: на «Сименсе», на «АЭГ», «Дойче Бетрибс-Верк», «И. Г. Фарбен-индустри» и др. А для меня они, как полностью здесь освоившиеся, были незаменимыми гидами в этом незнакомом мне городе. То с ними, то с французами, я часто бродил по нему в выходные. Особенно понравился мне Бошко из Белграда. С ним вспоминали о прошлой жизни, сравнивали ее с настоящей. Еще большим уважением ко мне проникся он, когда я признался, что бежал из плена. Конечно, некий риск был, но он окупился: Бошко стал мне безгранично доверять. До конца его шестимесячного контракта оставалось около месяца, и он переживал, что ничем не сумел напакостить «противным швабам». Я познакомился с его друзьями на «Сименсе», а через них с их

соотечественниками на «АЭГ». Так постепенно ширился круг друзей. Но их необходимо было прощупать на деле. Как? Без связи с тем, кто должен был подойти ко мне с условленным паролем и стать руководителем, я, как считал, не имел права рисковать и пороть отсебятину. А его-то, этого «антифа», не было и не было. Будет ли вообще?

Берлин жил своей скучной, замкнутой, неприветливой жизнью. Бомбардировок больше не было. Лишь изредка раздававшийся вой сирен напоминал, что война все-таки идет. По ночам часто был такой непроглядный туман, что прохожие натыкались друг на друга. Но и против этого немцы придумали отличное средство: повсюду продавались нагрудные светлячки — фосфорные значки, которые, сквозь молоко тумана, были видны метра за два, и это помогало.

Во время воздушных и пока не сопровождавшихся налетами тревог мы покидали свои цеха, спускались в бомбоубежище, где часто, при затянувшихся паузах, нам крутили фильмы. Всегда одно и то же: «победоносная поступь» немецких войск, улыбающиеся лица солдат, взлетающие в воздух или оседающие дома, горящие самолеты, погружающиеся в пучину торпедированные транспорты и военные корабли противника... Все сопровождалось звуками фанфар, бравурными маршами, угрозами: «Если мы двинем на Англию!..»

К самому городу, откуда потоками растекались приказы об убийствах тысяч, десятков тысяч людей, я приглядывался с огромным любопытством.

Однажды мы повстречали строй гитлерюгендов. Улицы пустынны: воскресенье, и горожане, по-видимому, на утренней мессе в церквах. А они, подтянутые, стройные, в черных с иголочки новых шинелях и пилотках, шли странным четким шагом, вытягивая вперед ногу и стремясь ее опустить туда, откуда только-что оторвалась нога впереди идущего. Будто след в след. Это — чтобы идти сомкнуто, не растягиваясь. Казалось, только одна эта молодежь и была в городе. Бошко и я, из любопытства, благо было по дороге, пошли рядом. Куда это они направляются? Строй четко свернул в какой-то большой двор. Во дворе — здание, на нем — длинные красные полотнища со свастикой. Послышалась команда, и подростки мгновенно застыли. Еще

команда — все сняли ремни и шинели, сложили их аккуратными стопками перед собой. Удивительно ровные ряды! Четкие команды и такие же четкие их исполнения. Один из мальчишек чуть замешкался. К нему тут же с ругательствами подбежал их «вожак» — «ха-йот-фюрер». На весь двор раздается звонкая пощечина. Ни малейшего протеста! «Бегом!.. Шагом!.. Ложись!.. Бегом!.. Ползком!..» чередуются команды взбешенного вожака, всего года на два-три старше остальных. Муштра длилась минут пятнадцать. От бедного парнишки валил пар. Остальные стояли по команде «смирно» и со страхом и чуть ли не с восхищением взирали на своего «фюрера» и на то, как он измывается над их товарищем.

На душе скверно: бедные мальчишки! Из них выбивают детство, стараются превратить в бездушных автоматов! Так мы воочию ознакомились со знаменитой «палочной» — «штокдисциплин». Но почему в воскресенье, в часы богослужения? Поняли: чтобы оторвать, отучить от церкви, от религии, провозглашавших гуманность. Национал-социализм вводил свою, древнегерманскую религию. Богом теперь должен быть один — Гитлер! Лишь на него должны молиться!

Оболванивали не только юнцов. Скорее, это начиналось именно с детства: так всегда поступает любой тоталитарный режим! В воскресенье нас на Александерплатце застала длительная тревога. Всех прохожих загнали в бомбоубежище-люфтшутцраум. Стали проецировать кинокартину. Как обычно, начали с «Вохеншау» — недельного обозрения. На экране движется колонна танков. Солдаты с закатанными рукавами, улыбающиеся летчики нажимают на гашетки, мессершмитты сбрасывают тучи бомб, с воем пикируют «штуки» — юнкерсы с сиренами. А на земле — кромешный ад, оседают, горят многоэтажные дома. В пламени пожарищ мечутся обезумевшие люди. Немецкие же солдаты в уютных землянках, в спокойной обстановке, читают, пишут письма, играют на губных гармошках... Преподносится мораль: всё, что сопротивляется, уничтожается зримо, беспощадно. А наши, мол, герои-солдаты — хорошие, бравые парни, отличные семьянины. Они — неуязвимы!

После «Вохеншау» — фильм «Комиссары». Он и до сих пор перед глазами, настолько был нелеп и глуп. Вперед мчатся всад-

ники-герои в немецких рогатых шлемах. Бой, взмахи сабель, искаженные в злобе лица, кровь ручьем, истошные крики. На переднем плане бравый немец наносит удар саблей по голове буденовца с давно небритым щетинистым зверским лицом. Сбивает с него рогатую буденовку. Зал подается вперед: не может быть — на макушке у этого врага во весь экран торчит волосатый рог! Конечно, немцы побеждают. Лежат ряды вражеских трупов, у каждого десятого — «комиссара» — рог...[22]

Подобные фильмы и эпизод с гитлерюгендами напомнили слова Гитлера: «Закон и воля Фюрера — едины!.. Я фанатизировал массы, чтобы сделать их инструментом моей политики.... Они тотчас же исполнят мои приказы!»...

Я вышел из убежища с тошнотворным чувством. Посмотрел на Бошко: он тоже был подавлен подобной глупостью режиссера. Не знал я тогда, что такая тупость свойственна некоторым режиссерам и других стран, изображающим врагов: «фрицев» и «буржуинов», которых храбро побеждают «мальчиши-кибальчиши».

Поздно ночью, подходя к нашему лагерю, на одном из фонарных столбов мы заметили приклеенный листок. В глаза бросился заголовок крупными буквами: «Рабочие и работницы берлинских предприятий! Фюрер ведет нас к краху!» Принялись читать. Говорилось о поражении немецких войск под Москвой, о растущем недовольстве и сопротивлении порабощенных народов, о том, что все они «против Гитлера и его агрессивной политики». Призывали к саботажу. Подпись под листовкой: «Немецкая коммунистическая партия, Берлин». Значит, и в самом деле, есть другие немцы — те, которые против Гитлера! Конечно же, мы хотели, чтобы об этой листовке знали и другие наши товарищи, но на следующее утро, когда их подвели к тому столбу, на нем было только тщательно вымытое место!

* * *

К концу подходит вторая неделя моей «командировки». Никаких новостей, ничего! А меня, как назло, затрясли приступы малярии! Лежал, била лихорадка, пот тек градом, а я думал: не зря ли приехал? Не арестованы ли те, к кому меня послали? И вдруг, в забытьи, почувствовал: кто-то меня трясет. С трудом

приоткрыл свинцовые веки, откинул слипшиеся волосы: надо мной склонилось встревоженное лицо... Мишеля! Да нет, не может быть? Откуда, как?

— Ты ли это, Мишель? — не верил я, думая, что представилось в бреду. А он насмешливо бурчит:

— Значит, жив все-таки?.. Да-а, как видишь, не одному тебе выпало счастье зарабатывать бешеные деньги!..

Я приподнялся, счастливый. Вокруг нас постепенно стали собираться другие жильцы: как-никак, а земляк приехал! Друг стал рассказывать о Париже, о «неистовстве террористов», которые не дают немцам покоя, о дороговизне, голоде, холоде!.. О себе добавил, что уже несколько дней, как здесь работает на одном предприятии, а именно авиаслесарем на аэродроме «Темпельгоф», ремонтирует самолеты. У бедных немцев, мол, другого выхода нет: все их собственные механики и слесари брошены на прифронтовые аэродромы. Вместо них приходится работать иностранцам: их-то близко к фронту лучше не подпускать — вдруг переметнутся! А здесь ими и можно заткнуть дыры, пополнить наземные службы. Своих-то почти никого не осталось!..

— Вот мы, иностранцы, и выручаем их, помогаем, чем и как можем!.. С нашей помощью, всех немцев на фронт, глядишь, и победят весь мир!..

Наступило настороженное молчание. А Мишель, знай, гнет свое:

— Вы тут как буржуи! И чего это я, дурак, так долго сидел и раздумывал в Париже? Знал бы, что здесь так чудесно и спокойно, такие деньги, питание, никаких очередей, давно бы примчался...

В который раз я восхищенно смотрел на друга: вот как надо агитировать! А мои соседи прячут глаза.

Когда мы остались одни, Мишель тихо произнес:

— Гастон передал: скоро к тебе подойдут!

Опять этот «Гастон»! Почему не Кристиан, не Викки? И что это за Гастон? На мое недоумение Мишель ответил:

— Он — выше Кристиана по должности. Впрочем, как мне известно, ты лично с ним встречался. Это тот, который разговаривал с тобой в подворотне на рут де Шуази, в Иври-на-Сене, помнишь?

— Тот, в очках? — не поверил я. — Но он же нас послал в Ля Рошель...

— Ну и что? Вы же сами того хотели. Вы так рвались в Англию или Африку... Но ему понравилось, что вы сумели выкрутиться, не растерялись. А Кристиан — это один из его помощников...

Ну и дела! Так запутано, что ничего простому смертному не понять! Но известие, что со мной наконец-то выйдут на связь, затмило все, и мое недоумение тоже. Впрочем, какая разница? Главное, что все идет нормально. И, кажется, для меня наступят-таки интересные дни.

Переболев, лихорадка трясла обычно не более трех-четырех дней, я снова вышел на работу. Шли первые дни января 1942 года. Меня очень раздосадовало, что получил партию каких-то трубок из титана и на нее — «лон-цетель». Это означало, что мой труд будет оплачиваться по часовому тарифу, а не по «аккорду», то есть не будет зависеть от выработки. На этом я много терял в зарплате. Видимо, работа эта не была пронормирована, операция над деталями — новая для этого завода. Первую деталь профрезеровал, как обычно, наладчик, и я приступил к работе. Готовы третья, пятая... И тут проходивший мимо пожилой хромой рабочий чуть подтолкнул меня и тихо произнес: «Пасс ауф! Верк-Шпион!» (Осторожно, заводской шпион!) Что это такое? Оглянулся, увидел: в мою сторону направляется гладкий немец в белом халате с дощечкой с разлинованным листком бумаги и прикрепленным на ней хронометром. Нетрудно было догадаться, что это — нормировщик. Стало ясно, почему мне выписана тарифная ставка: нормировщик пооперационно запишет затраченное на работу время. Хронометраж произведет на 8–10 деталях. Дальше легко сообразить: время, затраченное на операции, суммируется, затем результат делится на количество прохронометрированных деталей и получится средняя норма выработки. В интересах каждого рабочего, чтобы эта норма была выше. Тогда он может больше заработать при меньшей затрате энергии. Следовательно, работать надо как можно медленней, но так, чтобы это было естественно и незаметно. И чтобы время, затраченное на те же операции, было всегда одинаково, совпадало чуть ли не по секундам. С одной стороны, я был польщен:

мне, как «опытному мастеру», доверили столь ответственное дело. С другой — была, видимо, и некоторая хитрость: иностранец-де — новичок не сообразит в чем дело и, значит, работать будет вовсю. Так и началась моя дуэль с «заводским шпионом», дуэль рабочего с представителем работодателя. Беру заготовку, в уме все время считаю: раз, два... Устанавливаю, закрепляю ее: раз, два, три... Профрезеровываю насквозь: раз, два... десять. Веду фрезой с кондуктором по овальной конфигурации: раз... пять... десять. Продолжаю по другому боку: раз... пять... десять. И так далее. Главное: запомнить, сколько секунд я насчитал на каждый раздел и столько же повторять и на других деталях. Не ошибиться, иначе мое плутовство будет разоблачено! Начал обрабатывать двадцатую, и тут подходит тот же хромой:

— Аусгецайхнет! (Отлично!) Ты можешь перестать считать твои секунды: шпион уже ушел!

Да, нормировшика уже не было. Хромой, лукаво посмеиваясь, спросил:

— Не найдется ли у тебя пяти пачек «Голюаз блё»?

«Голюаз блё» («Синий голюаз») — марка сигарет с крепким табаком. Послабее, дамские, были «верт» (зеленый) и «жон» (желтый).

От неожиданности я вытаращил глаза и заикаясь ответил:

— Сожалею, но осталось лишь три пачки «голюаз верт».

Это и было отзывом на произнесенный хромым пароль. И на самом деле, в моем чемодане хранились эти три пачки. Так и состоялась наша встреча с немецким подпольщиком, которого я ждал столько времени. Он же, оказывается, был рядом, работал за соседним станком! Какое у них, у этих профессионалов-подпольщиков, терпение! Какая выдержка, осторожность! Есть, чему поучиться! Поистине правило «не торопить событий» — один из непреложных законов конспирации.

Хромого звали Максом. На встрече, назначенной им тут же в ближайшей пивной, Макс пояснил, что трубки — из титана (это я и сам давно понял), дорогостоящего сплава, и предназначены для оптики перископов. Откуда он это узнал? Ведь на чертежах стояли лишь шифры деталей — номера с литерами и указание, что отклонения-допуски разрешаются — 0,05.

— Если допуск будет превышать в сторону плюса, что воз-

можно, то детали будут забракованы: призмы, которые вставят в такие сверхнормы увеличенные отверстия, будут в них болтаться — будет «люфт», что абсолютно недопустимо, и забракованные детали пойдут на переплавку. Так будет потеряно не только огромное количество времени, но и средств...

Как этого достичь? Нужна малость: ускорить режим обработки, то есть скоростей подачи и вращения, реже охлаждать эмульсией. При этом произойдет не только нарушение допуска, но и самой структуры сплава, что намного вредней. И подобное можно («и необходимо!» — подчеркнул Макс) делать и с другими деталями: все они идут на самолетостроение или на оснащение подводного флота. Но надежней и безопасней саботаж этот осуществлять «на прощанье» — к концу контракта, не ранее чем за две недели до отъезда. Это спасет саботажников от разоблачения и ареста.

Я рассказал Максу о надежных товарищах, не только с этого, но и с других заводов, с кем успел познакомиться. И он дал для них первые «проверочные» задания. Если они себя оправдают, то я получу право передать их фамилии и данные: где, с какого времени, кем они работают и т.д.

— Никаких списков, все устно! — строго наказал немецкий подпольщик.

Тут же он вручил мне брошюрку, размером чуть меньше школьной тетради. Название — «Иннере фронт» (Внутренний фронт) на французском языке. В ней клеймился национал-социализм, рассказывалось о партизанской борьбе в Греции, Югославии, Италии, Франции. Говорилось, что и в Германии есть люди, борющиеся с фашизмом, и что они призывают иностранных рабочих бороться всеми силами: саботировать, работать медленней, помогая этим разгрому преступного режима, освобождению их родины от захватчиков...

«Рошан» все-таки не переставал меня интересовать. Вернувшись после встречи с Максом, я подложил полученную от него брошюрку под подушку Рошана: какой будет его реакция? Был уверен, что шума он не подымет. В последующие дни я видел, что Рошан ходит чуть ли не как чумной, по ночам часто ворочается, днем подозрительно косится то на одного, то на другого из наших постояльцев. Затем все чаще его испытующий

взгляд стал останавливаться на мне. На четвертые сутки он не выдержал, спросил:

— Твоя работа?

То, что он не назвал, в чем именно должна была быть моя «работа», было хорошим, располагающим признаком.

— Нашел на улице, — не стал я отрицать. — Просмотрел, ну, думаю, там есть и твои мысли...

— Значит, и здесь есть люди. Странно! — бросил он успокоенно и задумчиво. — Если найдешь еще, то... покажи. А эту передай, кому посчитаешь полезным...

Так был установлен с Рошаном первый контакт. И все же полного доверия еще не было. Другие мои товарищи — с ними дело было проще — были проверены в деле и переданы Максу. Как он с ними работал — мне об этом известно не было. Знаю только, что участилась порча инструментов, начали чаще выходить из строя станки. Особенно те, рабочие с которых собирались увольняться. Видимо, то было их «приветом на прощанье».

Не забыл я и о наказе побывать в филиале (а может, и в центре?) «Украинськой Громады». По данному мне в Париже адресу, в небольшой вилле на окраинной улочке находилось какое-то заведение с вывеской «Кауказус Нафта А.Г.» (Кавказская нефть). Сотрудники этого общества были русскими или украинцами, но возглавлялось оно, естественно, немцем. То были кадры специалистов по добыче, переработке и транспортировке нефтепродуктов: инженеры, химики. Уже загодя гитлеровцы готовили себе руководящие кадры для работы на нефтепромыслах Баку! Как они были уверены в себе, в своей победе, как предусмотрительны! Ко мне, когда я представился и сказал, кто мне дал их адрес, отнеслись очень радушно. Я перезнакомился со многими, встал на учет на тот случай, если понадоблюсь.

Жизнь шла своим чередом. Днем или ночью, в зависимости от смены, — работа в цеху. В остальное время, после кратковременного сна (много отдыхать, ведя двойную жизнь, не удавалось), контакты с одним или с другим знакомым, а то и с группой, прогулки по Берлину. Много времени отнимал и «промысел»: приобретение продуктов, приготовление пищи. С французами из нашей комнаты мы в пищу стали применять конину. Продавали ее в редких специальных магазинах с вывеской в виде

золоченой лошадиной головы: в них мяса отпускали на талоны в двойном весе. Первый такой не то борщ, не то суп мы варили с Мишелем. Сколько было смеху и суматохи: в кастрюле кипело, бурлило, а мы еле успевали снимать нескончаемую, валившую из нее, пену! И все равно она валила и капала на раскаленную плиту. Скворчание, дым, вонь ужасающая. А мы все бегаем и бегаем от печи на улицу, собирая в миски и опорожняя эту треклятую пену!.. А французы ругаются, носы свои нежные затыкают!.. Вот так мясо! А может в нем какой-то свой секрет? В итоге, оно хоть и было жестковатым, но оказалось вполне съедобным и довольно вкусным.

Излюбленным местом прогулок иностранных рабочих был центр Берлина — Александерплатц. Там проходили встречи, новые знакомства с земляками из многочисленных заводов города и окраин. Почему именно там? Кроме дешевых кинотеатров, на площади было несколько закусочных, где без талонов продавался «штамгерихт» — довольно вкусное блюдо из овощей, в основном из капусты, но бывал и картофель. Излюбленными закусочными были фирмы «Ашингер». Велись беседы, обмены мнениями, вестями из родной страны, с фронтов. Стали мы с Мишелем и Бошко частыми гостями в югославских рабочих лагерях в Сименсштадте. Одного из соотечественников, отправлявшегося через несколько дней в Белград, я попросил навести справки о родителях. Вернется — расскажет. А если их найдет, пусть мне напишут на адрес кого-нибудь из югославов. Казалось, все идет хорошо. Однако...

Своей характерной прыгающей походкой, — у него было явное плоскостопие, из-за которого и не был годен к строевой, — ко мне подскочил молодой лысый начальник цеха. Очень неприятная личность, с особым партийным позолоченным значком, указывавшим на то, что он — один из участников фашистского путча, приведшего Гитлера к власти[23]. Протянул мне бумажку с адресом:

— Бросай работу, немедленно отправляйся! Это недалеко.

Нашел дом, открыл дверь трехэтажного особнячка и... нос к носу столкнулся с шютцполицаем. Тот мне показал на второй этаж. Постучал в нужную дверь.

— Херайн! (Войдите!) — услышал я.

Сердце мое тревожно забилось еще тогда, когда мне вручили эту повестку, а при виде шютцполицая, обстановки в доме и при звуках этого приглашения войти оно вообще чуть не выскочило: войти-то войду, а вот удастся ли выйти? Вошел. В кабинете сидел штатский с прилизанными напомаженными волосами. Он тут же уставился на меня и стал испытующе разглядывать. Что ж, разглядывай! Стою, делаю вид, что меня это нисколько не волнует. А на самом деле... холодный пот — признак волнения и страха — стал проступать на всей коже. Какие только догадки не пронеслись в уме по поводу такого срочного и неожиданного вызова! Была ли промашка? Если да, то в чем? Я уже понимал, что нахожусь в местном отделении гестапо. Удастся ли из него выскочить? Хозяин кабинета стал наконец задавать мне краткие вопросы: кто я такой, где и когда родился, откуда знаю сербский, немецкий? Как хорошо, что в моей легенде были досконально разработанные ответы. Я понял, что основное, чем интересуется гестаповец, — не выходец ли я из Советского Союза? Затем он спросил, не нахожусь ли я на учете в каком-то «Руссише Фертрауенштелле»? А что это такое?

— Это — русское представительство, — пояснил неприятный господин. И я сообразил, что речь идет об эмигрантской организации.

— Нет, не состою, даже не знаю, где это находится: нам, французам, никто об этом никогда не говорил.

Получив от господина адрес, я поехал туда. В душе по-прежнему холодящий вопрос: а там, что ждет меня там? Как меня примут? Было ясно, что я чем-то стал подозрителен и что от этого визита зависит, быть мне арестованным или нет.

В «Фертрауенштелле» чиновники, видимо, русские в большинстве, долго и скрупулезно проверяли мои документы, вертели их так и эдак: прислужники всегда недоверчивей и злей своих хозяев. Что делать? Я как бы вскользь упомянул, что в Париже состою на учете в «Украинськой Громаде», что и здесь, в «Каукасус Нафта», меня знают. Оба проверявших меня чиновника тут же отложили мои бумаги и удивленно вскинули глаза. Затем один из них куда-то позвонил. Навел, видимо, справки. Получив утвердительный ответ, он недовольно спросил:

— Так почему же вас ни разу не видели в русской церкви?

Ах, вот оно что! Я покаялся, что, мол, впервые слышу, что и здесь, как в Париже, есть наша православная русская церковь, попросил ее адрес.

Меня отпустили, дав начальнику цеха справку, что я их посетил, ко мне претензий не имеют. Кто бы мог подумать, что такая сама по себе незначительная мелочь, как посещение или непосещение церкви, могла иметь фатальные последствия? Не будь у меня знакомств с «Громадой», а следовательно, и с нефтяной конторой, вряд ли бы все так просто закончилось... Впрочем, мои начавшиеся после этого паломничества в церковь тоже оказались полезными: новый круг знакомств привел меня и к смотрителю церкви. Фамилии и имени его не помню, но то был прекрасный человек по всем статьям. Несколько раз я имел возможность прослушать у него сообщения по московскому радио и узнать правду о положении на Восточном фронте. Встретил я в этой же церкви на Находштрассе и одного из своих знакомых по Белграду, примерно моего возраста, но сейчас он был в форме немецкого офицера. Как хорошо, что увидел его первым: тут же постарался скрыться: он знал мою настоящую фамилию!

Был и еще примечательный случай. Получив зарплату, мы с Рошаном, Мишелем и Бошко поехали в Берлин «прибарахлиться»: Рошан задался идеей подыскать себе костюм, да и мы хотели купить по шинели. Близ Александерплатца находился известный всем иностранным рабочим дешевый магазин подержанной одежды. Рошан долго выбирал себе костюм. Вдруг он побледнел, ощупывая один, стал рассматривать его тщательней. Затем, схватившись за грудь, начал оседать. Еле успели подхватить его и усадить на стул. Что это с ним? Лицо, как мел! На наши расспросы он не в силах был ответить что-либо внятное, но костюма из рук не выпускал. Отсидевшись, попросил завернуть покупку. Когда вышли из магазина, он прислонился к стене, из глаз полились слезы, все тело его вздрагивало. Таким я его никогда не видел. Да и можно ли было подобное ожидать от такого грубоватого и нелюдимого человека?! Оказалось, костюм этот принадлежал его родному брату, взятому несколько месяцев назад заложником и расстрелянному перед его отъездом сюда. Собственно, именно поэтому Рошан и решил скрыться в Герма-

нию. Мне стало ясным, какие «обстоятельства» вынудили его покинуть Францию и что это за «дешевый магазин» и почему он дешевый: в нем продают вещи погибших.

Дня четыре Рошан не проронил ни слова. Наконец произнес:

— Вернусь во Францию, — буду их, негодяев, беспощадно крошить!

Сомнения отпали: в Рошане мы получили преданного руководителя группы французов. Но слепая ненависть и жажда мщения — плохие спутники и советники, необходимо иметь холодную голову. И надо было порядком поработать, чтобы дать ему это понять. Лишь после этого он был представлен Максу.

С Мишелем у нас всегда были самые искренние отношения, настоящая братская дружба. Она не нарушилась, хоть мы с ним и работали в разных местах. Впрочем, находились мы с ним в непосредственной близи — на одной трамвайной ветке, через 4–5 остановок; он был ближе к центру Берлина, на перекрестной станции метро «Темпельгоф». Он часто приезжал ко мне, навещал и я его. Жил он в комнатушке слесарей на самом аэродроме. И все же, ни о его связях, ни о моих — на эту тему мы разговоров не заводили. Мы понимали: чем меньше каждый из нас будет знать об индивидуальной, автономной работе другого, тем лучше и безболезненней будет в случае провала: «Легче будет на пытках!» — шутили мы.

И вот произошло то, что связало нас совсем уж неразрывными узами. В самом начале апреля я от начальника цеха, ставшим после моей проверки в гестапо значительно мягче, получил наряд-задание на обработку... тех самых трубок из титана. Целых 150 штук! А это — для оснащения 75-ти подводных лодок! Наладчик занялся своим делом, а я с нетерпением ждал момента, чтобы взглянуть на «аккорд-цеттель» и узнать, как они пронормированы. Теперь как первую, так и вторую контрольные детали обрабатывал я сам, но под его наблюдением. В ОТК проверили, поставили на них клеймо, и, получив таким образом «добро», я приступил к серийной обработке. На сколько же я сплутовал и надул «шпиона»? Когда наладчик ушел, я глянул на время: восемнадцать минут! А затрачиваю на нее всего тринадцать! Полный успех, для рабочих — поистине «золотой наряд»!

А Макс заволновался:

— Нельзя! Нельзя упускать такой шанс! Необходимо уничтожить все детали!

Я был согласен: задержать выпуск или ремонт стольких подлодок необходимо! Но до конца моего контракта оставалось еще два месяца. Он же сам призывал делать большие диверсии лишь «на прощанье». А как же теперь? Ведь я буду разоблачен задолго до моего отъезда во Францию. Значит, буду арестован, следствие, допросы: с кем дружил, с кем общался?.. и потянется ниточка... Что же делать?

— Работай... с браком! Что-нибудь придумаем, — ответил Макс...

На следующий день Макс явился особенно сосредоточенным. Лицо его было серым от усталости. Правда, он и раньше выглядел невыспавшимся, глаза часто были воспалены, слезились. Сказывалось постоянное нервное напряжение. Да это и понятно: ходить по лезвию бритвы — занятие не из веселых. Однако он никогда не терял бодрости, разговор вел в шутливых тонах, всегда приветливо здоровался, был подчеркнуто жизнерадостным. Возможно, именно таким и должен быть подпольщик? Я понимал, чего это ему стоило, и уважение к нему росло.

— Трубки эти и те, что ты обработал ранее по «лон-цеттелю», как я узнал, отправят заказчику в одной партии. Следовательно, это примерно для ста подлодок. Это — шанс: на нашем заводе твоя операция над ними — последняя. Кроме того, есть еще несколько сугубо важных деталей, которые нельзя отсюда отправлять. Придется предпринять что-то экстренное и эффективное...

Он подчеркнул, что со мной и моим напарником (откуда только он о нем узнал?) вопрос поэтому решится на днях.

— Тем более, что вы свою роль выполнили! — добавил он.

Мне повезло: почти две трети работы над трубками пришлось на ночные смены. Начальник цеха, этот вездесущий цербер, ночью почти никогда не удостаивал нас своим визитом и не маячил над душой. Наладчики и мастера тоже предпочитали отдыхать. С самого начала работы я безбоязненно переналаживал на станке режим резания — увеличивал обороты, ускорял скорость подачи. Охлаждающая эмульсия под фрезой кипела, и

фреза и металл чуть ли не раскалялись. Я задыхался от испарений, от газа, но работал. Нет, я нисколько не перегружался: на обработку детали у меня шло всего семь минут, и я имел время и возможность чаще отлучаться, отдыхать, дышать свежим воздухом. Но ни в коем случае нельзя было показать, что я чуть ли не в три раза перевыполняю норму. Поэтому к восьми утра в ящике обработанных деталей лежало чуть больше, чем должно было быть по норме. Оставалось еще трубок двадцать пять — почти на одну ночь, — когда я, вернувшись утром с работы, получил странную телеграмму из Парижа. От кого бы это? Проверил адрес: да, мне. Вначале я не понял смысла: «Жорж, твоя мама неудачно упала, проломила голову. Состояние критическое, предвидится трепанация черепа. Немедленно выезжай!» И... меня осенило! Я тут же побежал в дирекцию. Не знаю, хороший ли я актер, но на этот раз я проявил действительно артистические дарования: слезы текли градом, всхлипы. Я нарочно вызвал в памяти мою маму, прощание с ней в горящем Белграде, ее отказ выехать со мной, ее последние объятия, поцелуи и... как она меня перекрестила. Я судорожно совал телеграмму под нос начальству и, всхлипывая, просил дать немедленный отпуск. Да, — ответили мне, — отпуск мне дадут. Но просят закончить заказ, чтобы могли внести его в расчетный листок:

— Деньги же тебе пригодятся. Все равно расчет проведут только за день, ты потеряешь лишь ночь, а на следующий день и выедешь.

Полный порядок! Срочно надо предупредить Мишеля. Сажусь на трамвай, еду к нему в Темпельгоф. Подходя к воротам аэродрома, сталкиваюсь с ним. Глаза у него покрасневшие...

— Мисси, а я к тебе!.. — начал было я.

— Да подожди ты, Сасси. Это я к тебе!

— Да нет же! Я получил телеграмму, уезжаю.

— Я тоже. Значит едем вместе! Ура-а-а!

В те времена гитлеровцы не были лишены гуманности: Мишелю даже предложили место в самолете до Парижа. Бесплатно! Он отказался, сославшись, что не переносит полетов...

Видимо, счастье — не счастье, если оно не сопровождается горем: вернувшийся из Белграда друг сообщил, что бомбой был разрушен мамин дом, и она, по всей вероятности, погибла. Пе-

редал и сведения об отце: партизанский отряд, где он был, попал в окружение близ города Ужице, и он, инвалид, не в силах вырваться и чтобы не обременять собой других, застрелился. Итак, нет у меня больше родителей![24] Всеми силами постараюсь отомстить за их гибель! Передал мне друг и просьбу Гриши Писарева и других друзей из моего скаутского звена: меня там ждут — назревают, мол, большие дела, будет и мне работа. Какая — было понятно. Но... и здесь дела не менее нужные.

Вот уже три дня, как со мной творится что-то непонятное: на лице и запястьях появились волдыри на волдырях. Думал — пройдет, ан нет, всё хуже и хуже... Обрабатываю в полночь последние детали, и в тумане эмульсионного пара увидел приближавшегося ко мне Макса. Почему он здесь — это же не его смена? Из сумочки, в каких обычно носят бутерброды, он достал завернутую колбасу. Я думал, что это мне, хотел было поблагодарить и отказаться, но...

— Эту колбаску, — сказал Макс, — засунь в одну из трубок. Ее диаметр такой, что она туда свободно влезет. А вот в этот торец, видишь в нем отверстие? — вставь вот этот карандашик. Когда будешь вести тележку в склад готовой продукции, согни у него головку. Понял?

— Яволь! (Так точно!)

На прощанье, Макс долго жал мне руку, затем пошел, чуть ссутулившись, обернулся при выходе из цеха, улыбнулся, соединил руки в пожатии и потряс ими над головой: в знак дружбы и солидарности. Видел я его в последний раз.

После обеда следующего дня мне был выдан полный расчет. К тому времени мои запястья и лицо превратились в сплошные волдыри. И в заводской амбулатории мучались со мной долго: смазывали мазями и бинтовали. Руки оказались забинтованными по самые локти. А лицо! На лице оставили лишь отверстия для глаз, носа и рта. Сказали, что я отравился газом эмульсии. В таком забинтованном виде я и оказался вечером в вагоне вместе с Мишелем. Поезд помчал нас через Аахен, пограничный город, в Париж. На покинутых нами предприятиях остались сколоченные группы — продолжатели борьбы с гитлеровской военной машиной. Нас охватило блаженное спокойствие, как-никак, а вырвались! Не так страшен черт, как его малюют!

В Аахене я посмотрел на часы: сейчас, именно сейчас, по словам Макса, и сработает карандашик — химический детонатор.

— Ну, дорогая моя «кукла» (я и точно походил не то на куклу, не то на мумию, не то на «Человека-невидимку» Г.Уэллса)! — обратился ко мне Мишель, когда я не выдержал и рассказал ему про пластиковую взрывчатку: — А я тоже кое-что делал: меня научили, как и где подпиливать тросы управления в кабине пилота. Могу заверить, что еще пара самолетов потерпит аварию в воздухе «по невыясненным причинам». И вот, после любезности моего директора, стало как-то не по себе... Стыдновато! — Ко мне по-человечески, а я — как свинья![25]

Глава 7. ПАРИЖ, апрель 1942 г.

— У нас сейчас так мало постояльцев! — сокрушался пожилой маленький услужливый итальянец с роскошными пышными усами, управляющий гостиницы «Миди», куда нас с Мишелем определили подпольщики: — Все бегут из нашего голодного города...

Звали его Энрико. Он открыл нам неблшую комнатку с двумя кроватями, столиком и газовой плитой, попросил располагаться. Мишель тут же, как истый санитар, занялся моими бинтами. Меня тронула его заботливость, я бы даже сказал — нежность. И тут из окна донеслась мелодия венецианской баркароллы, напеваемая теплым бархатным голосом. Мы бросились к окну: внизу, во дворе, увидели маленькую и молоденькую женщину, скорей миниатюрную девочку, развешивавшую белье. Пела, порхала и вскоре исчезла. Через несколько минут к нам постучали, и перед нами предстала эта самая «бабочка-певунья», оказавшаяся дочерью Энрико. До чего же приятная женщина! Сколько обаяния, грации, жизнерадостности! К нам в комнату ворвалась сама весна! Звали ее Ренэ. К сожалению, не все в ее жизни было «весенним»: по ее словам, муж-офицер погиб в первые же дни войны на линии Мажино. Мать больна, с кровати не поднимается...

— Какой у вас, мадемуазель, прелестный голосок! Прямо, как у Эдит Пиафф! — рассыпался в комплиментах галантный Мишель. Выхватил у нее из рук веник и начал помогать. Я стеснялся своего вида, а Ренэ смеялась:

— А ваш товарищ, месье, — не глухонемой ли?[26]

— Нет. Он просто не привык к таким редким милым созданиям, — отшутился Мишель.

Ренэ интересовалась Германией. Понравилось ли нам там? Мы отвечали неопределенно или же старались перевести разговор в более нейтральное русло. На следующий день Ренэ неожиданно спросила:

— Месье, как вы думаете, скоро ли погонят бошей из России?

— Куда там! — засмеялся Мишель, — немцы — такая силища, что русские скоро сдадутся. — Даже наша Франция не смогла с ними справиться!

— Странно... — ни к кому не обращаясь, засомневалась Ренэ.

Прошло еще несколько дней. Вскоре мы поняли, почему нас определили именно в эту гостиницу. Ренэ, как и ее отец, очень с нами подружилась. Без нее нам было пусто и скучновато. Мишель уже окунулся в парижские будни, ходил на встречи с нашими руководителями, помогал в распространении листовок. Один я в своих бинтах был прикован к комнате. И вдруг, когда, — а это бывало часто, — Ренэ балагурила с нами, она повторила тот же вопрос: «Когда бошей погонят из России?» А на ответ Мишеля, что этому, по-видимому, не бывать никогда, ехидно заметила:

— А по-моему, вы думаете иначе. Нечего принимать меня за несмышленную дурочку: среди книг на вашей полке я видела спрятанные листовки...

Мы оторопели: неужели так глупо и элементарно влипли? Посмотрели украдкой и осуждающе друг на друга.

— Чего вы переглядываетесь? — заметила это Ренэ, — до вас здесь ночевала моя кузина Женевьев, активистка компартии. Скрывалась от полиции. Так я ее выручила: пока отвлекала ажанов болтовней, у нее было время улизнуть вот через это ваше окно, на крышу сарая, а с нее — на другую улицу...

Конфликт был исчерпан, нам долее незачем было друг пе-

ред другом кривить душой. У нас появился настоящий товарищ и единомышленник. Да какой прелестный!

Помню, перед самым комендантским часом Мишель пошел на встречу с «ответственным» Гастоном. Мы с Ренэ долго ждали его возвращения. Давно уже комендантский час, а его все нет и нет. Как тревожно переживали мы с Ренэ эту задержку, каких только догадок не строили! Уже собирались идти на его поиски, как появился он сам. Угрюмый, нелюдимый, злой. Таким я его еще никогда не видел. Долго отходил, наконец произнес:

— Сасси! Погиб Морис...

Передо мной, как живой, встал облик Мориса, его исхудавшее, измученное недосыпанием, но милое лицо... Вспомнился незамысловатый ужин на рю де ля Конвансьон, передача Коминтерна, браунинг, совместная работа в ночном Париже и... его мрачный тост...

Как он погиб? Среди бела дня, со своим семнадцатилетним напарником-тезкой он бросил бомбу в форточку немецкой столовой «Зольдатенхайм». Пока там раздавались стоны, примчались полицейские, жандармы. Схватили чуть замешкавшегося напарника. Морис, находившийся уже далеко, вернулся, начал стрелять. Полицейские, выпустив схваченного, ответили огнем, ранили Мориса в ногу. Напарник услышал его крик: «Беги! Меня живым не возьмут!» И тут же Морис покончил с собой. Одни говорят, что он выпустил в себя последнюю пулю, другие, что раскусил ампулу с ядом... Как бы то ни было, но тост его исполнился: сестренка не прочтет его фамилии в списке расстрелянных, не узнает о его гибели...[27]

— Я решил, Сасси, передать почти весь наш немецкий заработок, все наши марки в кассу помощи семьям погибших — в фонд солидарности...

Так для нас настали очень голодные времена...

Наконец сняты мои бинты, остались только свежие красные рубцы. Я сфотографировался в том же «Юнипри», куда сходили с Ренэ, затем с Мишелем отправились на встречу с Кристианом. Добирались со всеми предосторожностями, остерегаясь «хвоста». Нацисты стали применять новый метод слежки — передачу «объекта» по эстафете. Поэтому мы часто и неожиданно для посторонних пересаживались из вагона в вагон, пользова-

лись и другими известными нам методами сбивания со следа. Собственно, это делали не столько из опасения, за документы наши пока бояться было нечего, сколько для тренировки.

К назначенному сроку мы были в кафе «Дюпон». Хорошо запомнилась его реклама: «Chez Dupont tout est bon!» (У Дюпона всё отлично!). В зале, как обычно, царило оживление. Мы в автомате взяли по стакану йогурта и стали за столиком, лицом ко входу. В дверях показался Кристиан Зервос. Подошел к автоматам, взял тоже стакан напитка и, будто выискивая глазами свободное место, прошел мимо нас:

— В Порт Дофин! — тихо обронил он название станции метро, — оттуда пойдете следом за мной.

Через минуту после ухода Кристиана, вышли и мы. В Булонский лес, следуя за ним, добрались благополучно. Прогуливаясь там по весенним аллеям, пустынным и влажным, мы жадно слушали отрывистые, краткие фразы нашего руководителя. Прежде всего он отругал меня:

— Тебя послали не за тем... То могли сделать и сами немцы. Теперь приходится менять твои документы. А «типография» у нас не такого масштаба...

Напоследок сказал (видимо, чтобы приподнять настроение после произнесенного выговора), что руководство нашей работой «в основном удовлетворено». Разъяснил положение во Франции. Правительство Виши ведет, по его словам, лицемерную политику: малейшие успехи Гитлера в России вызывают у него заискивание перед оккупационными властями, а неудачи — охлаждение раболепия. В Виши больше всего боятся укрепления коммунистов, восстания. А движение французского Внутреннего Сопротивления набирает силу. Подпольщики приступили к широкомасштабным вербовкам патриотов как в Северной, так и в Южной зонах. Из групп «ОС» (Организасьон спесьяль), куда ранее входили лишь активисты-боевики, организованы первые группы франтиреров-партизан — «ФТП», в которые принимаются все, кто не принял политику «аттантизма»[28], кто желал сражаться немедленно. Создавалась широкая сеть боевых групп (групп де комба), действующих в городах, селах, в лесах и горах. Стотысячным тиражом стала издаваться подпольная газета «Юманите». Вместе с другими газетами, как «Ля ви увриер» (Ра-

бочая жизнь) и «Франс д'абор» (Франция прежде всего), она публикует комментарии о действиях ФТП и Бэ-Жи.

К власти пришел Лаваль, страстно желавший победы Германии и всеми силами обрушившийся на патриотов. Гитлеровцы, чтобы противостоять растущему Сопротивлению, сконцентрировали весь полицейский аппарат в одних руках. Его возглавил эсэсовец Карл Оберг.

Так, по мнению Кристиана, сложилась политическая ситуация во Франции. Затем он рассказал о моих товарищах по плену — с Михаилом и Николаем всё в порядке. Из лагеря в Саргемюнде бежала и другая тройка, тоже взявшаяся теперь за оружие. Группа Ковальского успешно организовывает побеги и переправку беглецов.

В нашу группу Кристиан решил ввести новичка — для «стажировки». Дал его описание и «пароль» для встречи с ним. Подробно проинформировал о дальнейшей работе и попросил готовиться к новому заданию. Какому? — не уточнил. А как готовиться? — усиленно заниматься физической тренировкой.

— Вредно наращивать жирок на ваши немецкие марки! — съехидничал он.

Эх, если бы он только знал, что тот йогурт, который мы выпили, по нашей раскладке было единственным на сегодня суточным питанием! Но стоило ли объяснять судьбу наших «немецких марок»?

* * *

Весна 1942 года набирала силу. Обычно хмурое и грязное парижское небо поголубело, и после ночных операций (дневных тоже) мы с Мишелем нередко посещали Булонский лес. Деревья уже покрывались нежным зеленым пушком, пробивалась молодая травка. Природа жила своей ни от кого не зависящей жизнью, и не было ей никакого дела до житейских тревог, подпольных листовок, стрельбы, взрывов, облав, расстрелов... Мы ходили сюда не только, чтобы отдохнуть, но и потренироваться в приемах рукопашного боя: помня слова Зервоса, надеялись, что нас включат в Бэ-Жи. Тренировались и в гостинице. Возня производила много шума и была замечена Энрико и Ренэ:

— Вы как персонажи старинной французской сказки! — обронил как-то Энрико, прибежавший на шум, — настоящие Зиг и Пюс!

Смысл сказки — в дружбе великана и малыша, ставших неразлучными. «Пюс» — блоха. А вот значение слова «Зиг» Мишель мне так и не сумел растолковать.Что-то вроде «рубахи-парня». И с легкой руки Энрико, прозвища эти так к нам и приклеились, превратились в подпольные клички. Мишель стал «Пюсом» — блохой[29].

Новичка звали Марсель. Он оказался приветливым восемнадцатилетним парнем со смуглым цыганским лицом, смоляными вьющимися кудрями и светло-серыми глазами. Ростом он был с Мишеля, но чуть плотнее. Сила так и сквозила из его гибкого тела. Родители Марселя были заключены в концлагерь. Оказался бы там и он, но спас случай: во время ареста семьи он был в отлучке. А когда подходил к дому, его поджидали друзья и предупредили. Да, не имей сто рублей, а имей сто друзей! Теперь Марсель был без родителей и без постоянного места жительства, ненавидел оккупантов! С нами же был отличным и веселым собеседником.

На «работу» мы ходили обычно ночью, но сейчас, втроем, стало легче и безопасней работать днем. Нацисты усилили охоту за распространителями листовок и подпольных газет, поэтому мы ходили гуськом, «на расстоянии видимости» друг друга. Я — посередине, с портфелем, скорее похожим на сито, из дыр которого торчали углы профашистской газеты «Матэн». В портфеле были или листовки, или пистолеты, гранаты. Все это предназначалось боевым группам. Оружие после выполнения задания, таким же путем возвращалось на «склад».

Как-то на авеню дю Мэн Мишель, шедший впереди нас, вдруг подал знак опасности. Точно: впереди разворачивался заслон полицейских. С тыла приближалась цепь автоматчиков. Мы в мешке! Это — обычная облава, мы к ним уже успели привыкнуть. Друзья исчезают кто куда, в различные лазейки. Рядом со мной лишь бистро. Вхожу в него, вешаю портфель и кепку на вешалку у двери. Заказываю чашечку кофе. И тут входят двое ажанов и один фельдфебель.

— Во папье (Ваши бумаги)! — звучит требование полицейских. Паспорт, с которым я недавно прибыл из Берлина, стараюсь вручить французу, а не немцу.

— Бон, са ва! (В порядке!) — глянув на фотографию в немецком документе, равнодушно произносит ажан, и я направляюсь к выходу. Выпускают. Вижу: в поперечной улочке за углом полицейский фургон. В него сажают несколько человек. Среди них нет ни Марселя, ни Мишеля. Отлично! Пройдя бесцельно немного вперед и переждав конца облавы, возвращаюсь в бистро.

— Забыл кепку! — говорю хозяину и беру ее с вешалки. Но где портфель? Его нет! Пот обливает меня, я грустно опускаю глаза и... они уткнулись в валявшийся на полу мой миленький затасканный портфель! Схватил его и на крыльях восторга вылетаю прямо... в объятья моих друзей. Ничто не может так породнить, как минута общей опасности!

Так и проходил день за днем в ожидании чего-то существенного, когда можно было бы почувствовать, что ты действительно чего-то да стоишь. Но... пока это были лишь малые трудности, постоянный риск, напряжение нервов и страшный голод. Марселю было намного хуже: у него не было даже постоянного надежного пристанища, и он, бывало, ночевал у нас. Тут нам очень помогла милая Ренэ: никогда не прогоняла Марселя. Наоборот, часто подбрасывала что-нибудь пожевать, хоть и у них самих было не густо.

Мишель курил. В свободное время он брал с собой палку со вделанным в ее торец гвоздем и на перронах метро, чаще между рельсами, накалывал валявшиеся там окурки. Занятие это, надо сказать, довольно-таки унизительное, мы называли его «рыбалкой». Мои лекции о вреде курения и подтрунивания на эту тему он пропускал мимо ушей. Как мне теперь жаль, что и я заразился этой никчемной привычкой, правда, несколькими десятилетиями позже. Возможно, именно это долгое воздержание и помогло пережить пережитое.

Если кому-либо из нас удавалось «подстрелить» кусочек хлеба, каждый нес его другу, утверждая, что, мол, свою долю съел еще по дороге. Каким было наслаждением наблюдать, глотая слюнки, как твой друг уплетает твою добычу! Видимо, человек устроен так, что для него не существует большего блаженства, чем упиваться собственной добродетелью. К сожалению, иногда опошляют и это счастье, превращая его в ханжество... Мы потом долго смеялись, когда разоблачили наше «жульничество».

Изо всего этого, из таких, казалось бы, мелочей и складывалась огромная боевая дружба, ставшая крепче любых других чувств. И она была надежна как гранит. Ренэ же стала для нас родной сестрой. Правда, горячий и довольно экспансивный Мишель попытался, было, в самом начале добиться большей ее благосклонности, но тут же получил решительный отпор:

— Мисси! — возмутилась Ренэ, — вы оба для меня что родные братья. Я люблю обоих одинаково. А быть с одним — родить ревность в другом, поссорить вас. Этому не бывать!

Мишель долго виновато заглаживал нелепый инцидент.

Уставшие, но удовлетворенные, возвращались мы домой после наших вылазок. Ренэ неустанно, не смыкая глаз и с тревогой, ждала нас в нашей комнате. Ее внимательность, забота, тревога за нас окрыляли, подбадривали и были нам дороги и необходимы. Из листовок и газет мы черпали сведения о победах и героических делах различных групп на невидимом фронте борьбы с фашизмом, о трагизме потерь и поражений: арестах, судебных процессах, казнях. В Нормандии в марте произведено пять диверсий, три из которых привели к крушению поездов с военной техникой. В Па-де-Кале за одну ночь произведена серия взрывов, на длительное время парализовавших железнодорожное сообщение между городами Аррас—Ланс—Дуэ. В Туре брошена граната, и убит один из руководителей «ЛВФ» (Легиона добровольцев против большевизма) — бывший кагуляр (член французской профашистской организации)...

Оккупанты, потрясенные начавшимися поражениями на Восточном фронте и крайне обеспокоенные набиравшим силу Движением Внутреннего Сопротивления во Франции, решили усилить идеологическую обработку французов. В самом оживленном районе Парижа, близ Пляс де л'Этуаль, по левой стороне широкого авеню, в зале Ваграм, они открыли 1 марта этого года выставку «Большевизм против Европы». 8 марта семнадцатилетний студент, немец по происхождению, Карл Шёнхаар и двадцатилетний сафьянщик Жорж Тонделье, оба из Бэ-Жи, оставили в зале выставки чемодан со взрывчаткой с зажженным фитилем. Но на выходе один полицейский, запомнив, что они входили с чемоданом, а выходят без него, поднял трево-

гу. Оба были схвачены. Мину обезвредили за минуту до взрыва.

Безусловно, о таких фактах героизма, пусть и безрассудного, необходимо широко оповещать население, призывая и его включиться в борьбу. Нацисты же всячески стремились их замалчивать. А мы и такие как мы, должны были сообщать об этом, показать, что борьба идет не на жизнь, а на смерть. И не впустую. Это и было одним из наших заданий.

Узнав о случае в зале Ваграм, мы с Ренэ не преминули полюбопытствовать и побывать там. Смотрели на броско, красочно и помпезно оформленные витрины у входа, на антисемитские лозунги и плакаты. Видели шнырявших у входа и в залах переодетых агентов, для этого не нужно было иметь «особого глаза». Конечно, они боятся! С отвращением осмотрели гитлеровскую стряпню: тускло освещенные электрическими «лучинками» землянки — «жилье большевиков». В них — грязь, запустение, первобытная утварь. Лица у манекенов-«русских» дегенеративные, отвратительные. Занимаются тем, что ищут в белье вшей. Этим гитлеровцы стремились сказать: вот, мол, смотрите, какую жизнь сулит Европе большевизм, а мы вас от него спасаем!

Но этим не ограничились: без суда и следствия совершались казни патриотов. Оправдывали себя оккупанты тем, что, мол, террор — «необходимая административная мера». Над Парижем, несмотря на весну, сгущались мрачные свинцовые тучи...

Глава 8. У ИСТОКОВ МАКИ

Лучше погибнуть стоя,
чем пресмыкаться на коленях!

Мои новые документы изготовлены. Теперь я — Александр Попович, серб-черногорец, французский гражданин. Место жительства — департамент Ду во Франш-Конте. И мы с Мишелем, которому менять его немецкий «Фремден-Пасс» не было необходимости, были направлены туда, во Франш-Конте, к швейцарской границе. Частое изменение фамилий, места жительства, частые перемещения, как я убедился, — самые действенные сред-

ства для долговечности жизни подпольщиков. Особенно, если они, возможно, взяты на заметку, «под колпак». Была и еще одна необходимость изменения нашего места пребывания... Дорогая ты наша Ренэ, увидимся ли опять? Когда?..

Вечер, 30 апреля 1942 года. Лионский вокзал в Париже. На перроне появляемся ровно в минуту отхода нашего поезда. А вот и Марсель. Он контролирует наш отъезд: все ли пройдет удачно? Об этом он обязан сообщить руководству.

Наш багаж — маленький чемоданчик со сменкой белья и парой тощих бутербродов. И сверток: в нем разобранные немецкие автоматы «МП» — «машиненпистоле». Они туго завернуты в грязные тряпки, поверх обернуты старыми газетами и много раз перетянуты бечевкой.

Как только поезд тронулся, мы вскочили на подножку вагона. Проследили: не последует ли кто по пятам? Нет, все в порядке, «хвоста» не видно. Махнули рукой нашему другу: прощай, дорогой Марсель Рейман! Прощай наш симпатичный друг и брат «Житан» — «Цыганенок», прозванный так за смуглую кожу, за смоляные кудри, за искрившиеся задором смешливые глаза!

Вагон третьего класса переполнен. Это нам на руку. Выбрали место, где, кроме пассажиров, по-видимому крестьян, сидела благообразная старушка. Сюда, на полку, мы втиснули наш сверток, ближе к коридору. Для чемоданчика нашлось место на полке соседнего отделения. Где-то близ Дижона возможна проверка документов, изредка сопровождаемая досмотром багажа. Очень неприятное сведение! Нет, насчет документов мы не очень беспокоимся. А вот сверток с автоматами... Целых две штуки с комплектом рожков! Помнится, мы шутили: случается же, мол, что «герои фатерлянда» то «забывают», то «теряют» свое оружие в таком огромном, полном соблазнов, городе, как Париж! Во всяком случае, не повезло двум оккупантам. Но нам в Париже подобное оружие ни к чему: не спрячешь под полой, не пронесешь незаметно. Зато там, куда велено его доставить, оно будет в самый раз.

У моего друга Мишеля был, как я уже сказал, тот же «Фремденпасс», с которым мы недавно вернулись из Берлина, а у меня — «карт д'идантитэ».

Разработана была и легенда нашего путешествия. Приехав якобы из департамента Ду в Париж в поисках работы, я здесь случайно познакомился с Мишелем Зернен, только что вернувшимся из Берлина, где он работал по найму. Сейчас он в отпуске, но ему там так понравилось, что собирается вернуться. И меня уговорил поехать с ним вместе. Но предварительно мы заедем ко мне, чтобы я подготовился к отъезду.

Мерно постукивают колеса на стыках рельсов. Лионский вокзал, где мы порядком понервничали, далеко позади. Тусклыми мертвенно-голубыми светильниками затемнения вагон еле освещен. Вскоре поблек и этот свет. Еще долго не клонит ко сну: после посадки с опасным грузом нервы напряжены. Да и впереди не менее неприятная перспектива возможного обыска. А мой новый документ? Не очень-то я уверен в его безупречности и надежности. А вдруг в нем какая-нибудь ошибка, не та закавыка?..

Чтобы отвлечься, болтаемся по коридору. Заходим в тамбур. Мишель курит чаще обычного, свертывая сигаретки чуть толще спички. Это — чтобы экономить: очень уж скуден запас, всего один пакетик «гро-кюб». Так, кажется, называется этот пятидесятиграммовый кубик скверного табака. Какой же я счастливчик, что не курю! И я мысленно сам себя похвалил.

Наконец нервы отпускают. Заставляем себя не думать ни о нашем грузе, ни о будущей возможной проверке. Мы как-то привыкли овладевать собой. До чего же все-таки удивительна человеческая натура: в Германии я ловил себя на том, что сны снились на немецком, а во Франции — на французском языке! Мишелю намного проще: ему нечего опасаться случайно во сне вырвавшегося слова. Я же снов боялся.

Минуты уединения используем, чтобы переброситься парой слов. В голове так и бурлило: мы столько узнали, столько услыхали и прочитали в газетах и листовках! И нас не удивляет, что мысли наши синхронны и текут будто по одному руслу.

Листки подпольной газеты «Ля ви увриер» от 28 марта, которые мы засовывали под двери или вбрасывали в форточки, сообщали о бомбардировке в ночь с третьего на четвертое марта: союзная авиация бомбила завод «Рено» в Булонь-Бианкуре. Оккупанты, расстреливавшие невинных заложников, решили

сыграть на чувствительных струнках парижан и стали клеймить в прессе и по радио «англосаксонских плутократов». А газета эта писала:

Рабочий класс не может оставаться простым созерцателем мировой борьбы с фашистскими захватчиками. Героизм состоит не в том, чтобы рукоплескать налетам Р.А.Ф. (Рояль эйр форс — союзной авиации) и подвергать себя риску быть убитым, производя военное снаряжение для Гитлера. Можно делать кое-что и получше...

Мы полностью согласны с этим призывом к действию, тем более что это было нашим кредо и в Берлине. Нет, мы не намеревались его менять. Более четким был призыв «Юманите» за 3 апреля:

Рабочие! Ваш долг — отказываться работать на бошей, саботировать все, что предназначено для Гитлера, организовать борьбу, устраивать стачки. Этим вы ускорите падение реакционного и антирабочего режима нацистов и приблизите освобождение Франции. Товарищи рабочие, за дело!

Наши руководители — Викки и Кристиан,— с которыми мы встречались (с «Гастоном» встречался лишь Мишель), дали нам понять, что это «кое-что», как говорилось в «Ля ви увриер», уже делается. Очень богат событиями 1942 год! А он только начинается!..

3 января взлетел на воздух книжный магазин оккупантов на Елисейских полях. В том же месяце, не ожидая призыва газеты, была проведена забастовка в Монсо-ле-Мин, в департаменте Сона-и-Луара. Это в Бургундии, где столица Дижон, через который мы проедем. Столкнувшись с небывалым единством шахтеров, оккупантам пришлось отступить. Гитлеровцы не решились призвать на помощь армейские части и не досчитались 100 тысяч тонн угля. Неплохой вклад в дело борьбы с захватчиками! И все это рядом с тем же Дижоном, в котором разместилась резиденция «Милитер Фервальтунг Норд-Ост Франкрайх» (Военное управление северо-восточной Франции). Администрацию гитлеровцев дублировал комиссар Марсак, убежденный вишист, ярый сторонник Лаваля и заядлый антикоммунист. Да-а, его надо опасаться!

В Северной зоне в начале года было убито шесть офицеров и солдат вермахта. Группа франтиреров во главе с Дебаржем

атаковала стратегически важный мост у местечка Сезарини. Уничтожили двух часовых, захватили их оружие. Две недели спустя та же группа успешно напала на резиденцию гестапо в городе Аррас.

В южной зоне 20 марта тишину города Перпиньян оборвал мощный взрыв: заряд динамита превратил в развалины вербовочный пункт «ЛВФ». В нем французскую молодежь призывали идти добровольцами на Восточный фронт.

Началась и «рельсовая война». Диверсии на железнодорожном полотне в треугольнике Малоней—Аргей—Соттвиль, на линии Амьен—Шербур. Вражеские составы с техникой и живой силой летят под откос. Рост диверсий вынудил оккупантов создать постоянно действующие ремонтные бригады и поезда.

Разумеется, все это обозлило врага. В Париже и во всей Северной зоне вновь запестрели «Ави-Беканнтмахунгены» с сообщениями о новых экзекуциях — расстрелах заложников. Облачив себя в тогу «верховного судьи», Гитлер ввел новые драконовские репрессии.

Викки говорила, что гонения оккупантов на евреев и коммунистов значительно упрочили позиции Гитлера в реакционной среде. А в народных массах? Чем ожесточенней становились репрессии, тем сильней сплачивался народ, исполненный гневом к варварам. Это естественно: в умах стал зарождаться вопрос: «Не я ли на очереди в список расстрелянных?» Кристиан Зервос сказал, что мнения в народе все же разделились: одни считали, что репрессии гитлеровцев — следствие актов Сопротивления, и поэтому предавали его анафеме. Другие — наоборот, что, мол, именно жестокость оккупантов вызвала законное противодействие, хоть, правда, и приходится за него расплачиваться. Но рассуждения, что было в начале: курица или яйцо, не меняли положение. Оккупанты брали заложников и расстреливали их десятками и сотнями.

На фронтах военное положение не было блестящим, хоть зима 1941–1942 гг. и приостановила активность. В конце года Германия и Италия объявили войну Соединенным Штатам. Сингапур и Ява были захвачены японцами. Роммель продолжал наступление в Триполи и угрожал Египту. Второго фронта в Европе по-прежнему не было. Но была и обнадеживающая новость:

на референдуме Канада вынесла решение об отправке контингента войск за пределы доминиона. Значит, антигитлеровский блок пополнится новыми резервами! Ну а самым для нас главным было то, что Гитлера отбросили от Москвы и что его похвальба справлять Новый год в гостинице «Астория» в Ленинграде провалилась с треском...

Поезд останавливался часто. Одни пассажиры сходили, другие заходили. Сменялись и попутчики старушки. Лишь она одна осталась в том отделении, где лежал сверток, и была единственной свидетельницей, знавшей, кому он принадлежит.

Уже около полуночи. Затих гомон в вагоне. Стало клонить ко сну и нас. С Мишелем договорились подремать поочередно: нельзя упускать из виду наш груз. Первым — я. В одном из отделений, чуть потеснив пассажиров, я примостился на краешке скамьи, у самого коридора. Спать сидя мы привыкли. Я почти тут же погрузился в приятную дрему...

— ...Знаешь, Жак, я бы никогда не подумал, что русские...— будто издали, сквозь перестук колес, донесся до меня обрывок фразы. Попутчики, решив, видимо, что я крепко уснул, продолжили прерванный моим появлением разговор. И этот полушепот, слово «русские», насторожили меня и отогнали сон.

— Болван!.. Не Жак, а Реймон. Сколько раз нужно повторять!? Для бошей я Реймон! — послышался ответный встревоженный шепот.

— Извини... Но мы же среди своих: ты же слышишь, как этот парень посапывает?.. Так вот, я бы никогда не подумал, что Советы договорятся с Гитлером. Оказалось, что пакт был лишь желанием выиграть время. Он и действительно был противоестественным...

— Сейчас легко это говорить. А тогда?.. «Выиграть время, выиграть время»... А руки Гитлеру развязали! И сколько это крови стоило? А урон престижа? Так или иначе, раз русские несут сейчас основное бремя войны, то и нам бездействовать нечего. Впрочем, у нас не ждали этого 22 июня, чтобы начать войну с агрессором. Были, правда, дураки, хотели с ними якшаться: вздумали обратиться к оккупантам за разрешением издавать «Юманите»!.. Помнишь, мы читали обращение от 10 июля: «Никогда

такой великий народ, как наш, не станет рабом!» Его подписали Торез и Дюкло...

— Тс-с-с, тише ты! — зашептал третий, сидевший рядом. Я почувствовал, что он подозрительно покосился в мою сторону, и тут же постарался, чтобы мое дыхание было по-прежнему ровным.

Голос продолжил:

— Пара идиотов! Вы боитесь произнести ваши имена, а сами произносите известные всему миру, за которые запросто можно угодить в каталажку... А 26 августа, помнишь, было написано: «За единение французской нации против гитлеровской агрессии!»? Мы не должны повторять ошибок прошлого, когда в одну кучу смешивали фашистов и буржуазную демократию. И все-таки на Даладье, Блюма и Рейно была возложена решающая и ответственнейшая роль. А они? Проложили Гитлеру дорогу в Европу, к нам. Будто не знали, что дорога на Украину пройдет через Париж... Они оказались командирами крепости, к которой подступал враг. Но как поступили: отдали ему без боя редуты, а ее защитников посадили за решетку...

— Да, теперь мы платим за все... А тут еще «старый петэн» (он произнес это так, что послышалось «старый перд...»), да и Лаваль... Нет, давно пора начать драку, чтобы смыть и этот позор!

— Вам легко трепаться! — вклинился в разговор голос молчавшего до сих пор пассажира у окна, — а каково мне? У меня ушел сын. Куда, не знаю, но догадываюсь. Теперь того и жди, нагрянет полиция. Или гестапо... Тогда прости-прощай! И меня, и дочь, всю семью — всем будет крышка... Когда же откроют этот второй фронт? О-о-ох, дела наши, Господи!..

Во вздохе послышались нотки неимоверной тоски, безысходности, одновременно надежды: вдруг услышит внятный, определенный и успокаивающий ответ. Нет, такого ответа дать никто не мог. И я понял, почему так трудно начинать борьбу: страх, оправданный страх за судьбу семьи.

— Ходят слухи, что советский посол в Лондоне... как бишь его?.. Бо-го-мо-лёф? (произнес он по слогам трудную для него фамилию). Да, верно: Богомолёф. Так вот, будто он встречался с Де Голлем, предложил союз со «Свободной Францией»...

— Твои сведения устарели: в декабре прошлого года «Свободная Франция» переименована в «Национальный Французский Комитет». Советский Союз признал Де Голля руководителем эмигрантского правительства. У нас с Россией одна цель: изгнать из наших стран оккупантов. Да и генерал раздражен поведением англичан и американцев. Как те, так и другие не блещут бескорыстием. Вот только идейные разногласия слишком сильны...

— При чем тут разногласия? Впрочем... взять хотя бы того же Черчилля. Он признался, что уже двадцать пять лет является самым последовательным противником коммунизма...

— Но тут же добавил, что, несмотря на это, опасность, которая нависла над Россией, угрожает, мол, и Англии и США. И что, мол, дело русского, защищающего свой дом, — дело каждого народа...

— Конечно. Мы сейчас с русскими в одном окопе, и у каждого из нас свой сектор обстрела...

— И все же, как насчет Второго фронта? — не унимался тот, у окна.

— Политика Черчилля одна: ждать, пока боши и русские взаимно себя не обескровят. А тогда можно будет «чужими руками каштаны из костра выгребать».

— Знать бы хоть, где тайные склады с оружием, о которых так трезвонят из Лондона!..

Собеседники умолкли. Да, если бы знать! А среди их охраняющих наверняка найдутся порядочные люди. Насколько бы эффективней стала борьба! А то, подумаешь, — пара каких-то автоматов: риск огромный, а толку? — капля в море!

Переждав для верности еще немного, я сделал вид, что просыпаюсь. Потягиваясь и зевая вышел в коридор. Нашел Мишеля. Вкратце передал услышанное.

— Ты не шутишь? — удивился он и с подозрением посмотрел на меня. — Надеюсь, хватило ума не встревать в болтовню?

— За кого ты меня принимаешь?

— То-то и оно. Мы не имеем права рисковать. Думаю, убедился, какие бывают олухи? А еще «Реймон» называется! — и Мишель, недовольно покачав головой, пошел вздремнуть.

Светало. Новые пассажиры спать не укладывались, и их тихие разговоры, сливаясь с гомоном просыпавшихся, нарушили царившую ночную тишину. На одной из очередных остановок, у поселка Талан, в вагоне засуетились более обычного, и он заметно опустел. Не на следующей ли ожидается проверка? И я поспешил к своему другу.

— Какая сейчас станция? — обратился встрепенувшийся Мишель к соседу.

— Дижон.

Заскрипели тормоза. Мишель бросился к окну, но тут же отпрянул. Выглянул и я: по все медленней проплывающему перрону парами стояли фельджандармы. Каски, традиционные плакетки на цепях на груди[30], автоматы. Я прихватил чемоданчик, и мы вышли в коридор. В некоторых отделениях, как и в том со старушкой, окна были опущены, оттуда веет приятной прохладой. Наша старенькая попутчица, как и ее спутники, не спешит. Но многие повысыпали в коридор и нетерпеливо жмутся к выходу. Поезд остановился. Хлопнула дверь, и, потеснив назад толпу, в проеме тамбура показалось два стража «Нового порядка».

— Ваши документы! Что у вас тут? — стандартно началась проверка, осмотр багажа. В такие моменты мне всегда кажется, что ищут именно меня.

Фельджандармы все ближе и ближе подходят к «нашему» отделению. Туда же, подталкиваемые сзади пассажирами им навстречу, приближаемся и мы. Один из фрицев, решив почему-то, что мы собираемся прошмыгнуть мимо, перегораживает путь:

— Хальт! Папире!

— Я — вольнонаемный рабочий, — по-немецки представляется Мишель и с самым заискивающим видом протягивает свой «Фремденпасс».

Услышав родную речь, фельджандарм явно удивлен. С интересом вглядывается в моего друга, затем в корочки его документа.

— Ах зо... Ист гут, ист гут! — явно теплеет его настороженный взгляд.

— А это мой друг, — указывает на меня Мишель. И я, протянув мой документ, в свою очередь начинаю изощряться в знании немецкого и в комплиментах.

— Мне так понравилось у вас в Германии! — поддерживает меня Мишель, — какая удивительная чистота! Какой непревзойденный порядок! Один ваш Берлин чего стоит! Опять поеду туда. Вот с этим другом. Заберем его вещи и... да здравствует Германия!

Все это происходит у отделения со старушкой. Чувствую: и ее спутники, и те, что сзади нас, бросают в нашу сторону недоброжелательные взгляды. Это, признаюсь, коробит, и мы умеряем свой пыл. Кажется, фельджандарм «созрел» и готов нас пропустить. «Не рискнуть ли?» — и я начинаю подаваться поближе к заветному свертку. Еще мгновение, и он бы был в моих руках. В этот момент перед нашими глазами предстает второй страж, закончивший осмотр предыдущего отделения. Бросив на нас придирчивый взгляд, он указал на чемоданчик:

— Вас ист дринн? (Что внутри?)

Лишь после осмотра мы услышали долгожданное:

— Можете проходить!

На секунду приостанавливаюсь. Безусловно, взять сверток и пронести его мимо такого ретивого жандарма не удастся! С сожалением смотрю в его сторону, затем невольно опускаю глаза вниз: старушка недоуменно уставилась в меня! Тороплюсь опередить ее возможное напоминание, выражаю свою безысходность, слегка развожу руками, пожимаю плечами и, как-то само получилось, подмигиваю. Успеваю заметить, что, собравшаяся что-то сказать, она сдерживается и демонстративно отворачивается к открытому окну.

До сих пор перед глазами то, что произошло несколькими минутами позже.

Возможно, наша умудренная жизненным опытом попутчица, единственная, кто знал, кому принадлежит сверток, о чем-то догадалась. Война, тяжелые времена, надменность, лицемерие и жестокость «завоевателей», к которым кроме «бошей», добавилось много не менее брезгливых и обидных кличек, как «гренуй» — лягушки, «фризе» — стриженные и др. менее литературные, — все это приучило быть выдержанней, наблюдательней и осторожней. Во всяком случае, не столь скоропалительными в вынесении суждений, как раньше. Дали себя знать и чисто галльские тонкость души, находчивость и сообразительность.

Видимо, старушка поняла, что неспроста избегали мы заходить в ее отделение за всю долгую ночь. А чем объяснить наше странное и не совсем искреннее заигрывание перед бошами? Старушка явно догадалась, что в свертке что-то, о чем не должны знать проверяющие. А раз так, то надо помочь ребятам!

Так или иначе, но как только на перроне поравнялись с «нашим» окном, где, как видели, все еще копошились жандармы, мы неожиданно были окрикнуты:

— Эй, молодые люди! А ваш сверток? Вы же его забыли, держите! — и старушечьи руки протянули нам из окна этот явно тяжелый для них груз.

Не знаю, как Мишель, но я покрылся противной испариной: на перроне находилось много закончивших проверку фрицев.

Вслед за старушкой в окне показалась и голова одного из жандармов. Он было сделал жест, словно стараясь ее остановить. Но сверток был уже в руках Мишеля. А благородная женщина затараторила что-то о нынешних юношах-растеряхах, призывая в свидетели оторопевшего гитлеровца.

Поблагодарив ее и помахав одураченному стражу, степенно и не спеша мы стали удаляться. Как трудно было остановить ноги, порывавшиеся помчать нас во всю прыть! Казалось, что мы ползем со скоростью неповоротливой старой черепахи. Но вскоре ворота вокзала поглотили нас. Уф, пронесло!

В душе я ругал руководство: ведь должно было учесть, что именно в эти дни, на Первое мая, оккупанты будут сверхпридирчивы, или не должно?! И лишь по воле случая, благодаря мудрости незнакомки, все сошло благополучно.

— Итак, — отметил Мишель, когда мы садились в следующий поезд-омнибус, — итак, мы везем двойной первомайский подарок: от парижских франтирёров и от этой замечательной старушки. Да хранит ее Бог на вечные времена и многая ей лета!

* * *

Люди во Франш-Конте прибывали со всех сторон. Горная, лесистая местность, оазисы малых и больших лугов и пастбищ, обилие источников с прекрасной водой, отдаленные фермы, к которым вели лишь узенькие тропки, — все это способствовало предоставлению убежища тем, кто в нем нуждался. Были здесь

беглецы из плена, концлагерей — интербригадовцы; было много и французских юношей из разных уголков Северной зоны, пожелавших быть подальше от оккупантов. Здесь стали образовываться первые отряды макизар — французских партизан. Подпольщики и сочувствующие из местного населения прятали беглецов, кормили, по цепочкам переправляли на отдаленные фермы, всегда нуждавшиеся в сезонной рабочей силе, в леса.

Одним из интереснейших людей здесь был Пьер Вильмино. Под натиском гитлеровцев, вместе с отрядом французской армии ему пришлось укрыться в Швейцарии. Вскоре после капитуляции, он вернулся к себе в Клерваль, городок на реке Ду. В его душе болью разливались картины панического бегства и горечь поражения. Нет, раз не удалось противостоять врагу солдатом, необходимо бороться с ним другими путями. Он — француз, любит Родину, но она оказалась под каблуком, под игом захватчиков. Юная душа не могла смириться с таким положением вещей, требовала действий. Но, чтобы сражаться, необходимо оружие. Он запомнил места, куда отступавшие солдаты бросали свое оружие, амуницию. И вот, вместе со своей невестой Ивон он часто отправляется якобы на рыбалку. Ныряет в ледяные воды Ду и со дна выуживает винтовки «Лебель», ящики с патронами, мины, гранаты... Сосед-оружейник помогает приводить оружие в порядок, сушит, ремонтирует, смазывает. В нескольких береговых гротах, а также и в том, где его отец-виноторговец хранит бутылки с вином, Пьер Вильмино маскирует склады с оружием. А оно скоро должно пригодиться: раз уж у тебя висит ружье, то оно рано или поздно выстрелит! Вокруг Пьера концентрируется и разрастается кружок молодых единомышленников, горящих желанием внести вклад в дело борьбы с захватчиком. Созданные им небольшие группы стали разрастаться в роту из двух отрядов. Один — «седантер» — оседлые или «легальные», под его личным командованием. Он в нем стал «лейтенантом Ноэлем». Его бойцы днем работали на заводах и фермах, а ночью проводили боевые операции против оккупантов, саботаж на работающих на них предприятиях.

Второй отряд — «летучие» — действовал по всей территории Франш-Конте и департамента Кот д'Ор. Им стал командовать недавно появившийся здесь и познакомившийся с Вильми-

но «капитан Анри». Сюда нас и отправили в качестве «оффисье д'энстрюксьон» — инструкторов по обучению молодежи обращению с огнестрельным оружием.

Каких только марок и систем здесь не было! И, казалось, не столько стволов, сколько именно их систем. Старинные и современные, кольты, браунинги и «зельбст-ладеры», вальтеры, парабеллумы и дамские револьверы «бульдоги»... Мы показывали, как их разбирать и собирать, их устройство, учили целиться. Да и самим пришлось подчас учиться: всего не знали, и капитан Анри инструктировал нас. Он поистине был знатоком!

Анри, наш командир, наш мозг... Зная некоторые эпизоды из его жизни, я ему удивлялся, им восхищался. Когда он, раздевшись по пояс, умывался, на его жилистом сухощавом теле я увидел страшные рубцы — память об Испании. Был он всего на год старше меня, а уже столько отметин!

Член Союза коммунистической молодежи, он — настоящее его имя Пьер Жорж — в 1937 году помчался защищать Испанскую республику. Ему не было и семнадцати. Целый год его не пускали в бой. Став адъютантом штаба, он передавал приказы на передовую. Однажды он прибыл на место назначения: там все офицеры убиты, а фашисты наседают. Собрав оставшихся в живых солдат, он с криком «Но пасаран!» повел их в атаку, отбил наседавшего врага. Но сам был скошен пулеметной очередью. Прибывшая подмога нашла его истекающим кровью в груде тел. Думали, не выживет. Выжил! На носилках его переправили обратно во Францию. Он уже имел чин лейтенанта и звание инструктора Эскуриала, был награжден медалью «За независимость». Ему было всего девятнадцать.

«Самый юный боец Интербригад» предстал перед друзьями-парижанами в ореоле славы. Вскоре его сажают в тюрьму. Бежит. В годы оккупации, под кличкой «Фредо», он восстанавливает молодежные организации в Лионе. В Марселе он водружает красные флаги над городом: один — на фермах моста, второй — на шпиле церкви. На Корсике перевоплощается в полицейского агента и «производит обыски» с целью найти ротатор. На нем он вскоре печатает свой «Авангард». Именно в этой листовке был призыв от 10 июля 1940 года за подписью М. Тореза и Ж. Дюкло к населению встать на путь борьбы с агрессором.

За голову Пьера — «Фредо» назначена высокая награда, и руководство ФКП (Французской компартии) возвращает его с юга в Париж. Здесь, на станции метро Барбэ-Рошешуар, среди бела дня, раздался его выстрел, всколыхнувший всю Францию: 21 августа 1941 года он застрелил немецкого офицера, положив тем самым начало вооруженной борьбы французского народа против оккупантов. Гестапо, агенты полиции с ног сбились в его поисках. И он нарывается на засаду, но, ловкий удар головой в живот опешившего агента, и он благополучно скрывается.

Руководство переправляет его во Франш-Конте, где мы и встретились. Естественно, большую часть эпизодов из его героической жизни мы в то время еще не знали. Пожалуй, и не оправдывали бы.

Однажды Анри вручил нам «Учебник легионера», Мишель возмутился:

— Зачем нам такая пакость?

— А вы все-таки ознакомьтесь! — строго ответил Анри, — там есть много полезного...

Кроме того, когда борешься с врагом, не вредно изучить его заранее! — и дружески похлопал Мишеля по плечу.

Как оказалось, под таким названием, даже с указанием адреса ЛВФ, было замаскировано руководство военного штаба франтирёров[31].

Анри организовал настоящую школу. Мы посещали отдельные фермы, обучали молодежь обращению с оружием, тактике нападения, обороны и ретировки, методам диверсий на железнодорожном полотне. Многое из этого черпалось из умного «руководства». Были и неудачи: никто и понятия не имел об «обратной связи» на рельсах. Таким образом, при первой попытке, разводя рельсы, отсоединили соединявший стыки кабель: никто не знал его назначения. Первый эшелон был удачно пущен под откос близ туннеля «Ля Претрьер», что между Монбельяром и Клервалем. Успех окрылил: даже без взрывчатки можно нанести значительный урон! Узнавая о месторасположении складов с продуктами, в основном с маслом и сыром, производимых в этой местности и предназначенных к вывозу в Германию, складов с горючим, франтирёры поджигали их с помощью бутылок, прозванных «коктейлем Молотова». Было освобождено и несколь-

ко арестованных заложников. Успех таких акций, хоть и малозначительных, окрылял, сплачивал, вселял увереность и желание новых диверсий. Население все чаще обращалось к франтирёрам за помощью и содействием, с просьбой защитить от зверств, бесконечных поборов, реквизиций. Операции по уничтожению доносчиков, предателей-коллаборантов, освобождению арестованных поднимали авторитет партизан, увеличивали и укрепляли их ряды и связь с населением. А связь эта была обязательным условием успешной деятельности и самого существования групп.

Конечно, нас послали сюда не просто обучать молодежь. Была более важная задача: изучить азбуку Морзе. И основное наше пребывание было во Вьё-Шармоне, где мы и брали уроки работы на ключе у одного железнодорожного телеграфиста. Занятие это настолько нудное, что Мишель долго отлынивал от него — до короткого и резкого разговора с Анри, после чего и приступил к занятиям. Пригодились и мои знания, полученные у русских скаутов — юных разведчиков. Я отлично знал азбуку кириллицей, переучиваться на латинский шрифт особого труда не составило. Тем более что основная масса букв идентична. Я показал способ мнемотехники для более быстрого запоминания знаков: каждой букве-знаку было нами найдено слово, начинающееся с этой буквы и с количеством слогов, равных количеству знаков. Слог с гласной «а» — точка, с другими гласными — тире. Например, букве «v» соответствовало слово «Valantany» первый, второй и третий слога с гласной «а» — значит «точки», слог с другими гласными — «тире». Валантани: Ва-лан-та-ни, то есть точка, точка, точка, тире. А «v» и есть « · · · — » (три точки, тире).

Давалась учеба нелегко, нудная зубрежка и отрабатывание техники работы на ключе-манипуляторе надоедали. Я и сам был против, спросил Мишеля, зачем нам эта муть? Надеялся, он меня поддержит, но услышал:

— Приказы не обсуждают, их выполняют! — бросил он зло. Вот-те и Мишель!

Вскоре раскрылся и «секрет» задания: спустившийся под новый 1942 год на парашюте полномочный представитель генерала Де Голля во Франции Жан Мулен, под фамилией Жозеф-

Жан Мерсье, а для подполья «Рекс» или «Макс», начал объединение всех стихийно образовавшихся в стране организаций Сопротивления. Само Сопротивление разделили на ветви: «рансеньеман» — связи и сбора информации; «аттеррисаж» — прием самолетов и транспортировка отдельных лиц; «парашютаж» — прием сбрасываемых грузов и агентов и «рамассаж» — вербовка авиаспециалистов, механиков, поиски и переправка летчиков со сбитых самолетов союзников... Службы эти между собой не были связаны, но должны были подчиняться единому Центру. Каждая из них должна была иметь своих «пианистов», то есть радистов. Пеленгаторная служба гитлеровцев местами была развита хорошо — радисты часто гибли.

Коммунистам, имеющим сильную боевую организацию «ФТП», или ФТПФ (фран-тирер-партизан франсэ), необходимо было оружие, взрывчатка. Отказать им в помощи представители Де Голля не могли, рискуя лишиться подобной поддержки. Поэтому голлисты решили выделить их в обособленную организацию: с собственными базами, средствами связи, подчиняющимися непосредственно Центру — Лондону. Для этого им придавались офицеры связи. При условии: мы вам — оружие, взрывчатку, вы нам — разведданные. О радистах же ФКП должна позаботиться сама. Поэтому многим, нам в том числе, вменили в обязанность изучать работу на ключе и саму азбуку. Условие, на каком заключено было подобное соглашение, говорило о том, что генерал Де Голль признал-таки немаловажную роль компартии в деле активного Сопротивления: во Франции народ стал воевать, не нося военной формы, и согласен был примкнуть к любому, кто активно борется. «Свободная Франция», где до сих пор были лишь голлисты, отныне переименована во «Франс комбаттант» (Францию сражающуюся). Надо отметить, что в ФТПФ, естественно, в массе своей были все, кто хотел драться с врагом, не только коммунисты.

И все-таки, несмотря на усилия «Макса», до окончательного объединения организаций и групп Сопротивления в одну управляемую Центром структуру было, ой, как далеко. Амбиции, амбиции...

* * *

По два-три человека с разных ферм стягивались молодые люди на полянку в лесу. Это — репетиция для последующих вылазок на боевые задания. Вижу и глазам своим не верю: приближаются Михайло Иованович с Николой Калабушкиным! А еще через час появляются и другие мои друзья: круглолицый и розовощекий Добричко — «Добри» Радосавлевич (ну и отъелся же!) и Средое Шиячич, как всегда улыбчивый и жизнерадостный. Сколько радости доставила мне эта встреча! Так вот, о ком намекал Кристиан Зервос, когда говорил, что, мол, из нашего лагеря в Сааргемюнде вырвались и другие! Бежали они, как и мы, втроем, вскоре после нас. По тому же испытанному методу, со средствами от собак. Но на границе под пулю угодил Джока Цвиич. Не повезло парню! Добраться сюда помог «Щепанек» Ковальский из Варанжевиля. Он к тому времени уже наладил цепочку по переправке беглецов.

Я сразу представил их Мишелю.

— Мы бежали с помощью тех же мальцов из Ремельфингена, — говорил Добри, — они передавали вам привет... Будто знали, что мы свидимся...

Конечно, если находиться по одну сторону баррикады, то такие встречи не в редкость!

Михайло и Николай работают на ферме близ города Грей. Средое и Добри — на другой, поближе. Им и в голову не приходило, что находились так близко друг от друга! И теперь восторгу от встречи не было предела.

...Горит, потрескивая, костер. Одна за другой зажигаются над нашими головами звезды. Ночная тишина навевает спокойствие. Мне вспоминается далекое прошлое... Украина, ее сосновые боры, деревня Покотиловка у речушки Лопани, близ Харькова. Там я отдыхал с дядей Валей. В Лопани, с ее коварными ямами и водоворотами, даже умудрился тонуть — в последний момент спас дядя. Не даром был он знаменитым спортсменом! Ночная рыбалка, грибы, совершенно такой же костер... Вспомнился и Кошутняк под Белградом, полянка за Авалой, скауты, игры, интермедии... «Король Лир», «жертвенные танцы» вокруг костра из «шалаша и колодца», «Журавель...», «Будь готов», «Коль славен»... Эх, где ты, далекое безмятежное прошлое, романтическое детство?..

Причудливо извивающиеся языки пламени выхватывают из тьмы силуэты и лица моих товарищей. Нас, людей разных национальностей, собрала здесь не романтика — объединила нас война. И мне кажется, что в неповторимой лесной тиши каждый из нас на мгновение, на сладкое мгновение окунается в воспоминания о дорогом прошлом, о родных, о Родине. Для одних она далека и недосягаема. Для других — вот она, рядом — они на ее земле...

Самый юный из нас — Жан-Марк. Родом из Дижона. Ему всего шестнадцать. Жестоко обошлась с ним судьба! Нацисты расстреляли родителей, затем он стал свидетелем гибели старшего брата при поджоге склада с горючим.

Самому старшему — испанцу Хосе-Мариа — под тридцать. И у него жизнь была суровой. Боец республиканской армии, он до последнего дня сражался против Франко и фашизма. Надеялся найти убежище во Франции, но здесь его сразу же заточили в концлагерь. В начале оккупации ему удалось бежать из лагеря в Гюрсе. И вот он среди нас.

Капитану Анри всего двадцать три, но какой командир!

Рядом со мной примостились мои друзья и, естественно, Мишель...

— Тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой.... — высоким тенором запевает Толик Жуковский. Недавно он бежал из лагеря советских военнопленных. Заболев в плену чахоткой, тощий, изможденный вечным голодом и непосильным трудом, еле дотащился он до этих мест... Если бы не помощь его попутчика-крепыша с Полтавщины — Алеши Метренко, погиб бы в дороге. В эту местность обоим помогла добраться молодая жена Анри — Арлетт. Поет Толик медленно, с расстановкой. Все замерли, понимают: трудно ему! Песня берет за душу. Кажется, и сам костер стал потрескивать как бы застенчиво, не так шумно и весело, будто боясь помешать певцу. Родной Толька! Как страшно ложатся тени в твоих ввалившихся глазницах!..

— ...Далека ты, путь-дорога... — подпевает своему другу Алеша. Да, далека! Ой, как далека!.. Увижу ли тебя, Родина? Наслушаюсь ли всласть наших прекрасных песен? Ведь Толик и Алеша — первые мои соотечественники за эти долгие бурные годы. Мой язык, моя русская песня! Всё это — впервые за столько

лет!.. Смотрю на измученного Толю и думаю: такая сейчас и она, моя Родина. Обливается она горючими слезами, купается в крови, покрыта пожарищами и взывает о помощи. Слышу тебя! Слышу твои стенания, твои мольбы!.. Не может быть, чтобы мы простились с тобой навеки!.. Нет, не может того быть!..

Закончена песня, но долго стоит мертвая тишина. Внезапно она взрывается бурей аплодисментов, возгласами «Браво!». На лицах — воодушевление: прекрасный голос, душевный лирический мотив! Слова песни непонятны, но мотив... он всех задел за живое!

Ребята запели снова. То была другая песня:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!..

Я услышал ее впервые. Как здорово, мощно, призывно звучит она! Я тут же перевел ее слова.

— Народ с такой песней непобедим! — как всегда, кратко, но весомо, изрек капитан Анри, подняв руку со сжатыми в кулак пальцами. В глубине души я исполнился гордостью. Лишь в глубине: здесь все, кроме Мишеля, считали меня югославом Поповичем. Многие так и звали: «Юго»... «Монтенегро»...

Еще и еще песни. Поет Хосе-Мариа. Это — «Кукарача». Она известна многим, подпевают. И чудится нам топот коней, развевающиеся в беге гривы, всадники в широкополых сомбреро со страшными ножами-навахами. Неудержима победоносная поступь героев-повстанцев Панчо-Вильи!

— Венсеремос!.. Венсеремос!.. — и мы все встаем в круг, беремся за руки. Да, мы победим. Обязательно! Пусть это будет не завтра, не через месяц... Даже, может, не через год... Все равно победим! Место одного павшего займут десятки новых бойцов. Неважно, что мы — разные. Когда враг общий, то с ним дерутся сообща.

Конечно, и мы, югославы — питомцы Белградской военной академии на Банице — мы ведь тоже должны выступить, или как? Одной из наших песенок была шуточная черногорская:

Oj, ђевојко-jаребице, ђе си била? — На граници.
На граници стража стоjи и сумњива лица броjи.
Краљу Петре, српско дете, чуваjу те баjонети!..

Од Цетиња до Босфора пружа нам се Црна Гора.
Од Загреба до Берлина — Хрватска је домовина...

(Ой, девушка-голубица, где ты была? — На границе.
На границе стража стоит, подозрительных считает.
Король Петр, сербское дитя, штыки охраняют тебя.
От Цетинья до Босфора — Черногория.
От Загреба и до Берлина — Хорватия!)

Мы — безвестные солдаты. Даже ближайшие товарищи не знают наших настоящих имен и фамилий. В них ли дело? Мы боремся, жизнь наша сурова. Никто не знает, что ждет нас завтра. Многие уже погибли. Может случиться — погибнем и мы. И вряд ли кто-нибудь сообщит об этом нашим матерям, близким. Останемся мы «без вести пропавшими». Нет!.. Долой слабость! Не зря наш девиз: «Лучше погибнуть стоя, чем пресмыкаться на коленях!»

* * *

Наш «пикник», как можно было бы назвать подобные сборы, закончен. Спустя некоторое время мы с Мишелем тронулись в путь: в Шатенуа, близ Доля, надо было сдать взятые там напрокат велосипеды и поездом отправиться к Монбельяру. Перед домом хозяина мы увидели идущего нам навстречу аббата. Аббат как аббат: черная сутана со стоячим воротником, требник в руке.

— Зиг и Пюс! — неожиданно услыхали мы и вздрогнули: эти наши клички мог здесь знать лишь один человек! «Аббат» и оказался капитаном Анри! Почему он здесь, а не в Безансоне?

— Поторапливайтесь! Вас отзывают в Париж. Связная ждет на вокзале. До отхода поезда три часа...

...Поезд тронулся. Анри поднял руку, и, будто поправляя свою черную шляпу, слегка помахал ею...

— Ты знаешь, что у него за требник? — хитро спросил меня Мишель, — в нем, в специально вырезанной полости, он носит свой браунинг!..

Глава 9. В АВТОШКОЛЕ

В Париже, у площади Согласия, близ моста через Сену имени Александра III, нас ждала Викки:

— Не собираетесь ли вы снова навестить «Великую Германию»? Мне кажется, что по вам там уже скучают... — вместо предисловия шутливо спросила она и, заметив перемену на наших физиономиях, тут же добавила: — Уверена, что оккупанты вас ищут здесь, а не у себя...

Германия, опять она, будь она не ладна! После всего, что было там, во Франш-Конте? Ужасно! Но Викки уже протягивала обоим направления в бюро набора на Кэ д'Орсей, а Мишелю — новую «карт д'идантитэ». К его фамилии приставили букву «е», и он теперь именовался «Зернин», русский по происхождению. Я с ехидной улыбкой стал разглядывать кислую мину новоиспеченного «сына русского эмигранта». Кое-чему я его успел обучить. Был он способным, любознательным и прилежным учеником, быстро усвоил за время нашего знакомства простейшие русские фразы. Но произношение! Бог ты мой, какое варварское произношение! Ничего, на первый случай сойдет: многие здешние русские юноши, особенно дети малограмотных казаков, очень плохо владели языком родителей, каждое третье-четвертое слово было у них французским. Я открыл одну закономерность: в изучении иностранного языка, как и в сохранении своего собственного, незаменимо знание песен, скороговорок, басен... Мишелю нравились русские песни, и он многие исполнял довольно удовлетворительно. Теперь-то я с полным правом смогу отомстить этому «русскому» за его начавшие мне надоедать подтрунивания над моим французским. Особенно над «л'оркестр», словом с картавым «р»: не получалось у меня картавить по-французски, хоть убей! А тут еще целых два этих треклятых «р»! Может, у меня глотка, язык или что другое — откуда я знаю? — не так устроены! Вначале я здорово злился над его замечаниями, да за то, что он чуть ли не помирал со смеху... Потом вспомнил, что русские не могли произнести украинскую «паляныцю», и стал успокаиваться...

Итак, нам надлежало стать шоферами.

— Шоферами?!

— Да, немецкими шоферами. Идет набор в Берлинскую автошколу, и мы подумали о вас. Ведь Александр имеет некий опыт. Оба вы превосходно знаете Берлин... Вот вам рекомендации. По указанному адресу предъявите их господину (Викки назвала фамилию служащего), только ему. Мы еще не знаем, как все это будет выглядеть. Важно другое: шоферы будут работать здесь, во Франции. Строгий вам наказ: в Берлине ни в коем случае не возобновлять старых связей и знакомств! Это более чем опасно! Я тоже порываю с вами. Но дружба наша продолжается: мы ведь делаем одно дело. Сейчас вы познакомитесь с вашим новым непосредственным руководителем. Итак, прощайте! И да хранит вас Бог!..

Викки вынула из сумочки платочек (видимо, условный знак), приложила его на секунду к щеке и стала удаляться. Не успел еще развеяться чудесный тонкий аромат парижских духов, как к нам подошел высокий, стройный мужчина в ладно скроенном спортивном костюме, богатырь с густой черной бородой «а ля Анри IV», в темных очках в толстой роговой оправе. Весь его вид заставил вспомнить шуточную французскую песенку:

Quand on conspire sans frayeur
On peut se dire «conspirateur»,
Pour tout le monde il faut avoir
Perruque blonde et collet noir!

(Конспирируя, ты знай
И обычай сохраняй:
Белый надевай парик,
Носи черный воротник!)

— Анри Менье! — представился он. Внимательно нас разглядывая, краткими фразами он разъяснил, что именно нам в первую очередь надлежит делать. Предупредил, что видеться мы будем редко, лишь по мере надобности. Но всегда должен знать, где нас искать. Последнюю, более подробную инструкцию он даст Мишелю, — «старшему группы», — сообщит, как держать с ним связь. На весь этот ознакомительный разговор ушло не более трех-четырех минут. Встреча эта оказалась обоюдным знакомством.

Утром следующего дня мы побывали на рю Гальера, в какой-то маленькой конторе и предъявили данные нам рекоменда-

ции, где указывалось, что мы — «достойны доверия» (подписаны они были незнакомыми нам фамилиями). И мы получили направление в бюро по трудоустройству на Кэ д'Орсей.

Мы прошли медконтроль, подписали несколько разноцветных больших и малых формуляров-анкет, сфотографировались. До отправки в Германию осталось два дня.

* * *

Полные раздумий о нашем неясном будущем, мы прогуливались по бульвару Менильмонтан. На той его стороне — знаменитое кладбище «Пер Лашез» со своей Стеной Коммунаров, той, у которой некогда расстреливали бойцов Парижской Коммуны. Нас потянуло к ней. Почему-то перед чем-то неизвестным и тревожным всегда тянет в священную тишину — на кладбище. Вот и она, эта стена Плача, Почета, Памяти. Именно такой была она для меня. Сейчас она — табу! Но и строжайший запрет оккупационных властей не смог воспрепятствовать, чтобы у ее подножия нет-нет да и не появлялись робкие малюсенькие букетики. Мы увидели их, эти бесценные дары людской признательности и памяти. Гвоздики и розы, все — красные, цвета крови, цвета сердца! И никого поблизости, пустынно! А ведь некоторые из букетиков совершенно свежие, положены, видимо, только что. Правда, когда мы сюда подходили, встретившаяся молодая парочка обратилась к нам с каким-то довольно мудреным вопросом, на который Мишелю пришлось долго отвечать. Не за это ли время успели отсюда уйти те, кто пожелал, чтобы их благоговению не было свидетелей?

Пройдя чуть дальше мы увидели и другое: ряды свежих продолговатых холмиков. Могилы! Они были без крестов — их заменяли короткие колышки с прибитыми к ним дощечками с номерами. На некоторых, рядом с номером, карандашом были торопливой рукой нацарапаны имя, фамилия, даты рождения и казни. Мы поняли: здесь похоронены казненные оккупантами. По всей вероятности, хоронили ночью, во время комендантского часа. И все же не удалось расстрелянных предать вечному забвению: неведомыми путями родственникам или друзьям-соратникам удавалось узнать, под каким номером и где лежит тот, кто отдал свою жизнь за самое дорогое на свете — за свободу и честь Родины.

Говорили, что время от времени власти производили «уборку» у безымянных могил, стирались надписи, убирались цветы. Но все это вновь, с завидной настойчивостью, появлялось на прежних местах. Видимо, хорошие дела неотделимы от людской памяти. И стало немножко стыдно за себя: бывало, во мне копошилась мрачная мысль, что, мол, в случае чего, никто не узнает, что был такой человечек, и не помянет добрым словом... Не тщеславие ли это? Ведь мной до сих пор ничего не сделано, во всяком случае, ничего стоящего: пребывание во Франш-Конте оказалось всего лишь отдыхом, никаких «подвигов», о которых так мечталось...

— Да-а, Сасси, люди помнят и не забывают. И совершенно неважно, если не останется конкретных имен — в них ли соль? Наши имена, как ты любишь повторять, — «брызги жизни». Правы римляне, утверждавшие, что «Nomina sunt odiosa», что не его имя, а сам человек, его дело, во имя которого он жил, — вот, что единственно ценное. И если оно, это дело, останется жить и после тебя, то с ним продолжишь жить и ты. Значит, ты жил правильно, не зря. А все остальное — «суета сует и всяческая суета»!

После некоторой паузы, словно отвечая на какую-то свою только-что возникшую мысль, Мишель добавил:

— Даже если тебе и не удастся самому дойти до намеченной цели, но ты уверен, что шел к ней правильно и что она будет достигнута твоими последователями, — разве не в этом смысл и радость жизни?

— «Самое дорогое у человека это — жизнь!» — вставил я слова автора из присланной мне бабушкой книжки «Как закалялась сталь».

— Жизнь?! — недоуменно вскинул брови Мишель и с какой-то необъяснимой внезапной злостью окинул меня с ног до головы, — ты говоришь, самое дорогое — жизнь? Это что: по-твоему, за нее надо цепляться, стараться ее сохранить во что бы то ни стало? Избегать риска? Это же — бояться за свою шкуру! Не для таких ли, кто так мыслит, открыт путь для любого предательства? И что же тогда по-твоему: кто здесь лежит? Дураки? Те, кто по-глупому рискнул жизнью, кто отказался спасти ее и не выдал поэтому других?..

Я не узнавал Мишеля: он так разошелся, вскипев от негодования, что еле сдерживал себя:

— Нет уж, мон шер, уволь! (словами «мон шер» он обращался ко мне лишь в минуты крайнего неудовольствия). Нет, мон шер, ты тут что-то не того.

Он стал заикаться, не находя слов и выражений, чтобы выплеснуть на меня всю бурю возмущения. И мне долго пришлось разъяснять ему подлинный смысл мысли Н.Островского. Мишель недоверчиво слушал меня, пока я не закончил почти дословного перевода всей сути этого выражения.

— Если так, то — другое дело! — вымолвил он наконец облегченно, — так и надо было сразу сказать... А то выхватил какую-то часть фразы, и этим перевернул все с головы на ноги... Тоже мне — деятель!.. А знаешь ли, что часть одной правды — уже ложь! Часть ее — не что иное, как однобокое выпячивание, тенденциозное искажение всей истины. А может ли истиной быть ее искажение?

* * *

Набор на курсы шоферов в Париже обернулся для оккупантов неудачей: в Берлин согласилось поехать всего семь человек. И торжественных проводов не было. Четверо были таксистами-профессионалами, пожилыми русскими эмигрантами — отсутствие бензина лишило их работы. Был и один молодой русский, хорошо говоривший по-немецки, по фамилии Антонов.

В пустынном лагере в Берлине — Шпандау несколько дней мы ожидали пополнения. Оно прибыло из Польши — юноши из Вильно и Кракова. И нас стало сто пятьдесят. Сразу же нас переодели в особую черную униформу: кители со стоячим воротничком, брюки-галифе, ботинки с обмотками, пилотки-мютце. Выдали и черные шинели. На пилотках — металлические буквы «Sp». В нашей одежде кто-то признал перекрашенную австрийскую униформу, а ботинки — французской армии. Знак на кокарде обозначал начальные буквы фамилии наследовавшего погибшему в авиакатастрофе министру строительства и обороны Тодту нового министра — Шпеера. Видимо, наша моторизованная колонна была его первым детищем. Что ж, «Todt ist tot» (Тодт мертв), как посмеивались его недоброжелатели, да здравствует Шпеер! Образованные Тодтом военизированные инженерно-

строительные части в желтой форме продолжали существовать и дальше, с контингентом исключительно из немцев — инженеров и мастеров.

Взамен наших документов мы получили «Динст-Бухи» — трудовые книжки с фотографией, служившие одновременно и паспортом. Каждому из нас было выдано по походному сундуку, где мы могли хранить нашу гражданскую одежду и личные вещи. В выданном нам нательном белье был большой процент синтетики. «Специалисты» утверждали, что то была стеклоткань. Очень похоже: бельё было очень тяжелым, нисколько не грело, да вдобавок тело от него зудело, будто после ожогов крапивой. Зато легко и быстро стиралось и высыхало, и не нужно было его проглаживать.

Старшими были двое фельдфебелей, освобожденные по ранению от фронта. Начальником колонны был офицер-инженер, тодтовец, личность высокомерная, всем своим видом показывавшая, что мы для него — низшая раса и внимания недостойны. Лицо его было будто каменное, без признаков каких-либо эмоций. Интересно: был ли он таким же в своем семейном кругу? Впрочем, видели мы его сравнительно редко: всю работу с нами выполняли его подчиненные. За первые три недели мы поменяли три местожительства: из Шпандау нас перевели в Ораниенбург, а оттуда — в Целлендорф. Все это время с нами занимались исключительно муштрой (приучали к выполнению военных команд по-немецки), а также и физической тренировкой. По утрам и по вечерам мы должны были по часу бегать по двору гуськом и прыгать по-лягушачьи на корточках. Странный «спорт», но он действительно давал надлежащую разминку. Руководил муштрой и спортом русский, лет сорока пяти, в чине штабс-фельдфебеля, с четырьмя звездочками на погонах. Занимался этим с видимым удовольствием, особенно если невдалеке проходил начальник колонны или его фельдфебели. По его выправке можно было без ошибки догадаться, что он чуть ли не потомственный вояка, был, возможно, поручиком или даже капитаном царской армии: офицеры иностранных армий принимались в немецкую армию с обязательным понижением на один-два чина, а то и больше.

Как-то вечером, когда во дворе никого не было, и, как ему казалось, никто не мог наблюдать, штабс-фельдфебель в одиночку «репетировал» тот маршрут, по которому назавтра собирался прогнать нас. Делал он это своеобразно и непонятно: бежал с вытянутыми вперед руками, осторожно, будто наощупь. И все равно ему не удавалось избежать столкновений со столбами во дворе. Я понял: бедняга был слеповат! Так вот почему он нередко представал перед нами с шишками, ссадинами, а то и с пластырем на лбу! А скрывал это, чтобы не лишиться работы. А мы-то думали... что это — следы ревности жены.

Лишь в Целлендорфе начались теоретические занятия по правилам дорожного движения. Для этого нас разбили на группы по 30 человек, и занимались мы в нескольких классах. С материальной частью нас почти не знакомили: ремонт будут осуществлять механики и слесари — бывшие таксисты. Нам же — «крутить баранку».

С нашими русскими мы не сближались — разница в возрасте. А Антонов стал сразу же «переводчиком» и, следовательно, подскочил на голову выше, став «начальством». Поляки обладали очень бурным характером, между ними часто возникали ссоры и драки с обоюдными увечьями. Здесь и помогли мои медицинские познания: мы с Мишелем оказывали первую помощь, накладывали повязки и скобки. Это было замечено начальством, и мы были признаны официальными санитарами: нам вручены медицинские нарукавные знаки — «змейки», которые мы тут же и нашили на кителя. Нас обоих поместили в отдельную загородку — медпункт, выдали шкаф и походную аптеку-сундук. Знакомый с латынью и правилами выписки рецептов, названиями лекарств, я ходил от аптеки до аптеки и приобретал нужные снадобья, особенно обзаводился спиртом. Разводил его, разливал по мелким флаконам, подкрашивал в различные цвета, наклеивал этикетки с мистическими для непосвященных названиями: тинктура, инфузум, солюцио такая-то... На некоторых флаконах дописывал: «Гифт! Нур фюр ойссере нютцунг!» (Яд! Только для внешнего употребления!). Эти «яды» сблизили нас с обоими фелдфебелями, а также и с некоторыми поляками, «благосклонно» пользовавшимися такими «средствами от зубной и головной боли». На случай, если кто будет проявлять чрезмерное на-

хальство, у меня были флакончики с чистым спиртом, настоенном на лютом (гвианском) перце, от которого захватывало дух, глаза лезли на лоб, а слизистая рта горела пламенем. Роль «пожарника» выполнял заранее приготовленный помидор.

Наш отдельный медпункт служил и местом для тренировок по морзе, которым Мишель стал уделять особое внимание.

Нельзя сказать, чтобы наша жизнь была полностью казарменной: в свободное от занятий время каждый мог ходить, куда ему вздумается, но обязан был присутствовать на утренних и вечерних построениях-перекличках, так называемых «рапортах».

По радио и в газетах сообщались отнюдь не обнадеживающие нас новости: часто гремели фанфары, возвещая то о взятии Севастополя, то о том, что в Северном Ледовитом океане гитлеровцами уничтожен большой английский конвой «PQ-17» со всеми военными материалами для Советского Союза, что пали Луганск и Ростов, что немцы овладели Майкопским нефтяным районом... Германская подлодка потопила в Средиземном море британский авианосец «Игл», неудачей закончилась попытка англичан высадить десант в Дьеппе. В районе Калача гитлеровцы форсируют Дон, их горнострелковые части поднимаются на Эльбрус, а танковые соединения достигают на северных склонах Кавказского хребта города Моздока... Не зря гитлеровцы загодя учредили свое акционерное общество «Кауказус нафта»! Интересно, ищут ли меня его сотрудники, чтобы пополнить свои «кадры»?..

И опять фанфары: 6-я немецкая армия подходит к Сталинграду! «Вохеншау», захлебываясь от восторга, рассказывает и показывает улыбающиеся лица своих солдат, черпающих касками волжскую воду. Да-а-а, они — герои: за год протопали от границ СССР до Сталинграда! Чуть ли не до Урала!.. И от таких побед меркнет неудавшаяся попытка немецко-итальянских войск совершить в Африке прорыв у Эль-Аламейна... Фанфары, фанфары... А что будет, «Венн вир фарен геген Энгеланд» (Если мы двинем на Англию)?.. Обязательно с этого лихого марша-песни начинаются сообщения об успехах на фронтах. Неужто они и в самом деле в Англию наметили?!!

* * *

С первого дня моего приезда в Берлин, несмотря на полученный строжайший запрет «оборвать и не возобновлять прежние связи», все более и более стало обуревать желание навестить «Асканию»: хотелось посмотреть, что там, как там, узнать о Бошко и других друзьях, нет ли сведений о родителях, чем закончилась задуманная Максом диверсия... Заикнулся об этом Мишелю, но получил от него такой разнос, что и сам был не рад. Но желание... желания от этого отнюдь не убавилось — оно разгорелось еще более. Не мой ли характер делать всё назло тому виной? Придется побывать там втайне от друга...

* * *

На практические занятия по вождению нас переселили еще раз в Кёпеник, на юго-восток Берлина. Мы сели за руль десятитонных грузовиков «МАН». Вскоре с инструктором я стал ездить по Берлину, по Унтер-ден-Линден. Несколько раз проезжал через Бранденбургские ворота, даже задел одну колонну бортом, за что получил отменный нагоняй взбешенного инструктора. Близился день экзаменов, получения водительских прав — «фюрершайнов». А затем... затем нас куда-то отправят. Надо торопиться, и я рискнул пойти на нарушение приказа.

В воскресенье я подходил к лагерю в Мариендорфе. Как здесь все изменилось! Я не узнал пустыря, на котором раньше одиноко стояло два барака: сейчас здесь раскинулся огромный лагерь! Перед его воротами я повстречал одного югослава. То, что это именно югослав, я понял сразу же по характерному очертанию его лица и по манере носить одежду. Долго пришлось ему объяснять, что означает моя униформа, что я — не солдат. Наконец мы вошли с ним в лагерь через проходную. В бараке югославов тоже пришлось рассеивать их недоверие. Лишь после этого ко мне подошел скрывавшийся до того от моих глаз старый знакомый Йоца. От него я узнал, что Бошко решил не возвращаться, но передал для меня, что сведения о моих родных были верны. Как-то стало не до дальнейших расспросов... Но тут Йоца показал на соседние, отдельно огороженные забором из колючей проволоки, два барака с малюсеньким двориком между ними. В них содержались 12–15-летние девчонки и мальчишки из Советского Союза — «остовские рабочие». Ну какими могут они быть рабочими? Какая жуткая теснота! Через высо-

кую сетку из колючки на нас с мольбой глядели изможденные грязные мордашки этих оборвышей...

— Настоящий концлагерь!.. Гоняют их на самую грязную и тяжелую работу! — сказал Йоца. — Бьют за малейшее... Помогаем, чем можем, но с опаской...

— Почему с опаской?

— Понимаешь ли, их, бедняг, так терроризируют, что некоторые не выдерживают: надеются доносами на товарищей улучшить свое положение. Доносят и на нас...

«Какая ерунда!» — не поверил я. Но чем помочь ребятам?

— Ребята, может вам чего надо? — спросил я через проволоку, вызвав у Йоцы удивление: он не знал, что я владею русским.

— Хлеба!.. Кусочек карандаша!.. Иголку, ниток!.. А кто вы такой? Эмигрант?.. Откуда знаете русский?.. Мыла!.. Что означает ваша форма?.. посыпались заказы, просьбы, вопросы.

Естественно, при мне ничего не было из того, что они просили. Пообещал привезти в следующее воскресенье, примерно к одиннадцати часам или чуть раньше. На мою не совсем удачную, вернее глупую, просьбу спеть что-нибудь русское или украинское, мне ответили, что нельзя — за это их бьют! Странно!..

У забора стояло всего несколько парней, очевидно, из более храбрых. А весь двор был полон: кто стирал белье, кто его развешивал, а кто просто лежал — загорал и совершенно не интересовался разговором с нами. Скорей всего, чтобы не навлечь на себя непрошенной беды... До чего же они напуганы!..

В назначенный день с утра была гроза с ливнем, и я подъехал к лагерю не к одиннадцати, как обещал, а к трем часам. Только думал свернуть в переулок, где была проходная, как услышал окрик:

— Ацо, стой!.. Нельзя! — остановил меня запыхавшийся Йоца. Поздно: я увидел, что вахтер успел меня заметить и быстро скрылся в своей каморке, чтобы, видимо, куда-то позвонить.

— Как хорошо, что я тебя дождался!.. Только час назад отсюда уехала гестаповская машина... Ждали тебя!

Тут к остановке подъехал автобус, и мы с Йоцей вскочили в него. Югослав наскоро рассказал, что о беседе «человека в немецкой форме» сообщили в гестапо, оттуда приехали, стали из-

бивать ребят и те сообщили о дне и часе обещанного мной на сегодня визита. Ждали, не дождались! Ливень меня спас!

На следующей остановке мы пересели на обратный автобус и заметили, как мимо, вдогонку тому, с которого пересели, пронеслась черная машина. Еще одна пересадка на трамвай, и я в Темпельгофе благополучно спустился в метро. Перед тем сверток с «передачей» для ребят передал Йоце...

— Куда ты запропастился? — накинулся на меня Мишель. — Нас ждут в Ораниенбурге. Прибыла новая партия французов, есть посылка для нас...

В Ораниенбурге, среди нового контингента, было и двое югославов. Пока я с ними разговаривал — землякам всегда есть о чем поговорить, — Мишель вернулся с двумя переданными ему из Франции коробками. Что в них? От кого? Очень уж тяжеленные! На мои вопросы Мишель никакого путного ответа не дал, и я должен был тащить один из грузов до самого Кепеника. А там, на следующий день, пришлось заняться переоборудованием нашей походной аптечки-сундука. Соорудили внутри два быстро и легко съемных этажа. Таким образом, в сундук можно было поместить не только медикаменты, инструменты и перевязочный материал, но и полученное из Франции.

* * *

После встречи с земляками в Мариендорфе и Ораниенбурге напала какая-то апатия. Зачем мне эта школа, эта чуждая для меня униформа? Я почувствовал сябя изгоем, чуть ли не предателем. Этому особенно способствовала встреча с первыми, увиденными мной, остовцами, их расспросы. «Надо»? Мало ли что надо! А для чего?..

Наконец сданы экзамены, получены фюрершайны: в них было указано, что имеем право водить транспорт до 21-го метра длиной, то есть с двумя прицепами. Скоро нас отправят. Куда? И вот нам выдают сухой паек: батон хлеба в целлофане, консервы — на двое суток. Когда я с хлеба снял обертку, на нем оказалась оттиснутой дата — «1934»! Значит, выпечен восемь лет назад, а будто позавчерашний! Умеют, черти, хранить! С приходом Гитлера к власти Германия стала заготавливать запасы на войну. Не зря был выдвинут лозунг «Пушки вместо масла!». И о хлебе не забыли — заготовили впрок!..

Отправили нас не грузы возить, а в Рейнскую область, к Майнцу — к виноградарям, им в помощь! Что это за неразбериха у немцев? Разве для этого нас учили?

* * *

Разместили нас в каком-то строении, похожем на бывший большой склад. Село Костхайм — на правом возвышенном берегу Рейна у устья реки Майн, напротив города Майнца. С местным населением у нас сразу же установились дружеские отношения: мы с охотой помогали виноградарям в уборке урожая, а им наша задорная юношеская активность пришлась по душе. Труд, если он по душе, что может быть приятней и радостней!? Ни виноградарям, ни нам не нужна была никакая война: знай работай себе спокойно, обрабатывай землю, собирай плоды своего труда и благодарности природы — отменный, вкусный, сочный и сладкий урожай — дар солнца! И в нашем совместном труде не было ни врагов, ни чужеземцев: все мы были одинаковыми трудягами. Делить что-либо и из-за этого ссориться — нам было незачем... Казалось, что и сама война нас абсолютно не касается...

По вечерам и выходным мы плескались с наслаждением в теплых чистых водах Майна. Там познакомились и подружились с веселой ватагой местных девушек. Мишель особенно увлекся (может, и, наоборот, она им увлеклась!) жизнерадостной Ирмгард: высокая, стройная и гибкая, как верба, с побронзовевшей на солнце упругой кожей, Ирма, как мы ее звали, была настоящей богиней красоты. Во всяком случае, такой мы ее себе представляли. Ну и везет же Мишелю! И вообще, надо сказать, приветливый рейнский народ оставил самые хорошие воспоминания. Понравился нам и сам Майнц — не чета скучному и угрюмому Берлину! В самом центре его находился комплекс каких-то строений со стеклянными крышами, огороженный каменным забором. Не цеха ли это какого-то завода? Мишель оказался более осведомленным:

— Нет. Это склады военных материалов и инструментов из хром-ванадиевого сплава. Очень дорогой сплав. А дня два тому назад сюда сгрузили около двухсот новых авиадвигателей...

Откуда ему все это известно? Я знал только то, что поблизости, в Рюссельхайме-на-Майне, находится завод «Опель», а

он... Впрочем, старший на то и старший, чтобы знать больше. Однако я заметил, что Мишель не на шутку занервничал. Но... прервемся немного — настало время объяснить, что именно было в тех двух коробках, переданных Мишелю из Франции в Ораниенбурге.

В них было три ящика, каждый размером в большой кирпич. Один — радиопередатчик с манипулятором-ключом, второй — радиоприемник с мотком многожильной медной проволоки-антенны, третий — аккумулятор-батарея. В Париже, получив наше сообщение, что на границе в Аахене немецкая таможня не производит досмотра багажа вольнонаемных-«добровольцев», руководство посчитало необходимым заблаговременно снабдить нас этой удобной нагрузкой, изготовленной по последнему слову техники. Ранее радисты вынуждены были пользоваться тяжеленными чемоданами, где и был смонтирован весь такой приемопередаточный агрегат.

Поэтому, как я уже упомянул, мы и переоборудовали наш сундук-аптеку: все три ящика удобно разместились на дне, под съемным верхним этажом с медпринадлежностями.

Данные о времени выхода в эфир Мишелю были известны. Стало ясно, что не зря нам приходилось обучаться во Вьё-Шармоне работе на ключе. Сообщение о складе с авиадвигателями в Майнце Мишель посчитал необходимым срочно передать в Центр, а через несколько дней получил оттуда соответствующие указания.

По ночам, под предлогом «рандеву» с девушками, многие поляки из нашей колонны отлучались из спальни. Отлучались и мы, неся с собой «подарки». Примерно в двух километрах от Костхайма, на вершине холма, росло могучее развесистое дерево, с которого отлично обозревался весь Майнц. Оно и явилось нашим наблюдательным пунктом. Нам было поручено корректировать намечавшуюся бомбардировку склада и сообщить о ее результатах. Около одиннадцати часов ночи. Небо затянулось тучами — непредвиденная помеха! Нехотя шагал я за Мишелем, неся два ящика. Думал: бесполезная затея, какая может быть бомбардировка при отсутствии видимости, сквозь тучи?

С концом антенны я взлез почти до верхушки дерева. Мишель — подо мной, на земле, у соединенных штеккерами ящи-

ков. Как можно корректировать, когда такая темень, Майнц затемнен, и его не видно? Раздалось завывание предварительной, сразу за ней полной тревоги. Значит, англичане все же прорвались! Сумасшедшие летчики! Натужно гудят в небе самолеты, приближаются... Уже закружили над головой... Сквозь тучи стали опускаться осветительные ракеты на парашютах. Город осветился ярким светом: все произошло так быстро, что искусственный туман не успел его накрыть. Видимо, и сами немцы не ожидали налета. Это неплохо. Нам-то все прекрасно видно, а как тем, над тучами? Я задрал голову, и мое внимание привлекли странные хлопки: в тучах — несколько сквозных круглых отверстий! Вот вверху раздался глухой хлопок, и там, где он прозвучал, тучи будто сильным взрывом разлетелись в стороны, а через образовавшееся в них окно-дыру засверкали звезды. Вот это — да! До чего додумались химия и техника!

Мишель принял позывные, ответил своими. Засвистели бомбы. Впиваемся в то место, где склад. Над ним взметается пламя, почти сразу же доносится грохот взрывов. Мо-лод-цы! Прямое попадание! Мишель в восторге шлет в эфир: «О'кей!», сразу же засвистели серии за сериями, сброшены зажигалки. Но что это? Бомбы свистят над самой головой! «О-ой, братцы! Что вы делаете? Не туда!..» только и успел я подумать, как меня, словно пушинку, сдуло с дерева. Мишеля несколько раз перекувыркнуло. К счастью, ни один осколок нас не задел, зато порядком ощутили, как больно могут бить и царапать комки взбесившейся земли! Когда очухались, Мишель кинулся к своему агрегату: перевернут, но будто цел, лишь один штеккер выдернуло. Вставил его обратно в гнездо, в эфир послал двойной знак вопроса: «В чем, мол, дело?» Переключился на прием, слышит: «Ха-ха-ха!» При чем тут смех? Не поняли, что ли? Хотел переключиться на передачу, но тут послышался стрекот продолжения:

— Подбиты. Пришлось опорожниться. Если на ваши головы, ЭМ, СВП.

По морзе эти сокращенки означают: ЭМ — извините, СВП — пожалуйста. Мы долго потом хохотали, вспоминая этот ответ[32].

На следующее утро нас повели в Майнц спасать, что можно было спасти.

На месте бывших складских ангаров — одни дымящиеся развалины, скрученные, оплавленные швеллеры перекрытий... Дышало жаром. Мишель дернул меня за рукав, показывая на стену четырехэтажного здания. Крышу с него сдуло, зияли пустые оконные проемы, стена была в трещинах... Но что это в ней за прыщ? Почти на высоте третьего этажа в нее вдавился остов чего-то металлического! Присмотрелся: так это же покореженный авиамотор! Ну и бабахнуло! Такую махину, да на такую высоту! В еще худшем состоянии были на пожарище останки других моторов, повсюду разлетелись обгоревшие и полуоплавленные слесарные инструменты... Мы осторожно, чтобы не обжечься, стали собирать их клещами на одну кучу...

— Метко сработали! — удивился я, — в центре города, а жилые здания почти все целы!

— Специалисты!

Возвращались поздно вечером, уставшие, грязные, провонявшие копотью. И тут в моей голове мелькнула мысль: а ведь оба мы были на краю гибели! Украдкой глянул на Мишеля: как он себя чувствует? Он шел как ни в чем не бывало. Может, чуть сосредоточенней, чем обычно. Казалось, он погрузился в какие-то свои сокровенные мысли, витает где-то далеко. А может, и он думает о нашем чудесном спасении, о нашей дружбе, которая еще чуть-чуть и прекратилась бы навеки?.. И тут мне послышалось, что он мурлычет какую-то песенку. Да, то была песня, которую нередко напевал наш бывший командир. Безотрадная, вместе с тем гордая песня бедняка-отверженного. И она, эта песня нашего капитана Анри, раскрылась мне во всем ее сентиментальном значении и величии, обострила во мне понимание Родины для человека, о долге перед ней. Родина — превыше всех благ, единственная ценность:

On m'appelle «l'Homme en guenille»
Je suis seul et sans famille.
On me traote de vaurien,
Mais la France — c'est mon bien!

(Меня дразнят «паршивцем в рубище».
Я одинок, ничем не богат.
Для всех я — бездельник-бедняк,
Но Франция мне — превыше всех благ!)

Могучее слово, еще могущественней понятие — РОДИНА! Да вот бывает, что, как подметил русский народ: «Что имеем — не храним. А потерявши — плачем!»

Дней через пять начальство получило телеграмму: «Всех вернуть на базу!», и мы вернулись в Кепеник. Еще через трое суток мы уже были в Париже, где должны были получить грузовики, но... застряли там более чем на полторы недели: из 1500 машин, заказанных оккупантами, 1200 оказались с недоработками или с явным браком. Вот, оказывается, почему мы побывали на уборке винограда! Но и сейчас брак полностью не был устранен, пришлось ждать. Молодцы, французы! На час, на день застопорить военные поставки — много значит и многое решает во фронтовой обстановке. А тут — чуть ли не два месяца!!! Первым грузовик под номером WH-4800 получил Мишель. В моем протекал бензобак, были неполадки в коробке скоростей. До «ума» довели все требовавшиеся нам 150 машин лишь через несколько дней.

Глава 10. БЫТЬ НАЧЕКУ: «КОШЕЧКА»!

Париж обдал нас новостями, словно струями обильного душа. А струи эти были разные — ледяные и ошпаривающие кипятком. Одна из новостей взволновала больше всего: слух о некой могучей и таинственной организации «Комба» (Борьба), начавшей противоборствовать оккупантам. Состоит она якобы из шестерок — первичных ячеек. Пять шестерок составляют тридцатку. Руководители шестерок знают лишь руководителя своей тридцатки. И многие диверсии, акты саботажа приписывали этой «Комба». Поговаривали, что, мол, организация эта сумела снарядить в горах Высокие Савойи целую, хорошо оснащенную армию «АС» (Армэ секрет). Другие говорили, что армия эта сброшена на парашютах. И законспирирована-де организация так, что до нее не добраться ни абверу, ни гестапо, ни вишистам...

Естественно, в первую же встречу с Анри Менье мы задали вопрос об этой «Комба». Но он и сам, оказывается, пригласил нас, чтобы проинформировать:

— «Дабы вы извлекли соответствующие уроки!»

* * *

...Итак, «Комба» действительно существовала и развивалась, но слухи о ней, как и подобает слухам, несколько утрированы. Она вербовала в свои ряды членов из числа офицеров. Группировала их, занималась агитацией, сбором иформации об оккупантах, готовила ударные отряды для восстания. Конспирация была отличной. Действовала эта организация в основном в Южной зоне (не в Париже). Там были созданы территориальные ее ветви, в которые входило по несколько департаментов. Их, соответственно территориям-регионам, было шесть: К-1, К-2, ... К-6. Возглавлял «Комба» кадровый офицер, скрывавшийся под многими фамилиями: Жерве, Молен, Франсан...

Коллаборационистское правительство в Виши продолжало сотрудничать с оккупантами. Вишисты во главе с маршалом Петеном, вместе с их министром внутренних дел Пюше, бросились было ловить руководителя «Комба», которым оказался Анри Френей. Но схватить «неуловимого Френея» было непросто. Тут до агентов Пюше дошли сведения, что Френей якобы встречался с самим «Максом», он же «Рекс» — с Жаном Муленом, полномочным представителем генерала Де Голля на территории Франции. Уже давно круги вишистов раздирало двойственное положение: кто знает, как повернет судьба? Официально они с оккупантами. Но ведь жизнь не стоит на месте. Рано или поздно победитель перестанет им быть. Как тогда? Не останутся ли они один на один с народными массами? Тщетно стремятся оккупанты сделать из Франции страну-друга. Не получается: она, как стала, так и осталась страной покоренной. И в этом все дело, вся разница. К кругам, раздираемым противоречиями, естественно, относился и Пюше. Он знал, что имя генерала Де Голля — знамя на баррикаде — и собирало вокруг себя всех, кто не захотел смириться с настоящим положением, всех, кто решил бороться. Разве можно сказать такое о главе правительства — Петене? Да, Пюше служит ему. Но разве не он сам называет маршала так же, как и многие: «старый пер..н», а то и просто «шлюха» (пютен). Да-а-а, очень у Пюше зыбкое положение. Он уже многих голлистов арестовал. А глава правительства приговорил к расстрелу самого Де Голля. Заочно, конечно. Но он, Пюше, не стремится арестовать «Макса»: тот тоже умеет скрываться, умеет работать! Разве трудно будет потом заявить, что-де он и не думал его ли-

шать свободы? А вот Френея он ищет. Агенты с ног сбились. Но и Френей не лыком шит. Плюс, у него козырь: сам «Макс» с ним водится! Надо бы, ох, как надо бы повстречаться с этим неуловимым соперником, потолковать с ним по душам, прощупать почву на будущее, а может, и заручиться поддержкой!

Видимо, так рассуждал Пюше, когда дал указание генеральному директору по национальной безопасности, майору Роллану, освободить арестованную им Берти Альбрехт, руководительницу одной из ветвей «Комба». Ей и поручают связаться с ее шефом Френеем, передать ему просьбу о встрече. Безопасность ему гарантируется. Первым условием при встрече Френей ставит освобождение некоторых его товарищей. Пюше не возражает, и вскоре ряд лиц по списку Френея выпущен на свободу. Но Пюше тут же распространяет слух о «сговоре Френей—Пюше». Узнав об этом, взбешенный Френей прерывает начавшийся диалог. Поздно! Зерна недоверия посеяны в рядах Сопротивления, и авторитет Френея подорван. Так обошлись Френею его политическая недальновидность и неискушенность в хитростях закулисной дипломатии...

Еще поучительней были события, зародившиеся в Тулузе, где была создана польская разведсеть под названием «F-2». Во главе организации стояли бывшие польские офицеры военной разведки, майоры Зарембский, под кличкой «Тюдор», Словиковский — «Птах» и Чернявский — «Арман». Они сгруппировали вокруг себя единомышленников, не только из земляков, но и из французов, и создали основной костяк разведсети в тесном контакте с британскими секретными службами. Арман оказался толковым и способным организатором. Разведсеть «F-2» быстро набрала силы и стала разрастаться. Вместе со своей помощницей — брюнеткой Матильдой Карэ, по кличке «Ля Шатт» (Кошечка), Арман перебирается в Париж, где еще больше расширяет свою организацию. Подумывает и о создании отдельных ветвей в Бельгии и даже в самой Германии. Но ему необходима знающая переводчица, и он приглашает свою старую знакомую — молодую блондинку — вдову Рене Борни из Люневилля, города в «Запретной зоне» («Через который мы проходили в сентябре 41-го» — подумал я).

Лондон в восторге от активности разведсети, которая теперь носит название «Интераллье». Но тут произошла катастрофа.

В сентябре 1941 года 3-й Отдел абвера «Сен-Жермен» (немецкой контрразведки) напал на след, приведший его в итоге к «Интераллье». Как это произошло?

На одной базе грузчик, работавший на складе горючего, выпивая с немецким ефрейтором, проговорился, что его расспрашивали о размещении немецких военных объектов, о противовоздушной обороне города и окрестностей, о самом складе. Этот разговор дошел до абвера, и на место происшествия отправился капитан Боршер с унтер-офицером вермахта Гуго Блейхером, хорошо владевшим французским языком. Грузчика арестовали. Через него вышли на связного, бывшего офицера французской авиации Рауля Кифера, по кличке «Кики», шефа отдела сети Армана. При нем нашли данные о немецких объектах, зашифрованные донесения. Кики отправили в Париж, в ставку абвера «Сен-Жермен», где добились признания, в результате чего в Бретани и Нормандии было схвачено более двадцати человек — членов сети «Интераллье». Кифер не знал адресов Армана и Кошечки. Но под наблюдением абверовцев в парижском кафе «Ля Паллетт» он вошел в контакт со связным Армана — Кристианом. Арестованный Кристиан ни в чем не признался. Тогда в его камеру подсадили Кифера, схваченного якобы только что. Кристиан доверчиво открыл «товарищу» адрес шефа.

Ничего не подозревавшее руководство «Интераллье» справляло свой юбилей — годовщину существования. Организовали по этому поводу маленькое торжество. Из Лондона получили поздравление: «С днем рождения всю семью!»

Горестным оказалось пробуждение: утром все были окружены. Арестовали почти всех. Но у абверовцев вышла накладка: они вначале стали стучать не в тот номер виллы, где происходило торжество, и двоим, услышавшим шум, удалось бежать со второго этажа по связанным простыням. На вилле была оставлена засада, в которую первой угодила Кошечка, ночевавшая у подруги.

Решив уничтожить во что бы то ни стало всю сеть, Блейхер пытался склонить Армана к сотрудничеству, но хотя тот и при-

знался, что да, он является польским офицером и активно сотрудничал с британскими службами, добиться от него большего так и не смогли.

Теперь у Блейхера вся надежда осталась на Кошечку. Красочно описав все неудобства тюремной камеры, абверовец предложил ей взамен комнату «во дворце», где и провел с ней приятную ночь. А на утро... что ж, на утро надо работать! Матильда Карэ вместе с Гуго колесят по Парижу. В кафе «Пам-Пам», что на площади Опера, Кошечка показала членов сети, с которыми имела встречи. Дала и адреса тех, кого знала. Затем она заходила на квартиры жертв или же появлялась в условленных с ними местах встречи, после чего абверовцы делали свое дело. Петля затягивалась над последними членами сети. Однако, узнав о крупном провале, они подняли тревогу и прервали все связи.

Блейхеру же не терпелось. Одному из арестованных, переметнувшемуся на сторону абвера, он поручил распространить слух, что, мол, тревога поднята напрасно и что Кошечка на свободе. Так удалось арестовать еще несколько человек.

Не удовлетворившись этой, весьма успешной операцией, Блейхер, которому представился случай доказать, что сержант стоит большего, чем некоторые его руководители, придумал поистине дьявольский план. Захватив на вилле, где был арестован Арман, пять передатчиков, Гуго решил заняться радиоигрой с Лондоном. Разместившись на вилле в непосредственной близи от штаба абвера, он бросился на поиски «пианиста» (радиста) со знакомым англичанам «почерком». Кошечка помогла и тут: вспомнила о радисте, с которым некогда рассорился Арман. Это «Марсель». И тот, увы! стал работать на абвер. В Лондон сообщено, что Арман действительно арестован, но что сетью, мол, руководит теперь Кошечка, именуясь отныне «Виктуар». Так началась радиоигра.

Незадолго перед тем, на парашюте приземлился резидент разведки Пьер Вомекур, под кличкой «Лукас». Но «пианист», с которым он прыгал, был тут же схвачен. Лукас, оставшись таким образом без связи с Центром, не зная о крахе «Интераллье», связался с Кошечкой-Виктуар, дал ей свои шифровки на собственном специальном коде. В Лондоне удивились: передавать донесения по каналам чужой сети категорически возбранялось!

Но код Лукаса рассеял подозрения, и в Центре согласились, что, пожалуй, и действительно иного выхода у Вомекура не было. Связь продолжилась. Спустя некоторое время Вомекур засомневался, вкралось подозрение: о дне прибытия самолета из Лондона Кошечка сообщила ему слишком поздно. Затем как-то похвасталась, что отослала своему польскому центру детальные сведения о противовоздушной обороне Сен-Назера. Лукас тут же тайно отправил в Нант (примерно в сорока километрах от этого города) своего человека. Вернувшись, тот сообщил, что гитлеровцы только что предприняли ряд предосторожностей и передислокаций. И последнее, что укрепило подозрения: всего лишь за два дня Кошечка-Виктуар раздобыла ему документы для перехода через демаркационую линию в Южную (неоккупированную) зону. А таких надежных — Лукас в том толк знал — он еще не видывал! И он заподозрил неладное. Вместе с адъютантом он захватил Матильду Карэ и допросил. Припертая к стене, Кошечка призналась во всем: она и несколько человек из псевдо-Интераллье действительно работают на абвер, что старая сеть уничтожена и заменена этой, фальшивой, а «месье Жан» является сотрудником абвера — Блейхером. У Вомекура возникает план разыграть немецкую контрразведку, используя ее же метод. Матильда, рыдая от благодарности, что ей оставили жизнь, согласилась войти в игру. В Лондон отправлено сообщение о предательстве и двойной игре Кошечки-Виктуар, а также и о придуманном плане. Скрытно Вомекур показывает Матильду своему брату — пусть знает, кого необходимо ликвидировать в случае надобности. Предостерег он и саму Кошечку: обо всем, что она отныне предпримет, будет знать Лондон.

Самой ей дано задание убедить Блейхера в необходимости отъезда Лукаса в Лондон, чтобы он-де превознес там заслуги мнимой сети Интералье, разведданные которой приобретали все более и более весомый характер. Так началась контригра. Вомекур регулярно встречался с Кошечкой, а та — еженедельно с Блейхером. Одновременно Вомекур и его адъютанты постарались изолировать собственную сеть «Автожиро». Одиннадцатого февраля 1942 года было получено сообщение, что быстроходный катер придет на следующий день. План отъезда Вомекура и Кошечки был одобрен всеми гитлеровскими инстанциями:

абвером, гестапо и высшим военным командованием оккупационных сил. Были даны инструкции всем береговым охранным службам — не чинить препятствий! Думается, попросил бы Лукас эскорт мессершмиттов, и его бы ему дали!

Но в ту ночь разразился шторм, резиновые лодки с британского катера, на которых готовились отчалить Лукас, Матильда и другие, перевернулись. Неудачливые путешественники, чуть не захлебнувшись, еле выбрались на берег. С трудом успокаивали они впавшую в истерику Кошечку: у нее утонул чемодан и испорчена была новая меховая шубка! В половине четвертого утра, не имея больше права подвергать себя опасности, английский катер умчался, оставив всех на берегу.

Лишь с третьей попытки Лукас и Кошечка оказались на борту катера, где Матильду с пистолетом в руке ждал майор Баддингтон, помощник начальника отдела «Френч Секшен» — полковника Бакмастера. Так, под контролем и при содействии абвера, эта «Мата Хари второй мировой войны» была в конце концов обезврежена и препровождена в английскую тюрьму Эйльсберри[33].

— Обо всех этих печальных событиях, — закончил Анри Менье, — чтобы всем впредь быть начеку и соблюдать бдительность, были проинформированы все наши подпольные организации. Рассказывая вам об этих историях, хочу, чтобы вы знали, какие вас подстерегают опасности. Тем более что вы будете в местах, где все начиналось и кончалось. Готовы ли вы подвергнуть себя опасности? Готовы ли, в случае провала и ареста, вынести все допросы и пытки?

Мы молча шагали по аллеям Булонского леса. Осень входила в свои права. Неповторимую окраску принимали отмиравшие листья. Чудесны осенние цвета! Как прекрасна природа, как прекрасна жизнь! Опавшая листва грустно шуршала под нашими ногами. Не по ушедшей ли безвозвратно жизни скорбела она?

— Что же стало с Арманом? Замучили до смерти?

— Могу вас порадовать, — ответил Менье, — ему недавно удалось бежать. Через Гибралтар он достиг Англии и теперь находится в Лондоне.

На этом мы распрощались с Менье.

— Сасси, я бы не поверил ему... Слишком уж похоже на кино! Если бы... если бы не знал о нем побольше.

— А что именно?

— Он уже попался раз. Крупно. Сумел бежать, заочно приговорен к расстрелу. За его голову — огромная сумма. Я сам читал... Основная его резиденция в Лионе...

* * *

...Как теперь, вот здесь, в этом морозильнике, я жалел, что рассказ нашего руководителя мы с Мишелем все-таки восприняли более как приключенческую повесть, мало нас касающуюся, чем как строгое и серьезное предупреждение! Впрочем, все равно я вряд ли избежал бы ареста, настолько он оказался неожиданным...

Глава 11. ГРУППА «БРЕТАНЬ»

Уже несколько дней мы в Париже. Нас все подмывало пройтись по знакомой улочке, где жила Мария Златковски, подняться на второй этаж. Еще более хотелось повидаться с Ренэ. Но — конспирация! Мари была нам важнее: хотелось узнать о Викки, Кристиане, Марселе. Кроме того, было бы неплохо оставить у нее нашу гражданскую одежду. Решили почаще прохаживаться по рю Кастаняри, а вдруг повезет?

Повезло Мишелю. К его униформе, как ни странно, Мари отнеслась удивительно равнодушно, будто была в курсе. Назначила нам встречу. Мы принесли ей нашу одежду. Узнали, что со всеми нашими друзьями все в порядке, живы и работают. А сам Кристиан Зервос пожелал увидеться с нами, и мы тут же поспешили в метро.

Опять тот же бульвар Менильмонтан. Какое красивое название!

Menilmontant; mais oui, Madame,
C'est la que j'ai connu l'amour!

(Менильмонтан, о да, мадам,
Я там впервой познал любовь!)

— любили мы напевать с Мишелем, когда с Ренэ танцевали это замечательное танго или что-то вроде...

Кристиан прохаживался у входа на кладбище Пер Лашез. Мы пошли следом. Радость: к нам присоединился и наш друг — Марсель — «Житан». Так и хотелось стиснуть его в объятиях — жив! Но пришлось сдержаться: показалось бы крайне странным, что два «боша» обнимают француза!

Узнали горестную новость: в Берлине раскрыта и арестована организация антифашистов, которую гестаповцы прозвали «Роте капелле», по-французски — «Оркестр руж». Многие уже казнены...

— Но, — пояснил Кристиан, — это лишь одна обособленная ветвь большой разведсети, которая и дальше продолжает свою работу... Кажется, и наши бывшие шефы с Темпельгофа, с «Аскания», с «АЭГ» — все схвачены... Бедный Макс! То был поистине настоящий человек![34]

Успешно стали действовать макизары во Франш-Конте: напали на отряд гитлеровцев и уничтожили при этом более сорока карателей. Там же взорван большой трансформатор, и этим на месяц остановлено несколько заводов Пежо и Лонжин. Отличился и Марсель: исполнил свою давнюю мечту — бросил бомбу в машину Шаумбурга, который после Штюльпнагеля подписывал смертные приговоры. Бомбы бросил он и в маршировавшие отряды оккупантов: первый раз на авеню Поля Думера, второй — у площади Наций. В центре Парижа, среди бела дня! Все участники этих операций вернулись без единой царапины. Поистине ювелирная, отлично продуманная работа! Правда, такое было не в моем духе, но мы в восторге смотрели на Марселя, поздравляли. Тот смущенно отшучивался.

Нацисты меняли тактику террора. Убивали еще больше, чем раньше, но делали это уже в концлагерях, упразднив оповещения о казнях. Поздно: эхо злодейских расстрелов подняло в сердцах справедливый гнев и еще более заострило давно возникший вопрос: «Не я ли на очереди?»

Зервос показал листок «Либерасьон» от 18 сентября этого года. Мы прочли: «Французы! Когда в эти дни, тайком приникнув к вашим радиоприемникам, вы услышите скупые слова: “Сталинград все еще держится!” — вдумайтесь: сколько в них кроется героизма, страданий и надежды!..»

Подполье Франции ждало коренного перелома под Сталинградом и всеми силами стремилось его приблизить. Нам стало более ясным, что предстоит важная работа против оккупантов — нас готовят к сбору информации. Мы — лишь одна пара из множества таких же.

— За это, — подчеркнул Кристиан, — англичане будут поставлять нам оружие и взрывчатку. А это крайне необходимо для усиления активной борьбы. Нам надо оттянуть на себя побольше гитлеровских войск...

Нам предстояло создать разведсеть, вербовать в нее патриотов.

— Держите связь с Мари! — бросил Кристиан на прощанье — «Париж-XV, до востребования»...

Здесь вторично раздался свист, будто подзывают собаку, и Зервос с Марселем поспешно ретировались. Когда мы выходили, то увидели цепь полицейских, прочесывавших кладбище. На нас в нашей немецкой форме они не обратили внимания.

...В огромном автопарке пригорода Венсенн стояли ровные ряды новеньких грузовиков «Матфорд» (на бензине) и газогенераторных — «Ситроен». Но, как я сказал ранее, в предназначенном мне протекал бак, был дефект в коробке передач — шестерни выскакивали из зацепления. Эх ты, неудачливый № WH-4804! Во многих других — тоже дефекты. «Матфорд» Мишеля, № WH-4800, оказался в порядке. Он посадил меня, «безлошадного», в свою кабину и, желая пофорсить, совершил пробег на большой скорости. Машина легкая, верткая — прелесть! И тут неожиданно взвизгнули тормоза, грузовик чуть ли не встал на дыбы, как норовистый конь, а я со всего размаху врезался лбом в корпус стеклоочистителя с внутренней стороны ветрового стекла. В голове колокола звонят, в глазах искры и слезы.

— Ты что, спятил? — накинулся я на друга, готовый его отмолотить.

— Не пойму, что за тормоза... Я только хотел их проверить...

— Хо-о-тел проверить? Тормоза как тормоза, злился я, пнев-ма-ти-ческие! Мы же учили! Плавно надо было нажимать, пла-а-авно! А если бы я глазом?!

— Гм... тут, наверно, всё рассчитано...

— Что рассчитано, болван? Чтобы я стукнулся лбом, а не глазом? Скотина!..

Товарищи-поляки покатывались от хохота, щупая и измеряя мою быстро растущую шишку...

Еще через несколько дней все мы, наконец, получили свои машины. Некоторым из нас достались газогенераторные «Ситроены», остальным — «Матфорды». Кончилось наше бесцельное валанданье по Парижу! Колонной в 150 грузовиков мы тронулись на запад. Дорога была долгой и нудной, а новоиспеченные шоферы — без опыта. На многих грузовиках появились вмятины, у других исковерканы бамперы. Четыре машины вообще вышли из строя, с ними остались аварийки. А тут, как назло, — беспроглядный, густой, как молоко, туман. Ну и Атлантика! Временами ехали шагом за неясным силуэтом шагающего впереди «направляющего». Приходилось даже так! Сплошная пытка! Штурмфюрер, начальник колонны, впадал в ярость. Лишь на вторые сутки, проехав города Шартр, Ле Ман, Анжер и Нант, мы прибыли в Сен-Назер, почти полностью разбитый бомбардировками. От многих домов остались одни стены. Всюду воронка на воронке, лом, битое стекло... пожарища, смрад... Утром, когда туман рассеялся, на нашу стоянку заявились «тодтовцы» в своей желтой униформе и с шапками-котелками на голове. Каждый из них уселся в кабину рядом с водителем. Мы ехали к устью реки Луары, где на складах загружались мешками с «портланд-цементом», арматурой, досками, другим строительным материалом.

— Налево!.. Направо!.. указывали сопровождавшие, и мы крутили баранки. Проезжали шлагбаумы с охраной, въезжали в запретные зоны, расположенные скрытно, вдали от основных коммуникаций, разгружались на различных строительных площадках. Ознакомившись с расположением объектов — бетонных дотов, площадок для батарей ПВО, шоферы стали ездить туда самостоятельно. Теперь настало время приступить к выполнению задания. Но как сделать, чтобы не вызвать подозрений? Однажды на сложном перекрестке я увидел нескольких местных жителей-бретонцев в их традиционных беретах. Притормозил, спросил:

— Месье, как мне проехать в Сен-Марк?

Заслышав французскую речь и увидев немецкую форму, бретонцы удивленно переглянулись. Я повторил вопрос. Они пожали плечами, о чем-то посовещались на их непонятном мне языке и... одновременно каждый молча указал руками в разные стороны! Вот это да-а! Это было так неожиданно, что я чуть не прыснул со смеху: очень уж им, видимо, нетерпелось услужить «бошу»!

— Куда же все-таки ехать?

— А это как вам будет угодно, месье. Вы же здесь хозяин! — с вежливыми улыбками и ничуть не смущаясь, ответили они.

Всю дорогу меня корчил смех. И вдруг осенило: я рассказал о случившемся штурмфюреру.

— Эти французские свиньи никогда не укажут нужное направление! — возмутился он. И после этого мы получили рекомендацию пользоваться дорожными, очень подробными и чуть ли не топографическими в те времена картами «Мишлен». Во всяком случае, они были достаточными для привязывания местности и нанесения на них нужных нам объектов. Одна такая карта была у нас с Мишелем главной, чистовой. После того, как вечером с наших повседневных карт перенесем в нее сделанные днем пометки, ее надежно прятали. Затем с рабочих все стирали. На основной карте с каждым днем появлялось все больше и больше кружочков, квадратиков, треугольничков и других геометрических фигур и цифр рядом с ними. Такими обозначениями отмечались доты, орудия в них, секторы их обстрела, площадки с батареями ПВО, их калибры, количество. Если нас задерживали (что случалось редко) у объектов, где нам попросту нечего было делать, мы оправдывались, что «заплутали», неправильное направление указали нам якобы «французские свиньи».

Составлением схемы объектов региона задание не ограничивалось. У нас потребовали информацию о мобильной технике нашего берегового сектора. У оккупантов была странная, но для нас полезная, страсть на своей технике отмечать — разрисовывать — особые значки, как, например, прыгающий заяц, олень, туз треф, рычащий лев, десятка червей и т.д. И не только на отдельных машинах, но и на технике всего полка. Это и помогало, кроме номерных знаков танков и машин, еще и знак боевого

соединения, мехбатальона, а то и корпуса. Таким образом, Центр мог расшифровать, какая именно часть, какое примерно количество техники, какой численный состав дислоцируются в регионе. Требовались Центру и срочные донесения о прибытии, стоянке на пирсах и отправке в рейд подводных лодок, торпедных катеров, эсминцев.

В нашем секторе в основном были подводные лодки. Все они не могли вместиться в бетонное укрытие — «гараж»: туда ошвартовывались лишь те, которым требовалась длительная стоянка для ремонта, замены и подзарядки аккумуляторов, исправления повреждений...[35] Остальные же, пришедшие пополнить боеприпасы и загрузиться новыми торпедами, швартовались у внешних пирсов. Вот об этом и требовались регулярные срочные донесения, чтобы бомбардировщикам успеть их атаковать. А это было важно: ведь именно из таких баз и «гаражей» (они были еще в Бресте, Лорьяне, Ля Рошели — Ля Палисе), с полным боекомплектом, уходили лодки в Атлантику — к берегам Англии, Норвегии, Африки. Если было достаточно времени для переправки карт и сведений о мобильной наземной технике через Париж, то тут необходима была немедленная связь, то есть по радио. Надо сказать, что в этом месте, подвергавшемся раз или даже два раза в сутки налетам и бомбардировкам, пеленгаторной службы или не было вовсе, или поставлена она была крайне неудовлетворительно. Впрочем, времени на то, чтобы рыскать по развалинам, успевать из одного квартала руин в другой, чтобы оцепить и захватить радиста, все равно бы не хватило. К тому же эфир здесь был переполнен морзянкой, и всегда краткую и неожиданную «вражескую» шифровку захватить в клещи было трудновато. Краткие сообщения на личной волне выглядели примерно так: позывные; после получения отзыва сообщение по схеме — водоизмещение, количество «СМ» (подлодок), номер пирса, длительность возможной стоянки, номер радиста или его кличка. И всё! За бомбардировщиками оставалось, в случае подходящих метеоусловий, не опоздать, прицельно попасть. Что же касается охоты на сам «гараж», то она была лишена всякого смысла: толстенный железобетонный потолок надежно предохранял базу и все, что в ней. Говорили, что для пробы была сброшена на базу специальная, в десять тонн, бомба. Она

якобы даже взорваться не успела — рассыпалась от удара о бетон. Но я в этом не специалист. А раз база была явно неуязвима, стали бомбить все вокруг нее: разрушали коммуникации и жилье рабочих.

Другое дело с «гаражом» в Бордо: в него лодки поднимались по шлюзам. Удалось попасть и разрушить последний шлюз, вода из гаража мгновенно схлынула, от удара днищами о бетонный пол лодки раскололись. Так это было или не так — не знаю.

Ввиду частых бомбардировок нашу колонну вскоре вывели из Сен-Назера и разместили в местечке Сент-Андрэ-дез-о, и нам ночью стало легче дышать.

Мы знали, что идентичные задания выполняют и группы других организаций: «Фаланги» — от организации «Ли-Бе-Нор», руководимой Кристианом Пином — «Фрэнсисом» (об этом я узнал позже, познакомившись с ним в Бухенвальде), «Когорты» — от организации под руководством Жана Кавайеса и «Центурии» — от нашей организации «ОСМ». Почему-то вошло в обычай подпольным группам давать древнеримские военные названия. Конечно, у нас, шоферов военно-строительной организации «Шпеер», было намного больше преимуществ перед нашими коллегами. Не хотелось ударить перед ними лицом в грязь. Объем работы нам был поручен очень большой. Без помощников, в особенности «учетчиков», не обойтись. Назрела необходимость создания ряда автономных групп. Начали с нашей колонны. Мы уже неплохо пригляделись к контингенту поляков. Еще в Берлине Мишель познакомился с некоторыми из них, да и у меня появились неплохие друзья. Этому способствовало то, что я был полуофициальным фельдшером, и к моим услугам обращались все. Кстати, к медицинской работе я, как упоминал, приобщил и Мишеля. Между «медиками» и «пациентами» всегда устанавливаются теплые отношения. У поляков к немцам не было ни малейших симпатий, и, естественно, нетрудно было добиться их помощи. Непосредственно нас знал и перед нами отчитывался только один Янек, боксер-любитель, здоровенный детина с очень покладистым характером. Однажды у нас произошла крупная стычка в столовой у тодтовцев. Мы оказались в меньшинстве, трое против тридцати, но в самый критический для нас момент Янек так разошелся, что быстро разметал нем-

цев, и мы «без потерь вернулись на базу»! Правда, у меня порядком была разбита голова. С тех пор Янеку стало очень лестно чувствовать себя нашим «телохранителем». Он и стал старшим над остальными группами соотечественников. Через него мы передавали указания и советы, носившие первоначально безобидный характер «похулиганить», поиздеваться над фрицами. Янек был проинструктирован, как разрегулировывать карбюраторы, токопрерыватели, зазоры клапанов... В колонне катастрофически стал увеличиваться расход бензина и из-за того, что масса шоферов, чтобы напакостить «хозяевам», ежедневно сливала некое его количество в песок на обочинах. «Матфорды» стали поглощать горючего, бывшего у немцев на вес золота, намного больше запланированной нормы. Механики с ног сбились, регулируя и перерегулируя узлы питания. Штурмфюрер выходил из себя... Эмигранты-механики что-то поняли, и полякам пришлось устроить им «предупредительную темную», и мир был налажен: в конце концов, какая им разница, не из их же кармана! — «Заводской брак!», — доложили механики начальнику колонны и тот увеличил нормы.

«А не лучше ли сэкономленным бензином снабжать местное население?» — намекнули мы Янеку, а тот — дальше по цепочке. Посредниками были мы с Мишелем, как знающие французский. У поляков интерес к такому саботажу возрос еще больше: через местных фермеров, у которых весенняя страда была на носу, они за горючее получали натурой: камамбер, масло, сметану, вино... Просто хулиганство переросло в экономическую и утробную выгоду. Проверенные на саботаже переходили к невинному сбору информации — учету военной мобильной техники, а затем и к фиксированию на карте объектов. А условные обозначения мы им подсказывали опять же через Янека, руководителя их групп.

Вернувшись из рейса, водитель обменивал свою карту, со сделанными на ней пометками, на уже чистую. Нам добавилось работы: переносить отметки со всех карт на нашу основную. Да еще необходимо было проверять достоверность и правильность.

* * *

Гитлеровцы торопливо возводили оборону побережья, сооружая свой «Атлантический вал». На улицах Сен-Назера, Нан-

та, других прибрежных городов были расставлены передвижные ежи из швеллеров и колючей проволоки. Над городами высоко в воздухе парило множество колбас-аэростатов. Доты, противотанковые заграждения... На перекрестках улиц и дорог, спускавшихся к океану, в шахматном порядке в несколько рядов были устроены колодцы, в них заложены мины. Заправленные, они вновь накрывались крышками: все было подготовлено, чтобы в нужный момент взорвать коммуникации. Береговые и зенитные батареи и отдельные орудия были чуть ли не на каждом пятом километре друг от друга.

Всего за несколько месяцев до нашего прибытия английская флотилия во главе со старым броненосцем «Кемпбельтаун», выполнявшим на этот раз роль «брандера» (плавучей мины), прорвалась сюда в устье Луары. Уткнувшись в шлюз дока Жубер, где когда-то был построен трансатлантический лайнер «Нормандия», броненосец взорвался. Док, предназначенный гитлеровцами для стоянки и ремонта мощного линкора «Тирпиц», был выведен из строя. Наученные этим горьким опытом, немцы стали судорожно укрепляться.

На другую сторону устья, к Сен-Бревену и Пембэфу, мы не ездили. Наш сектор ограничивался береговой полосой от города Нанта — на востоке до городка Пирьяк-сюр-мер — на западе. Отрезок большой, необходимо было привлечь на помощь и местное население. Помог случай.

Однажды на рынке Сен-Назера ажаны (полицейские) схватили мальчишку.

— Что натворил этот пакостник? — приняв грозный вид, подошел я к тащившим сопротивлявшегося парня полицейским. Был я в своей черной немецкой форме, на кокарде таинственно поблескивали две незнакомые латинские буквы «Sp» (Speer). Что могли подумать обо мне ажаны? Только сейчас могу об этом догадаться — «Черная форма, как у СС или гестапо, а буквы, не Си-По ли?» (Зихерхайтс-Полицай). — По-моему, именно так меня и расценили.

— Спекулировал иголками, месье, — подобострастно ответил один из них.

— Was?.. Spe-ku-lation!? — возмутился я, придав немецкий акцент. — Мерзавец!

Спекуляция преследовалась немцами самым строжайшим образом, вплоть до расстрела. Ажаны переглянулись, ожидая моего решения.

— Вот что, я сам отведу его в комендантуру. Чуть что — пристрелю! Ферштейст ду? — обратился я к мальчишке.

Струхнувшие ажаны тут же передали мне парня, даже не обратив внимания, что у меня нет кобуры. Лишь дня два назад подвыпивший офицер застрелил на улице какого-то парня за то, что тот нечаянно его задел. Или самого качнуло на парня... Естественно, ажаны поспешили ретироваться: мало ли что взбредет на ум оккупанту!

Парень шел смирно, не вырываясь. Решил, наверно, что дело его — труба. На мои вопросы отвечал дрожащим голосом. Я узнал, что ему семнадцать лет, зовут Констаном Христидисом, живет в Нанте. В семье девять детей в возрасте от четырех до двадцати одного года. Самая старшая — сестра Анна, он же — самый старший из мужчин. Наш разговор, приняв непринужденный вид, успокоил парня. Он понял, что зла я ему не желаю, даже сочувствую. «Почему?» — так и светился вопрос в его глазах. А мне стало ясно, по какой причине этому «самому старшему из мужчин» пришлось заняться рискованным делом — спекуляцией. И я решился:

— Послушай, Констан. Я — югослав, а не немец. Видишь, у меня и оружия нет, так как я обычный рабочий — шофер.

Парнишка недоверчиво зыркнул исподлобья.

— Да, я — серб. Фашистов не люблю, как, должно быть, и ты. Как, говоришь, твоя фамилия?

— Христидис.

— Ты — грек? Значит, мы — земляки, оба с Балкан, соседи, и я протянул ему сверток, в котором было несколько коробочков камамбера и с полкило масла.

Так я приобрел нового знакомого, самое главное — из Нанта, ставшего вскоре преданнейшим другом и помощником, как и вся его семья.

Появился и еще один, вернее одна помощница — Тереза Бинэ. Рыженькая девушка, совсем еще ребенок. Работала она официанткой в гостинице «Осеан» в городке Ля Боле, где между рейдами отдыхали немецкие офицеры-подводники, а также и лет-

чики, офицеры ПВО. Познакомились с ней так. Как-то, проходя мимо гостиницы, я застал ее за заготовкой дров для кухни. Довольно трудная работа для девушки! Чтобы размяться, я взял топор и стал колоть дрова. Ко мне из-за моей галантности благосклонно отнеслись пожилые женщины-поварихи. Улыбаясь, они стали что-то нашептывать веснушчатой Терезе. Та так и зарделась. И я стал часто бывать не только на кухне, но и в самой гостинице. Мое признание, что я — не немец, не по своей охоте работаю у оккупантов, помогло укрепить с ними дружеские отношения. Стойкое сопротивление югославских партизан, о которых часто упоминало Би-Би-Си (они, конечно же, его слушали!), придало нашей дружбе оттенок особого доверия. Я жадно глотал все новости, которые мне любезно по секрету пересказывали. И не только услышанные по радио, но и просачивавшиеся в разговорах и бахвальствах отдыхавших. Некоторые женщины, в том числе и Тереза, неплохо владели немецким.

В Терезу был влюблен шестнадцатилетний паренек Клод, ее сосед. Он выразил желание помогать в борьбе против оккупантов. Покидая гостиницу, немецкие офицеры часто сетовали на то, что их опять отправляют туда-то и туда. Сведения, хоть и не особенно важные, тоже отправлялись через связных.

Вскоре звено «Тереза—Клод» расширилось за счет их друзей: юность всегда склонна к романтике и не всегда отдает себе отчет в рискованности и в возможных последствиях. Тереза и Клод были представлены Мишелю. Она стала запасной связной, он — связным между нами и Нантом, в частности с Констаном Христидисом.

В местечке Сен-Марк немцы спешно возводили доты для дальнобойной артиллерии, которая должна была прикрыть устье Луары, куда ранее так безнаказанно вошел «Кемпбельтаун». Внизу, на площадке, заканчивавшейся крутым обрывом к океану, не развернуться, и я, груженный цементом, спускался на машине задом. Мастер-тодтовец пятился передо мной спереди, указывая, как править. Крутизна увеличивалась. Вдруг машина сорвалась с зацепления (заводской брак так и не был надежно устранен!) и, набирая скорость, устремилась вниз. Я жал на тормоза, что есть мочи. В уме проклинал недобросовестных французских рабочих, неисправивших этот брак. Завоняли тормозные

колодки. Я ожидал, что вот-вот машина сорвется с обрыва. Успею ли выскочить? Да нет, даже об этом у меня не было времени подумать... В самый последний момент заднее колесо наскочило на какой-то выступ скалы и грузовик остановился у самой кромки обрыва! Я спасен!

— Свинья!.. Сволочь!.. — орал на меня истерическим голосом порядком струхнувший мастер. Он был готов избить меня. Все это происходило у эстакады, где я обычно сгружал цемент. Здесь работали марокканцы. Они стояли и с ужасом наблюдали за происходившим. Я, весь вспотевший от переживаний, еле выскочил из кабины, уселся в бессилии на подножке и... послал тодтовца ко всем чертям ада. К моему удивлению, тот замолчал и поспешил ретироваться. Есть такие натуры: яростно показывают власть перед слабым, а, нарвавшись на отпор, поджимают хвост: волк среди овец, среди волков — сам овца!

Глядя на марокканцев, я, в знак благодарности к Всевышнему, произнес известное мне по Югославии мусульманское изречение из Корана: «Ля иллаха иль Алла, Мухаммед расул Алла» (Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его!). Африканцы разинули рты и стали подсаживаться поближе, разглядывая меня с любопытством. Так я познакомился с очень умным и по всем статьям интересным человеком — Мухаммедом-бен-Мухаммедом, «Мухаммедом в квадрате», как его окрестил Мишель. Откуда здесь марокканцы? — Во французской армии были колониальные войска, «зуавы-сенегальцы», набранные в Алжире, Тунисе, Марокко, куда входили многие народности Северной Африки. За время войны они были на передовой, на линии Мажино, где и были взяты в плен. Частично были оставлены во Франции для работы. Мухаммед вскоре был назначен старшим над группой марокканцев и других арабов, строительных рабочих, среди которых пользовался завидным авторитетом. Честно и самоотверженно они в свое время сражались за Францию, да и сейчас ее любили и считали своим долгом помогать ей в трудные времена.

Здесь же встретил я и далматинца Саву. Лет за пять до войны, в поисках заработка, он приехал во Францию из своих голодных мест (на «печалбу», как это называлось в Югослвии). Нападение «швабов» на эту страну, затем и на его родину, обо-

злили гордого и свободолюбивого горца. Оповещения о массовых расстрелах заложников и патриотов звали к отмщению. А еще больше к этому призывали вести о героическом сопротивлении в Греции, под Сталинградом, во Франции и в его собственной стране. По-французски и по-немецки Сава говорил бегло. Как и большинство далматинцев, говорил и по-итальянски. Документы его были в порядке. Кроме того, он был связан со своими земляками в Бресте, где те работали вместе с бельгийцами-малярами на немецком военном аэродроме. После проверки по указанию Центра Мишель часто стал посылать Саву в Брест, непосредственно связав его с руководством.

В Нанте нашли еще двух ценных помощников. Ими стали бретонцы Ив Селлье, проживавший на рю д'Анфер (странное название — Адская улица!) и Анж Ле Биан. Ив еще отходил от искусственно поддерживаемой им болезни: ею он спасался от отсылки его на работы в Германию. По совету Мишеля, он и его друг Анж, бывший сержант колониальной армии, нанялись в местные полицейские и вооружились пистолетами. Они несли охранную службу в Нанте и со своими пропусками могли бывать в любых местах, в любое время. Ив и Анж возглавили группу, которой было вменено в обязанность нанести на план города дислокацию зенитной обороны. В нее вошел и Констан Христидис. Связь с этой группой обеспечивалась через Клода и Терезу.

В середине декабря 1942 года Мишель по распоряжению руководства распрощался со своим радиопередатчиком, передав его легализировавшемуся в Сен-Назере радисту-профессионалу. Конечно, профессионал намного лучше, чем дилетант. У нас на душе отлегло. Связь с радистом осуществлялась вначале самим Мишелем, а затем и Терезой с Клодом. Теперь можно было отправлять более объемные информации, что облегчило работу.

Шел январь 1943 года. Редким был день, когда Сен-Назер и окрестности не подвергались бомбардировкам. Мы уже привыкли быстро тормозить и выскакивать из кабин, еще быстрей мчаться в поисках более или менее надежных укрытий. Оборудованных бомбоубежищ давно не существовало, но можно было, если нас заставал налет в городе-развалине, примоститься в дверном проеме какой-нибудь чудом оставшейся от дома стены и тешиться надеждой, что она на тебя не рухнет от взрывной волны. Если

же это случалось на шоссе, то и придорожные кюветы и ямы были «утешением». Бурная была жизнь!

Какие только меры защиты не применялись! По всему Сен-Назеру, окрестным городишкам, особенно в порту вокруг «гаража» и пирсов, были установлены бочки с «небельзойре» (искусственным туманом). Огонь изрыгали многочисленные «эрликоны» (четырехствольные зенитные пулеметы) и глубоко эшелонированные тяжелые зенитные батареи, покрытые пологом маскировочных сетей, — им тоже порядком доставалось! На разных высотах над городом были подняты многочисленные аэростаты... Несмотря на это, «летающие крепости» бомбили с поразительной точностью. Все это происходило в течение одного дня...

В то воскресенье бомбардировщики внезапно появились к вечеру, будто вынырнули из ярких лучей опускавшегося в воды океана яркого солнца. Шли они почему-то очень низко. В ушах звенело от их надсадного рева и извергавших огонь зениток. Я, как и обычно, принялся их считать: двадцать... шестьдесят... восемьдесят... еще и еще... Перед клином летящей армады — стена сплошных разрывов. Но самолеты неуклонно надвигаются, будто это их не касается. Величественная картина! Никакой попытки отвернуть, нарушить строй! Какими поистине стальными нервами надо обладать, чтобы так ровно вести машины среди густой каши разрывов! Стрельба: в бой вступали все новые и новые батареи. Вот вспыхивает крыло у одного... вот у второго самолета. Сверху до меня доносятся глухие взрывы, и там ширятся густые белые облака, из которых в разные стороны начинают, кувыркаясь, выпадать сверкающие на солнце серебром обломки. Задымилось еще несколько самолетов, и от них пошли черные шлейфы. Они теряют высоту, начинают вихлять и все с большей скоростью нестись к пучине океана. Только тут некоторые бомбардировщики стали сворачивать в стороны и, ковыляя и прихрамывая, поворачивать назад, под прикрытие слепящего яркого солнечного диска, опускавшегося в океан. Из подраненных самолетов выпали черные точки, над некоторыми вспыхнули купола парашютов...

В тот день я насчитал 27 сбитых или поврежденных бомбардировщиков. Одни врезались в зеркало океана, другие взры-

вались на береговой полосе с нашего берега Луары или с противоположного — у Сен-Бревена. Такого массового урона РАФ на моей памяти еще не имел. Почти треть! Бомб так и не сбросили, атака была полностью отражена. В Сен-Назере обнаружили тела двух летчиков с нераскрытыми парашютами: они так и лежали, обнявшись. Лица их чудом остались целыми: оба — блондины, очень похожие друг на друга. Кто-то определил, что то были канадцы, выразил догадку, что это — братья, не хотели попасть в плен, поэтому, мол, и парашютов не раскрыли. Одного летчика нашли погрузившимся ногами в навоз, с располосованным парашютом. Ужасная картина: туловище, как гармошка, осело на ноги, бедренные кости вылезли из плеч...

С тех пор налеты прекратились надолго. Над городом установилась непривычная тишина: ни сирен, ни рокота, ни уханья зениток. Будто война уже закончилась. А нам от руководства полетели приказы: ускорить работу над картой зенитной обороны, составить схему расположения точек ПВО береговой полосы и городов Сен-Назера и Нанта. Так настал месяц февраль.

В первых числах этого месяца на всех своих учреждениях оккупанты приспустили флаги со свастикой. На лацканах мундиров — траурные ленточки. Заметно поникла надменность «властителей мира»: объявлен трехдневный траур. Сталинград! Огненная топка, в которой расплавился мощный кулак гитлеровского «Дранг нах Остен» — натиска на Восток. В Югославии, как говорят, Сталинград прозвали «Станиград» — «Станьгород». И воспрянули жители Франции, да, наверно, и других стран. Одиночная вооруженная борьба патриотов стала перерастать в настоящую войну — «гериллу». Воспрянули и те, кто ранее не то боялся, не то раздумывал и выжидал — слишком долго надеялись, терпели унижения, ожидали «второго фронта», которого все не было и не было. Пора! «А то, глядишь, и без тебя обойдутся!»...

В тот поздний вечер я долго лежал в сумерках под противно моросящим дождиком в яме, до половины наполненной водой. Я уточнял последние привязки выявленного днем нового объекта — бетонной площадки зенитной батареи, к которой не удалось подъехать поближе, слишком зоркое было охранение. Грузовик замаскировал в придорожных зарослях метрах в пятистах

отсюда. А сюда пришлось подкрадываться ползком. Недалеко — часовой, я его вижу. Он то топчется, постукивая каблуком о каблук, то делает короткие пробежки, пытаясь согреться... Противная погода! Переживем! Зато гитлеровцам-то здорово всыпали! Сталинград не только выдержал натиск, но и разгромил целую армаду Паулюса! Скороспелый «фельдмаршал»! На душе радостно!.. Зарисовка закончена, еще раз проверим. Нет, ни одной привязки не забыто, глазомерная съемка вроде соответствует. Ползком возвращаюсь назад. Ух, как промок! Сажусь в кабину, еду в Сент-Андрэ-дез-о. Мишеля еще не было: у него сегодня встреча со связным из Парижа. Интересно, какие сообщат ему новости? Я перенес все отметки на основную карту, спрятал ее в тайник. Принялся резинкой стирать карандаш с моей путевой. Не получается: бумага набухла и раскисла, резинка сдирала и скатывала верхний ее слой в катышки. Да ладно уж, отложу до завтра, к тому времени она подсохнет...Скорей почиститься, выжать и развесить одежду, белье, пусть просохнут! А теперь... теперь быстренько под манящее одеяло. Согреться!..

Мишель заявился угрюмым, и я вскочил выслушать новости, видимо, они не из лучших! Да, во Франш-Конте разгромлена группа капитана Анри. Гризбаум — «Николь» погиб, сам капитан Анри ранен, но спасся. Метренко схвачен. Об остальных — никаких точных сведений. Добричко Радосавлевич и Средое Шиячич тоже арестованы близ Лиона... Жуткие новости, я не мог заснуть... Крутился на кровати, поднимался, снова ложился... Мишель ворочался тоже. Я не выдержал, встал. Кое-как натянул влажную одежду, направился к выходу.

— Ты куда? — услышал я голос друга. — Сасси, назад!

Но я уже захлопнул за собой дверь.

Не знаю, что на меня нашло. Подбежал к машине. Не успевший еще остыть двигатель завелся сразу. Я рванул в неизвестность... лишь бы не остановил Мишель! Слезы застилали глаза, текли по щекам. «А говорят, мужчины не плачут! Брехня!» — промелькнуло в голове. Собаки! Изверги!... Сколько же можно терпеть? Да еще и любезничать, улыбаться, рапортовать: «Кайне безондере эрайгниссе!» — никаких, мол, особых происшествий... Нет, они, эти «особые происшествия», есть, да еще

какие!.. Как все это отвратительно, как надоело! Когда это кончится?..

Передо мной ровное, блестящее от дождя, шоссе. До отказа жму на педаль: скорость — вот, что сейчас способно развеять! Не заметил, как промчался через Порнише, Ля Боль... Мало, ой, как мало мы делаем! У поляков и то лучше: результаты их «работы» налицо — они буквально уничтожают двигатели!.. Машины, замечательнейшее творение разума и труда человека, и так варварски им же самим уничтожаются! «О, темпора! О, морес!» А мы и этим — саботажем — не имеем права заниматься!

...Где это я? Это же Ле Круазик! А время? Боже, уже скоро семь! Немедленно назад, иначе опоздаю под погрузку!.. Я развернулся, помчался в обратном направлении. Показался краешек поднимавшегося солнечного диска. Ярко светит утреннее зимнее солнышко! Лучи его, как в зеркале, преломляются на мокром полотне асфальта, больно ударяют в глаза, все еще затуманенные слезами. Впереди какая-то неясная помеха... Начинаю различать крестьянскую фуру на двух высоких, чуть ли не в рост человека, колесах, доверху груженную сеном. Обгоняю ее. Вижу: навстречу едут во всю ширину асфальта велосипедисты. Глупая привычка: ехать развернутым строем, держа друг друга за плечи! Нажал на клаксон, велосипедисты стали перестраиваться в затылок. Вихрем пролетел мимо первого, второго, третьего... Последней, шестой, ехала девушка. Успеваю заметить, как она начала вилять рулем и, теряя равновесие, стала крениться в мою сторону. Проезжая мимо, услышал глухой удар: голова ее задела за задний бортовой крюк! Визг тормозов. Выскакиваю: она лежит на асфальте. Тут, откуда ни возьмись, мотоцикл с коляской, в нем — фельджандармы. Сделали промеры: измерили расстояние до обочины, след торможения... Я все стою, как чумной, ничего не соображаю. Меня успокаивают: «Ты не виноват, парень!» Тот, который проверял в кабине рулевое управление, вылезая, заметил торчащий из кармашка дверцы краешек карты:

— Что это?

— Карта, чтобы не сбиться и не плутать... — отвечаю безучастно, еще не отойдя от случившегося.

Фельджандарм стал ее разглядывать: кружочки, треугольнички... Показал другим. Лица их посуровели. С опаской обыскали меня и повезли в комендантуру, в Порнише.

Клацнул замок камеры на втором этаже. Я очнулся. Так глупо влипнуть! Знал: скоро приедут за мной из абвера или из гестапо. Немедленно, немедленно предупредить Мишеля! Сейчас все поставлено на карту: грозит обыск в моей, в нашей с Мишелем, комнате. А там... Но как предупредить? Мечусь, как птица в клетке, ищу способа. Окно с козырьком выходило на улицу. Через щель увидел, как по улице изредка проходят люди. Вырвал стельку из ботинка, завалявшимся огрызком карандаша нацарапал: «Отель Осеан. Терезе Бинэ. Влип. Срочно предупреди Пюса!» Свернул трубочкой и стал ждать, прильнув к щели. Показалась женщина, вид подходящий. Бросил трубку прямо впереди ее ног. Она глянула в сторону окна, откуда вылетела трубка: решетки, козырек. Поняла! Нагнулась, будто поправить завязку своего ботинка... Когда отошла, трубки уже не было.

Я знаю: мое отсутствие на утреннем построении должно было насторожить Мишеля. Он обязательно заскочит в обеденный перерыв к Терезе. Через час снова показалась та женщина. Чего она хочет? На секунду приостановилась, подняла голову в сторону моего окна, утвердительно кивнула и тут же заспешила прочь. Молодец!

Часа через четыре послышался знакомый рокот «матфорда». Показался грузовик. Номер Мишеля — «WH-4800». Машина чуть притормозила, затем рванула дальше. Сейчас Мишель помчится в лагерь, устранит все следы, предупредит ребят. Пожалуй, времени у него хватит.

Вечером, как стемнело, меня перевезли сначала во временную тюрьму-барак (сен-назерская была повреждена бомбардировкой), затем в тюрьму Нанта — «Мезон Ля Файетт». Поместили в особый «квартал» — «картье аллеман» — в ведомстве абвера и гестапо. Следствие... Чего только я там не натерпелся!

— На кого работал?.. Кому готовил карту?..

Я признался сразу: хотел, мол, подработать, знал, что подобными вещами иногда интересуются, хорошо за них платят; ждал подходящего случая, чтобы продать... Начал этим заниматься несколько дней назад — такими были мои ответы. Били, сно-

ва допрашивали, опять били. Но я твердил одно. Под конец, без сознания, доставили в тюремную палату больницы «Отель Дьё». Видимо, не хотели, чтобы я в подобном истерзанном виде предстал перед трибуналом. У дверей дежурили французские охранники. Однажды, я просто не поверил своим глазам! — на дежурство заступил... Ив Селлье! Надо же, такое везение! Потом охранником был Анж. И вот, этим бретонским друзьям удалось привести на встречу со мной Мишеля. Врачами и медсестрами-монашками были французы. Мой истерзанный вид вызывал их сострадание, желание помочь хоть чем-нибудь. Этим я и объясняю возможность тайного визита Мишеля. Он передал: решается вопрос о моем вызволении. Я в это не очень верил. Ив и Анж предложили более надежный вариант: исчезнуть за время их дежурства. Да, то был бы стопроцентный успех, но какой ценой! Я категорически отказался: дело прежде всего, а разбрасываться такими людьми, как они, не имеем права.

Вскоре меня повезли на заседание военно-морского трибунала в Ля Боль. Зал, флаги, тройка за столом. Приговор краток: за попытку шпионажа — к расстрелу! Утверждение приговора «верховным судьей» (им недавно объявил себя сам Гитлер) следовало ждать дней семь-восемь. Я имел право подать на помилование, просить заменить отправкой на Восточный фронт, так об этом провозгласил переводчик.

Из суда повезли обратно в тюрьму. Тряска «воронка́», именуемого у французов «панье а салад» (кошелка для салата), а у немцев «грюне мина», прибавилась, скорость снизилась. «Подъехали к городу!» — догадался я. Вдруг удар, скрежет, фургон заваливается на бок... Я совершаю немыслимое «сальто мортале». Дверь от моего бокса срывается с петель и врезается в левую ногу. От боли чуть не теряю сознание. Слышу хлопки выстрелов, почудились голоса Ива и Анжа. Кто-то рвет дверку, резкая боль еще больше пронизывает ногу, и я окончательно теряю сознание...

Пришел в себя на каком-то чердаке. Надо мной склонилось озабоченное лицо Констана Христидиса. Узнаю, что столкновение с фургоном устроил Мишель со своим грузовиком. Участие в этом принимали Ив, Анж и он, Констан. Охрану перестреляли. Мишелю пришлось скрыться. Кажется, он в Париже...

Страшная боль в ноге, большая опухоль щиколотки. Конечно, звать врачей — об этом и думать не приходится. Определяю, что сломана или треснула «капут оссис тибие» — головка тибии. Сестра Констана — Анна — прикладывает уксусные компрессы. Нужен покой. Лубок сделал сам из дощечек. Какая удивительная героическая семья: повсюду, как рассказал Констан, расклеены розыски с моей фотографией — «Зондерфан-дунги», а они, родители и девять детей, меня прячут и лечат! Целых пять или шесть недель. Навеки запомнил адрес этого гостеприимного дома: 15-бис, рю До д'Ан[36].

Кость срасталась долго. За это время с помощью Анны я отпустил модные тоненькие усики «а ля Дуглас Фербанкс» (американский киноактер). Ребята из группы достали мне форму немецкого ефрейтора, точно по росту, да еще и с отпускным свидетельством — «урлаубшайном», голубого цвета. Об этом, как сказали, позаботился специалист по таким делам — Сава.

Наконец я был в состоянии передвигаться на костылях. Надо срочно покинуть этот тревожный район, где меня разыскивают и где я подвергаю смертельной опасности семью Христидисов.

* * *

...Как только в третий раз ударили в станционный колокол, извещая об отправке экспресса «Нант—Париж», на перроне появился немецкий ефрейтор. Двое парней несли его вещи — рюкзак и чемоданчик. Опираясь на костыли, ефрейтор устремился к начавшему движение поезду. Его поддерживала девушка. «Герой фатерлянда», который, видимо, лечился в Нанте, явно опаздывает на поезд. К нему бросается комендант с патрулем. В его обязанности — проверка документов у военнослужащих. Но как неловок этот солдат: документы застряли в кармане, виден лишь голубой уголок отпускного свидетельства... «Ладно, ладно!» — отмахивается военный комендант и подсаживает ефрейтора с нашивкой «За ранение» на подножку классного вагона. Вслед летят рюкзак и чемоданчик. Ефрейтор машет рукой своей невесте, друзьям, а потом, в тамбуре, вытирает со лба холодный пот...

Вот так выглядел мой отъезд из Нанта. Но это было еще полдела. У меня нет железнодорожного билета. Поезд наверняка будут проверять «ажаны». Вхожу в купе, присаживаюсь на свободное место, делаю вид, что читаю газету, — для этого был

припасен свежий номер «Фёлькишер Беобахтер». Мои соседи молчат. Один — штабс-фельдфебель в форме танкиста, другой — штатский.

Разговор начал цивильный несколько неожиданным вопросом:

— Ты из какого корпуса? — спросил он штабс-фельдфебеля.

Тот подозрительно таращит глаза.

— Ну, чего смотришь? — ухмыляется крепыш в пиджаке и галстуке, — я тоже фельдфебель, тоже танкист. Только ваш корпус перебрасывают в форме, а нас — в гражданском... Для скрытности.

И он, в подтверждение, показывает свой «зольдатенбух». На меня — я же младший чин — никакого внимания. Запоминаю их разговор, в Париж приеду не с пустыми руками. Если... если доеду... По вагонному коридору идут ревизоры и ажаны. Все! Теперь...

Странное дело: никто не спрашивает ни билетов, ни документов! Уже потом, выйдя на перрон Монпарнасского вокзала, прочитал на вагоне дощечку: «Только для вермахта». Спасибо нантскому коменданту — удружил еще раз, посадил в такой вагон, у пассажиров которого билетов не спрашивают: сам бы я не догадался!

Поезд прибыл около полуночи, в разгар комендантского часа. Вокзал оцеплен. Знаю уже по Ля Рошели: из него можно выйти, лишь предъявив специальный пропуск или солдатскую книжку. Перрон быстро пустеет, только у выходных дверей стоят очереди. Судорожно думаю: что же предпринять?

Выбираю носильщика, лицо которого внушило доверие. Подзываю его по-французски с деланным немецким акцентом:

— Портер, туа, иси! (Носильщик, сюда!)

Он подкатывает свою тележку, и я шепчу ему на ухо:

— Месье, выручайте: я — дезертир...

Носильщик быстро окидывает меня взглядом с ног до головы и после краткого раздумья бросает:

— Вещи — на тележку! Следуйте за мной!

Он везет мои чемоданчик и рюкзак, я шкандыбаю за ним. Даже покрикиваю иногда: «Скорей! Лос! Вит!» Это — когда

слишком уж близко проходим мимо проверяющих документы фельджандармов. Увлеченный этой игрой и в ожидании окрика «Хальт!», я и не замечаю, как окончился перрон, здание вокзала. Носильщик свернул в какой-то проход, открыл калитку, и... мы очутились на привокзальной площади.

— Если еще потребуется моя помощь, запомни мой номер. Я всегда тут, — сказал носильщик и категорически отказался от денег.

Минут через двадцать я был у гостиницы «Миди», позвонил. С той стороны зашаркали туфли и двери открыл Энрико. Услужливо взял чемодан.

— Как вас записать? — вскинул он голову, усевшись и раскрыв свой гроссбух. Я молча снял пилотку. Видя, что он и дальше вопросительно смотрит на меня, я прикрыл рукой усики. В глазах Энрико — сначала недоумение, потом — догадка и изумление. Он вскочил и помчался к лестнице:

— Ренэ! Быстро вниз!

По ступенькам быстро-быстро застучали милые каблучки. Она было ринулась ко мне, но тут же остановилась:

— Почему на тебе эта мерзкая униформа?!

* * *

Я снова в своей комнатушке. Рядом — Ренэ. Выскочил все-таки из лап смерти! Надолго ли? Ренэ будто подменили. Прибегала чуть ли не каждые пять минут, надолго оставалась, восклицая: «Ты жив!.. Ты жив!.. Теперь от меня не уйдешь!» С ее помощью я продолжил свое перевоплощение. Ножницы, изменение прически, окраска волос. Долго не получалось с бровями. Наконец, кажется всё:

— Настоящий итальянец! — поражался Энрико, все время подававший советы.

Через Ренэ я связался с руководством. Принесли мою старую одежду, сфотографировался в «фотоматоне» и вскоре получил новые документы. Их принес мне сам Анри Менье. Я стал Качурин Александр, французский гражданин русского происхождения, родом из Туниса, с рю де Шампань, сражавшийся на линии Мажино в числе солдат колониальной армии такого-то полка, санитар. Освобожден из плена из-за слабого здоровья, на днях демобилизован в городе Манд (Южная зона). Приехал сюда по-

ступить в школу шоферов, чтобы, получив права, наняться на работу в Германию. Такова была легенда, подтверждавшаяся соответствующими документами: актом о демобилизации, солдатским билетом, справкой с места жительства и другими бумажками. Фамилию «Качурин», как и раньше, взяли из «Журналь оффисьель». Из Туниса к тому времени гитлеровцев выдворили: уже в Бретани я видел танки Роммеля. Но на всякий случай, «мой» дом и сам город мне подробно опишет один из тунисцев... Уходя, Менье вручил мне тысячу франков на жизнь и показал на цветок в горшке, стоявший на подоконнике: пусть он будет сигналом безопасности.

На следующий день мы с Ренэ посетили мэрию. Она своим щебетаньем ловко обработала чиновников, и мне без каких бы то ни было осложнений были выданы «карт д'идантитэ», «сертифика де домисиль» — о прописке в гостинице. А также и продовольственные карточки повышенной нормы, как и подобало «пострадавшим за родину», то есть вернувшимся из плена.

На этот раз моя легенда была намного лучше, чем предыдущие, пачка документов — безупречна. А вот сигнал «безопасности», о котором будет предупрежден «тунисец» и другие, которые, возможно, должны будут выйти на связь, имел некоторые неудобства: прежде, чем прийти в гостиницу, им бы пришлось сделать крюк, войдя во двор с другой улицы, чтобы убедиться, стоит ли он на месте.

«Тунисцем», который должен был описать мне «мой» город и «мой» дом, оказался... Мишель! Он появился под вечер. Рассказал, как все произошло в Бретани. Получив от Терезы записку, Мишель помчался в барак, надежно перепрятал карту и все другое. Успел переговорить с Янеком, чтобы тот предупредил других. Вовремя! Ночью нагрянули абверовцы, перевернули все вверх дном. Безуспешно! Допрашивали. Мишель, «естественно», не предполагал, что «этот идиот способен на подобную пакость». Поляки, предварительно проинструкированные Янеком, в один голос заявили, что в последнее время заметили во мне что-то ненормальное, что я, по их мнению, начал «свихиваться». Затем Мишель, получив «добро» от руководства и узнав день назначенного суда, совершил с ребятами наезд на тюремный фургон, возвращавший меня в нантскую тюрьму: своим грузо-

виком врезался в него сбоку, но «чуток не рассчитал», а сопровождавшие его ребята прикончили охрану. Меня высвободили из бокса опрокинутой машины.

— Ну и хлипкий же ты оказался: чуть что и... в обморок!

Сам Мишель, бросив машину, сразу же скрылся в Париж, отвезя туда и очередную карту-схему ПВО прибрежного района. Осталось закончить план обороны самого Нанта. Этим сейчас занимается группа Ива—Анжа. А Констана, учитывая многодетность семьи и ее вклад в мое спасение, освободили от рискованной работы, оставив в резерве. Тереза стала связной. Как только схема будет готова, она сообщит, и за ней поедут из Парижа...

Итак, мой друг сделал все, чтобы спасти меня и всю группу. Мишель остался доволен моим перевоплощением: «Почти никакого сходства с разыскиваемым Поповичем!» Впрочем, насчет «Поповича» и его самого было дано указание пустить слух, что, мол, оба бежали из Франции. Ренэ улыбалась и, не стесняясь Мишеля, в порыве нежности прижималась ко мне:

— Я не хочу, чтобы его схватили!..

Я стоял словно оцепенелый. Сколько раз, еще тогда, оставаясь с Ренэ наедине, я пытался дать ей понять, что испытываю к ней большее, чем просто дружеские чувства, но дух Мишеля всегда витал между нами. Я знал, что и он к ней неравнодушен. Но не знал, что сама она изо всех сил старалась «не замечать» моих чувств. И как было обидно: кругом смерть, жизнь коротка и ненадежна, каждая минута дорога — может оказаться последней, а она будто этого не понимает и отстраняется от меня. Эх, таинственны и неразгадываемы женские сердца! Лишь сейчас все стало ясным:

— Я тебя полюбила сразу же! Но вы с Мишелем такие друзья, ты бы не простил потерю друга, и я бы потеряла вас обоих!..

Как она права! Сколько в ней самообладания, чистоты!..

Первые дни я почти не выходил из гостиницы, лишь по крайней надобности: костыли были помехой. Ренэ и Энрико делали все, чтобы скрасить положение человека, загнанного в подполье.

— Сасси! — сказала однажды Ренэ, — у меня для тебя сюрприз. Поедем со мной!



Университет в Белграде

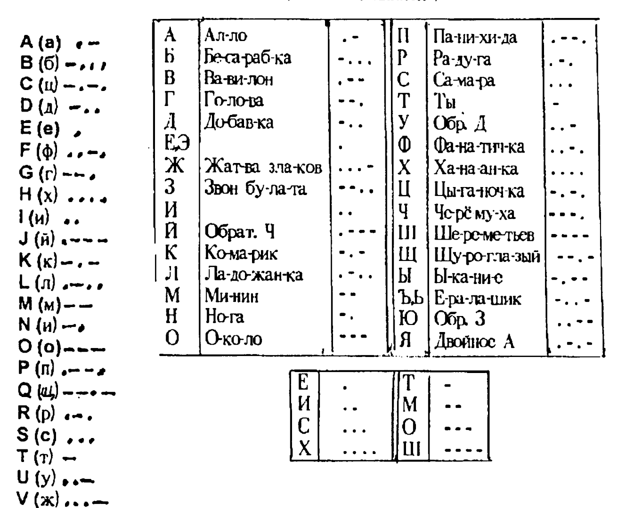


Гимназист Александр Глянцев
(Белград, 1936 г.)



Мама,
Мария Анатольевна

АЗБУКА МОРЗЕ
(с мнемотехникой)



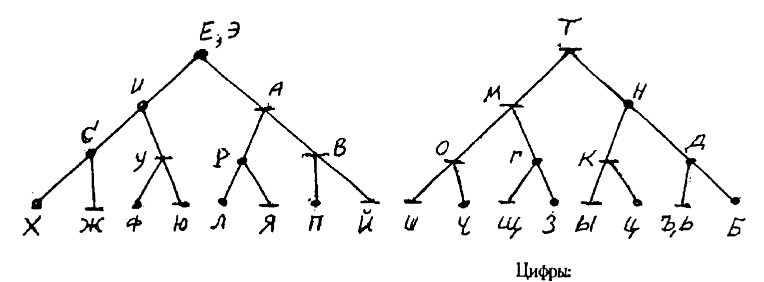
A (а)	.–
B (б)	–...
C (ц)	–.–.
D (д)	–..
E (е)	.
F (ф)	..–.
G (г)	––.
H (х)	....
I (и)	..
J (й)	.–––
K (к)	–.–
L (л)	.–..
M (м)	––
N (и)	–.
O (о)	–––
P (п)	.––.
Q (щ)	––.–
R (р)	.–.
S (с)	...
T (т)	–
U (у)	..–
V (ж)	...–
W (в)	.––
X (ъ)	–..–
Y (ы)	–.––
Z (з)	––..

А	Ал-ло	.-	П	Па-ни-хи-да	.--.
Б	Бе-са-раб-ка	-...	Р	Ра-ду-га	.-.
В	Ва-ви-лон	.--	С	Са-ма-ра	...
Г	Го-ло-ва	--.	Т	Ты	-
Д	До-бав-ка	-..	У	Обр. Д	..-
Е,Э		.	Ф	Фа-на-ти-ка	..-.
Ж	Жат-ва зла-ков	...-	Х	Ха-на-ан-ка	....
З	Звон бу-ла-та	--..	Ц	Цы-га-ноч-ка	-.-.
И		..	Ч	Че-рё-му-ха	---.
Й	Обрат. Ч	.---	Ш	Ше-ре-ме-тьев	----
К	Ко-ма-рик	-.-	Щ	Щу-ро-гла-зый	--.-
Л	Ла-до-жан-ка	.-..	Ы	Ы-ка-ни-е	-.--
М	Ми-нин	--	Ъ,Ь	Е-ра-ла-шик	-..-
Н	Но-га	-.	Ю	Обр. З	..--
О	О-ко-ло	---	Я	Двойное А	.-.-

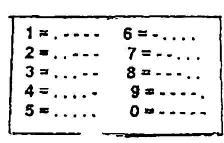
Е	.	Т	-
И	..	М	--
С	...	О	---
Х		Ш	----

Ключ для приема знаков, начинающихся

с точки : с тире :



Цифры:



1 = .----	6 = -....
2 = ..---	7 = --...
3 = ...--	8 = ---..
4 = ...-	9 = ----.
5 = ...	0 = -----

Рисунок из архива автора



«Ренэ» — Раймонда

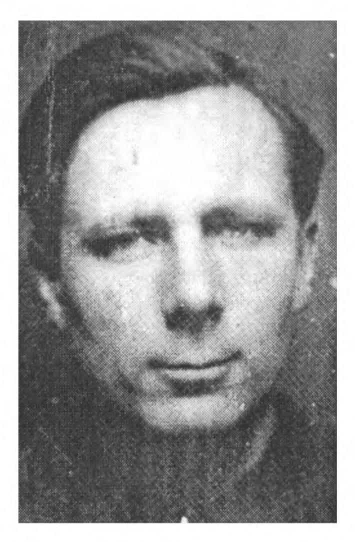
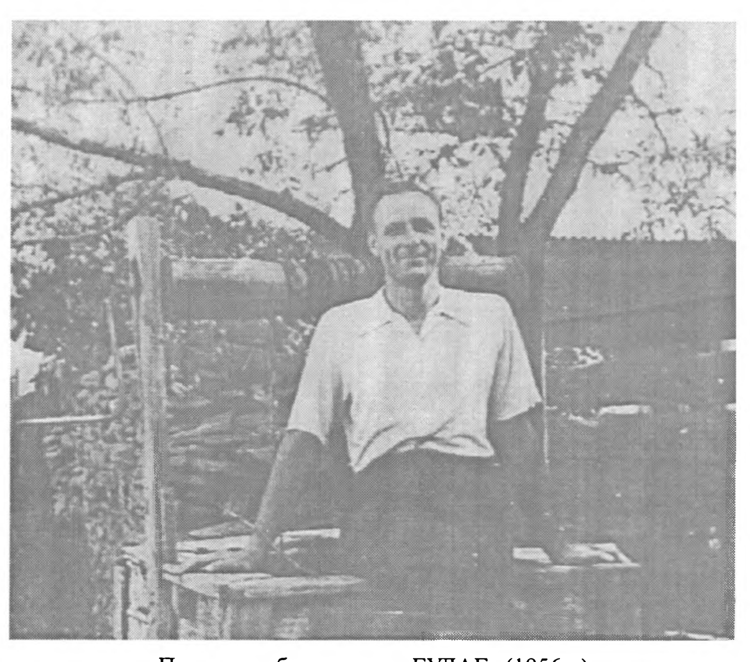
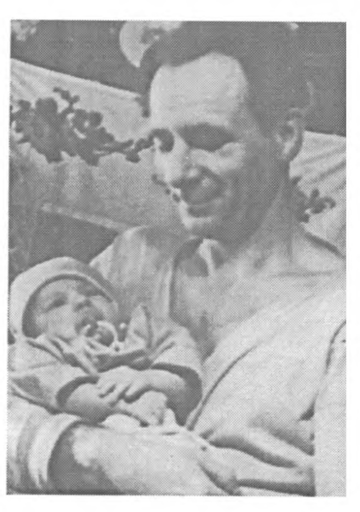


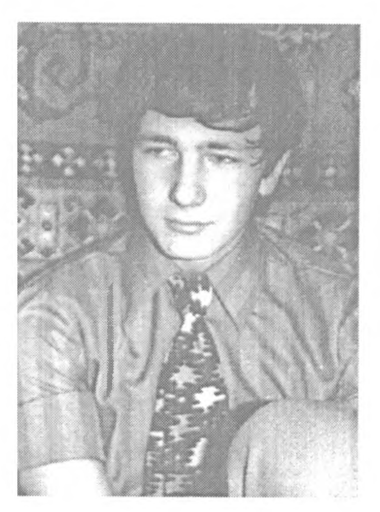
Фото А.М.Агафонова
(Глянцева)
из розыскного листка Гестапо



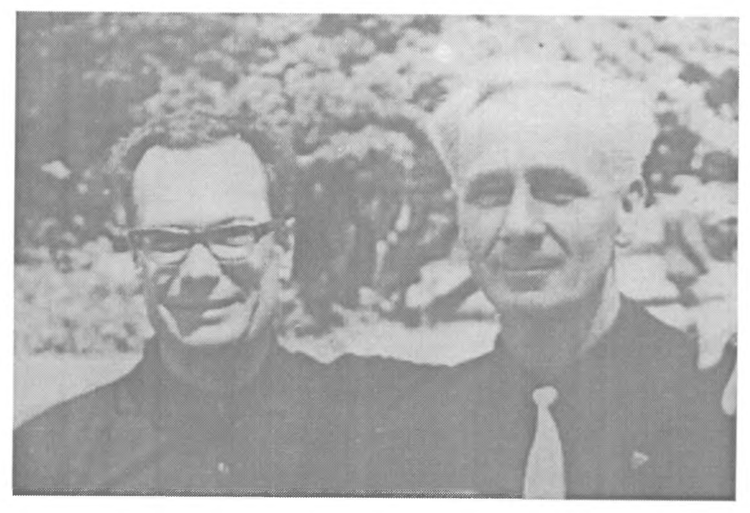
После освобождения из ГУЛАГа (1956 г.)



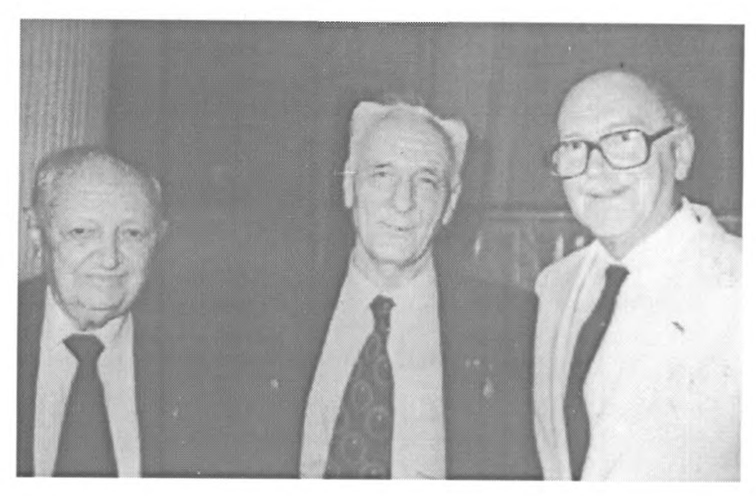
С новорожденным сыном
(1956 г.)



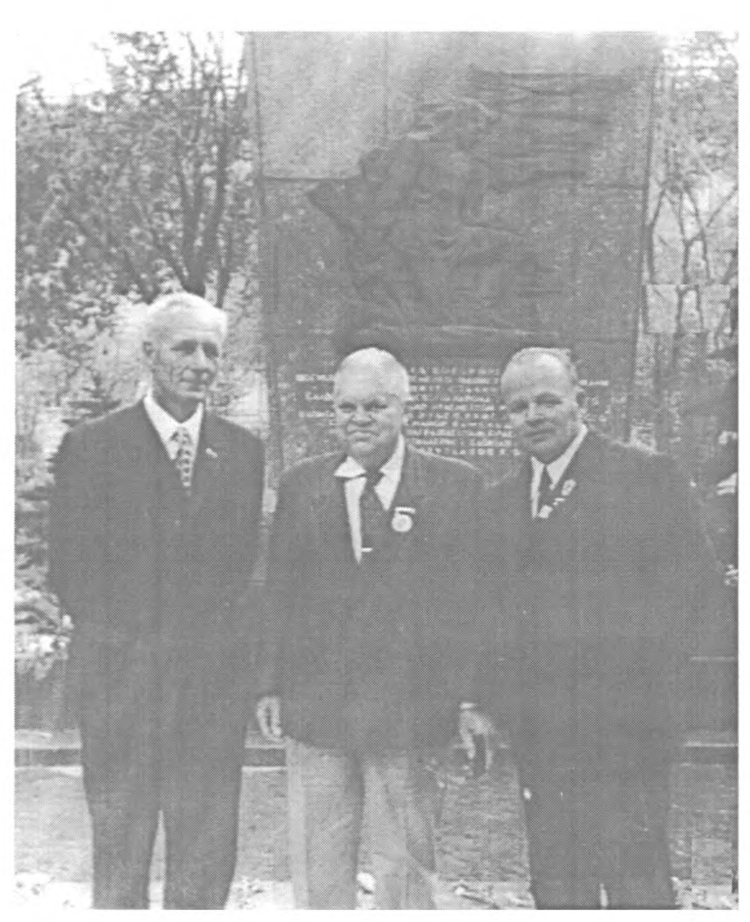
Сыну Мише — 15 лет
(Севастополь, 1971 г.)



Морис Монте и А.М.Агафонов (Глянцев)

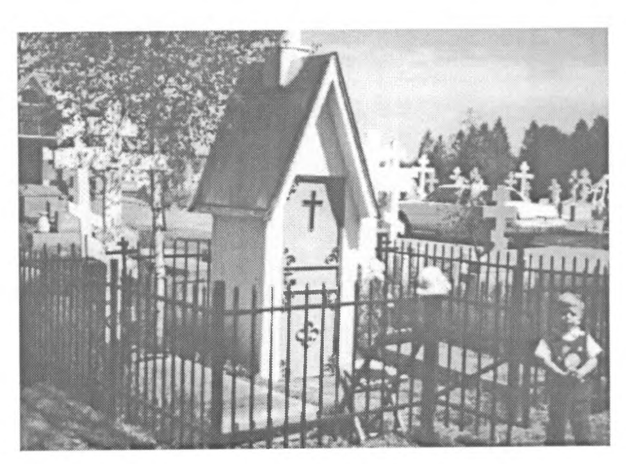


Кристиан Пино, А.М.Агафонов (Глянцев) и Боб Шепар



А.М.Агафонов (Глянцев) с соратниками по борьбе
(Волгоград, 1972 г.)

С «Ренэ»—Раймондой. Встреча через полвека (1991 г.)



Могила матери в Свято-Троицком монастыре
(Джорданвилл, США)

На метро мы отправились по направлению к Монруж. Выйдя наверх на последней остановке, повернули в маленькую тихую улочку. Поднялись на первый этаж необитаемого, видно, дома. Ренэ отперла ключом дверь и... мы очутились в опрятно обставленной чистой комнатушке. Была газовая плитка, рукомойник, столик, застланная кровать, два стула. Удивительно: нигде ни пылинки!

— Знаешь, Сасси, — нежно прильнула Ренэ ко мне, — в твоем положении невредно, даже необходимо, иметь запасное убежище, а? Если надо будет скрыться, тут и переждешь. Я сняла эту комнатку для «брата». Как и в отеле «Миди», здесь такой же запасной выход — через окно. Смотри: даже удобней, чем у нас!

И мы с ней целые сутки обживали эту уютную квартирку...

Однако все случилось не так, как мы предполагали. В середине июня по пневматической почте я получил сообщение от Анри. В нем указывались время и место встречи — в излюбленном кафе «Дюпон». Я даже замурлыкал от радости: «Ше Дюпон тут э бон!.. Ше Дюпон тут э бон!» Летел туда, как на крыльях, насколько позволяла моя хромая нога, но уже без костылей. Сколько времени маялся я без дела, ужас! Менье, как обычно, был жизнерадостным, полон юмора:

— Ну, «баба-Яга костяная нога», как самочувствие?.. Так вот, день «Жи» (высадки союзников и открытия Второго фронта) не за горами. Восточный фронт заставил бошей оголить побережье, о чем свидетельствует и твоя информация о разговоре фельдфебелей в поезде. По всей территории Франции — то же самое. Но оккупанты боятся восстания, особенно в Париже. Принялись пополнять «Милис де Дарнан». И нам пришлось начать работу среди милиционеров, выпускаем для них специальные листовки «Полис э Патри» (Полиция и родина). Рассчитываем воздействовать на тех, кто не погряз в крови соотечественников, — на свежевербуемую туда молодежь...[37]

От меня требовалось вступить в контакт с одним из руководящих лиц милиции, заведующим отделом оргнабора и уже давшим согласие сотрудничать за определенную мзду. Первую часть взятки — 500 000 — он уже получил. Но надо его прощупать получше:

— Это твой соотечественник. Возможно, будет с тобой более откровенным. Предупреждаю: дело это опасное, необходима максимальная осторожность. Ты будешь ему представлен согласно новой твоей легенде.

Менье уехал на место встречи, а через полтора часа и я условным стуком постучал в дверь квартиры по адресу рю Шардон-Лагаш, 61. Дверь открыл Анри Менье. Сзади него меня пытливо разглядывал господин в пенсне. Представился:

— Константин де ля Люби и, помолчав, добавил: — Русский.

(«Почему "де ля Люби"? — Возможно, "Любимов", да переделал на французский лад?» — подумал я.)[38]

Сухощавый, с выправкой, какой гордятся кадровые военные, лет сорока пяти—пятидесяти, он прихрамывал и ходил поэтому с тростью. По-французски говорил чисто, но большую часть разговора мы вели с ним по-русски. Вскользь он поинтересовался моей историей. Я ему описал свое неустроенное положение: только что выпущен из плена, демобилизовался, денег почти нет, думаю устроиться в школу шоферов, но не уверен, что благополучно пройду медосвидетельствование. Де ля Люби сказал, что рад услужить стоящим парням и мог бы устроить их на легкую работу, с хорошей оплатой и питанием: — «Это ведь лучше: служить дома и не ехать к черту на кулички, в чужую страну!..»

Конечно, для многих молодых французов это было бы отличным шансом увильнуть от обязанности выезда в Германию по СТО. Все же я посчитал необходимым уведомить об этой встрече моего старшего — Мишеля[39].

— Странно! — удивился он, — у нашего руководства явная накладка: Гастон решил, что нам обоим больше не стоит здесь рисковать. Обязательства наши выполнены, и мы с тобой на днях отправляемся во Франш-Конте...

— Во Франш-Конте? — не поверил я, — а кто там сейчас?

И я узнал, что капитан Анри, как оказалось, не погиб. Да, был ранен — пуля прошла по виску, вышла у самого глаза. Он спасся, переплыв реку Ду. Подлечившись у друзей, прибыл в Париж. Но в Париже попал в облаву, вновь оказался в лапах полиции. Сделав подкоп, бежал из лагеря снова. Сейчас, окрепнув,

готовится к боевым действиям во Франш-Конте. («Ну и двужильный!» — подумалось мне.) Алекса Метренко, раненного в ногу, схватили. Говорили, что под пытками он многих выдал. Немца Гризбаума — «лейтенанта Николь» — друзья нашли в каком-то сарае, скончавшимся от раны в животе. Сейчас капитан Анри обратился к «старикам» с призывом явиться к нему в Безансон. Туда нам и предстояло выехать.

В начале июля Мишель приказал: на следующий день взять на Лионском вокзале билет на вечерний поезд к Безансону, с пересадкой в Дижоне.

— На утренний, который следует прямиком до Безансона, не бери!

— Какой же смысл? Ведь все равно в Дижоне я пересяду именно на него. Почему же не выехать утром послезавтра?

— Слушай, что тебе говорят! Смысл есть: прежде всего оповестишь всех здешних, что выедешь послезавтра утром. В том числе и твоего де ля Люби. Менье — тоже. Не нравятся они мне что-то с их новой затеей. На самом же деле отправишься накануне вечером. Кроме того, в Дижоне будешь иметь время убедиться, что не везешь «хвоста». Во всяком случае, так безопасней. Учти, что проверю. Не забудь о сигнале безопасности!

Сам Мишель должен выехать дня через четыре. Перед отъездом он в моей комнате заберет рюкзак, чтобы кому-то передать униформу ефрейтора. Задержка его отъезда объяснялась еще и тем, что он должен дождаться связного, посланного в Нант: Ив сообщил, что схема ПВО города готова.

Прощаясь с другом, я высказал сожаление:

— Ренэ будет переживать...

— Ничего, она поймет... Пошли ее завтра утром за билетом. Пусть развеется и в себя придет!

Мишель уехал, а я долго думал, что он по-прежнему любит Ренэ. Не из-за ревности ли торопит он меня? Эх, если бы я мог знать, что видел его тогда в последний раз!

Ренэ сначала молчала, потом, выявив свой испанский темперамент, заметалась как зверек в клетке. Я обещал, что уеду ненадолго, через недельку-вторую вернусь. Молча, со слезами, она поехала выполнить мое поручение. Я стал готовиться к отъезду, как вдруг постучали в дверь. Вошел де ля Люби:

— Здравствуйте. Это господин Менье дал мне ваш адрес. Извините, не готов ли список желающих поступить к нам?

Вопрос для меня был неожиданным: мне не было указаний на этот счет. Какой список? Ведь никакой конкретной договоренности не было, был только разговор. С другой стороны, только Менье знал мой адрес. Это факт. Следовательно, я его плохо понял. Виновато признался, что вплотную данным вопросом я еще не занимался. Ренэ вот-вот должна вернуться, и я не хотел, чтобы Константин де ля Люби о ней узнал, а тем более, чтобы они встретились. Памятуя наказ Мишеля, я сказал, что должен уехать на следующее утро на несколько дней, вот тогда и начну подбирать добровольцев. Проводив его до метро, я вернулся с каким-то гадким чувством. Что-то неприятное было в совершенно неожиданном визите этого господина. Однако вернувшаяся Ренэ и ее переживания отодвинули на задний план впечатления от этой встречи. Как все-таки Ренэ меня любит! Разве это не счастье? Она стала мне еще дороже. А вечером, когда я собирался прощаться, сразили ее слова:

— Сасси, не торопись: я взяла билет на утренний поезд, так мне посоветовали в кассе: он идет прямо до Безансона, нет надобности делать пересадку в Дижоне. И не надо будет болтаться целый день. Это же глупо! Правда, здорово я придумала?

Не выполнить приказа Мишеля! Я заметался по комнате, обхватив голову руками и чуть ли не крича:

— Ой, что ты наделала... что ты наделала!..

Она заплакала. А слезы женщины, да еще такой, как Ренэ, что нож по сердцу. Я принялся ее утешать...

— Сасси, — говорила она, всхлипывая, — что-то в моем сердце неспокойно... Будто оно говорит, что видимся с тобой в последний раз... Так хоть подольше побудем вместе, проведем последнюю ночку...

А если это и впрямь так?! Вдруг это действительно в последний раз? Жизнь ведь такая ненадежная...

* * *

6 июля, в пять часов утра, в дверь громко постучали. Кто бы это? Если Мишель решил проверить, то нагорит же мне! Я притих, обхватив Ренэ...

— Откройте! — и опять настойчивый стук, требовательный, уже грохочущий!

— Уврэ иммедьятеман! Немедленно!.. Полис аллеманд! — и дверь заходила ходуном.

Такой «немецкий прононс», какой часто изображал Мишель. Вот чертяка!..

— Брось ерундить! Хоть бы совесть поимел! — кричу зло, — ну да, я задержался. Сейчас поеду. Чего зря шумишь?

— Уврэ иммедьятеман! (Вот болван!) и я, протянув руку, откинул щеколду. Тут же комнатушка наполнилась людьми. В штатском и в форме СД. С пистолетами в руках. Ума не приложу, как в такой тесной «келье» смогло вместиться шестнадцать человек (а Реймонда утверждает, что она их хорошо пересчитала, их было восемнадцать). Эта мысль вернула меня к действительности и одновременно к шутливому настроению. Я так был уверен в надежности моих документов, что посчитал это вторжение случайной облавой: проверят документы и, извинившись, уйдут. Но... документы никого не интересуют, их даже не спрашивают! Обыскивают комнату, обшаривают карманы брюк, пиджака, проверяют под подушками. А бедная Ренэ в углу кровати стыдливо прикрывается одеялом.

— Где оружие?

— Помилуйте, какое оружие?.. Вы меня с кем-то путаете, у меня его никогда не было!

Только тут стали просматривать документы, вытащенные из пиджака:

— Качурин... Француз, русского происхождения, натюрализэ... Демобилизованный... Не успел из плена вернуться, как уже с коммунистами стал якшаться!..

— Какие еще коммунисты?.. Вон у вас в руках справка, что учусь в автошколе. А для чего? — Чтобы поехать на работу в Германию...

Чувствую, они в замешательстве. Видимо, были уверены, что найдут оружие, встретят сопротивление, что должны будут обезвредить террориста, а тут — парочка!.. Спокойствие, еще не все потеряно! Раз поверили документам — не страшно, явно какое-то недоразумение. Блеснула надежда: с кем-то спутали. Не в фамилии ли «Качурин» дело? Кто он? Не был ли замешан

перед войной с компартией? Тогда это фатально: я ведь о нем ровно ничего не знаю, кроме его фамилии и скупых данных, взятых из «Журналь оффисьель», из сведений о военнопленных. Набираюсь наглости:

— Хотя бы совесть имели, дали бы невесте одеться! Отвернулись бы, что ли...

Агенты отворачиваются, Ренэ одевается, садится на краешек кровати. Осматривают кровать, поднимают матрац... Что они ищут и долго ли еще будут здесь торчать?

— Нельзя ли поскорее, а то я опоздаю на поезд... Побриться можно?

— Брейтесь!

Чувствую, что настороженность и недоверие вроде бы сползает с их лиц. Брился тщательно, аккуратно: усики — мой шанс. Так же спокойно, как ни в чем не бывало, занималась туалетом и Ренэ, ополаскивая лицо у умывальника. Молодец! Тут я «неуклюже» повернулся и вазон с цветком сорвался с подоконника, полетел вниз и вдребезги разбился на крыше сарая.

— Ой, медведь! Мой самый любимый цветок! — это вскричала Ренэ. «Молодец в квадрате!» — восхитился я. Всполошившиеся было агенты, видя неподдельное негодование моей подруги, успокаиваются. Теперь еще раз, не торопясь и более тщательно прощупывают матрац. Другие на выбор просматривают книги на полке, книги на тумбочке:

— О-о, Казанова!.. — говорят и бросают сальные ухмылки, — король любви!..

— А это что такое? — один из агентов зацепился ногой за торчавшую из-под кровати лямку рюкзака. «Ой, как я мог забыть! В нем же немецкая униформа!»

— А-а, это? — деланно равнодушно переспрашиваю я, — это вещи моего кузена. Он служит в вашей армии, был ранен, сейчас где-то лечится... («Пройдет или не пройдет моя отговорка?» — думаю, а на сердце мурашки.)

— Действительно, ранен: ленточка «За ранение», и агент, вяло осмотревший содержание рюкзака, ногой вновь заталкивает его под кровать. («Чудеса: пронесло! Тьфу-тьфу!»)

А дальше... дальше надевают наручники («дурной признак!»), выводят. И сверху и снизу улица перекрыта шеренгами

автоматчиков, движение остановлено. Но сейчас — раннее утро, не видно ни души. А может, все попрятались? Сворачиваем за угол. Там — целая колонна грузовиков и легковушек. Сажают в одну из них, оставляют наедине с водителем-эсэсовцем, а может, и гестаповцем — форма-то одинаково черная! Он спрашивает:

— Откуда ты?

— Из Туниса. Рю де Шампань, номер...

— Рю де Шампань? А какой там дом?

Описываю, как мне обрисовал его Мишель.

— Постой-постой! Я же его хорошо знаю! Сам недавно оттуда. Почти весь город разбит. Но не волнуйся: твой дом, хорошо помню, цел-целехонек. Тебе повезло! Значит, мы почти земляки! — и он протягивает мне портсигар.

— Спасибо, я не курю.

«На ляд ты мне сдался, землячок такой!» — зло подумал, а сам расточаю улыбки вежливости. Вот положеньице!.. Как хорошо, что Мишель так подробно все описал! Кто бы мог подумать, что это пригодится, во всяком случае, помогло выдержать первую проверку... На душе стало легче: выкручусь! Да и водитель высказывает предположение, что произошла ошибка: такое, мол, у них часто случается. Проверят, мол, и выпустят. Явное недоразумение: зачем было из-за меня оцеплять весь квартал? Конечно же искали кого-то сверхопасного, вооруженного... Хотя... что-то не очень всё клеется... Не очередная ли это уловка? Этот гестаповец и вдруг корчит из себя благодушного «земляка»! Нет-нет, тут определенно нечисто!.. Явная уловка! Для чего?..

Одним глазом вижу, как сзади, в другую легковую, сажают Ренэ. Еще дальше сажают Энрико. Бедный старикан, бедная Ренэ! Сколько неприятностей из-за меня. Что будет с опустевшей гостиницей? — в ней же теперь никого!

На рю де Соссэ нас поодиночке поднимают в лифте на пятый этаж. Маленькая, узкая проходная комната-коридор. Справа, за столом — белокурая «фройляйн» в форме СД. Останавливают перед ней, дают ей какую-то бумажку.

— Имя, фамилия? — и она заполняет каллиграфическим почерком готическим шрифтом: «Качурин... Александер...» Когда

доходит до рубрики «Веген» (причина), она, посмотрев в бумажку, красиво выводит: «Шпионаж». Вот-те и на! Значит, всё-таки... Значит, ошибки не было? При чем же тогда «коммунисты»? «Оружие»? «Землячок из Туниса»? Ну и мистификаторы! Да, я слыхал, что гитлеровцы — мастера подобного дела... Эх-хех-хех... В чем же промах?[40]

По окончании процедуры заполнения анкеты, меня вводят в большую комнату. Ужас! — В ней уже несколько человек. Под охраной! Мужчины и женщины. Среди них есть и знакомые: женщина, которой недавно передавал какое-то поручение. По-моему, ее звали мадам Леклерк... Фотограф... Это — провал! Полный!

Глава 12. В НАЦИСТСКИХ ЗАСТЕНКАХ

...Да, я понял, что влип здорово. Но здесь, в холодильнике, я знал: главное — впереди! Если хочу остаться в живых (конечно, если в живых оставят!), необходимо дать признание. Такое, какое бы могло удовлетворить гестаповцев. Они ждут, рассчитывая, что со временем я не выдержу, сломаюсь. А я, действительно, ослаб. Сколько можно терпеть? Самое страшное — ожидание, ожидание в неизвестности. И тут, будто в ответ, иголками кольнуло сразу в нескольких местах моего тела: в пальцах ног и еще кое-где. Р-р-раз! и всё, больше никакой боли. Я вспомнил: организм таким образом предупреждает, что там прекратилось кровообращение, кровь замерзла. Так и есть: эти места побелели, обескровились. Я бросился растирать их изо всех сил. Это занятие оторвало меня от мрачных мыслей. Тереть и тереть! Ага, уже становится больно, но я продолжаю свою работу. Судорожность моих движений сломила инертность одеревеневших конечностей. Я еще живой, раз что-то чувствую! Надолго ли? Не начало ли это конца? Неважно! Вспомнилась латинская поговорка: «Dum spiro spero!» — Пока дышу — надеюсь! А я дышу, значит надеюсь, живу. А раз живу — долой отчаяние! Отец часто мне говаривал: «Нас все равно с Земного шара не спихнуть!» Нет, не спихнут! Без надежды нет жизни. «Надежды юношей питают, отраду старцам по-

дают!» К этому что-то шуточное добавляли легкомысленные студенты... Ага, вспомнил: «Живых в могилы загоняют, и там спокою не дают!» Ну, кажется, всё, отморожения не будет! Чудак же я, однако: его угробить собираются, а он печется, как бы перед тем не обморозиться...

Гестаповцы что-то прознали, а хотят узнать всё. От меня! Моя роль — скрыть от них побольше. А еще было бы лучше — запутать их. Нечто вроде дуэли умов. Кто — кого? Чтобы удалось одержать верх, необходимо вспомнить всё, что предшествовало аресту. До мельчайших подробностей! Понять, о чем они уже знают, что могут узнать. Что было во время моего последнего пребывания в Париже? Ведь именно здесь произошел какой-то прокол. Сомневаюсь, чтобы гестаповцам была известна моя предыдущая жизнь; разве бы оставляли меня так долго на свободе?! Начнем с конца, с момента доставки меня в гестапо, на рю де Соссэ. Пойдем, как говорят украинцы, «от печки»...

* * *

...Итак, в общей комнате сидело несколько человек. Хоть и узнал я только незначительную часть, человека три, но и другие, видимо, были «наши». Мне делали знаки: «Друг друга не знаем, никогда не виделись!» Конечно, а как же иначе! Но все же: что знают они обо мне, что знаю я о них? Надо основательно подумать... Они — последние мои контакты. Двое из них знают, что я — Качурин, но не знают, что я был Соколов и Попович. А что еще? А фотограф? По всей вероятности, мои последние документы — его работа. Так, а при каких обстоятельствах мы с ним встречались? Напрягая память, уточняю детали наших мимолетных встреч. Заранее надо разработать возможные версии и контрверсии: какая из них зазвучит в унисон с их показаниями? А если докопаются до моих документов? Если спросят, где достал? Буду упорно утверждать, что купил их на рынке: там сейчас все можно приобрести! Пойди узнай, у кого!.. Это — на первое время. Хорошо, что я сразу же прикинулся незнающим немецкого, говорю, мол, лишь по-французски... Так, а что было дальше? Ага, меня и Ренэ, сняв с нас наручники (хороший признак!), ввели в кабинет следователя. Вместе! Помню: пристально, как пиявка, впился в нас своими змеиными мелкими глазками гестаповец,

этот толстячок среднего роста. Крупные, чуть подернутые жирком (видимо, из гурманов!) черты одутловатого лица, колючие глаза. Прямой нос, усики «а ля фюрер». Короткие, ежиком, доблеска напомаженные бриллиантином, волосы. Во рту толстая сигара. Ну, как ни говори, буквально все по их стандартной моде: на улице не отличишь одного гитлеровского чиновника от другого — гитлеровец, и всё тут! На столе перед ним — ничего, ни папки, ни бумажки. Но лежит гибкая, собранная из пластин, чертежная в метр длиной линейка (о-о, мне довелось в Бретани испытать, как она отлично, со свистом, хлещет, прилипая к коже! Особенно, если бьют стороной, где барашковые гайки, скрепляющие пластины!). Письменный прибор под мрамор. Рядом, у тяжелого двухтумбового стола, стоял длинный прыщеватый немец, тоже в гражданском. Невыразительное, продолговатое лицо с тонкими губами, маленьким ротиком и тонюсеньким носом — лицо, чем-то напоминающее птичью головку. Воспаленные покрасневшие веки. С первого же взгляда, он мне стал более неприятен, чем его начальник. Интересно, какова его роль?

— Садитесь! — перевел он приказание своего шефа на французский.

«Ага, он — переводчик!» Ну что ж, тем лучше: какой-никакой, а шанс! Мы с Ренэ всем своим видом показываем, что примирились с этим досадным недоразумением, и оно-де нас ну нисколечко не тревожит: мы ведь ни при чем! Какая все же молодец моя Ренэ! Будто угадывает мои мысли и держит себя, как надо!

— Герр гауптштурмфюрер! — угодливо докладывает переводчик: — Это та самая парочка, которую мы подняли с кровати на рю де Ванв...

Вот оно что! Переводчик не просто переводчик, — он тоже участвовал в нашем аресте! Вот только среди таких же типов, а их была тьма, растворился и не запомнился. А ведь точно: это его голос кричал за дверью «Уврэ иммедьятеман!» (Откройте немедленно!). Но нас отнюдь не интересует, о чем лопочет сейчас этот выродок. Мы заняты друг другом: я нежно смотрю на Ренэ и поглаживаю ее руку, лежащую на моем колене.

— Фамилии? — встрепенул нас громкий требовательный голос переводчика.

— Ренэ... Качурин Александр... — и мы, соблюдая элемен-

тарную этику, посмотрели на следователя. Зачем дразнить без надобности!

— И давно это вы женихаетесь? — не утерпел поинтересоваться столь «важным» для него фактом гестаповец. Сделав вид, что не поняли, мы оба вопросительно повернулись к переводчику. Тот стал переводить вопрос. До чего же деревянный язык, никаких носовых звуков! И как медленно подыскивает он слова! «Даже в школе и то лучше умеют!» — хотелось крикнуть этой дубовой голове. Вместо этого отвечаю спокойно и, будто испрашивая разрешения, нежно поглядев на Ренэ:

— Всего с месяц. На днях поженимся.

Следователь долго молчит, щупая глазами то меня, то Ренэ.

— Ваши документы!

Мы услужливо их протягиваем. Он листает, крутит, затем возвращает. Посмотрел на нас. Что-то неясное, непонятное промелькнуло в его взгляде. И он тихо произнес, а переводчик перевел:

— Такие молодые, симпатичные... а ерундой занимаетесь!..

Затем добавил, глянув на переводчика:

— Скажи им, пусть обнимутся и поцелуются!

«Что-то не совсем по их схеме! Непонятно!», но мы с Ренэ с удовольствием выполняем «заказ»: может и в самом деле это наше последнее наслаждение, кто знает, что у них на уме? Вдруг меня охватывает надежда: в словах гестаповца мне почудилось нечто вроде участия, жалости, пожалуй, даже симпатии к нам. Мысль, что арест был ошибочен, опять стала брать верх над разумом. Глупо? Но ведь еще ничего не известно. А вдруг?.. А вдруг «вдруг»? Но тут вспоминаю блондинистую «фройляйн», выводившую красивым готическим шрифтом «Шпионаж», и надежда улетучивается. Сильнее прижимаю Ренэ, шепчу ей: «Ренэ, родная, держись! Через пару дней разберутся и отпустят. Еще и извинятся... Вот увидишь! И мы опять будем вместе!»

— Генуг! — как бешеный, взревел гауптштурмфюрер и схватился за линейку.

— Хватит! — подскочил вплотную длинный.

«Да что они, психи, что ли? До чего же гнусный этот долговязый. Так бы и врезал ему!»

* * *

Во дворе-колодце стояли машины: тюремный фургон и по легковой спереди его и сзади, с автоматчиками — «почетный эскорт»!

«Урок Нанта пошел им впрок!» — ехидно и с досадой подумал я.

В какой это я тюрьме? В Шерш-Миди или в Сантэ? А может, в Мон-Валерьене? Или во Фрэне? Первые три почти в самом Париже, сюда же везли долго... Производят обыск, изъятие недозволенных предметов: документов, продовольственных карточек, денег, перочинного ножа, галстука, шнурков... Все записывают, вещи складывают в мешочек, дают расписаться в правильности описи. Расписку кладут тоже в мешочек, привязывают к нему табличку с моей фамилией... Больше ни Ренэ, ни других я не видел. Сфотографировали в профиль и в фас, с номером на груди. Сняли отпечатки пальцев. «Здесь более расторопны, чем у абверовцев в Бретани! Ничего этого там не делали!» Душ. Меня запирают внизу, в сыром подвальном боксе — камере без окна.

Тот, кто прошел, оставшись невредимым через «огонь, воду и медные трубы», вспоминая о своих перипетиях, стремится доказать, каким-де он был умным и находчивым, в то время как «те» — допрашивающие — были несмышленышами, чуть ли не дураками по сравнению с ним. Что ж, есть в том некая доля истины. Но я бы лично предпочел отдать долг сложившимся счастливым обстоятельствам, мелким промахам дознавателей. Всё зависит от угла зрения! И уж потом... потом можно было бы превозносить и свою изворотливость...

Осматриваюсь. Тюрьма капитальная, современная. Не то, что в Сен-Назере или в Нанте. «Параши» нет, а стоит унитаз, рядом рукомойник. Смывной бачок снаружи, в коридоре. Над дверьми сумрачно светит лампочка в сетке... Первая мысль — о Мишеле: удалось ли ему избежать «мышеловки»? А вдруг он поленился проверить сигнал? Да-а, Мишель, крепенько я перед тобой виноват: выехал бы я накануне, как ты велел, и ничего бы этого не случилось! Эх, Ренэ, Ренэ, как ты нас подвела!.. Да нет, она не виновата... Сам, сам, дурак, виноват, казнить надо исключительно себя: я ведь сам был рад, что останусь с ней еще на одну ночь... Интересно, откуда гестаповцам стал известен мой

адрес? Знали, видимо, и то, что утром я должен был выехать. Об этом я говорил всем, но кто донес? Из тех, кто был в числе сегодня арестованных, больше всех знали обо мне Ренэ и ее отец Энрико. Они знают, что я был в Берлине, откуда и прибыл к ним вместе с Мишелем. Знают о Мишеле и что мы куда-то с ним уезжали; что недавно я объявился у них в немецкой форме и у них стал Качуриным. Сами в том помогали, изменяли мою внешность. Вряд ли будет в их интересе об этом показывать... Но они не знают, что я был Поповичем, Соколовым. Это хорошо, очень даже хорошо! И все же... ой, как много, слишком даже много они обо мне знают!.. И тут, пожалуй, таится главная для меня опасность...

Мои раздумья прервал странный стук: три легких удара, один сильный. Еще раз, еще... Это мне что-то напоминает... Три легких, один сильный... Так это же «ти-ти-ти-та» — три точки, тире! Позывные! Радист! Наши позывные «Дубль В.Т»! В какой-то камере сидит радист. Наш! Дает позывные, вызывает на разговор. Какой, однако, молодец, — здорово-таки придумал! А вдруг это «подсадка»? Осторожность! Как бы не получилось так, как с Кики и «Интераллье»! Пробую ответить костяшками пальцев. Куда там! Больно, а звука никакого. Тут на глаза попадается половая щетка без ручки. Пробую ею стукнуть. Так громко, что страшно! Даю «приём» — та-ти-та. Получилось! В ответ услышал знак вопроса: кто, мол, откуда? Отстукиваю: «Алекс из Парижа». Тишина. Затем, в раздавшемся стрекоте явного профессионала, который еле успеваю расшифровать, разбираю, что мне желают мужества, хладнокровия, выдержки, удачи. Здорово! Даже в тюрьме, через толщенные стены, можно разговаривать! Мне дан «отбой». Через мгновение улавливаю более слабый стрекот: стучали в другую стену. В ответ послышался совсем слабый и неразборчивый звук. Итак, тюрьма узнала о новом «постояльце». Отрадно: хоть и в одиночке, но не один! Вместе с товарищами! Как хорошо, что не один! Так вот почему радист Кристиан на радостях открылся Кики и без всякого сомнения выдал ему адрес Армана! Ничего! Я воспрял духом. Теперь повоюем! Во всяком случае — попробуем!..

Морзянка в политической, да еще в следственной тюрьме — дело опасное, грозит строжайшими наказаниями. В то же время

это — мина, способная взорвать всю схему дознания. Чтобы сохранить возможность переговариваться, надо быть постоянно начеку.

В одиночках живут звуками. Каждый имеет свое определенное значение. Расшифровывать эти звуки, из-за их малочисленности, приучаешься быстро. По раздаче пищи узнаешь о приблизительном времени: утро ли, вечер ли. О прогулках, о бане узнаешь по топоту. По легкому серебристому позвякиванию цепочки наручников или по скрежету кандалов по металлическому настилу пола догадываешься, что привезли или увозят «важного террориста»... Иногда тишина взрывалась истошным криком отчаяния или боли, тут же заглушаемом, и слышишь, как волокут тело. Стал я определять, как кого-нибудь приводят с допроса. Обычно, это бывало к вечеру. И всегда гадал: выдержал ли он или нет? Выдал ли или нет?..

Ранним утром от камеры к камере топали сапоги, слышались приглушенные приказы: «Цур Фернемунг!» (На допрос) или «Цум Трибунал!». И через некоторое время один за другим клацали запоры, хлопали двери, раздавался быстрый топот ног: немцы большие любители быстроты! С замиранием сердца ожидал я своего первого свидания со следователем: в чем меня обвиняют, о ком, о чем будут спрашивать, что именно им известно?..

От «собеседника» по морзе я узнал, что нахожусь в тюрьме «Фрэн», что на допросы возят или на авеню Фош, или на рю де Соссэ; что в нашем корпусе — мужчины, а в корпусе рядом — женщины. С ними связи нет, как ее нет и с корпусом с другого бока, в котором содержатся немцы. Значит, в нашем корпусе Энрико, фотограф и мужчины из группы; а Ренэ и наши женщины — в другом... Иногда, чтобы ответить на какой-нибудь из моих вопросов, собеседник просил обождать, пока не наведет справок... Эх, Ренэ, Ренэ, как жаль, что ты не в нашем корпусе, не рядом!

Ох, как томительно тянется время! Минуты одиночества кажутся часами, часы — сутками... А на допрос всё не вызывают! Странно! Забыли обо мне, что ли?.. Я то сидел, то ходил. Всё думал: где, в чем оказалось слабое звено в нашей цепи, какую легенду или контрлегенду разработать? Исходных-то пока

никаких! И вдруг до меня доносится какой-то потусторонний зов:

— А-лекс!.. А-лекс!..

Это было так неожиданно, что я подскочил на месте. Не схожу ли я с ума? Не началась ли слуховая галлюцинация, начало безумия? Оглядываюсь кругом: нет, вокруг одни толстые стены, шторка на глазке-шпионе опущена. Откуда же могут звать? И имя мое знает! Подошел к отдушине-сетке вентиляционного ствола под по-толком. Зов повторился. Нет, не оттуда, а с противоположной стороны. Но там только унитаз и раковина, ничего кроме них! Впрямь галлюцинация! Нагнулся над унитазом и неуверено и зло сказал в него, скорее, чтобы посмеяться над самим собой:

— Ну да, я — Алекс! И что? Чего дразнишься? — и тут же в ужасе отпрянул:

— Сэ муа... Энрико! (Это я, Энрико!), — загробным голосом ответил мне унитаз. «Заколдованное место», Гоголь!.. И меня затряс нервный смех: что может быть неестественней и смешней, чем этот диалог с унитазом?!

Это действительно был Энрико. Не имея ничего против управляющего гостиницей, его прихватили, лишь чтобы устроить в ней «мышеловку», — гестапо разрешило тюремному начальству использовать его в качестве сантехника. И Энрико стал ходить по этажам, от камеры к камере, проверять и чинить — производить ревизию смывных бачков, водопровода. Когда близко не было тюремных надзирателей, он приоткрывал шторки и заглядывал в камеры. Так и нашел меня. Но сквозь толстую дверь не поговоришь, и Энрико придумал: перекрыв кран в бачок, спустил с него воду и... получил таким образом «переговорную трубу», как на корабле — от капитана в машинное отделение.

Таким же способом Энрико по моим описаниям разыскал некоторых товарищей, наладил между нами связь. Первым из них был фотограф. Затем — арестованный днями позже Анри Менье, другие... Теперь мы знали, кого вызывали или не вызывали на допросы, о чем их спрашивали, какими сведениями располагает гестапо. Пока никому не было ясно, кого винить в провале нашей ветви... Наконец, дней через десять вызвали и меня. К тому времени я был уже кое-как подготовлен...

Будто не зная порядка, я придвинул стул поближе к столу, удобно облокотился. Следователь не препятствовал. На этот раз перед ним лежала тощая еще папка-досье. Иногда он листал ее. Задавал вопросы, переводчик переводил. У меня были преимущества, о которых гауптштурмфюрер не догадывался. Первое: через Энрико я уже кое-что знал, врасплох меня поймать было трудно. Второе: я успевал бегло ознакомиться с содержанием досье. Не с самой сутью того или иного листка в нем, а с его видом, почерком. Третье: пока переводчик, подыскивая французские слова, переводил вопрос следователя, который я и без него понял, у меня было время не только продумать и подготовить ответ, но и заучить его. А это очень важно, чтобы в дальнейшем не запутаться. Меня спасало знание немецкого. Четвертое: благодаря Энрико мы имели возможность, еще в тюрьме, составить некий план. Анри Менье стал руководить нашими ответами, составлять версии...

Допрос гестаповец вел по уже знакомой мне схеме: начинал вопрос тихим ровным вкрадчивым голосом, впиваясь в меня своими ледяными глазками. Затем он начинал «накаляться», постепенно повышая голос и доводя его под конец до «крещендо» — истерического крика, «пожирая» меня налившимися глазами, брызгая слюной и заканчивая последние слова ударами кулаком по столу (иногда в скулу) и внезапно останавливаясь на полуслове. Этот метод «внезапности и запугивания криком» с целью психологически довести человека до «момента истины» был здесь не очень уместен и удачен, так как отсутствовала сама «внезапность»: за истошным криком гестаповца следовал перевод, на него-то мне и надо было отвечать, а к тому времени я уже успевал «отойти от страха».

Через несколько допросов началось другое. Тюремная морзянка сообщила, что гестапо обратилось за помощью к сотрудничавшему с ним «Второму Бюро» (французская контрразведка). Так или не так, не знаю. Но через месяц гестаповцам стало известно, что у большинства из нас документы фальшивые. Начались пытки, допросы и пытки. Каждый день, без передышки, кроме воскресенья. Требовали назвать себя. Только это и ничего более. «Настоящая твоя фамилия, скотина! Твоя!» — орал впадая в раж гестаповец, а с ним и переводчик. Потом в соседней

комнате стала допрашивать «бригада». Но то уже нельзя назвать допросами. То были сплошные моральные и физические издевательства и страдания...

В тюрьме товарищи постоянно подбадривали, просили держаться как можно дольше: арестована была лишь одна ветвь, даже только часть ее. Нужно время, чтобы обезопасить других, дать им замести следы. И я держался. Знал: каждая лишняя минута дорога! Лишь бы Мишель не попался!

На очередном допросе я в досье заметил фотокопию плана Нанта с его противовоздушной обороной. Ой-ой-ой! — ниточка потянулась и до группы «Бретань», до нашей «Сентюри»! Менье, Мишель, фотограф... Ив Селлье, Анж Ле Биан... Констан Христидис, Тереза Бинэ, Клод, радист, Сава... Конечно, фотокопия — работа фотографа. Значит, план был доставлен в Париж. Но ни о ком, даже о Менье, меня еще не спрашивали. Интересно: успели ли этот план передать по радио-фототелеграфу в Лондон? Или же всё пошло прахом? Что с бретонскими друзьями?..

После возвращения с этого допроса — разговор с Энрико, который, на счастье, был тут как тут. Он тоже понимал, как дорога для нас каждая минута. Я попросил его спросить у Менье: как попал план в гестапо? Тот ответил, что понятия не имеет, но что саму схему успели передать в Центр. Откуда же она здесь? Я считал, что раз она выполнила свою роль, ее следовало бы уничтожить. Загадка за загадкой!

Про мои фальшивые документы спрашивали у Энрико. Он показал, что не имел о них ни малейшего понятия, — считал их настоящими. Значит, будут и дальше выбивать истину из меня. Видимо — завтра. Этого и надо было ожидать. Страшно! Сперва буду отказываться, потом скажу, что купил их на рынке. Возможно, гестапо еще не знает, что их изготовил фотограф. Тут, через Энрико, фотограф сообщил: сделав фотокопию плана — уменьшенный, годный для трансляции диапозитив — сам оригинал он тут же уничтожил, снимок передал в Центр. А диапозитив он обязан был отдать связному, чтобы тот сдал его в архив сети. Какой еще к черту архив в подполье! Кто связной? Как этот диапозитив оказался в гестапо? Менье передал, что занимается «вычислением» виновника нашего провала, но данных пока маловато...

Мое упорство вывело гестаповцев из себя, и допросы приняли новую фазу: в самом начале стали раздевать догола. В смежном кабинете, рядом с тем, где до сих пор допрашивали, с привинченным к полу табуретом и столом с какими-то специальными захватами, целая бригада костоломов приступала к моей обработке. Эти нелюди были настоящими мастерами своего дела. Чего только ими ни было придумано и разработано, чтобы вызывать самые жуткие страдания! Им нужны были лишь конкретные, четкие ответы, иные им не нужны. До сих пор в ушах раздается их садистский смех, крики, ругательства...

Через Энрико продолжали передавать: держаться, еще чуть-чуть держаться!.. Конечно же, и другим из наших было ничуть не лучше, и я упорствовал...

Наконец и сам переводчик, бывший до тех пор почти бесстрастным исполнителем своей роли, подскочил и заорал:

— Хватит, скотина! Хватит врать! Правду говори, правду!..

Глаза его налились кровью, бешено сверкали. В крике он обрызгал меня своей мерзкой, тягучей слюной... Сколько же, гады, вы будете надо мной измываться! Я понимал ярость следователя. Понимал и рвение гестаповских костоломов: они — враги, и я для них — враг. Стараются, как умеют, как их учили, чтобы с моей помощью рассекретить всю сеть. Но при чем тут этот чиновник-переводчик? Ему-то какое дело?.. И вид этого, ни с того, ни с сего взбесившегося недоноска, этой тупой никчемности, наймита, ублюдка, — именно он и взорвал меня, и я сорвался. Какими только словами не обзывал его, чтобы ранить побольней. Жаль: мало я знал французских бранных слов, и не любил, не привык ругаться, но тут стал изощряться, как мог. Перешел и на русский, — тут я был специалист. Стал добавлять самые смачные ругательства, какие знал и на других языках. Всю перенесенную и переносимую мной боль я перевоплощал в наслаждение выплескивать оскорбления... Наконец, в пылу ярости, я смачно плюнул в его склонившуюся надо мной харю... Ну и они в долгу не остались!..

— На отдых его! — было последним, что донеслось до меня сквозь туман...

* * *

Очнулся я в камере от холода. Не в своей, а в этом морозильнике на авеню Фош, а может, на рю де Соссэ — до сих пор я толком еще не знал где. Все мое истерзанное тело ныло, щемило, кусало, пекло... Не помогал и этот холодный наркоз — ледяной пол. Как в тумане, представлялся весь путь, который я проделал до этой преисподней... Сейчас голова была светлой, хоть в ней и гудело. Я напряг свой мозг... Нет, они ничего не смогли мне предъявить — ни о моем прошлом, ни о моей причастности к группе «Бретань»... Не узнали, что я был Соколовым, Поповичем... Но что я не Качурин — знали. И их интересовал вопрос, кто же я на самом деле? Тут в голове завертелось, охватила слабость, я стал впадать в странный покой. Ни боли, ни холода — полное безразличие. Последним вопросом было: сколько суток я уже в морозильнике? Стало казаться, что изувеченное тело оставляло меня. Не я его, а оно меня. Наступило тихое, безмятежное забытье...

Нет, я еще жил. Будто сквозь сон чувствовал, как меня ставят на ноги, выводят, поднимают на лифте, ведут по длинному коридору... Навстречу — две женщины-гестаповки. Куда я попал? Вид женщин заставил глянуть на себя: Боже, я же — голый! В чем мать родила! В таком постыдном виде и... перед женщинами! Безразличие сменилось стыдом, стыд закипел новой злобой. И странная дрожь затрясла все тело...

...Окончательно очнулся на стуле, в теплой комнате следователя. Значит, я все это время находился на рю де Соссэ. Стал ощущать тепло, тело заколотило еще больше, еле удерживался на стуле. Хорошо, что уперся в его спинку. Конвульсии били, будто тысячу ударов током пронизывали меня с головы до ног. Никогда не думал, что смена температуры способна произвести подобный эффект. И стыд, жуткий стыд! Гестаповцы молча наблюдали. Их передо мной было двое: гауптштурмфюрер и тот прыщавый переводчик. Приведшие меня расположились сзади. Так прошло некоторое время.

— Ну, упрямец, ослиная голова, скажешь теперь, как твоя настоящая фамилия?

Я пытался ответить, но это оказалось не под силу: ни язык, ни челюсти не слушались, стали будто дубовыми, мертвыми, и в то же время прыгающими. Пробовал помочь руками, но и руки

не слушались, были ватными, чужими, словно приклеенными. Ноги вытанцовывали сами по себе, стул скрипел, я на нем подпрыгивал. Вот-вот грохнусь. И в то же время мысли судорожно работали: время было выиграно, теперь нет никакого смысла отрицать то, что они и без меня знали, — что паспорт фальшивый. Надо представить себя окончательно сломленным, готовым признаться во всем, и в том, что было, и в том, чего не было. Как объяснить, почему я так долго упорствовал? Чего я боялся? Ведь боялся же чего-то! Эта правдоподобная версия давно оформилась, проверялась и перепроверялась. Уверен, что она пройдет. Надо только вести себя поубедительней, показать себя до смерти напуганным и одновременно смирившимся со своим горьким поражением:

— Я-я-я... Г-г-г...лян..нн..цев... Бегт...лец из плена... Югггослав... — чуть не по складам выдавливаю из себя признание: — Бежал из Штайнбаха... Вввидел, как там вешают пойманных беглецов и... б-б-оялся... Не хочу, чтобы меня повесили...

И зарыдал. Не знаю, текли ли слезы из глаз моего обезвоженного холодом лица, но я усиленно всхлипывал, обхватив голову руками. Все, обступившие меня и пригнувшиеся, чтобы получше услышать и разобрать мое блеяние, при этих словах отпрянули. Будто мина взорвалась! Растеряны, переглядываются... На их последующие вопросы я также медленно и отрешенным голосом отвечал, что исколесил всю Францию, промышляя то тут, то там поденным заработком и нигде подолгу не задерживаясь. И вот, подработав, мне удалось купить документы. Заплатил недорого, у меня осталось еще почти на месяц жизни. Устроился в дешевенькую гостиницу, поступил в автошколу, познакомился с дочерью управляющего, мы полюбили друг друга. Думал: закончу школу, наймусь на работу в Германию — там лучше платят — накоплю денег, и мы поженимся!.. И вот... теперь все рухнуло: меня ждет виселица! Тут я запричитал по-сербски «Судбина ти моя горка...» и так далее...

Гестаповцы молчали, бросая на меня брезгливые взгляды...

* * *

...Новая камера во Френе, куда меня привезли все еще голым, находилась на пятом этаже. В нее вбросили и мою одежду. В камере было трое. Они бросились ко мне, уложили на койку и

принялись растирать и массировать. Затем накрыли всеми одеялами. Я тут же стал засыпать...

— Все-таки ты выжил!..

— Думали, еще одному каюк...

— Ты пробыл там трое суток... — разбирал я сквозь охватившую меня дрему. Затем передо мной все померкло.

— Ты — седой! Сколько же тебе лет? Или всегда был таким? — первое, что я услышал, проснувшись. Говорили, что я проспал двое суток. С постояльцами сразу же установился дружеский контакт.

* * *

Старшим по камере, отнюдь не по возрасту — ему было всего сорок — сорок пять — был Ноэль Бюрдейрон. Старожил, сидел уже более года. Своим отношением и поведением он вызывал всеобщее уважение. Уроженец города Довиль в Нормандии, он оказался в Лондоне, где работал метрдотелем в фешенебельной гостинице «Дорчестер». Чтобы добиться такой должности, надо обладать сверхобаянием, привлекательной внешностью, внутренним лоском, культурой и высокой эрудицией. Ему пришлось удалить все зубы и заменить их блистающими белизной протезами. Да, ради престижной профессии идут и на такое! Семья его — жена и дочь (при мне ей исполнилось девять лет) — по-прежнему жила в Довиле. Оккупация родины привела его в ряды Сопротивления. Французской армии уже не существовало, и он завербовался в агенты «Френч Секшен» — французской секции британских секретных служб, при «Интеллидженс Сервисе» (ИС). В апреле 1941 года он, закончив разведшколу, спустился на парашюте на западе Нормандии, под псевдонимом «Гастон», он же — «Фрэнк Норман Бёрлей».

— Фрэнк, — доверительно разъяснял он, — потому что я француз, Норман — нормандец, а Бёрлей — толстый. Я был ужасно толст. Смотри: кожа сейчас висит на мне, как пленка лопнувшего воздушного шарика. Сверхумеренность здешнего питания сыграла положительную роль: я уже не толстый, а даже грациозный...

И он приятно рассмеялся, довольный своей шуткой. Ноэля никогда не покидало чувство юмора!

Одновременно с ним, из того же самолета, спрыгнул и преданный ему радист, по кличке «Ксавье». Ветром их разнесло. Но «пианисту» не повезло: почти сразу же его опознали, как давно разыскиваемого уголовника, и арестовали. Перед войной он был осужден, но с приходом немцев бежал из тюрьмы. Так Ноэль лишился связи с Центром. Первое время скрывался у жены в Довиле. Времени зря не терял: производя разведку местности, он обнаружил важный объект — немецкую воздушную базу в Камп-Карпике. Составил план аэродрома, средств его защиты, разведал техническое оснащение. Все данные зашифровал. Но как передать все это в Лондон? И тут, на одной из улиц, он лицом к лицу столкнулся с Пьером Вомекуром — «Лукасом», с которым вместе обучался в разведшколе...

— Постой-постой! Говоришь, «Лукас»?.. Вомекур?.. Так это же «Автожиро»! — не выдержал я, чтобы не блеснуть своей осведомленностью.

— Вот-те и на! А ты-то откуда это знаешь? — Лицо Ноэля вытянулось, и он уставился на меня с изумлением.

Я рассказал ему все, что слышал от Менье.

— Точно, так оно и было. Очень хорошо и дальновидно придумали: оповестить и предупредить всех своих. Хорошая мера предосторожности! Но о твоем Менье я ничего не слышал...

— Немудрено. За год, что ты здесь, появилось много нового. «Гибнет один, его место займут другие!» — не так ли?

Итак, через Лукаса и его сеть «Автожиро» Ноэль вновь оказался у дел. К сожалению, ненадолго. Кое-что об «Автожиро» все же удалось проведать «Кошечке»...

— Она уже не «Кошечка», а «Виктуар»! — поправил я.

— Совершенно верно, проклятая «Виктуар»...

Уже многие члены сети Лукаса ходили у абвера «под колпаком». И когда абвер понял, что его провели и что «Виктуар» никогда больше из Англии не вернется, он решил наложить лапу на всех. В том числе и на Вомекура, вернувшегося во Францию под кличкой «Сильвен». Разведчики попытались скрыться. Ночью к побережью должен был прибыть катер и переправить их в Англию. Увы, на пути к нему они нарвались на засаду. Завязалась перестрелка. Немцы предложили сдаться, пообещав им ста-

тус «военнопленных» (все они предусмотрительно под гражданское надели английскую форму) и дали им в том честное слово, назвав свои фамилии и звания. Однако трибунал собирался вынести приговор: «К расстрелу, как шпионов»! Тогда взял слово Вомекур, возмущаясь вероломством и бесчестием немецких офицеров: «Об условии нашей капитуляции известно Лондону. Там станет известно и о нарушении данного нам немецкого офицерского честного слова». Судьи замялись и выразили сомнение, что Лукас может связаться с Лондоном из тюрьмы.

— Не верите? Что ж, это просто доказать: назовите какую вам угодно фразу, и через две недели вы ее услышите по Би-Би-Си. Это и докажет, что Лондону всегда известно, что творится здесь, даже в тюрьме...

Нацисты дали условную фразу, суд на время отложили. В день и час, указанные Вомекуром, она прозвучала дважды. Суд отменили, всех объявили военнопленными. В лагерь пока не отправляли. Так я и узнал, что во Фрэне, кроме связи между камерами, существует связь с подпольем. Действительно, в каждой второй-третьей камере сидели арестованные радисты. Это лишний раз доказывало, насколько уязвима их профессия. Но продолжим о Ноэле.

То был настоящий друг и товарищ, всегда приветливый, доброжелательный. Когда кого-нибудь вызывали на допрос, он клал ему руки на плечи и пристально вглядывался в глаза, произнося короткое напутствие: «Помни и никогда не забывай о твоих товарищах!» Его крепкое рукопожатие, обычное в такие моменты, придавало храбрости и одновременно было требованием помнить, что судьба друзей — в твоих руках. Возвращавшихся с допросов он встречал добродушными шутками: «Вот это да! На славу тебя обработали! Красиво отделали твой фасад! Специалисты! Видно, израсходовали на тебя все силенки, теперь охают и падают от усталости. Бедные мальчики!» Никто из нас не превозносил самого себя, но, благодаря Ноэлю, каждый сознавал свою моральную силу и свои обязанности.

С раннего утра и несколько раз в день Ноэль заставлял нас заниматься гимнастикой. Требовал идеальной чистоты: паркет должен был блестеть. И поочередно мы брали в руки деревяшку — остаток половой щетки (как та, что была в моей первой

камере-боксе) и с силой драили пол. Кроме того, этим же занимались и тогда, когда были выведены из равновесия горячими спорами и ссорами, когда нервы, возбужденные после допроса, были на пределе. Это занятие успокаивало: всю свою желчь мы вымещали на паркет. Правда, ссоры возникали редко, но пол блестел, как каток. На нем никогда не было ни пятнышка! Вспоминаю случай.

Как-то неожиданно ворвался в камеру фельдфебель Гиль (тюремщиками были вермахтовцы, то ли отдыхавшие после фронта, то ли поправлявшиеся после ранения). Гиль был старшим по этажу. Возможно, он хотел застать нас врасплох, чтобы произвести обыск. Он ворвался, сделал быстрый шаг, но подковы его сапог скользнули как коньки, и он с размаху шлепнулся навзничь, задрав обе ноги кверху. Мы не поняли, что произошло, ожидали бури. Он, лежа в самой нелепой и смешной позе, смотрел вопросительно на нас снизу. Видимо, и сам растерялся. Обвел нас глазами, перевел взгляд на торчащие в воздухе ноги и... ка-а-к грохнет со смеху! Затем осторожно поднялся и, балансируя растопыренными руками, попятился к двери. Оглянулся и произнес:

— Фабельгафт!.. Фабельгафт — зо гленценд! (Сказочно надраено!)

Дверь за ним захлопнулась, клацнули запоры и мы услышали его громоподобный голос: он кому-то рассказывал, что, мол, «у них в камере так надраено, что я шлепнулся, как куль с мукой! Не «Хенде хох!» а «Фюссе хох!» (не руки, а ноги вверх!)... Фабельгафт, ха-ха-ха!». Через час он дошкандыбал, хромая, до нашей камеры и, не рискуя войти, вручил через дверь огромный ящик-посылку «Секур насиональ»: — «За сказочную чистоту!» Вместо ожидаемого нами разноса — премия!

* * *

Тон дружбы и взаимоподдержки царил не только в самой камере. По утрам, сразу после подъема, и ночью, перед отбоем, наш «папа» (так мы его справедливо прозвали) Ноэль высовывался из окна и, выкрикивая соответственно «Гуд морнинг!» или «Гуд найт, олл бойз!», сопровождал последнее пожелание гимном «Гоод сев зе кинг!» (Боже, храни короля!). Ему отвечали из многих окон на всех этажах.

В тюрьме было много английских, американских, канадских летчиков и радистов. Да и для французов пожелания Ноэля были понятны: английский язык был здесь как бы интернациональным. В торжественные и радостные дни, когда до нас с воли проникали сообщения о победах или значительных успехах на фронтах, вся тюрьма оглашалась пением не только «Марсельезы» и английского гимна, но иногда и «Интернационала»: как-никак, а разгром гитлеровцев под Сталинградом вызвал большие симпатии к русскому народу. При исполнении «Интернационала» тюремщики бесились особенно. Слышался грохот, шум беготни по стальному настилу коридоров, истошные крики: «Руиг!.. Хальт ди шнауце, ферфлюхт нох маль!» (Тихо! Молчать! Проклятье!) и другие ругательства. Лязгали засовы, хлопали двери... И звуки этого гимна заканчивались неразборчивым мычанием затыкаемых глоток. Один раз донеслись до нас «Марсельеза» и «Интернационал», исполняемые женскими голосами: нас поддержали из женского корпуса! Я уверен, что разобрал и бархатный голос моей дорогой Ренэ... Как она там? Позже я обратил внимание на долгое отсутствие Энрико. Что с ним? Через несколько дней, на мой вопрос, мне отстукали, что Энрико и его дочь только что выпущены на волю. Если так, то пробыли они в тюрьме не более трех месяцев. Увижусь ли с ними? Где? Когда? Жизнь полна неожиданностей, на эти вопросы ответит одна из них, самая что ни на есть непредвиденная![41]

* * *

Вторым жителем нашей камеры был сразу же меня заинтересовавший молодой парень. Это он осуществлял связь со смежными камерами (моя правая рука после пыток не действовала — были повреждены нервы и сухожилия, а левой еще не научился). По его стрекоту было ясно, что он — профессионал. Однажды, после того, как я с довольно странным и настойчивым любопытством приглядывался, он спросил меня:

— Хоть ты и «Алекс из Парижа», но не доводилось ли тебе бывать в Сен-Назере, Нанте? Не слыхал ли о Пюсе»?

Меня бросило в жар. Бисеринки пота выступили на лбу. Он похлопал меня по плечу:

— Ладно, извини. Я, конечно, ошибся... Но чего ты так разволновался? Я же обознался. Видишь ли, сам я из Сен-Назера.

Попал в случайную облаву. Но у меня все в порядке, уже сообщили, что скоро выпустят. Там у меня друзья, знакомая Тереза. Если бы ты их знал, я мог бы о тебе дать весточку. Ладно, забудем...

Я понял: он меня узнал. Кто он такой? Вдруг «наседка»? Очень подозрительно и опасно! Я заметался, делая самые худшие предположения, обдумывая, как все это связать с Мишелем, с Терезой. Благодаря Энрико я знал, что до них, до Констана Христидиса руки гестапо еще не дотянулись. И на допросах о них речи не шло. Спросить у Менье, но как? Энрико уже нет, стуком тоже нельзя: радист этот тут же расшифрует. Я замкнулся, стал ожидать худшего. Выручил Ноэль. Этот тонкий психолог заметил мое состояние после разговора с парнем и дал понять, что опасаться нечего: в камере нет предателей. На душе отлегло. В дальнейшем выяснилось, что радист этот и был тем, кому «Пюс» передал рацию, с кем контактировала наша связная — Тереза...

— Я сразу же тебя узнал! — признался он позже: — Видел тебя с Пюсом, в такой же униформе. Вы шли вместе. Ну а твоя растерянность подтвердила, что я не обознался. Ладно, но, знаешь ли, надо держать себя в руках получше, управлять нервишками...

«Легко ему болтать!» Пробыл он недолго, его освободили. И запомнился он мне мало. Через него в Сен-Назер я отправил Терезе привет, об остальном он сам ей расскажет. То, что его выпустили, было доказательством, что гестаповцы докопались далеко не до всего. Завидовал: вернется он, и опять за работу, будет тихонечко попискивать, а по его сообщениям будут сыпаться бомбы, нанося немалый урон врагу. А я тут... э-эх!

* * *

Третьим постояльцем был пожилой, самый старший в нашей камере, банковский служащий-«бурсье», по имени Шарль, лет пятидесяти — пятидесяти пяти. Фамилия была громкой — д'Орлеан. Шарль д'Орлеан, как и подобает носителю подобной королевской фамилии, был убежденным роялистом. Отвергая республику, не соглашался даже на конституционную монархию. Мечтал об абсолютизме, естественно с Орлеанской династией во главе. Прочил себя и свою семью в наследные правители.

Оккупацию Франции и ее поражение в войне он объяснял многопартийностью предвоенного режима и, как следствие этого, — загнивание строя. За что арестован? — «А ни за что! — считал он: — По просьбе друзей я предоставил кров двум сбитым американским летчикам. Об этом и донесла консьержка». Оккупантов он не то что не терпел, но поддерживал всех, кто действовал против них: «Франция должна быть только для французов!» — это было его кредо. Одновременно он был против «террористов». Из-за них и им в отместку, — считал он, — гитлеровцы ожесточились и прибегают к репрессиям». Короче, во всем виноваты «террористы», из-за них страдают такие невинные люди, как он. Сам он никогда не мыслил принимать какое-либо личное активное участие против агрессоров и оккупантов. Зачем? Ему и так неплохо жилось. На то — немало военных специалистов, кадровиков, им и положено заниматься войной. А молодежь? Она тоже должна участвовать в борьбе, но в легальной. Он знал, что занесен в списки «отаж» — заложников, что в любой момент им могут пополнить десятки тех, кто расплатится за чью-то «черную» работу — диверсии, покушения, уничтожение офицеров вермахта. Кроме того, он был твердо убежден, что гитлеровцы не осмелятся поднять руку на столь достойную фамилию. Пожалуй, в этом он был прав... И, по-моему, его пассивность довела до того, что он чувствовал себя, как ни странно это звучит, совершенно спокойно: «Чему бывать — того не миновать!»

* * *

За решетками из толстых прутьев на нашем окне приветливо голубело августовское небо. Я стоял у раскрытых створок. (Как хорошо, что на окнах нашего этажа нет «намордников»-козырьков!) С наслаждением полной грудью вдыхал воздух. Наша камера после подвального бокса и морозильника казалась раем. Разве не рай?! По-истине, наш этаж это — «люкс»!

Напротив серой громадиной тянулся корпус, такой же, как и наш.

— Там, — прервал мои наблюдения Ноэль, — сидят немцы из вермахта. Или за дезертирство, или за нарушение дисциплины, — за воровство, спекуляцию. А наш корпус — между ним и нашими женщинами...

Тут в глаза ударил солнечный зайчик. Я увидел в одном из окон напротив «светлячок»: осколком зеркала кто-то настойчиво старался привлечь наше внимание. Рискнуть? Немцы ведь тоже люди, а заключенные — почти что братья, хотя бы по несчастью. Я прикрыл одну из створок и на ней, как на бумаге, вычерчивая букву за буквой, задал по-немецки вопрос: «Вер бистду?» (Кто ты?)

— Скоро освободят, — таким же способом начертали оттуда. — Что и кому передать в Париже?

Я перевел ответ Ноэлю.

— Очень интересно... Думаю, риска не будет.

Закон солидарности — удивительно благородный закон. В данном случае была солидарность между узниками против их тюремщиков. Перед лицом общей беды и опасности вступает в силу закон взаимоуважения и взаимоподдержки, отбрасывая в сторону всю шелуху предубеждений и бывшего антагонизма. Так и здесь: немецкие заключенные перестали быть для нас гитлеровцами. Они — жертвы того же режима, против которого мы боролись. И мы для них перестали быть врагами. Неважно, кто и за что сидит: тюрьма сравняла всех, как всех равняет смерть. Так началась связь с немецкими заключенными. Вначале мы им сообщали адреса только что доставленных в тюрьму арестованных. Пусть сообщат их родным. Немцы после освобождения (большинство из них имело мизерные сроки) минимум две недели проводили в Париже, пока их формировали для отправки, как провинившихся, на Восточный фронт. Они знали: за помощь французам им тоже могут оказать услугу. А в ней нуждались многие. После Сталинграда, трехдневного траура, последовавшего затем «эластичного выравнивания фронта» (как именовалось начавшееся откатывание перед рвавшимися вперед советскими войсками), а перед тем — крах Роммеля в Африке — всё это отрезвило солдатские головы, опьяненные ранее легкими победами. Равно, как и бесчисленные массовые бомбардировки самого их «фатерлянда». За что драться, становиться калеками, погибать? Стоит ли? Нет, простым людям никакие войны не нужны. Ни «справедливые», ни «несправедливые». Мир — лучше и справедливее, но... когда он наступит?

Скоро связь заработала основательно и продуктивно. Немецким солдатам стали давать адреса «родственников». Кстати, меня поразил один любопытный факт. Из «собеседований» с немцами я узнал о чудесах гитлеровской юстиции — Фемиды: за один мешок украденного цемента ефрейтору дали столько же, сколько за два вагона офицеру — три месяца! Может, офицер, как таковой, пользуется льготами? Справедливость по-гитлеровски? Впрочем, в дальнейшем мне довелось встретиться с не менее интересными капризами богини Справедливости. На этот раз — не немецкой...

* * *

Меня интересовал и еще один вопрос: как из тюрьмы осуществляется контакт с волей, о котором намекнул «папа» Ноэль? Как старожил, Ноэль пользовался неоспоримой привилегией: только он принимал наши пайки и миски с эрзац-кафе и «зупе» — тюремной баландой. Хлеб делить не надо: здесь выпекали маленькие буханочки на каждого. Ноэль получал пайки через кормушку и передавал их нам. Как только тележка подкатывала по рельсам, что хорошо было слышно еще издали, «папа» уже стоял у кормушки. Принимая порции, он наклонялся, чтобы разглядеть раздатчика-калифактора. Если это был кто-то из его группы (группы Вомекура), они регулярно обменивались записочками.

— Признаюсь, — ответил на мой вопрос Ноэль, — среди калифакторов бывают наши. Мы, старожилы, через них и общаемся. А те, кто получают передачи, связываются с волей...

И он показал только что полученную записку, на которой с обратной стороны был отмечен номер нашей камеры и его имя.

Дважды в месяц преимущественно те, над кем следствие было завершено, получали передачи из дому. По первым и третьим четвергам — фамилии от «А» до «К», по вторым и четвертым — от «Л» до конца алфавита. Бюрдейрон тщательно готовился к своим четвергам. Выдернув длинную нитку из простыни (иголка у нас была, хоть это и «запрещенный» предмет), он «вштопывал» в пятку своего толстого шерстяного белого носка послание, написанное на папиросной бумажке мельчайшим почерком и скатанное в шарик. Вштопав шарик в носок, он старательно пачкал это место и обрызгивал водой. В посылках, кроме

еды, всегда передавалась смена нижнего белья и, конечно, пара или две таких же старых, штопанных-перештопанных носков. Обратно в чемодан передачи клалось грязное белье. В чистых носках приходили такие же шарики-записочки. В них были не только лаконичные фразы личного содержания, но и сведения, касающиеся подполья.

Четверг. Вдали загрохотала тележка. Несколько раз останавливается, едет дальше, приближается к нам. Остановилась у дверей. Шуршанье, шум, что-то ухнуло, тележка покатила дальше. Есть передача! Кому — известно: сегодня день Ноэля. Впрочем, только он и получает передачи. Шарлю почему-то их не было. Минут через 10–15 лязгают засовы, дверь открывается. На пороге фельдфебель Гиль. Ногой в несколько приемов, он подфутболивает и вгоняет в камеру чемодан-передачу. Вскрывает, начинает досмотр. Банки с джемом, тушенкой открывает, хлеб разрезает вдоль и поперек, овсяную муку (незаменимая и очень сытная приправа к жидкой похлебке!) пересыпает из кулька в кулек. Перелистывается разрешенная к передаче тетрадочка «Ри-ля-круа» — папиросной бумаги. Проверяет и табак, «брикэ-а-мэш» — зажигалку со шнуром. Белье прощупывается, просматривается на свет. Также тщательно осматриваются и носки. Напоследок Гиль крутит в руках кусочек карандаша: «Дать или не дать?» Махнул рукой и отдал, хоть предмет этот и запрещенный. Очередь за грязным бельем. С видимым отвращением трусит его и бросает в чемодан. Двумя пальцами брезгливо берет влажные (видимо, «потные») носки. Встряхивает их, велит Ноэлю вывернуть их наизнанку и... они тоже летят в чемодан. Так же ногой Гиль выталкивает его за дверь. Слышно, как тележка совершает обратный рейс, подбирая чемоданы... Друзья и родные на воле получат весточки! А Ноэль не спеша приводит в порядок полученное. Продукты, деля их мысленно на порции на 14 дней, размещает на полке. Закончив с этим, он приступает к самому главному — высвобождению из штопки полученной записки. Мы все на «атасе», закрывая Ноэля от глазка. Иногда бывают весточки и для нас[42].

* * *

В конце августа, после освобождения радиста, на мои плечи легла обязанность — связь с соседними камерами: я был един-

ственным, кто владел морзе. Первым делом уведомил соседей о причине изменения «почерка». Учиться стучать приходилось левой рукой. Весть об освобождении товарища была соседями встречена с восторгом.

Идет сеанс передачи. Товарищи у дверей навострили уши: не шаркает ли поблизости тюремщик в своих соломенных калошах, надетых на сапоги, не шуршат ли шторки глазков на соседних дверях? Если что, меня предупредят, и я оборву перестук условным сигналом тревоги. Шарль д'Орлеан, претендент на трон, по закону солидарности, тоже на атасе...

* * *

Однажды быстрый топот ног оборвался у наших дверей. Клацнул запор, в камеру втолкнули новичка. Дверь захлопнулась. Новенький явно растерян: обводит нас глазами. Хорошо его понимаю: «Куда я попал? Кто эти люди? Как меня примут? Сколько здесь придется пробыть? Что будет со мной дальше?» Сочувствую его немым вопросам, но что ответить? Рассматриваем с любопытством: кто он сам?.. Высокого роста, худой, но жилистый. Чуть постарше меня. Продолговатое лицо с открытым высоким лбом. Слегка вьющиеся волосы, тонкая шея (сразу видно: спортом не занимался!). Длинные тонкие пальцы (не пианист ли?). Опрятный вид, одет по моде, хорошо отутюженный спортивный костюм (арестован недавно, из зажиточной семьи!). Странно: на нем теплая, не по сезону, канадская куртка цвета хаки с широким меховым воротником, ботинки типа альпийских, с толстой подошвой («не летчик ли или парашютист?») Сравниваю его появление со своим. Не сравнить — о моем существовании в камере узнали прежде моего в ней появления. И когда меня втолкнули сюда голого, с посиневшим дрожавшим телом, то приняли как старого, уже оплаканного знакомого. А новичок — как снег на голову! Откуда он? Кто такой?

— Морис Монте — представился парень. — Привезли из форта Монлюк... Лионской тюрьмы. К счастью, руки начальника гестапо, Клауса Барбье, до меня не дошли...

Поочередно, представляемся и мы. Сразу же засыпали его вопросами: что нового на воле, что слышно о Втором фронте, скоро ли погонят оккупантов? Ответы подтвердили то, что мы

знали и так: в тюрьме были довольно свежие сведения. На Второй фронт пока никаких надежд!

— Ну что ж, располагайся! — наш «папа» сразу же перешел на «ты» и указал на освободившуюся койку радиста. — Вдруг и тебе на этом месте улыбнется счастье: несколько дней назад ее хозяина выпустили на волю.

— Ну нет — запротестовал Морис. — Мне такого не светит!

— В нашей камере закон: надежды не терять! Пути Господни неисповедимы. Быть пессимистом не дадим!

Расспрашивать, за что арестован, было не в наших правилах: захочет — сам расскажет. Пусть даже то, о чем знает гестапо, — мы в претензии на это не будем. Но Морису, как оказалось, утаивать было нечего. После допросов в лионском гестапо и одиночки в Монлюке ему и самому хотелось выговориться, услышать наш прогноз на его дальнейшую судьбу. Итак, кто он, за что арестован?

* * *

Старший брат Мориса, Люсьен, военный летчик, после разгрома Франции перелетел в Лондон и стал служить у генерала Де Голля. Получив от него задание, он спустился на парашюте во Францию, где создал разведсеть — «рамассаж». В ее задачу входил розыск и переправка обратно в Англию летчиков со сбитых «летающих крепостей», а также и «погоревших» агентов. Для этого надо было организовать «цепочки» и «окна»-переходы — «фильер» через Пиренеи в Испанию, откуда спасенных переправляли бы в Великобританию. Каудильо Франко, сохранив нейтралитет, заигрывал с союзниками и им не препятствовал. Во главе сети, названной «Брэнди», был поставлен брат Люсьена — Морис, под кличкой «Мартель». Сам Люсьен вернулся в Лондон...

— Таким образом, — продолжал Морис, — я и стал «Симоном из Лиона». Это — моя дополнительная кличка для связи с Центром...

— Симон из Лиона? — переспросил я. — Мне часто приходилось слышать по Би-Би-Си: «Здесь Лондон... Французы говорят для французов. Передаем Симону из Лиона специальное

сообщение...» Запомнилась забавная и непонятная шифрограмма о каком-то кардинале...

И Морис рассказал историю с этим «кардиналом», который кардиналом никогда не был. Она, история эта, очень характерна, как картинка работы подполья.

* * *

...Турню, город в департаменте Сона-и-Луара. Зима 1942–1943 гг. выдалась не особенно холодной, снег таял быстро. Повсюду журчали ручейки талой воды, стояли лужицы, по ночам покрывавшиеся тонкой пленкой льда.

Недалеко от Турню, в районе поселков Кюизери и Прати, было несколько полей, годных для приема самолетов, то есть для акции «аттериссаж». Небольшие гитлеровские гарнизоны были примерно в тридцати километрах — в городах Маконе и в Шалоне-на-Соне. Главная резиденция гестапо находилась в Лионе, в семидесяти километрах от Турню. Следовательно, быстрого реагирования гитлеровцев можно было не опасаться.

Ожидалось прибытие группы радистов с рациями для комплектования некоторых разведсетей деголлевской ветви Сопротивления. Как обычно, и на этот раз Центр решил использовать способ «челнока»: доставив радистов, тем же самолетом забрать тех, кому дальнейшее пребывание на территории Франции грозит гибелью.

Время для таких операций выбиралось в дни полнолуния, когда ночи светлые: легче при посадке. Район операции, дата и час обусловливались заранее. В данном случае это был район Турню. А на какое именно из предложенных полей сядет самолет — об этом Центр сообщал в последний момент. Каждое из полей имело свое кодовое название.

Круглосуточно, в начале каждого нечетного часа, после краткой сводки с фронтов, из Лондона передавались «радио-мессажи» — сообщения для того или иного руководителя подпольных групп.

На данную операцию назначено восемь человек, плюс те, кто должен был улететь в Лондон, — всего двадцать. Двое были из местных жителей, и разместить с их помощью людей по фермам сочувствующих на два-три дня не составляло труда: участники операции расквартировались в данном районе. Нервы на-

пряжены: прозвучит ли сегодня условная фраза? Какое из полей выбрал Центр? В часы передач по разным фермам все приникают к приемникам. В одиннадцать — ничего. В пятнадцать — ничего... Уже не раз случалось, что ожидание так и заканчивалось ничем, и, напрасно подвергнув себя риску, с еще большим риском приходилось возвращаться восвояси...

Наконец, когда стало казаться, что операция отменена, и уже подумывалось о путях ретировки, прозвучало: «Здесь Лондон. Передаем специальное сообщение Симону из Лиона: у кардинала собралось десять кюре и десять эвеков. Повторяем...». Было уже 19.15. Фраза означала: самолет надо ждать сегодня к 1–2 часам ночи на поле, закодированном под «Кардинал». Привезет десятерых, заберет столько же. А к отправке было собрано двенадцать человек! Что делать? Конечно, сбитые летчики имеют бесспорное преимущество, а вот двух разведчиков... их придется переправлять по цепочке через Пиренеи...

Роли каждого из участников строго распределены. У каждого — свой карманный фонарик и, чтобы не закоченеть от холода в случае вынужденной ночевки под открытым небом, — по фляжке крепкого спиртного. Изучена карта местности до мельчайшей подробности, намечены пути отхода, места, где можно бы было замаскироваться в случае преследования, и место и час последующего сбора. Предвидено будто все. Для выхода на само поле группе назначено собраться к 22.00 у ближайшей к полю опушки. И тут выяснилось: только-что вернувшиеся из предварительной рекогносцировки велосипедисты доложили, что именно это поле гитлеровцы посчитали самым удобным для подобной акции и понасыпали на нем кучи мусора, битого кирпича и глыб бетона. Кое-где они были высотой до метра! Надо же такому невезению! Но изменить что-либо — слишком поздно...

Еще раз вперед выслана группа дозора на велосипедах: пусть следят за полем и окрестностью. Если заметят что-либо неладное, посторонних лиц или засаду, пусть предупредят. Такой большой группе ни в коем случае не след попадаться на глаза какому-нибудь прохожему!

И вот группа серых призраков, неслышными шагами продвигаясь параллельно дороге, подходит к полю. Дозорные докладывают: встретили двух прохожих, но те подозрений не выз-

вали, ушли своей дорогой. Вдоль поля отмечена полоса будущей посадки, шириной примерно в сто пятьдесят метров. Закипела работа. Продвигаясь от кучи к куче, франтирёры по цепочке передают кирпичи, лом бетона. Крайние отбрасывают их в стороны. Одна за другой, по мере продвижения цепочки, исчезают кучи. Образовывается и удлиняется полоса, окаймленная растущими барьерами. Под ногами хлюпают лужи, летят куски грязи. Под бледным светом луны кажется, что какие-то невиданные звери, расползшись по полю, затеяли не то возню, не то замысловатый пляс вприсядку. То здесь, то там, слышатся вскрики, ругань: кто-то в кого-то угодил камнем, кому-то на ногу упал кусок бетона... Иногда то там, то здесь на миг вспыхивают огоньки: это подсвечивают себе фонариком, чтобы убедиться, всё ли в том месте хорошо распланировано. Несмотря на полуторачасовую работу, расчищено лишь три четверти полосы. А время бежит, уже слышен нарастающий гул самолета. В работу подключились и те, кто должен подавать сигналы: по только-что низко пролетевшему силуэту узнали контуры бомбардировщика «Гудзон». Франтирёры заторопились еще больше, кирпичи так и замелькали в воздухе. Через несколько минут «Гудзон» вернулся и стал кружить над полем. Летчик без сомнения не имел понятия, какой сюрприз его ждет. Но он получил приказ и будет кружить, пока не израсходует излишек горючего...

Еще пять минут, кажущиеся вечностью. Уф, кажется всё! По своим местам бегут сигнальщики. Один из них точками-тире подает опознавательные сигналы. Самолет ответил, и тут же загорелись фонарики, треугольником обозначая створ посадки. Бомбардировщик сделал заход и сразу пошел на снижение. Со свистом пронесся над фонариком в вершине равнобедренного треугольника, выставленного на высоту ровно в два метра. Через секунду, сквозь гул моторов, послышался сильный всплеск: колеса самолета угодили в лужу. Летчик с трудом вывел машину из грязи, чудом удерживая ее в равновесии. Дорулив до конца полосы, самолет развернулся и приготовился к взлету. Заглох мотор, стало непривычно тихо. В фюзеляже открылась дверца, из которой высыпало десять человек. Тотчас их места заняли улетавшие. Снова захлопнулась дверца. На все это потребовалось от силы две минуты. Вновь взревел двигатель, дан полный

газ, отпущены тормоза, но... машина не тронулась с места — ее колеса засосала грязь. Еще две попытки. Безрезультатно. Вновь открылась дверка, на землю сошли пассажиры. Вместе с только что прилетевшими они обступили самолет и, когда летчик давал полный газ, за крылья и шасси пытались вытолкнуть машину. Безуспешно. Выключен мотор. После его надсадного рева мертвая тишина больно резанула уши. В проеме дверцы показалась голова летчика:

— Кто руководитель этой группы?

— Я здесь за старшего, месье! — подскочил к нему Морис.

— Я бы не сказал, что вам есть чем гордиться! — недовольно буркнул летчик: — Мало того, что посадили меня на задворки кирпичного завода, вы, вдобавок, выбрали еще и это болото!

— Нам известно, сэр, что английские летчики, как и русские, способны сесть в любом месте! — с чисто галльской лестью ответил Морис, ответственный за эту операцию.

— Сесть — да, это мы можем... — улыбнулся непосредствености юноши пилот: — Но убей меня Бог, если я имею хоть малейшее понятие, как отсюда взлететь. Да и поле ваше преотвратительное. Посмотрите на те деревья, видите? С таким грузом я обязательно их срежу. Нет, вам придется очистить полосу по диагонали. Кроме того, надо подумать, как выдернуть машину из топи...

Летчик говорил спокойно, деловито, медленно выговаривая каждое слово с характерным английским акцентом. Морис отдал распоряжение. В то время, как один из велосипедистов помчался на ближайшую ферму за лошадьми, оставшиеся принялись расчищать еще одну полосу, теперь по диагонали. В работу включились все. Более часа длилась она. Безостановочными всплесками ойкали лужи, когда в них падали камни. Все взмокли до последней нитки. Урывками, с тревогой поглядывали на дорогу: там каждую минуту могли показаться грузовики с автоматчиками. Оружие, готовое к бою, было все время под рукой, автоматы больно ерзали по спинам.

На дороге показалась пара лошадей. Морис побежал навстречу:

— Ну как? Как там на ферме? — с тревогой спросил он ведшего их юношу.

— Никто не спал: всех разбудил гул самолета. Мой вид им объяснил больше, чем мог бы придумать я сам. Лошадей дали сразу, без лишних расспросов. Спросили только, не нуждаемся ли в их помощи...

— Ну, а ты на это что?

— Ответил, что лучше обойтись без лишних свидетелей.

— Молодец, правильно.

Расчистка окончена. Впряженные лошади, напуганные ревом заработавшего двигателя, рванули дружно и вместе с людьми выдернули машину на более твердый грунт. Их отпрягли, вывели на дорогу. Пассажиры заняли свои места, дан полный газ. Покачиваясь и прихрамывая, самолет побежал по полосе. Оторвется или нет? Казалось, вот-вот он врежется в лес... Нет, оторвался, стал набирать высоту. Сильно качнулись под ним верхушки деревьев на горизонте, но бомбардировщик летел дальше. Ровно работали моторы, гул их, постепенно удаляясь, стал замирать. Вскоре восстановилась блаженная ночная тишина...

Чуть позже Морису удалось узнать, кто были те двое прохожих, встреченные его дозорными. Одним из них оказался английский разведчик Питт Черчилль. Другим был сопровождавший его француз Роже. И английская разведка, как оказалось, выбрала именно это поле для приема ее самолета. Черчилль и Роже решили взглянуть на него и, таким образом, стали свидетелями операции франтирёров. На следующее утро Черчиллю не терпелось осмотреть место, как он написал позже, «бурного ночного происшествия»:

...Там, где увяз самолет, в грязи остались следы от колес, глубиной чуть ли не в полметра. Вокруг все было изрыто, словно гусеницами танка.... Когда подошли к деревьям, которые задел бомбардировщик, обнаружили обломок крыла, длиной в три четверти метра.... Просто невероятно, что в таком захолустье, как Турню, могли работать две подпольные организации, ничего не зная одна о другой...

Далее он упоминает, что на этом же поле он разминулся с самим шефом лионского гестапо Барбье, который тоже осматривал это место...[43]

Так была завершена основная часть операции, связанная с «Кардиналом». Морис умолк, а я представил себе: после отлета бомбардировщика предстояло еще немало не менее ответствен-

ных и опасных задач. Прежде всего незамедлительно покинуть департамент, который безусловно наводнят через несколько часов солдаты и агенты абвера и гестапо, в котором будет прочесан каждый лесок, каждый кустик, проверены и перепроверены документы всех прохожих и жителей. Затем необходимо было обеспечить благополучную переправку прибывших радистов в места назначения. Любой обыск, облава по дороге, проверка документов могут оказаться фатальными: у радистов — рации, личное оружие. Да, немало требуется присутствия духа, чтобы доводить подобные операции до конца. Но вернемся в камеру.

* * *

Это — одна из историй, рассказанная нам Морисом. Думаю, что напутал в ней немногое. «Симону из Лиона» пришлось участвовать несколько раз в подобных операциях, принимать и распределять прибывших, переправлять «погоревших». Спас он, по его словам, около пятисот человек, в том числе и супругу знаменитого художника Пикабиа. Но... ничто не вечно под луной, особенно в военное время. За поимку «Симона» назначили высокую награду, на которую и польстился один из гидов-проводников через «окно» в Пиренеях...

* * *

Морис оказался неунывающим юношей, любителем шуток и прибауток, специалистом по интермедиям. С ним стало веселей. Естественно, я тут же отстукал своему корреспонденту, в камере которого очередь на передачу была раньше, чем у Ноэля: пусть сообщит парижским родственникам о местонахождении Монте. Адрес их помню и до сих пор: авеню Анри Мартен. Почему-то чаще всего в память вгрызаются именно незначительные на первый взгляд мелочи. И еще деталь: в первой же полученной им передаче Морис, втайне от меня, сообщил родным мою фамилию, под которой я официально содержался в камере. Родственнице, одновременно со сведениями о Морисе, было рассказано и о способе тайной переписки — о секрете с носками. К моему удивлению, я тоже стал получать чемоданы с передачей, бельем и носками. В каждой передаче было по два куска мыла «карбонил». Никто из охранников не догадывался, что мыло это спускалось на парашютах в контейнерах для подпольщиков и было своеобразным «приветом» из Лондона. Фельдфебель Гиль

однажды долго и настойчиво выпрашивал у меня кусочек этого мыла для его «домашней коллекции». Пришлось отдать. А может он все-таки знал, откуда оно? Чего не знаю, того не знаю. Наша камера «разбогатела»: по три передачи за две недели! А какие продукты были в Морисовых и моих посылках! Ни до войны, ни во время, ни после я таких деликатесов не видывал, во всяком случае — не едал! Вспоминаю, и слюнки текут! По тем временам, по тем ценам, такое стоило целого состояния... Все распределялось равными порциями на каждого постояльца, которые выдавал наш «папа». Иногда, через окно (умудрялись и по вентиляционному каналу), на ниточках снабжали нижнюю камеру. Обратным адресом на моих посылках-чемоданах были каждый раз незнакомые мне женские фамилии. Особенно запомнились посылки Морису и мне в рождественский сочельник: «бюш де Ноэль» и «грэс д'уа о трюф» (рождественский торт, гусиная печень с трюфелями)[44].

* * *

Вызовы на допросы стали редки. Парадоксально, но именно они были для нас своего рода «развлечением». А теперь его не стало! Чтобы не сойти с ума от безделия и тоскливого ожидания неизвестности, «папа» решил внести разнообразие — различные игры, в том числе карты, которые заказал и ему прислали и шахматы. Да-да, мы играли в шахматы и шашки! Шахматные фигурки придумал тоже Ноэль. Мы их вылепливали из хлебной мякоти, смешанной с табачным пеплом. Высохнув, они становились, как камень. Видимо, этому способствовал состав тюремного хлеба. К сожалению, черти-тюремщики с Гилем во главе посчитали их вещью запретной. Возможно, им просто понравились эти «нецки» — красивые миниатюрные фигурки, и они не прочь были обзавестись подобными сувенирами. Во всяком случае после обысков, а они производились или во время наших прогулок, или во время мытья в душе, фигурки исчезали. Куда только мы их ни прятали! Приходилось мастерить новые, и каждый раз они получались изящнее и красивее. Между нами и тюремщиками шло как бы соревнование: мы изыскивали самые невероятные места сокровищ, они — искали их до пота. Если их удавалось найти, тюремщики нетерпеливо ждали нашего возвращения с заметным выражением «триумфаторов». Если нет,

то на их лицах можно было прочесть досаду, признание в поражении, даже нечто вроде уважения к нам. Все это происходило в полном молчании. Ведь они тоже изнывали от скуки и изыскивали способы развлечения... Подчеркиваю, что то не были эсэсовцы или гестаповцы, а простые вермахтовцы, бывшие фронтовики. Как было на других этажах — не знаю.

Игра в шахматы или в карты успокаивала, отвлекала, укорачивала давящую монотонность, не давала погрузиться в мрачные мысли о будущем. Придумали мы и другие развлечения. Морис до сих пор вспоминает наш дружный коллектив, как у нас все делилось по-братски, как мы успокаивали свои нервы. Он тоже перенял наши привычки.

* * *

Анри Менье уже знал о всех, кто был арестован. По длинной цепи морзянки он передал мне, что «вычислил» виновника: только этому человеку были известны некоторые факты, о которых знало гестапо. Им, по мнению Анри, был Константин де ля Люби. Лишь он один не был в числе арестованных, и о нем гестапо никого не допрашивало. Известие об этом было мной передано на волю. Недели через две пришло сообщение: «Просьба передать Анри: Константин больше не существует. Гастон». (Опять «Гастон»! Не тот ли, с кем общался Мишель Зернен?) Но как гестапо узнало об Анже, об Иве? Мы уже знали, что и они были во Фрэне, — это было одним из последних сообщений Энрико. Мы знали, что их зверски пытают, допрашивают о «Поповиче», о Зернене. Об их нахождении в тюрьме было передано подпольщикам на волю, и они оба стали получать передачи. Не думаю, что их слали родственники. Скорей всего — из фондов подполья. На мои вопросы Менье передал: именно Константину было поручено привезти от Ива план обороны Нанта. Если Константин был предателем, то зачем он передал этот документ фотографу? Да и он ли его передал?.. Вопросы, предположения... Когда я сейчас размышлял об этом, изучая третий том книги историка-исследователя Анри Ногера «История Сопротивления во Франции», я, по-моему, нашел подобие ответа: Ногер упоминает, что в одной из обыденных облав на станции метро Шардон-Лагаш был арестован связной «ОСМ». При нем обнаружили карты, шифровки, списки, которые он вез сдать в архив организа-

ции на рю Шардон-Лагаш. Стоп! Именно на этой улице, в доме № 61, я встречался с Менье и де ля Люби. Думал тогда, что это — квартира последнего. А может, это и было местом, где хранился архив? Но тогда в голове не укладывается: как можно приводить туда посторонних? Нет, что-то не так! Впрочем, не мне, несведущей пешке, разбираться во всей этой запутанной истории... А в списках связного мог быть указан и мой адрес — «новичка Качурина». Анри Ногер упоминает далее, что связной «под пытками заговорил». Видимо, остались какие-то гестаповские архивы во Франции, покопаться бы в них — и все стало бы ясным! Какова роль Константина, виновен ли? Об этом история пока молчит. Мне, простому бойцу, неизвестны тайны командиров-офицеров «Армии теней», как прозвали подполье во Франции...

* * *

По утрам чаще стали хлопать кормушки, раздаваться вызовы: «Цур Фернемунг!» (На допрос). В нижних этажах стучали двери, слышались скрежещущие звуки кандалов, позвякивали наручники... Это началось в октябре. Естественно, наша тайная связь не могла остаться безучастной, и мы узнали, что арестована большая подпольная группа «МОИ» (рабочих-иммигрантов), во главе с армянином Миссаком Манушяном. То была поистине интернациональная организация: поляки, венгры, испанцы, итальянцы, румыны, посвятившие себя борьбе с общим врагом — нацистами. Среди них не было радистов, и все наши попытки связаться с ними, узнать о подробностях, остались тщетными.

* * *

В ноябре слева и справа в нашу камеру застучали сигналы радости. Были у нас и такие! Передали: «Союзники предъявили ультиматум Берлину: за одного нашего — десять ваших!» Имелся в виду расстрел. И перед отбоем из многих окон запели гимны, кричали «Гип-гип-ура!». Это было самое великое воодушевление в тюрьме за время моего там пребывания. Был ли такой ультиматум на самом деле, какого числа — точно сказать не могу. Но именно с этого дня тюрьма как бы замерла в тревожном и в то же время радостном ожидании. Все были уверены, что теперь-то расстрелов больше не будет. Лишь на двух нижних эта-

жах по-прежнему часто скрежетали кандалы. Но ведь то — «террористы»! А к ним, видимо, ультиматум не относился.

В этом же месяце отстукана и другая, радостная для нашей группы, весть: при бомбардировке Нанта уничтожены все объекты ПВО. Там теперь широко открылись ворота для армад РАФ. Мы исполнились гордостью — ведь это наша группа занималась составлением плана-схемы расположения зенитных батарей. Конечно, наряду с нами, работали и группы «Когор». Только теперь мы ощутили результаты нашей работы. Одновременно стало жаль красивого старинного города.

* * *

Уже два месяца, как из нашей камеры не дергают на допросы. Действует ультиматум? Но мы готовы к худшему: вот-вот откроется кормушка, протянут бритвенный прибор и скажут: «Цум трибунал!» А это — конец! Как-то перестало вериться в реальность ультиматума. А вдруг освободят? А вдруг откроют Второй фронт? А вдруг? Вдруг просто «вдруг»?!.. Тяжелы вы, ожидания чего-то страшного! Тяжела ты, неизвестность при отсутствии всякой возможности что-либо предпринять! Куча предположений вихрем проносится в голове... И вот «вдруг» случилось: меня вызывают на допрос! Все сгораем от любопытства...

Кабинет гауптштурмфюрера, те же лица. Сидим, молчим. Своими ледяными глазками буравит меня следователь. Что это за игра в молчанку? На сердце — кошки скребут, но сижу с нарочито скучающим видом: выбор, мол, я свой сделал, готов к виселице, с этой мыслью смирился... Хоть и знаю, что виселиц здесь нет, — миновала меня подобная чаша: расстрел кажется куда приятней! Гестаповцу надоело первому:

— Чего молчишь? — перевел мне его вопрос долговязый.

— Сказал все. О чем говорить — не знаю.

— Кто такой Анри Менье?

— Не знаю, первый раз слышу это имя.

— Кто такой Жорж Нейрак?

— Не знаю (я, действительно, не знал).

— Врешь!

Я равнодушно пожал плечами: какое мне до всего этого дело? Следователь выдвинул ящик стола, достал оттуда «Вальтер», покрутил его и вдруг наставил на меня:

— Швайнхунд! Говори правду! Застрелю!..

Секунда, вторая... десятая... Каждая секунда ожидания, что вот-вот нажмут на курок (а чего ему это стоит?), — вечность. В голове вихрем мелькают самые дорогие мне мгновения из жизни — все это безвозвратно умчится в небытие! Сколько же прошло таких «вечностей»? Скорее бы конец, скорее!.. Вдруг гестаповец сует пистолет обратно в ящик. Куда-то отсылает переводчика. Вид его совершенно спокоен, даже апатичен, скучающ... Артист! Опять впивается взглядом, да ка-ак рявкнет:

— Вег, ферфлюхте! Марш ин андере циммер! (Вон, проклятый! Марш в другую комнату!)

У меня сильней зачастили мурашки по телу: в той комнате проводится допрос «с пристрастием»! Значит, опять? Наверно и долговязого послал за костоломами, или они уже ждут?..

Но комната была пуста, никого из «мастеров» не было. Приспособления на столе по-немецки аккуратно накрыты чехлами. Пол еще сырой после недавнего мытья: «рабочее место» готово для обработки очередного клиента...

— Нимм платц! Вартен! (Садись! Ждать!) — и гестаповец закрывает дверь, оставляя меня одного.

Слышу: он вышел и из своего кабинета. Я один в двух комнатах! «Сам пошел за костоломами!» Предчувствие изощренных пыток — о чем только не передумает в такие моменты воспаленный мозг! «А что если броситься к столу: там же "Вальтер". Перестрелять их всех и себя!» — настойчиво вычерчивается и всверливается мысль. А не уловка ли это? Заряжен ли пистолет? Зачем он его показал? Нет, тут что-то не так... В раздумье взгляд упал на окно: чудеса — оно без решеток! Как я этого раньше не приметил! Интересно: куда оно выходит? На цыпочках подкрадываюсь, смотрю: внизу, на дне колодца, образованного зданиями, — тот самый двор, куда нас привозят. Бетонный или брусчатый. Я — на пятом этаже. Выпрыгнуть — и костей не сосчитаешь! Итак, мне предложено два варианта — и несмышленышу ясно: пистолет или самоубийство. И в том и в другом случае расстреливать меня не придется... Тут я услышал скрип двери в кабинете, шорох — выдвинут ящик стола. Ага, подонок, проверяешь! Я прав: пистолет не был заряжен, оставлен как приманка. Не успел я примоститься на табурете, как дверь резко

приоткрылась, гестаповец просунул в нее голову. Уставился на меня:

— Бай-ле!.. Кеннст-ду Бай-ле? (Знаешь ли Байле?), — по слогам назвал он фамилию. Пристально, не мигая, глядит. Весь его вид — сплошной знак вопроса. Пожимаю плечами. Что еще за Байле? Скорей всего это — Бэйль, если по-французски или по-английски. Может, это шеф у Менье? Кстати, Менье или Нейрак? Анри или Жорж? Может, это одно и то же лицо? Что я вообще знаю об Анри Менье? Почти ничего!.. Голова гестаповца исчезает. Через час или два меня снова отвозят в тюрьму. Покатали! С какой целью? Над этим ломает голову вся наша камера. Может, в следующий раз что-либо прояснится? Но... «следующего раза» не было: это было моим последним допросом. Загадочный, непонятный допрос! Или... предложение покончить самоубийством?

* * *

В душе сумрачно. Мы не знали, что ждет нас завтра, и в то же время не были уверены, что это страшное «завтра» не наступит уже сегодня — трибунал и обычный приговор: «К расстрелу!» Именно так и произошло несколько дней назад с Морисом Бланше, нашим кратковременным жильцом. Отец двух малых детей, шофер по специальности. Перед самым вторжением он был осужден «за участие в коммунистической демонстрации» к четырем годам. Срок уже заканчивался. Но это не понравилось нынешним властителям, хозяевам «Нового порядка». Они затребовали дела осужденных французским судом, и его привезли сюда — «на пересмотр дела». Как причастный к коммунистам, он в нашей камере вызвал горячие дискуссии: каждый стремился доказать ему преимущества своей политической концепции. Началось с обычного вопроса:

— За что тебя арестовали и судили, если не секрет?

Оказалось, что он, простой шофер, с трудом сводил концы с концами. Вообще никогда ни о какой политике не думал. Тут двое его знакомых попросили спрятать два чемодана с архивами их коммунистической ячейки № 52. Пообещали, что за это будут снабжать его клиентами. Почему же не оказать такую ерундовую услугу? Морис согласился, и действительно стало клиентов больше. Когда у него забирали чемоданы, вскользь оброни-

ли, что на Первое мая намечается демонстрация. Пусть, мол, посмотрит! И вот он в центре города. Демонстрация, транспаранты, выкрикивание лозунгов, листовки... В демонстрантов врезается полиция, выстрелы, свистки, свалка... Морис стоял на тротуаре и с любопытством на все это смотрел. И тут кто-то, убегая от ажанов, сунул ему что-то в карман и побежал дальше. Преследователи обыскали Мориса и вытащили из его кармана пистолет. Суд, тюрьма...

— Вот выйду, начну работать, как вол. Приобрету еще пару грузовиков — с одной машиной семью не прокормить. Открою свое дело...

— Стоп! Какое «дело»? — накинулись на него Ноэль и Морис. — Коммунисты не могут быть хозяевами даже малых предприятий: не имеют права эксплуатировать чужой труд!

— Какая же тут эксплуатация? У меня просто будет два шофера-помощника, я им буду платить за их труд. Подумать только, сколько сейчас безработных шатается в тщетных поисках заработка! Я же дам им работу...

Бланше обратился ко мне за поддержкой: правда же, что он имеет право нанимать рабочих?

— Видишь ли... Настоящим коммунистом я никогда не был, и не очень-то в курсе. Для этого надо многое изучать. Но постольку поскольку я прочел об их идее, то, пожалуй, коммунист не может нанимать работников: наем чужого труда считается у них эксплуатацией... — разочаровал я его. Бланше был озадачен. Как же так? Не иметь права на собственное дело?!

Вскоре все произошло просто и буднично: ранним утром, сразу после подъема, открылась кормушка, назвали его фамилию, протянули бритву с кисточкой и произнесли равнодушным голосом: «В трибунал!» Через несколько часов он вернулся бледный как полотно за своими вещами. «На расстрел!» — шепнул он дрожащими губами вместо всякого объяснения. Лишь несколько минут длился ритуал прощания, но какой душевный, какой торжественный! «Папа» долго жал ему руку, пристально вглядываясь в глаза. Его взгляд говорил: «Не опозорь! Достойно, как мужчина, прими смерть от рук палачей!» Ни единого слова. И Бланше ушел, навсегда...

* * *

В начале декабря, с раннего утра, в тюрьме шум, топот ног, крики, приказы... Потом все стихло. Из соседней камеры исчез мой «собеседник». Из какой-то дальней камеры на мой настойчивый вызов ответил быстрый стрекот, да еще на неправильном французском. Приходилось часто прерывать его буквой «Л» — «медленней!» или «РПТ» — «повторите!». То был настоящий профессионал! И, очевидно, или англичанин, или американец. Сплошное мучение!

Еще через неделю опять такое же оживление. Открылась наша кормушка:

— Бюрдейрон Ноэль! Ди захен фертиг махен! Инс кригсгефангенен лагер! Лос, шнеллер! (Собрать вещи! В лагерь военнопленных!), — бросил Гиль и побежал дальше.

Ноэль заметался. Вдруг хлопнул себя по лбу, схватил листик папиросной бумажки и что-то быстро написал своим бисерным почерком:

— Спрячь надежно! Всякое бывает!.. Если встретишь союзников, предъявишь им этот пароль, и они тебе помогут! — сказал он мне, и мы наскоро попрощались.

Как только его увели, я прочел: по-английски Ноэль обращался «Ко всем офицерам Великобритаии» с просьбой оказать подателю сего любое содействие. Подпись: «О55-А». Я бережно заштопал записку в рукав пиджака[45].

* * *

В первые дни января 1944 года в нашу камеру ввели... Марселя Реймана. Да-да, того самого «Житана-Цыганенка», бывшего некогда нашим «стажером». Трудно сказать, кто более был поражен нашей встрече — он или я. Но оба постарались сделать вид, что друг друга не знаем. Вообще подпольная работа приучает людей к игре, делает людей актерами. Разве можно что-либо утаить друг от друга в малюсенькой тесной камере!? (При встрече через десятилетия Морис Монте допытывался: откуда мы с Марселем знали друг друга?) Изможденный, с синяками и кровоподтеками, со вспухшими от наручников запястьями и потертыми кандалами щиколотками, Марсель сохранял свое удивительное спокойствие и выдержку. Все же нельзя было не почувствовать, что он уже простился с жизнью: в его потускневших глазах не было более того живого блеска и задора, какой

был ранее и какой естественен юноше в 22 года. Особенно тяжело он переживал разлуку с сестрой и невестой — разлука, сомнения нет, была навсегда. Я старался развлечь его.

— Не старайся, Алекс. Не стоит! — И Марсель, пряча глаза, низко опустил голову. — Слишком много на мне дел. Таких живыми не выпускают. Но не жалею ни о чем...

Он был единственным в камере, с кем приходилось перешептываться. И не потому, что мы не доверяли другим: у нас были такие точки соприкосновения, о которых не хотелось, чтобы узнали посторонние, — могли бы, не поняв, поднять на смех...

Марсель состоял после «Бэ-Жи» в группе «МОИ» Манушяна и, как почти все ее члены, был арестован. Следствие шло к концу, вскоре ожидался суд. По мнению Марселя, суд готовили гласный. Очевидно, поэтому гестапо и перевело членов группы, подвергшихся неимоверным пыткам, в камеры получше — на наш этаж «люкс». Пусть, мол, там зарубцуются страшные следы! Как потом оказалось, Марсель был прав: оккупанты решили представить публике «звериное лицо террористов и преступников, агентов Москвы и Лондона, именовавших себя офицерами Армии Освобождения, на самом же деле являвшимися не более как гнусными убийцами». С этой целью, еще перед судом, повсюду были расклеены «афиш руж» (красные афиши) с пирамидой из фотографий участников, со снимками диверсий, трупов с пулевыми ранениями... Под каждым портретом — имя и фамилия, национальность, с обязательным добавлением «красный» или «жид», и перечнем актов, совершенных данным лицом[46].

* * *

Теперь, после ухода Ноэля, старожилом в камере остался Шарль д'Орлеан. Вспоминая о нем, невольно задумываешься о его личности. С ним я был дольше всего, а вот сколько-нибудь стоящих воспоминаний не осталось. Будто он вовсе и не существовал. В памяти лишь одно: какое-то расплывчатое пятно с маленьким лицом и со вздорной претензией на трон. И еще... знаменитая фамилия, плюс «виконт». Если бы не она, я бы и вовсе забыл, что существовал среди нас некий «бурсье», как забыл и о других, пробывших в нашей камере очень краткое время. Плохо, когда от человека в памяти задерживается лишь его

фамилия, а то и вообще ничего! Итак, нас теперь четверо. Кому очередь выпорхнуть из нашей клетки в неизвестность?

Очередь пришла Морису. Это был четверг: мы все ждали его передачи, послания с воли. С раннего утра захлопали двери, топот. Когда Мориса увели, шум переместился в подвальный этаж и там стих. Интересно: вручат ли ему посылку? Я заторопился: необходимо сообщить о выбытии товарища — пусть об этом сообщат родным — до моей передачи, когда об этом полетит туда весточка еще целая неделя! Этот новый радист-трещотка меня понимал хорошо, но мне трудно было разбирать его пулеметные очереди. Сообщил ему адрес Морисовой мачехи, получил от него «ОК». Как позже выяснилось, она своевременно узнала о выбытии его из тюрьмы, узнала, где искать, и нашла.

Ровно через неделю, тоже в четверг и в день моей посылки, тот же топот. В кормушку рявкнули: «Качурин! Собрать вещи! Шнелль!» — и через несколько минут я стоял в подвале, в шеренге с другими, лицом к стене, с закинутыми на шею руками. На моих ногах было две пары носков (и те, которые я готовил к отправке с грязным бельем, с уже вштопанным в них шариком со сведением об убытии Мориса).

После переклички, нас поодиночке заперли в боксы, чтобы затем, часа через два, вызвать и каждому выдать отобранные у него вещи: документы, деньги, ножи, продовольственные карточки... Всё, согласно описи, сантим в сантим. Завидные честность и порядок! У меня в руках опять мой фальшивый паспорт — вот это уже явный беспорядок!

Сажают в грузовики, спереди и сзади колонны — грузовики с автоматчиками. Сообщают, что нас повезут в Германию на работу. Даже поздравляют с «благополучным освобождением»! Да-а, верь им! Но во многих затеплилась надежда: всё худшее позади, впереди — спокойная, пусть и подневольная, пусть даже и не по специальности, но работа, почти свобода!..

Сгружают в Компьени, километров в шестидесяти от Парижа. Огромный пересыльный лагерь тысяч на сто. И здесь встречаю... Мориса! Надо же! Он уже успел свидеться с мачехой. Та договорилась с комендантом: у него твердая цена за человека — один миллион франков. И она поехала за ним, за этим миллионом.

— Вернется, скажу, чтобы и за тебя внесла... — обрадовал Морис.

Я узнал, что и здесь умудряются связаться с волей — посредством записок вокруг камня, перебрасываемого через стену. С той стороны их подбирают и переправляют по указанным адресам. «Записка вокруг камня! Это же способ Поля Негло!»

* * *

Стоим в строю, рядом Морис. Выкликают фамилии по списку предназначенных к отправке «на работу в Германию». 1600 человек.

— ...Глянцев Александр...

Нет, не ослышался: фамилию повторяют! Выхожу из строя.

— Куда же ты? — пытается удержать Морис: — Тебя же не выкликали!

— Вызвали. Я — Глянцев, а не Качурин.

— А моей фамилии — Морис Монте — нет? Морис подбегает к офицеру.

Тот пересматривает список:

— Есть. Вот она, но ее вычеркнули. Вы остаетесь здесь!

Сработал миллион! Счастливчик! Его выпустят на свободу! Откупился!

Перед тем как вызванных поместили в отдельный загон из колючей проволоки, Морис, прощаясь, протянул мне свой перочинный нож:

— Возьми! Мне он без надобности, раз выпустят. А тебе, кто знает, может пригодиться!

Мы обнялись по-братски — ведь отличный парень — и расстались[47].

* * *

Срочно надо познакомиться с новыми спутниками, подобрать подходящих, надежных. Таких, кто не поверил в отправку «на работу». Перед обыском мы прячем документы и деньги между двух пар носков на ногах. Ножи засовываем в гульфики, надрезав их сверху. Второй нож отдаю тому, у кого его не было. Теперь надо держаться вместе, в одной пятерке. Пятым — паренек лет семнадцати, с ножом. На обыск идем гуськом, один за другим. Первым — я, как знающий немецкий. Настроившись на

шутливый и беззаботный лад, сыплю прибаутками. Пофыркивая от моих шуток, унтер вермахта обыскивает меня вяло.

— Фертиг! Нексте! (Готово! Следующий!)

А я не отхожу — нашел достойного слушателя! Продолжаю болтать забавную ерунду, помогаю себе ужимками, гримасами... Жду, пока он не закончит со всеми моими новыми будущими спутниками. Ура! Мы все остались с ножами!

Каждому выдают по картонному коробку «секур насиональ» (петеновской помощи). Эта «помощь маршала Петена», предназначенная для французских военнопленных, теперь компенсирует сухой паек, который надо было бы гитлеровцам выдавать узникам, отправляемым в Германию. Неплохая поддержка гитлеровскому рейху!

Длинной колонной по пять выводят за ворота. За ними входим внутрь мешка-западни из плотных шеренг солдат в вермахтовской форме с насаженными на карабины штыками. Впереди — солдаты с автоматами, овчарками, дубинками. Доходим до них, и такие же автоматчики захлопывают мешок сзади. Оцепленная со всех сторон колонна трогается, сопровождаемая руганью, криками. Странно: конвоиры ругаются на чисто русском языке. Кто они?

— Браток, откуда ты? — обращаюсь к ближайшему, но еле успеваю увернуться от удара прикладом. Как огнем ошпарили меня налитые злобой глаза... Вот-те и «браток»!

Начинается посадка в товарные вагоны. Не сажают, а впрессовывают! Удары дубинками, прикладами, с матерщиной! В каждый вагон на 40 человек впрессовали по 120. На буферах каждого второго вагона — настил из досок, прожектора, пулеметы в оба бока. Надо попасть к такому торцу, где нет настила! И наша пятерка ринулась туда. Вагон заполнен. Стоять приходится на цыпочках, не повернуться. Заскользили двери, сразу стало темно и душно. К счастью, сейчас январь, мороз. А как бы было летом, в жару? Глаза свыкаются. По бокам — узкие окошки, опутанные колючей проволокой.

Как только поезд тронулся, мы стали расширять себе место. Наметили три доски ниже балки, к которой обычно привязывают лошадей. Резать надо вертикально, три доски с двух сторон, на расстоянии примерно с метр прорезь от прорези. И чуть

вбок от центра — над буфером. Насквозь нельзя: увидят снаружи при остановках. Итак, начали выдалбливать желобки. Ближайшие соседи заметили возню, запротестовали. Пригрозили им ножами, и они успокоились. Работаю только левой — правой не могу. Поочередно сменяем друг друга, и работа идет безостановочно. Кто отдыхает, держит «на прицеле» соседей-паникеров. Мы знали, что ночью, в районе Бар-ле-Дюка или Нанси, есть подъем, поезд там идет медленно. Надо успеть: это единственный шанс, — утром поезд будет уже в Германии!

До чего же тверды доски! Уже ночь, когда наконец нам удается выбить одну, вторую и наконец третью доски. В вагон, уже после первой, ворвался шум колес, хлынул свежий воздух. Да, в нашем вагоне — спертый, камерный, а это — чистый, холодный — воздух свободы! До чего же он приятный! Он дает нам отдышаться от дурного зловония: в Компьене многие с голодухи набросились на еду, и вот результат — желудки не выдержали! Еще ранее мы жребием распределили очередность. Помогаем вылезти первому... Пошел второй, третий. За ним, ногами вперед, следую я... Ноги и половина туловища уже снаружи. Пробую ногой нащупать буфер, но он еще занят. Наконец освободился, и тут... душераздирающий крик, такой, от которого кровь стынет! А на мою голову уже опускаются ноги парня... Видимо, тот, третий, попал под колеса. Сразу же, на крик, вдоль состава зажглись прожектора, замелькали нити трассирующих пуль. Поезд резко затормозил, я еле удержался. Прыгать — бессмысленно. Заталкиваю назад ноги парнишки, сам влезаю через дыру обратно. В вагоне кое-как становлюсь на ноги. Поезд остановился, но стрельба еще продолжается. Наконец кто-то поднимается на буфер. В проеме, на фоне света — офицерская фуражка эсэсовца:

— Сколько бежало? — светит он внутрь фонариком.

Все молчат. Перевожу его вопрос на-французский. Молчание.

— Драй ман раус! Шнелль! (Троим вылезти! Быстро!)

Перевожу и это. Понимаю: кому охота?

— Шнелль!

Я — виновник, начинаю вылезать.

— Блайб дорт! Ду кеннст дойч! (Оставайся! Ты знаешь немецкий.)

Ну и что? На что он мне сейчас? Вылез. За мной — парнишка, еще один. Кулаки подбежавших конвоиров обрушиваются на нас, но офицер прекращает избиение. Приказывают раздеться наголо. «Конечно: зачем пачкать одежду! Ее можно продать!» Подаю на прощанье руку товарищам...

— Всё, всё снять! — беснуются конвоиры: — И трусы, и носки!.. Лечь наземь!

Ждем пули в затылок. Но нет: нам задирают ноги и бьют по подошвам чем-то твердым, холодным. Боль адская! Подошвы располосованы... Хватают за руки и за ноги, несут и вбрасывают в пустой металлический вагон. Дверь запирают. Минут через десять поезд трогается. Что с первыми двумя? Третий-то погиб. Под нами, голыми, слой смерзшейся грязи. Под телами она оттаивает, становится вязкой. В нос все больше ударяет зловоние. Мы можем только лежать, встать на ноги нет никакой возможности... Как жаль документов! И пароль Ноэля пропал!..

В эту ночь было еще три или четыре таких же остановки. Со стрельбой. И после каждой к нам вбрасывали новых товарищей, в таком же, как мы, виде. Утром нас стало восемнадцать...

Жуткое путешествие: нестерпимый холод! Вагоны стукались буферами, нас бросало из стороны в сторону. Под нами — вонючая грязь, оттаивающая под теплом тел и оголяющая под собой заусеницы ржавого железного пола. Они впивались в кожу, рвали ее... Чтобы не кататься, как перышки, подползли друг к другу и крепко обнялись, создав таким образом массу, которую не так легко сдвинуть с места. И теплей! Даже стали впадать по временам в дрему!..

Поезд часто подолгу стоял, видимо, шел не по графику. На третьи сутки к полдню он остановился надолго. Тишина. Потом донеслись спокойные голоса, звуки отодвигавшихся дверей. Звуки приближались к нам. Стоя на коленях, мы сгрудились у нашей. Она с шумом открылась. Перед глазами, на морозном солнце, предстает несколько «шупо» (полицейских). Среди них — две женщины в военной форме, нарукавные повязки с красным крестом. Женщины! Что за напасть: я опять перед ними в костюме Адама! Растерявшиеся шупо вновь задвигают дверь.

— Почему голые?

Тут же экспромтом соврал, что мы — заложники, чтобы никто не бежал; обещали, мол, выдать одежду, как только будем в Германии, и... ничего! Где же их слово? Полицейские вполголоса совещаются. Минут через двадцать нам вбрасывают кучу одежды. Нет, она — не наша! Расхватали, но ее мало: кому досталась одна рубашка, кому — кальсоны, кому пиджак или брюки... Ботинок нет, да их бы и надеть не смогли... Вновь приоткрывают дверь и подают по миске горячего супа! Вкусно!..

— Где мы? — спрашиваю, отдавая миску.

— В Трире.

Проказы судьбы: я опять там, куда привезли в плен из Югославии! Узнаем, что наш конвой снялся на отдых, а эшелон тем временем охраняют полицейские. Видимо, и суп этот — их инициатива, из кухни для проезжающих воинских частей.

А как ехали бедняги в переполненных вагонах, где ни стоять, как следует, и тем более не лечь?! Без капли воды, в зловонии! Мне кажется, что нам очень крупно повезло: ехали чуть ли не как министры!

К вечеру поезд тронулся. Шел быстро, почти без остановок. Глубокой ночью, пыхтя от натуги (видимо, шел в гору), паровоз дотащил нас до какой-то большой станции. Снаружи — масса света, прожектора слепят в окошки. Не Берлин ли? Впрочем, Берлин обычно всегда затемнен. Вдруг слышатся многоголосый собачий лай, гортанные выкрики команд, скрежет отодвигаемых дверей, истошные вопли, полные ужаса и боли... Этот содом приближается к нашему вагону. Дверь рванулась в сторону, нас ослепил яркий-яркий свет. Вскакиваем на ноги, но тут же от боли снова падаем на колени. Затем кубарем высыпаемся из вагона. Вовремя: в вагон вскочил эсэсовец с плеткой и тут же спрыгнул назад. Недоуменно оглядел нас: почему нас так мало и почти голые?

— Штеен бляйбен! — приказал он нам, и помчался навести о нас справки.

Из предыдущего вагона все еще идет «выгрузка», под ударами плеток и дубинок, с гортанными криками, воплями... Вот из вагона выскочил парень с безумно вытаращенными глазами, вскинул руку в фашистском приветствии и, выкрикивая раз за разом исступленным голосом «Хайль Гитлер!.. Хайль Муссоли-

ни!..», пошел прямо на эсэсовца. Тот было отпрянул недоуменно в сторону, затем взмахнул железным прутом и стукнул безумного по голове. Он свалился в утоптанный снег, дрыгнул пару раз ногами и затих. А из вагонов сыплются и сыплются несчастные. Некоторые тут же падают, а на них спрыгивают остальные. Хруст ломающихся ребер... Затем из вагонов выбрасывают тела полуживых и мертвых. Перед вагонами — кучки людей, рядом — горка тел. Вокруг — оцепление эсэсовцев в черном, с черепами на тульях, с дубинками и плетками; собаки на привязи заливаются кровожадным лаем, и с брызгающей из пасти пеной задыхаются, хрипят в ошейниках, стремясь сорваться и ринуться на людей... Белый свежий снег утоптан и местами обрызган кровью...

Группки прибывших стали сгонять в общую колонну. Мы стоим, как приказал эсэсовец. Тут подбегает второй, сыплет ударами:

— Что за цацы! Или вас не касается? Бегом в колонну!

Нам только этого и надо. Забываем о боли, бежим со всех ног и в колонне тотчас же рассредоточиваемся — на это у нас ума хватило. И вовремя: туда, где мы только что стояли, прибегает первый эсэсовец:

— Где те восемнадцать?

— Я их погнал в колонну.

— Дурак! Их приказано отправить в крематорий, они — беглецы!..

Кинулся было к колонне, хотел нас найти, но мы неплохо попрятались среди рядов. Поводил-поводил глазами, зло сплюнул, махнул рукой. «Что такое этот крематорий?»

Рысцой гонят колонну по крупной щебенке будущей дороги. Легкий слой снега смягчает острые края камней. Бедные ноги! Кто может измерить предел человеческому долготерпению?! Когда сама жизнь под вопросом, — оно беспредельно, а всякие невзгоды — мелочь!

Подбежали ко входу. Над ним башня со множеством прожекторов, слепящих в глаза. Позже узнаю, что это «Бухенвальдское солнце». Справа — огромное панно на столбах, где изображен силует склонившегося, будто подслушивающего, человека в шляпе и надпись: «Пст! Файнд хёрт мит!» (Т-сс! Враг подслу-

шивает!). Над воротами — гитлеровский орел с распростертыми крыльями, хищным острым клювом и со свастикой в когтях. Смотрит на нас своими пустыми и будто ненавидящими глазами. На воротах под ним отлита чугунная надпись: «JEDEM DAS SEINE» — «Каждому — своё».

Ворота раскрыты настежь. С двух сторон дубинками по спинам отсчитывают пятерки:

— Эрсте райе! (первый ряд, фляс! дубинкой).

— Цвайте райе! (фляс! дубинкой)...

Наконец мы внутри. Мертвая тишина, спокойствие. Ни криков, ни воплей, ни заливающегося многоголосого собачьего лая... Не переселились ли мы в рай? Лагерь спал. Лишь справа, из какой-то толстой приземистой трубы по временам вырывалось жирно-вишневое пламя, кровавым отблеском освещая над собой длинный черный шлейф...

Два человека в черных кителях с красным треугольником и номерами на груди, с нарукавными повязками «Лагершутц» стоят около нас. В треугольниках различаю латинскую букву «L» (как потом узнал — люксембуржцы). Один из них громко, но спокойно говорит:

— Приветствую вас с прибытием в концлагерь Бухенвальд. Отныне забудьте, что вы — люди. Не то лишитесь головы. Теперь вы только «гефтлинги» (заключенные). Запомните это раз и навсегда! А сейчас вперед, в баню!..

Это было 29 января 1944 года. Мне исполнилось ровно двадцать четыре года.

Глава 13. HÄFTLINGSNUMMER 44445

Медленно движется колонна по огромной пустынной площади, освещенной лишь вырывавшимся по временам из трубы пламенем. Что это за огонь?

— Это — крематорий. Нехорошее место, — спокойно поясняет проводник. У забора крематория различаю ровный ряд трупов: пока мы топтались на вокзале, их успели доставить сюда из нашего эшелона. Сложили их снаружи, чтобы они, видимо, пожелали нам доброго прибытия и одновременно преподали на-

глядный урок дисциплинированности и предостережения. И мне подумалось: действительно ли судьба этих наших бывших товарищей хуже нашей? Царит тишина, непривычная после бешеного собачьего лая, гортанных криков, яркого ослепительного света прожекторов. Но не хватает сил даже на стоны от боли. Хоть я и в одной рубашке, холода не чувствую, — нашло какое-то безразличие и успокоение. Пересекли ряд поперечных улиц, и нас завели в огромный квадратный зал. На потолке — ряд душевых головок. Не газовая ли это камера? — Нет, это настоящий душ. Видишь: к головкам подведены трубы, — успокаивает меня сосед. Но по трубам может идти не только вода. Шут с ним, какая разница. Из закрытых люков в полу просачивается манящий теплом пар. Тут же падаем, кто где, и блаженно распластываемся. Не хотелось ничего, даже думать. Раз тепло, никто никуда не гонит, значит — хорошо.

Часа через два сквозь широко распахнутые двустворчатые двери замечаю тени изможденных, скорей, призраков, чем людей. Они пальцами показывают на рот: «Дайте, мол, поесть!» Их вид вызывает сострадание, и те, у кого сохранились остатки посылок, выделяют им что-нибудь. В это время в толпу врывается здоровенный детина в черном кителе, в галифе и сапогах, с нарукавной повязкой «Капо». Зычные ругательства, которые он изрыгает, удары, которыми он одаривает, напоминают мне костоломов из гестапо. Но несчастные относятся к ним с непонятной пассивностью. Для них существенно лишь одно — удостоиться подачки: по всей вероятности, кусочек хлеба для них значит намного больше, чем оплеухи и тычки сапогами.

— Они, видимо, изголодались до смерти! — определяет кто-то. Не придется ли вскоре и самим пожалеть о нашем сегодняшнем добросердечии?

Всех стала мучить такая жажда, что о пище никто и не думает. Изгнав посторонних, капо начинает теперь и на нас сыпать ударами направо и налево. Когда ему надоело это монотонное занятие, он, извергнув последнюю порцию брани, удаляется.

Наконец, малыми партиями нас выводят. Пересекаем дворик, входим в теплое помещение, где наголо раздеваемся. Снять

одну рубашку — дело секунды, и я наблюдаю за дальнейшей процедурой.

— Сдать документы, деньги, драгоценности! — приказывает капо и раздает мешочки. В них кладут у кого что было, надписывают на бирках свои фамилии, привязывают их к мешочкам. Капо заставляет открыть рот, разжать кисти рук. На этом «досмотр» завершается. У меня ничего нет: документы и деньги остались в носках, пароль Ноэля — в пиджаке, да и ботинки — все это отобрали еще в пути. Где все это теперь?

Становимся на табуреты, подходят «полосатики» с бритвами и машинками для стрижки. Обрабатывают лобок, после чего садимся и нам наголо стригут головы, бреют подмышками. У моего парикмахера очень приятное русское лицо. Спрашиваю:

— Ты русский?

Тот удивленно смотрит, выключает машинку:

— А ты? Как оказался среди французов?

Что ответить?

— Я из парижской тюрьмы.

Парикмахер шепчет что-то своему напарнику рядом, тот — другому...[48]

По окончании стрижки мы должны один за другим нырнуть в огромную ванну со щиплющей порезы от бритья, раны на ногах и царапины от заусениц железного пола вагона резкозловонную жидкость, именуемую «крезилом» (раствор креозота). По мнению капо, извергавшего нескончаемые потоки ругательств, мы — такие свиньи, что вовек нас не отмыть и не продезинфицировать. Надо обязательно погрузиться с головой, иначе замешкавшегося ждет оглушающий удар, и уж тогда точно нахлебаешься этого «крезила»! Зато последующий душ под кипятком компенсирует и это испытание. Все поднимают головы и открытыми рассохшимися ртами стремятся ухватить побольше горячей пресной воды, которая сейчас для нас слаще и желанней любого недосягаемого ледяного лимонада. После душа снова парад перед «полосатиками» с ведерками и кисточками, тщательно обрабатывавшими наши лобки и органы кусачим раствором. Эта мера профилактики объяснена плакатом на стене: «Айне лауз — дайн тот!» (Одна вошь — твоя смерть!). Вши могут вызвать эпидемии, которые бы вмиг опустошили весь лагерь-мура-

вейник. Затем, все так же в чем мать родила, выходим в другую комнату, где приходится ждать часа два. Наконец, по ледяному коридору переходим в «Беклайдунгскаммер» — вещевой склад. Справа — длинный прилавок, за которым стоят раздатчики. По конвейеру, по мере продвижения, получаем кальсоны, рубахи, брюки, куртки, плащи, круглые каторжанские шапочки и деревянные ботинки-«хольцшуэ». Мне, в порядке исключения, выдают в придачу офицерский кожаный ремень: видимо, сработала «протекция» моего парикмахера — «блат». Теперь мы в полосатом, как каторжники, которых показывают в кино. Мы — «полосатики», в «зебра-костюмах».

Вызывают по списку, каждому дают по три красных треугольника с буквой «F», мне, как русскому, — с буквой «R» и по три белых полоски с номерами. Мы тут же должны их пришить к одежде. Так я стал узником Häftlingsnummer 44445 — без имени и фамилии.

После выхода из склада не узнаем друг друга: бритые головы, полосатая одежда-«зебра» придают нам новый облик. В нас не осталось ничего из того, что мы имели до входа в лагерь. Абсолютно все, в том числе и мои бывшие фамилии, усики — всё покинуло нас. Мы стали «номерами». Эсэсовцы сделали всё, чтобы отнять у нас прошлое, наши индивидуальные человеческие достоинства и недостатки. Очевидно, для того, чтобы показать нам, что мы отныне превращены в особи стада, зависящего исключительно от воли и настроения пастухов. Лично меня такая метаморфоза устраивала: под моим номером потонули все мои фамилии. Даже те, о которых не знали, и которые бы грозили немедленным уничтожением. Впрочем, какая сейчас разница: под фамилией ли, под номером ли жить и погибать рабом? Так думал я, но не так было на самом деле: я не знал, что немецкий педантизм продумал всё до мелочей! На многих наших учетных карточках, переданных в эсэсовскую канцелярию, в том числе и на моей, стояли две латинские буквы «NN» — «Nacht und Nebel» (Мрак и туман) и штамп «Meerschaum», означавший «Подлежит исчезновению!»

На лестнице, у закрытой пока и неизвестно куда ведущей двери, один из немецких заключенных на чисто французском языке сообщает нам первые сведения о Бухенвальде:

— Вас сейчас поведут в «Малый лагерь». Там вы пробудете несколько недель в карантине. Временно. Затем вас переведут в блоки главного лагеря, где жизнь более или менее сносная. Остерегайтесь отправки на транспорте в «коммандо» (подкомандировки). Среди них есть один, которого надо избегать во что бы то ни стало. Это — Дора. Эсэсовцы строят там подземный лагерь-завод. Условия жизни таковы, что через два-три месяца — конец: недостаток воздуха, голод, побои, непомерный труд — и узник готов.

— А как его избежать?

— Это было бы величайшим счастьем в несчастье. Только одна «Арбайтсстатистик» — бюро по распределению на работы — знает об истинном назначении того или иного транспорта с закодированным названием. Постарайтесь остаться в Бухенвальде. Конечно, здесь не санаторий, но существовать все же можно.

Дверь наконец открывается, нас запускают в зал с окошками, у которых проходим регистрацию. В последний раз мы называем наши фамилии, вспоминаем о прежних профессиях. Возможно, это будет способствовать нашему будущему «трудоустройству».

Один из нас, неожиданно для всех, категорически заявляет: «Нетрудоспособен. Негоден для работы любого вида». На мой вопрос, не повлечет ли это какой опасности, он отвечает: «Если даже и придется подохнуть, работать на гитлеровцев не буду!» Несгибаемый парень!

Пройдены все формальности: пробежка голым и босиком по булыжнику, получено энное количество уколов штыком в ягодицы, пройдена дезинфекция, душ, проведено переодевание, фамилии заменены номерами, мы — проинвентаризированы. Выпускают во двор. Пронизывающий ветер, одежда наша и продуваема насквозь и не греет. Строят, считают и пересчитывают по нескольку раз. Очевидно, из боязни, чтобы кто-либо не затерялся в коридорах бани или в ванне с крезилом.

За все это время мы не видели ни одного эсэсовца. В лагере всем занимались более или менее доброжелательные узники. Проходя между двухэтажными каменными и одноэтажными деревянными блоками-бараками довольно привлекательного вида,

сквозь их окна мы видим внутри столы и скамьи, печи, спальни. Всё — в отличном порядке, кругом чистота. Возможно, нам просто не повезло на первых порах, а на самом деле здесь не так уж и плохо?..

* * *

Часть из нас размещают в блоке «Малого лагеря», под № 62. Около тысячи человек. Наши гиды, с такими же треугольниками и номерами, как у нас, распределяют нас по трехэтажным нарам, построенным с двух сторон всего длинного барака, похожего, скорей, на конюшню. Рассаживают на тонкие бумажные тюфяки, заполненные древесной стружкой. Они и будут нашим ложем. Если кто из нас замешкается, то тут поднимается неимоверная ругань, как у эсэсовцев. Очевидно, время здесь ценится дороже золота. Производят перекличку, хотя трудно ее так назвать: мы — номера, и должны откликаться номером по-немецки. Выбираются «боксэльтестеры» — старшие бокса из 48 человек, пардон — номеров. Наш бокс выбирает меня. Следует раздача «зупе» — по литровому черпаку каждому. Эту баланду принесли в огромных цилиндрических термосах, которые двое поднимают с трудом. «Зупе» из овсянки показалась нам восхитительной, с аппетитным запахом. И действительно, наши пересохшие глотки не смогли бы проглотить чего-либо более плотного. «Штубендинсты» (дневальные) едят по два-три литра, чем и объясняется их лоснящийся вид. После еды мы бросаемся на тюфяки, где спим до вечернего «аппеля» — поверки. В строю по пять стоим полтора часа, пока не появляется унтер-офицер-эсэсовец. Он обменивается несколькими словами с «блокэльтестером» (старостой блока), здоровенным мускулистым немцем, и принимается нас считать. Делает это тщательно, проверяя пятерки и, не вымолвив ни слова, удаляется.

Блокэльтестер произносит речь, которую кто-то из наших переводит. О дисциплине, о том, что раньше внутрилагерная администрация состояла из зеленых «винкелей»-треугольников, то есть уголовников, сделавших жизнь в лагере невыносимой. Но теперь лагерем управляют «красные винкели» — политические:

— Сегодня Бухенвальд стал почти настоящим санаторием! — гордо заключает он. Сказав это, староста блока советует сохранять бдительность. Чего больше всего мы должны остере-

гаться, так это прямых контактов с эсэсовцами, их вмешательства во внутрилагерную жизнь. Такое может произойти в случае саботажа, пожара, попыток к побегу. «Красные», согласившись взять руководство внутрилагерной жизнью в свои руки, возложили на себя ответственность за любые нарушения. Если что-либо будет не так, то им грозит виселица. Поэтому, мол, и пришлось прибегнуть к самой жесткой дисциплине. Она — в общих интересах. Затем блоковой объясняет общую структуру лагеря. В каждом блоке свой староста, поставленный эсэсовцами. Ему помогают «штубендинсты», которых по его выбору ему предоставила «арбайтсстатистика». Каждой рабочей «коммандо»-бригадой руководит «капо» — старший, которому помогают бригадиры, именуемые «форарбайтерами»[49]. Их обязанность — проверять выполнение работы. В лагере три старосты-«лагерэльтестера», которым помогают «лагершутцы» — лагерные полицейские. Если все в порядке, узники избегают прямых контактов с эсэсовцами, которые отвечают лишь за аппель, за численный состав, за качество работы, за отправку на внешние транспорты. За узников вне лагеря ответственность несут конвоиры-эсэсовцы. Не разрешается удаляться от рабочего места без приказа эсэсовцев. Далее блоковой поясняет, что лагерь опоясывает двойной ряд столбов с колючей проволокой с пропущенным по ней высоким напряжением. Нас охраняют и днем и ночью с вышек, их — двадцать одна. Еще ряд часовых расположен в нескольких стах метров за первой линией, в секретах, с приказом стрелять без предупреждения в каждого, пытающегося удалиться. Итак, шансов на побег — ноль. Каждая попытка к бегству заканчивалась смертельным поражением током, автоматной или пулеметной очередью или повешением.

— Но, конечно, — закончил блоковой, — вы имеете право кончить жизнь самоубийством, доставив этим огорчение товарищам. И это будет прямым отсутствием чувства солидарности.

«Ясное дело, — подумалось мне, — побег для немецких узников не имеет никакого смысла: куда скрыться в стране, полностью контролируемой нацистами? К тому же подобные немецкие узники — особая привилегированная каста Бухенвальда, им в лагере вольготней, чем, скажем, было бы на Восточном фронте. Неплохо здесь пристроившись, она, эта каста, естествен-

но, была решительно против любых попыток и поступков, какие бы повлекли за собой риск утери ее собственного сравнительного спокойствия и благополучия».

Так показалось мне на первых порах. Особенно после многословной тирады блокового. И не только мне. Откровенно говоря, авторитета и уважения не вызвали у нас ни это внутрилагерное «начальство», ни его приспешники, ни все те в добротной, ничуть на нашу «зебру» не похожей, одежде, кто повстречался нам по пути следования из бани в карантин. К тому же их, блоковых, назначают сами эсэсовцы! За какие такие блага и заслуги?! Знаем: в любом стаде пастух кормит своих собак, чтобы те лучше следили за овцами. Похоже, что и здесь так. А «овцы» это — мы. Растерянные, измученные, разнородные, без малейшей спайки между собой, чужие друг другу. Да и невозможна у нас эта спайка: среди нас много таких, кто взят за спекуляцию, за «черную биржу», за уголовщину. Есть и такие, кто служил оккупантам, но им не угодил, проштрафился. Остальные, «истинно-политические», тоже разнородны, раздираемы противоречиями, подчас враждебны друг другу. Но здесь все наши инакомыслия эсэсовцы срезали под самый корень: и аферисты, и спекулянты, и мы, бойцы «Армии теней», правые, левые, — все без исключения стали «политическими», получив красные винкели.

Дана команда ложиться спать, сняв все, кроме рубашек. Предупреждают: любого, кто будет обнаружен под одеялом в чем-либо еще, эсэсовцы считают за готовящегося к побегу и... соответствующие последствия — виселица и крематорий. Вот только вопрос, кто это обнаружит: сами эсэсовцы или их псы? Кто из них хуже?

Одежду складываем столбиками на скамьях вдоль столов. Располагаемся на нарах, тесно прижавшись друг к другу под одеялами: иначе не разместиться. Нечего и думать, чтобы лежать на спине или на животе, только на боку. И поворачиваться с боку на бок можно всему этажу только сообща.

Так началась первая ночь в Бухенвальде, в этом дощатом блоке, похожем скорей на каркас трехэтажной братской могилы. Он еле освещен. Блоковой и штубендинсты удаляются в свои закутки, где, конечно, намного просторней и вольготней. Вско-

ре замерло все, кроме прерывистого дыхания, храпа, глухого кашля, редких всхлипов тех, кто еще не свыкся с мрачной безысходностью своего нового положения. Ни у кого не осталось ни крошки еды. Теперь уж некому тайком «закусывать», как было несколько часов тому назад.

Бесспорно: эсэсовцам превосходно удалось сравнять всех нас, начиная с самой мелочи — с бритья наголо всех волосяных покровов. Теперь ни одна «овечка» этого огромного стада не отличается от другой, кроме как своим инвентарным номером. Ни семьи, ни близких, ни друзей — никого! Ото всех мы оторваны. Обрублены все связи с прошлым, всё, всё, всё!!!

И лишь мысли остались нашей неприкосновенной собственностью. И мы стараемся улететь в них далеко-далеко из этого братского склепа в наше теперь уже далекое, недосягаемое прошлое. Туда, где мы жили, мечтали, любили, горели своими желаниями и идеалами, боролись за них как умели — туда, где мы были людьми. Вскоре усталость берет свое, и мы засыпаем в этих сырых нишах, именуемых боксами.

* * *

Полчетвертого утра! Нас будят вопли и брань штубендинстов. Одного из них мы сразу окрестили «гориллой» — так он был на нее похож своей массивностью, грубым обличьем, низким лбом. Свои выкрики громоподобным голосом он сопровождал ударами наобум направо и налево. Этот человек, если можно так его назвать, влюблен в силу ради самой силы. Думается, здесь он нашел свое истинное счастье и применение: ни в каком другом месте, кроме концлагеря, ему бы не удалось удовлетворить самых низменных инстинктов. Зовут его Жора. Согласно приказу быстро натянув одни штаны, мы строем идем за своим гориллоподобным гидом в туалет во дворе. Это — настоящая достопримечательность! В блоке, немного приземистей нашего, вырыта огромная траншея, имеющая в сечении форму опрокинутой трапеции с забетонированными боками и с легким внизу закруглением. Система бревен позволяет сесть на одно, облокотиться спиной о другое и таким образом оправляться в траншею.

По бокам — коридоры с кранами в стене, для мытья рук. В этом сумрачном блоке, где относительно тепло, быстро привы-

каешь к особому пряному запаху, источаемому экскрементами, припудренными хлорной известью.

Когда это устройство действует на полной нагрузке, то есть когда сотни узников, спустив штаны и прижавшись друг к другу, приступают к своим естественным потребностям, получается необычное зрелище. Скорей всего оно похоже на некую конюшню или свинарник, где животные выдрессированы так, что все они сообща, в одном порыве выполняют одни и те же надобности, в тот же час и в ту же яму.

После этой коллективной операции возвращаемся в блок. По боксам нам раздают горячий эрзац-кафе. Хлеб нам сегодня не положен, так как, как говорят, мы в Компьене сполна получили сухой паек на пять дней. Утолив жажду, мы теперь имеем время поразмыслить о нашем голоде. Особенно он нас гложет во время утреннего аппеля, который, к счастью, длится не так долго, как предыдущий вечерний. Блокфюрер-эсэсовец нас пересчитывает и, не проронив ни слова, щелкает каблуками и удаляется с безразличным видом. Бесстрастный «сверхчеловек»!

После завершения и этой формальности, «горилла» ведет нас строем мимо уборной и заводит в помещение, где стоят круглые бетонные вазы-умывальники, у которых можно мыться одновременно шести-восьми человекам. Мыться обязаны до пояса. И это правильно: из-за холодной воды у многих вообще не было на это желания, но тут заставили. Нам выдали по кусочку «мыла», вернее глины не то с песком, не то с абразивным порошком. Ледяная вода взбудораживает. Кто вымылся старательно, тот ощущает холод намного меньше, чем другие: после мытья нам приходится стоять во дворе часа два-три, при температуре –10 — –18°С. За это время штубендинсты ведрами льют воду на полы, сгоняя ее швабрами вниз по ступенькам. Время от времени они строят в нашу сторону гримасы, наслаждаясь удовольствием морозить во дворе наше стадо под предлогом, что «необходимо ждать, пока полы не просохнут»!

* * *

На следующее утро я в своем новом качестве «боксэльтестера» получил у штубендинста Янека кубики маргарина, разрезанного специальным приспособлением на двадцать палочек. В одном кубике — 500 граммов, в палочке — 25 граммов. В полу-

мраке я не разобрался: кубик был разрезан так, что с одной стороны было по четыре, а с другой — по пять долек. Получилось, что некоторым четверкам я выдал по пять порций. Вижу: не хватило! Я — к Янеку:

— Ты дал мне меньше, чем положено, — не хватило!

— Ах ты, скотина! Воровать! — набросился он на меня и со всего размаху влепил оплеуху.

Взбешенный, я ему ответил коротким ударом прямо в глаз. Тут кто-то подскочил, подставил подножку, другой толкнул, и ну бить и топтать меня ногами, сапогами, кулаками... Навалилось их человек пять. Откуда только взялись!?

— В крематорий его, собаку!.. В крематорий! — кричали вконец озверелые голоса. Не могу сказать, как с телом, в которое сразмаху пинали сапогами и палками, но лица на мне уже не было — сплошное месиво! Мастера! Тут заступились французы, обнаружившие мою ошибку, потребовали прекратить суд Линча, стали меня отбивать. Сплошное столпотворение! Не так просто воздействовать на разъяренную толпу упитанных лагерных тунеядцев. Меня загнали под нары, запретив оттуда вылезать. Кто-то из французов объяснил, что я — югослав. Часа через три пришел русский в гражданском кителе. Стал расспрашивать. Еще через час вызывают из-под нар. Вижу: рядом с тем русским стоит... Добричко! Вскрикнул: «Добри!», и мы бросились в объятья. Вокруг — штубендинсты, блоковой, французы... Нет только Янека — лечит свой закрывшийся глаз примочками. О чем мы говорим с Добри, никто не понимает. Оказалось, Добри и Средое Шиячич были схвачены близ Лиона. Уже несколько месяцев здесь. Добри — писарем в «Шрайбштубе»-канцелярии, Средое — в сапожной мастерской — «Шустерае». Радосавлевича привел сюда русский, которому я перед тем сказал, что я — курсант югославского военного училища. Для опознания. Добри восклицал:

— Как хорошо, что я тебя узнал! Иначе бы тебе «капут» — крематорий!.. Поднять руку на штубендинста — такого еще не бывало!..

Через несколько часов встревоженный блоковой сопровождает меня к «ЛА-I» — «Первому старосте лагеря» — тот срочно меня вызвал.

— Ты только не говори, что и я тебя бил. Откуда я мог знать?

— Чего уж там... Главное, разобрались!

Злость у меня прошла: я ошибся, они ошиблись, а тут такая встреча. Кто бы мог вообразить?! Блоковой в нерешительности стучит в дверь.

— Херайн! (Входи!) — услышали мы. Блоковой вытянулся в струнку:

— Гефтлингснуммер 44445 доставлен по твоему приказу!

В Бухенвальде все узники, независимо от занимаемого ими поста, были на «ты». Просторная комната. За столом сидел небольшого роста, плотный, в черном кителе человек. На нарукавной повязке было написано «ЛА-I». По правую сторону от него лежал огромный пес, вытянув вперед толстые лапы.

— Кто это вас так? — спросил староста. — В дороге или в блоке?

Блоковой стоял ни жив, ни мертв, бросая на меня умоляющие взгляды.

— Да так, вышло недоразумение...

Староста сделал знак блоковому, и тот вылетел пулей.

— Кто вы, как попали в Бухенвальд? — он встал из-за стола, придвинул ближе свободный стул. — Садитесь, пожалуйста!

— Я — русский. А путь в Бухенвальд — длинная история...

Во время нашей встречи Добри сказал, что внутри лагеря сейчас, как и объяснял нам блоковой, правят антифашисты, что они, политические, носят красные винкели. На первом старосте тоже был красный. Без буквы в нем. Следовательно, он — немец, политический. Я сжато рассказал свою историю. Первый староста слушал внимательно и участливо. Оказалось, ему известно о том, что я собирался бежать в пути, и он поинтересовался о причине. Я ответил, что вместе с товарищами мы неплохо изучили коварство нацистов и, ясное дело, не поверили, что нас везут, якобы, на работу... Староста некоторое время разглядывал меня, потом заговорил откровенно, перейдя на «ты». Он назвал себя антифашистом, много лет проработавшим в подполье как социал-демократ. Откровенность Эриха Решке, так он представился мне, дружеский и участливый тон беседы окончательно убедили, разрушили сомнения, и я стал подробней отвечать на вопросы. Решке интересовался всем: где изучал языки

(разговор шел на немецком), как удалось бежать из плена, при каких обстоятельствах стал участником Сопротивления, как попал во Франш-Конте... Я понял, что многое из моей биографии ему известно от Добричко, так что слишком прятаться нет особой необходимости.

— Вот мы и познакомились! — впервые улыбнулся Эрих Решке и пожал мне руку.

* * *

Дисциплина в лагере была жесткой. «Привыкание» к ней начиналось в карантине. С первого же дня нас приучали к мгновенному подъему, уборке своих мест. Долго обучали выполнению команд: «Мютцен аб! Мютцен ауф!» (Шапки снять! Надеть!), команде «Ахтунг! Штильгештанден!» (Внимание! Смирно!). Эсэсовцы не терпели расхлябанности, медлительности, нечеткости: нарушителя ожидало избиение палками, издевательства. Не давать повода для напрасных мучений — вот в чем был смысл этих тренировок-муштры. Но были и излишние жестокости, чтобы с корнем вырвать малейшую строптивость: подолгу держать на морозе и ветру, не впуская в блок. Кроме того, известно, что некие низменные личности, дорвавшись до власти, ею упиваются. Это и приводило к простудным заболеваниям, «закалка» вела к излишней смертности. Из отбора — отбор! Впрочем, жизнь каждого из «карантинной массы» и ломаного гроша не стоила.

В блоках, как и в бане, висели таблички: «Одна вошь — твоя смерть!» Чистота, гигиена и профилактика не давали вспыхнуть эпидемиям. Пайки были мизерными, каждая крошка хлеба — лишний день жизни! Абсолютно не допускалось воровство. За него — суд Линча. Одеяла, одежда были в основном из негреющей стеклоткани. Но и их порча — рвать на портянки, на шарфы — каралась как «преступление против солидарности» по отношению к товарищам: ты погибнешь, а вещи эти послужат следующему. Этот дух культивируемой солидарности прививали и воспитывали, стремились сохранить в человеческом существе хоть частичку его достоинства и этим препятствовали эсэсовцам превратить подневольную массу в стадо животных, в безмолвных и послушных рабов-автоматов.

* * *

Через несколько дней нас распределили по рабочим командам. Я попал в команду «Энтвессерунг» — по дренажированию и осушению болотистых мест за чертой лагеря. Рыли траншеи, засыпали их камнями, грузили вагонетки землей, щебнем, гоняли их по рельсам...

Однажды, вернувшись с работы, я неожиданно столкнулся с тощим узником с ввалившимися глазами. Что-то в нем знакомое. Вгляделся:

— Анж, ты ли это?

— Алекс!.. — и слезы брызнули из его глаз. Из моих — тоже.

Анж Ле Биан уже более месяца как здесь. Сколько перетерпели они с Ивом Селлье! Мучили их, истязали в гестапо смертным боем. Запястья его тоже были в шрамах от пиления и ожогов от сигар. Применяли к ним и другие изощренные пытки... Ума не приложу, как им удалось всё это перенести!.. Но оба оказались слишком крепкими орешками — не расколоть! По мнению Анжа, их предал связной из Парижа, забравший у Ива готовую схему ПВО Нанта: именно недели через две после этого их и арестовали... Везли его в Бухенвальд по той же «дороге в никуда», по сто пятьдесят человек в одном вагоне. Четверо суток пришлось им провести стоя на цыпочках, без воды, без воздуха, в ужасающем смраде... Многие не выдержали, соскользнули на пол под ноги других и были затоптаны до смерти, другие погибли от удушья...

Я рассказал о себе, сказал, что теперь я — Глянцев. И тут моего изможденного друга разобрал нервный смех:

— Ха-ха-ха!.. Черт вас всех знает, такой кроссворд, что теперь думаю: а кто такой я сам? Анж или не Анж? Заморочили вы голову гестаповцам... У меня допытывались, где Попович? Я утверждал, что его давно нет во Франции. Спрашивали о каком-то Качурине, — впервые слышал такую фамилию! Показывали и фото какого-то чудака с усиками... Что-то знакомое, но лучше утверждать, что не видывал. И о Гланцеве спрашивали... Тоже мне незнакомый... Я ведь тебя с усиками никогда не видел, да и прическа там совсем другая...

Итак, звено «Анж—Ив» в нашей цепочке оказалось прочнее самой что ни на есть закаленной стали! Констан Христидис,

Клод, Тереза, Сава, Мухаммед, радист... — о них гестапо так и не узнало. По словам Анжа, Ива отправили в Маутхаузен. Стойкость двух бретонцев оборвала и спутала гестаповскую паутину, уберегла жизни многих, в том числе и мою. Мишель тоже благодаря им не был найден.

Анж в тюрьме начал получать посылки:

— Не знаем, от кого, но если бы не они, мы бы с Ивом не выдержали!..

Он знал о бомбардировке Нанта, сокрушался:

— Жаль! Такой был красивый город!.. Подумать только: ведь это мы виноваты, что его разбомбили. Но что поделать, если зенитные пулеметы были установлены даже на крыше госпиталя! Страшно представить, как будут о нас судачить его жители, узнав, кто занимался составлением плана зенитной обороны их города...

О многом хотелось поговорить, но оба были уставшими, отложили на завтра. Увы, на следующее утро большую группу узников отправили в Маутхаузен. Анж оказался в их числе. Эх, Анж, Анж... Такая неожиданная встреча, еще неожиданней разлука! Увижу ли тебя еще, договорим ли о том, о чем не успели в Бухенвальде? Ведь я тебе не сказал самого главного — ты полностью оправдал свое имя: Анж — ангел! Ты им и оказался, нашим самым настоящим ангелом-хранителем. Ты и Ив с улицы Ада (рю д'Анфер)! Сколько доблести, доброты, сознания долга скрывалось за вашими упрямыми, бесстрастными, но обыкновенными все же лицами!..[50]

* * *

С Добричко и Средоем встречались мы часто. Перед Добри, работником «Шрайб-штубе», были открыты все двери и ворота. Нет, среди узников Бухенвальда не было особо привилегированных. У занимавших руководящие посты были, конечно, более широкие права и возможности — это так. Но в остальном они были равны с другими. И все-таки были «номера» со льготами. Взять хотя бы меня. Немногим предоставилась возможность быть на приеме чуть ли не в первый же день прибытия в лагерь и беседовать с самим «ЛА-I». Со мной это случилось. Правда, Решке ничего не обещал, никаких льгот не сулил. Поговорили с ним, как человек с человеком. Но и этот раговор сам по

себе дал мне огромную моральную поддержку. Лишь в одной льготе нуждался я — в доверии, возможности участвовать в борьбе. И вот, когда кончался карантин, Добри сообщил, что меня решено определить на завод «Густлов-Верк». Там, мол, нуждаются в специалистах-металлистах. Особенно в знающих языки. Так и сказал: «Решено». Как, кем, почему, с какой целью — ни слова! Поначалу я обиделся за недоверие — знает же он меня! Потом, поразмыслив, успокоился: Добри не мог иначе, не имел права. Мой и еще несколько других номеров из нашего транспорта были утром вызваны к воротам, к «шильд»-щиту такому-то. Там пристроили к большой колонне, готовой выйти за зону на работу. Быстрым маршем привели на территорию завода «Густлов». Меня отправили в цех № 11, где изготавливались стволы для карабинов «98-К». У совершенно мне незнакомых станков, нарезавших канавки в стволах, стояли узники в форме советских военнопленных. На головах у некоторых были буденовки, на спинах краской выведены буквы «СУ» (Совьетунион).

Гражданский мастер-немец подвел к «станку». Над столом сверху горела яркая лампочка с матовым стеклом. Рядом стояли три тележки — на одной стволы карабинов, две другие пустые. Объяснил работу: проверять на свет внутренность стволов. Если в нарезках увижу раковины, то складывать такие стволы в тележку с браком, хорошие стволы — в другую. Операция простая. Но яркий блеск внутри стволов больно резал глаза, а работать надо было десять часов. Глаза уставали, воспалялись, слезились...

— Тут слепнут месяцев через шесть! — услышал я будто не мне, а про себя, сказанные слова работавшего поблизости военнопленного. Украдкой глянул на говорившего. Было ему на вид лет тридцать. Спокойное, бледное, не очень красивое лицо. Движения размеренные, несуетливые, как у уверенного и опытного рабочего-фрезеровщика.

Гражданский, контролируя мою работу, оставался доволен...

— Покурим! — услышал я рядом с собой. Тот же военнопленный! Я знал: под таким словом «покурим!» подразумевают «сделаем перерыв!». Выйти в туалет, размяться, получше познакомиться с новым товарищем хотелось.

— И чего ты так здорово впрягся? — обратился он ко мне, когда мы остались в туалете одни. — Хочешь зрение потерять? Тут, брат, надо работать спокойно: тише едешь, дальше будешь! Короче, больше сил сохранишь. И здоровья. Даже немцы свою поговорку «Лангзам, абер зихер! Цайт шинден — крефте ерхалтен» — (Медленно, но верно! Время тянуть — силы сохранять!) переиначили в «Коммандо икс — работа никс!»

Совет принял к сведению: дольше держу ствол, зажмурившись и не глядя внутрь, медленней откладываю, так же медленно беру следующий. Действительно — куда спешить?

— Что-то ты мало в брак откладываешь! — заметил через несколько дней мой новый знакомый: — Не стесняйся! Очень важно, чтобы в стволах не было ни малейшего брака. Во-первых, этот брак опасен при стрельбе — может ствол разорвать. Во-вторых, рассеивание при нем большее, убойности меньше...

Я понял, чего от меня хотят. Остроумно, однако, поучают — не придерешься! Присмотрелся к мастеру, к его привычкам, к методу контроля моей работы. В тележку с «хорошими» стал укладывать явно «опасные». В брак полетели годные. Их сверху прикрывал бракованными.

— Гут, зер гут! — бурчал одобрительно мастер, ни о чем не догадываясь. Я по опыту знал: немцу и в голову не придет, что можно себе позволить издеваться над машинами, нарочно делать брак, саботировать...

— Ты неплохо насобачился! На фронте будут в восторге от подобных карабинов! — хвалил русский, не уточнив, однако, сторону фронта[51].

Но я ждал более интересных и ощутимых дел, простой саботаж меня не устраивал. К тому же, помогать в изготовлении оружия, которое будет стрелять в моих товарищей, — что может быть хуже?!

На завод я был переведен одновременно с моим переселением из карантина в «главный» лагерь, в блок № 40, флигель «А», на первом этаже. Там в основном жили немцы.

В «Густлове» я работал уже третью неделю, как в воскресенье пришел Добри:

— Тобой заинтересовались! — многозначительно произнес он. Я понял, что задавать ему уточняющие вопросы бессмыс-

ленно: все необходимое он скажет сам. Так и есть: в указанный час после обеда мне надлежало прогуливаться вблизи «дуба Гёте», недалеко от кухни. И вот я у знаменитого дерева...

— Гефтлингснуммер 44445, подойди! — позвали меня двое, полулежавшие на едва пробивавшейся весенней травке. Представились:

— Руди! — назвал себя один, очень тощий. За толстыми стеклами очков нездоровым блеском светились глаза. Второй — тоже Руди («Не в конспирации ли дело? Двое, да с одинаковым именем!»). По винкелям — оба немцы. Их «зебра» отличалась особой окраской и белизной — не такая серая, как у всех. Один из них говорил по-русски довольно чисто, другой — похуже. Начался разговор, похожий скорее на допрос. Они знали обо мне и то, что я — Качурин, а не Глянцев. Знали и о «пароле Ноэля». «Откуда?» — удивился я. Пришлось объяснять в деталях некоторые эпизоды из жизни, а также и ответить на вопросы, заданные мне ими по-французски. Когда я закончил, Руди в очках сказал:

— Я работаю в «Арбайтсстатистике». Слыхал, что тебе не по нутру работа в «Густлове».

Да, точно: у него на рукаве повязка «Арбайтсстатистик».

— Разве может нравиться? Снабжать врага оружием?!

— Нам известно, что ты был студентом медицины. Смог бы работать в «ревире» (так назывался лагерный лазарет)?

Не преминули предупредить, что работа на заводе считается самой престижной: всегда под крышей, в тепле и нетрудная. Узники считают наивысшим счастьем попасть на завод. Увольняют оттуда только за проступки — в Дору или в крематорий. Что такое Дора, которой так постоянно пугают? Да, есть такой лагерь, в 10–15 километрах от Нордхаузена, штольни, в которых подземный завод, изготавливающий ракеты «Фау-2» — секретное оружие. Ни один узник из него не должен выжить, чтобы не выдать тайны. В штольнях и живут. Раз туда попал — выхода оттуда нет![52]

После разговора у «дуба Гёте» я убедился: здесь, в Бухенвальде, работает хорошо законспирированная и сильная подпольная организация. Члены ее связаны между собой, сами находясь на всех ключевых позициях. Она не только помогает узникам, но и организует сопротивление фашизму. Круто менялась моя

судьба, хоть я об этом не имел ни малейшего представления. Вечером лагерный «лойфер» — курьер вручил мне в блоке продолговатую бумажку. На ней было отпечатано: «Цум Арцт», то есть «К врачу». С такой бумажкой, как и с «шонунгом» (больничный бюллетень) на аппель (перекличку и развод на работы) не выходят. Ее предъявляют блоковому и идут в ревир-лазарет[53].

Утром пристраиваюсь к длинной очереди у дверей ревира. В ней — доведенные до крайнего истощения больные узники. Многие с ногами-тумбами — «фусс-эдемами» (водянкой). Больные с надеждой и с опаской смотрят на входную дверь. Никто из них не уверен, что получит помощь. Начальник лазарета, эсэсовский врач Шидлаусски, строго выполнял приказ коменданта: «В лагере больных нет. Есть только живые и мертвые». Ждать долго не пришлось. Появившийся в дверях санитар, оглядев очередь и увидев мой номер, объявил:

— Номер 44445, заходи!

Прошли в коридор, свернули вправо. Около двери с надписью «Капо», санитар остановился и тихо сказал: «Войди!» Увидев рядом кабинет Шидлаусски, я невольно насторожился. На совести этого палача в белом халате, как я уже слыхал, сотни жертв. Я поспешил отойти от опасного места. В узеньком кабинете капо Эрнст Буссе был один.

— Проходи, присаживайся!.. Значит, хочешь работать в санчасти? — без предисловий поинтересовался Буссе, словно перед ним его старый знакомый. Я ответил утвердительно, рассказал, что учился в мединституте, имел и практику. Буссе задал несколько вопросов, связанных со знанием латыни и медицины. Услышав правильные ответы, спросил:

— А где бы ты хотел работать?

— В хирургической амбулатории.

— Пойдешь в терапевтическую. Другого выхода нет. А пока пошли к Клеменсу. Тебя будут «лечить». Ничего страшного...

Прием больных к тому времени закончился. В кабинете с надписью «Иннере амбуланц» (терапевтическая) находились одни врачи. Мы познакомились с Клеменсом, старшим этого отделения, затем с высоким худым французом Марселем Рене, прибывшим этапом раньше моего (судя по его номеру), с чехом Миреком. Сняв пенсне, чех, в знак приветствия, склонил голову

с седым коротким ежиком («Такой молодой, и такой же, как я, седой!»). Буссе объяснил свой план Клеменсу, а меня предупредил:

— Сейчас проделаем с тобой маленький фокус! — и дал мне несколько таблеток.

Меня препроводили в нижнее отделение, уложили на кровать в изоляторе, сказали:

— Если придет арбайтс-айнзатцфюрер (эсэсовец — распределитель работ), скажи ему, что тебе плохо, ожидаешь операции.

В изоляторе после таблеток я почувствовал сильный озноб и жжение во всем теле. Тело горело, стало красным. Появились сыпь, пятна.

На следующий день в ревир прибежал распорядитель работ:

— Безобразие! Тут целый курорт устроили!.. — нападал он на Клеменса: — Еще вчера он был совершенно здоров. Я доложу коменданту!..

— У больного все признаки тифа! — спокойно оправдывался Клеменс.

Эсэсовец подошел к изолятору:

— Долго собираешься болеть?

— Не знаю.

Извергнув порцию брани, не решившись, однако, войти внутрь, он зло пнул в дверь ногой. Появлялся еще дважды: видимо, работа ждала... На пятый день, разъяренный моим больным видом, он вычеркнул меня из списков: «Попадешь в паршивую команду!» Так я стал фельдшером амбулатории.

Первым делом меня переодели в такую же «зебру» побелее, как у обоих Руди и у всех врачей. Жить продолжал в блоке № 40, но отдыхать можно было в перерывах между утренней и вечерней работой в дощатом блоке во дворе санчасти, стоявшем над зданием с приемными покоями.

Работа адская! За сутки каждому приходилось освидетельствовать по 200–250 пациентов. Первоначально проводился поверхностный осмотр: измерение температуры, выслушивание, выстукивание, замер пульса, пальпация, то, что называется установлением первичного диагноза. Если больной нуждался в

освобождении от работы (смешно сказать «если», не было таких по нормальным меркам, кто бы «не нуждался», причем срочно! Но...) ему выдавался «шонунг». Если требовался более тщательный осмотр, лечение, процедуры или даже госпитализация, давалась записка «Цум Арцт». Он тоже освобождался от работы, осмотр и лечение проводились днем. В случае крайней необходимости клали в больничные палаты, терапевтические или хирургические. Койко-мест катастрофически не хватало!

С помощью врачей — Рене, Клеменса и других я довольно быстро научился разбираться в болезнях сердца и легких, определять характерные шумы. Новые мои товарищи безотказно помогали, подучивали. Давали выслушивать шумы сухого и экссудативного плевритов, бронхиальной или крупозной пневмоний, пороков сердца, фтизии и др. Легочные и сердечные заболевания были здесь самыми распространенными. Немудрено: на горе Эттерсберг, где находился лагерь, климат был нездоровый, влажный, дули сильные ветра. Частые дожди, снег, холод насквозь пронизывали негреющую и насквозь продуваемую каторжанскую робу. Если представить, что аппель длился порой часами (при мне, на дожде со снегом и при сильном ветре, он однажды шел более восьми часов, пока не был найден повесившийся на сваях под блоком узник), то картина будет понятной. Впервые я увидел, что делали голод, холод и непосильный труд. «Лагерь уничтожения трудом» поистине оправдывал свое назначение. Страшные фусс-эдемы с язвами надували и растягивали кожу ног, она становилась тоньше папиросной бумаги, из язв-трещин текла вода. Сердце из-за крайнего ослабления-декомпенсации не в силах было перекачивать кровь и дать ей освободиться через почки от избытков жидкости: чтобы заглушить чувство голода — хоть чем-нибудь заполнить желудок, — узники пили чрезмерно много. Эдемы не давали права на освобождение. Но в тяжелых случаях, на собственный страх и риск, мы пренебрегали этим запретом начальника ревира — врача СС Шидлаусски, и давали шонунги: пусть несчастные хоть немного наберутся сил, поддержат свое сердце. Не продлевали ли мы этим лишь время их агонии? Не знаю, не знаю... трудно судить. Врачи всеми силами стремились помочь, но... как мало было этих сил и возможностей!

Я был в приемном покое единственным с русским винкелем. Ко мне часто обращались советские узники, югославы, поляки, прознавшие, что я знаю их язык. Другие врачи сами пересылали их ко мне: «Тебе же проще с ними общаться!»

В углу приемного покоя сидел санитар-писарь, заполнявший по нашему указанию ту или иную бумажку на право отдыха-лечения. Не скрою: к уголовникам мы относились без поблажек. А их, с зелеными винкелями, было три «разновидности»: просто зеленые винкели, зеленые с буквами ЭЫЭ — шверфербрехеры (тяжелые преступники) и зеленые с буквой ЭИЭ — беруфсфербрехеры (профессиональные преступники). Так истолковывали эти буквы узники и эсэсовцы. Отпущенный нам лимит заставлял отдавать предпочтение «политическим». Бывало, Клеменс говорил кому-нибудь из нас:

— Такому-то номеру дать «шонунг» — он его достоин и заслужил!

Мы знали, что подразумеваются бывшие заслуги данного узника, его стоимость, как борца. И указания эти выполнялись беспрекословно. Никто никогда не проявлял излишнего любопытства к работе своего соседа, друг другу доверял.

Да, наш «Гросс-ревир» оказался не только «островом спасения» — как звали его многие узники, но одновременно и штабом подпольного лагерного комитета. Что же такое «Гросс-ревир»? «Большой» или главный ревир это центр всей медико-санитарной службы, имевший филиалом ревир «Малого лагеря», и много медпунктов — на заводе «Густлов», в «ДАВ» (Ауфрюстунгсверк — завод армейского оснащения), на других предприятиях и во внешних командах — подкомандировках. Во главе стоял капо — Эрнст Буссе.

— Хочу тебя познакомить с одним только что нами изготовленным агрегатом, — сказал мне Буссе и повел к корпусу на сваях, стоявшему в отдалении, у самой лагерной ограды с колючей проволокой на изоляторах. Мы поднялись по ступенькам наверх, в палаты. Справа, в крайней слева, окнами к вышке и забору, палате № 5, лежали малолетки-подростки. Исхудавшие личики, глубоко ввалившиеся глаза с синевой под ними...

— Все — туберкулезники! — шепнул Буссе. — Спасаем от шприцевания и экспериментального блока...

Да, в Бухенвальде было две таких достопримечательности. Огорожены они непросматриваемым забором, считались сверхсекретными — никто из посторонних туда не допускался под страхом смерти. Работники их были сверхмолчаливы. Все же просачивались слухи, что в блоке № 50 содержатся «подопытные кролики». Там, в его дворе, был даже собственный крематорий, где сжигали их трупы. В блоке № 46, на обоих этажах, — подопытные узники. На них испытывали яды, их заражали тифом, другими болезнями и испытывали на них противоядия и препараты. Там же пополнялись и запасы крови для фронта... Ни один из попавших в этот блок узников назад в лагерь не возвращался: тайна экспериментов строго сохранялась. Что и как там делалось, — никто точно не знал. За разговор на эту тему — смерть.

Именно от этого блока стремились врачи уберечь подростков-туберкулезников. По лагерным правилам они подлежали «шприцеванию», то есть умерщвлению, как материал, непригодный для дальнейшего использования, — ни для работы, ни для экспериментов (шприцевание проводилось тоже в блоке № 46).

В основном здесь были русские — дети связных, партизан и командиров... Щемило сердце, когда я вглядывался в их доверчивые, наполненные мольбой о помощи, глазенки. Нет, они еще не понимали всего ужаса, всей безысходности их положения, а это ужасно. Чем, как помочь им? Испытывая острую жалость, стал рассказывать забавные истории, балагурить. Как мало нужно, чтобы обреченные ребятишки повеселели! Временами стал раздаваться их переливчатый смех, тут же прерываемый приступами надрывного сухого кашля. В их легких — большие каверны! Буссе стоял в стороне, угрюмый, ждал. Развеселив немного ребят, мы спустились вниз. Между сваями было помещение, где и находился этот, недавно изготовленный, агрегат для пневмоторакса (поддувания).

— Здесь и будем производить вдувание тем, у кого поражено лишь одно легкое. Это поможет спасти несколько человек. Необходим специалист. Думаю, ты бы подошел... — закончил Буссе.

Предложение ко многому обязывало. Нужно научиться вводить иглу сквозь плевру, рассчитывая до миллиметра, чтобы не

повредить самого легкого. Я этого не умел, но понимал: обучиться этому можно, а выбора у подпольщиков, видимо, не было. Эсэсовцы были категорически против, чтобы больных лечили образованные специалисты. Рассказывали, что когда основывали ревир, то хирургов приходилось брать из обыкновенных мясников и ветеринаров: те были сведущи в анатомии и быстрее обучались. Очевидно, эсэсовцы своим запретом хотели еще раз показать, что узники для них не люди, а скот. Изыскивалось все, чтобы помочь больным. Но мне пришлось отказаться от предложения Буссе: все мои мысли были о побеге. Тратить время на мое обучение, да еще освоить это дело, возможно, ценой гибели по моей неопытности не одного из этих детишек, было бы преступлением. Буссе расстроился:

— Ты что, боишься? Ты же болеешь за ребят, я вижу. У меня сердце тоже не камень, хоть и повидал многое. Но кто-то же должен взяться за это дело, или нет? По приказу Шидлаусски их всех отправят к нему на шприцевание (абшпритцунг) как неизлечимо больных...

И я открылся, сказал, что все мои помыслы — бежать. Эрнст долго молчал...

— Решил бежать? Но ты же должен знать, что это почти невозможно: проволока под напряжением, за ее пределами несколько оцеплений, секретов...

Я ответил, что знаю об этом и надеюсь на побег из транспорта. И он вдруг заговорил о себе. Я понял, что этот человек не меньше моего думал о свободе, и все же остается здесь. Почему?

— Я — немец — говорил он: — Гитлеровский нацизм — тоже немецкий. И нам, антифашистам, исправлять наши, немецкие, ошибки. Мы не имеем права выбирать место, где легче. Наоборот. Мой пост именно здесь, в этом пекле, в этой душегубке. Тут я и должен бороться. Ты же... ты, конечно, волен выбирать. Ладно, но прошу: пока ты здесь, помогай детям, навещай их. Очень важно поддерживать их дух. Сам я хожу в эту детскую палату каждый вечер. Но я же немец, а у них против нас... сам понимаешь![54]

* * *

Блок туберкулезников, детская палата № 5... Не стираются они из памяти. Вспоминаю и другую палату в этом блоке. Она тоже была отведена для больных, чьи дни были сочтены. Как живой человеческий материал, для эсэсовского командования они потеряли всякий интерес: работать не могли, для медицинских экспериментов не подходили. Их жизненные силы стремительно пожирал разрушительный процесс в легких, и они были недолговечными жильцами этой палаты, являвшейся их последней дистанцией на пути в крематорий. Даже «шприцевание» их представлялось начальству лишней морокой. Каждый, кто оказывался здесь, знал: скоро ему конец. И каждый безропотно ждал того, что на сложившемся здесь ироническом жаргоне называлось «опуститься на дно морское». И соответственно каждый, занявший здесь место, носил гордую кличку «морского пирата», так же, как вконец истощавшего «доходягу» звали не иначе, как «костер», «факел» или «фитиль», в зависимости от степени готовности отойти в мир иной. Больные умирали так часто, что каждый вечер, укладываясь спать, кто-нибудь задавал традиционный вопрос:

— Ну, друзья-пираты, кто сегодня пойдет на дно морское?

И всегда какой-нибудь лежачий «пират» слабым, как дуновение ветерка, голосом отвечал:

— Я, братцы, я... Мой черед.

— Ты?.. Ну смотри, друг, не подкачай! — серьезно-шутливым тоном напутствовали его еще ходячие «коллеги». — Когда встретишь на дне морском предателя, провокатора, изверга, бей! Бей их, гадов, железным черпаком безо всякой пощады и снисхождения!..

— Не подведу, братцы, не подведу! — задыхался «пират» от усилий высказать клятвенное обещание... А ночью, когда обитатели погружались в сон, он без звука и стонов уходил туда, где должен был совершить подвиг.

Размеренно-спокойно протекали дни в этой палате. Незаметно водворялись новички. Неслышно «опускались на дно морское» те, у кого болезнь отняла последние остатки сил. И буднично-просто выносили их невесомые тела. Так было изо дня в день. И казалось, ничто не могло нарушить установившегося бытия в этом царстве угасающих жизней, где моральные и фи-

зические силы сожжены без остатка каторгой рабского труда и обстановкой неслыханных унижений. Так казалось... И я стремился заскакивать к этим ребятам в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет. Рассказывая им отдельные эпизоды из «Айвенго», из «Детей капитана Гранта» или о сильных личностях Джека Лондона, Фенимора Купера, мне удавалось оторвать ребят от мысли о безысходности их положения и заставить их воспарить в мир героизма и торжества справедливости. Вспыхивающие при этом в их угасающих, но лихорадочно-блестящих зрачках искорки, улыбки, появляющиеся на их обескровленных и запекшихся губах, — все это было для меня величайшей наградой, даже блаженством, чувством глубокого удовлетворения. Но настал день, который по-настоящему вернул «пиратов» в мир поистине жарких человеческих страстей и в мир борьбы.

...В этой палате появился новичок. Когда за ним захлопнулась дверь и он сделал несколько шагов по комнате, у многих «пиратов» от удивления разверзлись черные рты и подскочили на лоб надбровные дуги: перед ними стоял Сашка-«Цыган». Не было в лагере человека, который не знал бы его в лицо и не испытывал бы к нему острого чувства ненависти.

Зимой 1942–1943 гг. он, прославивший себя неутомимым усердием в качестве добровольного полицая, исполнял обязанности старшего санитара в ревире «Малого лагеря». Тогда еще «зеленые» уголовники стояли во главе внутрилагерной администрации, и это было в порядке вещей. То был стройный и гибкий, как змея, парень, с вечной, словно приклеенной к рябоватому смуглому лицу, нахальной улыбкой, над которой диковато поблескивали небольшие карие глаза, откровенно наглые глаза законченного мерзавца. Он был убежден в своем всесилии и на каждом шагу похвалялся изобретательностью в издевательствах над больными. У него была мягкая, пружинистая походка, щедрые на зуботычины огромные кулаки и ненасытная жажда мучить и истязать подвластных ему людей... Он был ехидно едок на язык, без всяких поводов лишал больных баланды и нещадно бил их черпаком во время раздачи пищи. А эта раздача была его любимым и никому непередоверяемым занятием: здесь он «царствовал», чувствуя всю полноту власти над другими людьми. Не-

редко его удар по голове прибавлял еще одну жертву, которую ждала прожорливая печь незатухающего крематория.

В короткий срок Сашка-«Цыган» стал знаменитейшей фигурой в кругу уголовников и завоевал благосклонность у эсэсовцев. Среди садистов, пригревшихся в ревире, он приобрел популярность как знаток практической медицины, так как ввел свои способы лечения больных. Наиболее универсальным и действенным был ледяной душ. В лютую зиму по распоряжению старшего санитара больного тащили в умывальную комнату, раздетого догола, укладывали в бетонную вазу-раковину и открывали все краны, требуя, чтобы он не шевелился, когда на него устремляются потоки ледяной воды... Естественно, больному не удавалось сделать это до тех пор, пока он не терял сознание. Как только он доводился до степени полной неподвижности, его извлекали из раковины и бросали на цементный пол. Старший санитар, обнажая крупные сверкающие зубы, утверждал, что никакая болезнь не может выдержать такого испытания, и не его, мол, вина, если больной расстанется с жизнью раньше, чем исчезнет его болезнь. Труп убитого увозили в крематорий, а его суточный паек становился трофеем одного из санитаров. Но... ничто не вечно под луной, и после долгой и жестокой борьбы «красные» политические одержали верх над «зелеными», Сашка-«Цыган» и его приспешники, как и все другие уголовники, были низложены.

Итак, перед «пиратами» стоял «знаменитый лекарь» Сашка-«Цыган». Он, правда, потерял прежний лоск и был с печатью смертельной болезни на когда-то лоснящейся от жира нагло-зловещей роже.

Прошел короткий миг удивления и некоторого замешательства. И вдруг со всех сторон зашумели, зашикали, зашипели «пираты»... Те, кто мог, вышли навстречу нежданному гостю.

— А-а-а! Господин полицай! Приятная встреча!..

— Добро пожаловать, милейший благодетель!..

Кто-то из «пиратов» только сейчас сообразил, кого судьба забросила к ним в палату:

— Братва! Да это же Сашка-«Цыган»!.. — и сразу перейдя на церемонный тон, с низким поклоном, придавая интонациям радушие хлебосольного хозяина, заговорил:

— Нижайшее тебе почтеньице, сукин сын! Проходи без стеснения, гостем будешь!..

Наверно впервые со дня основания ревира под низким потолком мрачной палаты взметнулся всплеск веселого смеха. Услышав его, даже лежачие «пираты» силились приподнять свои высохшие тела, упираясь в жесткие матрацы ватными, бессильными руками. Обескураженный таким непонятным приемом, когда-то гроза узников, «Цыган» делает несколько шагов вперед... На его полинявшем лице беспокойно суетится, ерзает глупая, растерянная улыбка. Испытывая замешательство, он не знает, что предпринять и как себя вести в этой сложной обстановке. Кто-то из «пиратов», тяжело дыша, из задних рядов протискивается на середину и, став в позу оратора, поднимает руку. Палата затихает.

— Братцы-пираты!.. — он старается придать интонациям бесцветного голоса торжественный тон. — Нам выпало редкое счастье: в нашу семью на вечное поселение припожаловал известный всем живоглот Сашка-«Цыган». Предлагаю встретить его, паразита, с достойными его персоне и чину почестями...

Тон — игриво-иронический. Но в смысле слов и в мимике лица говорящего промелькнуло что-то неукротимо-жестокое, и это едва уловимое движение незримой искрой пронизало души «пиратов», побудило их волю к действию. Волю, которой, казалось, уже больше не существует...

Кто-то из толпы «пиратов» выкрикнул тоном человека, сделавшего открытие:

— Попотчевать его, братва, тем, чем он нас потчевал!..

Его мгновенно поддержали:

— Тащи, браток, черпак! Да врежь ему, суке, между глаз!

Сашка-«Цыган» еще далек от мысли, что ему угрожает опасность, но чувствует себя прескверно. Потеряв власть, став простым смертным, он ощущает на себе враждебные взгляды. Однако, по его соображениям, прошлое пора забыть. Кого он убивал, тех уже нет на свете. А если руки в крови, так в те времена любой человеческой жизни цена была копейка. Стоит ли теперь вспоминать?..

— Ну, что стоишь? Проходи! Сейчас отведаешь черпачка! — подступают к нему «пираты».

— Шутите, братцы... — растерянно выдавливает из себя Сашка.

— Гитлер тебе братец, подлюга! — захлебывается в злобе один из «пиратов», и палата наполняется угрожающими голосами десятка людей.

Сашка, почуяв, наконец, недоброе, делает попытку отступить к двери, но в этот момент взмывший под потолок черпак с глухим звуком опускается на его голову. Под новый всплеск грозных выкриков «Цыган» отлетел от двери и схватился за ушибленное место:

— Братцы! Да что это вы? Больно же, убить так можете!..

Гнусавая жалоба бывшего добровольного палача, вопль животного страха, заключенный в ней, могли вызвать только смех и отвращение.

— Вот что-о-о, жизни своей стало жалко? А когда сам убивал, думал, что и другим жизнь дорога?.. Ты скажи, паразит, сколько душ загубил?

Удар ногой в пах не дал произнести «Цыгану» ни слова. Он взвыл сломавшись надвое, так что голова, описав дугу, устремилась к полу. Над ним заклокотала стихия ненависти, получившая свободу для своего проявления.

Дверь палаты широко распахнулась: услышав необычный шум, сюда заглянул дежурный санитар:

— В чем дело, ребята? — спросил он, с недоумением вглядываясь в возбужденные лица людей, сбившихся в кучу.

— Да вот, полицай к нам прикомандировался. В гости пожаловал. Ну мы его и приветствуем. Угощаем, чем он нас раньше потчевал...

Санитар не узнавал больных: столько было в них неизвестно откуда появившихся энергии, движения, жизни! Он пробежал взглядом по толпе, увидел «пирата» с черпаком в подпрыгивающей руке и знакомую фигуру скрюченного Сашки. Жалкий, трясущийся, тот смотрел на санитара как на спасителя, посланного самим Богом в самую страшную минуту его жизни. Он безмолвно просил у него защиты. Санитару нетрудно было догадаться, что тут происходит:

— Прекратите! То, что вы делаете — преступление! — твердо и с обычным спокойствием сказал он:

— Прекратите возню! Вам нужен полный покой!

Человек шесть ходячих «пиратов» придвинулось к санитару. Пожалуй, именно сейчас стихийный взрыв ненависти к «Цыгану» находил свое окончательное осмысление.

— Покой, говоришь?..

— Преступление?..

— Осади назад, дружище!..

«Пират», произносивший приветственную речь в «честь» прибывшего изверга, подошел вплотную к дежурному:

— На кой черт мне твои красивые слова и полный покой!? Мне завтра подыхать... Так я хоть буду знать, что не зря по бухенвальдской земле топал. Нам, кому вечный покой придет в крематории, единственное оправдание перед людьми, что мы из этой продажной шкуры и изверга своими руками душу вытрясем...

Эту тираду прервал переполненный гневом и ненавистью захлебывающийся голос:

— По его делам ему, гаду, смерти мало!.. Уходи, брат, не лезь не в свое дело. Мы сами за себя ответим...

Ах, как он понимал этих людей! Как любил их в эту необыкновенную минуту последней возможности проявить свою человеческую сущность! Стоя на краю могилы, они выполняли свой долг перед товарищами, погибшими от руки предателя...

Санитара охватила волна гордой нежности к ним и одновременно острой боли за их безжалостную судьбу... Неужели никто из них так и не выкарабкается из когтистых лап хищной старухи?!

Никто не знал и не должен был знать, что скромный простейший парень, санитар этот, — член бухевальдского подполья. Никто не знал и не мог догадаться, что карающая рука организации Сопротивления настигла уже не одного предателя и провокатора и что в этой очистительной работе — единственный залог существования и развития всей подпольной организации.

...Санитара вытолкнули за дверь. Он слышал, как она захлопнулась и к ней придвинули какой-то тяжелый предмет, видимо, койку. Вслед за этим послышался приглушенный шум, возня, глухие удары...

«Угощаем, чем он нас потчевал», — вспомнил санитар и улыбнулся. Там, за дверью, убивают человека. Этот человек — предатель. И в своем сердце он не нашел сожаления. Санитар думал о тех, кто в этой смерти видел справедливое оправдание своей жизни на земле. Между тем в палате все смолкло. Убрали от двери койку. «Пираты» приглушенно переговаривались, разбредаясь по своим местам. Они все еще тяжело дышали, их хрипы ясно доносились из-за двери. На полу, забытый всеми, лежал почерневший Сашка.

Через некоторое время уборщики трупов («лайхентрегеры») стали выволакивать его из палаты. Вслед ему кто-то из «пиратов» уже без злобы, мирно, добродушно, выговаривает:

— Ишь, хотел после меня в крематорий попасть... не вышло...

Через окна в палату стал вливаться ночной мрак. Тусклый свет лампочки под потолком отбрасывает его к стенам. В дальних углах он становится густым и непроницаемым...

— Ну, «пираты», спать! — слышится скрипучий голос. Звучит традиционный вопрос:

— Кто сегодня опускается на дно морское?

Устало дается наказ со включением в список подлежащего там избиению черпаком Сашки-«Цыгана». И мрак сплетается с тишиной. Сквозь эту тишину слышится, как возле блока шарит ветер. Он шуршит, убаюкивает, будит воспоминания о далеком родном, утерянном навсегда... А с той стороны колючей проволоки под напряжением еле доносится шорох сапог по гравию: это идет смена эсэсовской охраны на вышке...

* * *

Из туберкулезного блока мы отправились в хирургический, в палату с только что прооперированными. Уже на лестнице на второй этаж в нос ударил удушливый запах гноя. Зашли. На койках полулежали и сидели больные. У всех через плечо на грудь — повязки. Двое занимались странной гимнастикой: поднимали и опускали руку, а за их спинами стояли такие же больные и что-то держали в руках. Я подошел ближе: у «качавших» руками под лопаткой были сделаны разрезы, в которые вставлено по дренажной трубке. Чтобы она не «утонула» — не провалилась внутрь и держалась на нужной глубине, через торчащий снаружи сосок

была продета английская булавка, служащая стопором и ограничителем. Когда больной «качал», из трубки вытекали порции зловонной флегмонозной жидкости. Она стекала в банки, которые держали «ассистенты», такие же больные.

— Здесь — прооперированные больные гнойным экссудативным плевритом. Экссудат заполняет плевральную полость, легкому некуда расширяться при вздохе, и больной начинает задыхаться. Мы придумали: делаем разрезы, вставляем дренажи. Теперь больной сам откачивает экссудат. Как видишь, они сами себе помогают...

Плевритики находились здесь подолгу. Хотя и производилась периодическая промывка пораженной плевральной полости раствором пронтозила (отличный препарат-патент, вроде красного стрептоцида, но намного лучше и безвредней), до предела вымывавшего гной, ускорить лечение было трудно: необходимо было высококалорийное питание, улучшенные условия. Больных подкармливали, насколько это позволяли возможности: давали дополнительно поллитра супа, по кусочку хлеба. Этого было явно недостаточно, но все же... Добывалось необходимое и так: в ежедневных рапортах по два-три дня не сообщалось об умерших, они числились живыми, и на них продолжали идти пайки, которые и отдавали больным. Мертвые помогали живым хоть немного продержаться, а может, и выжить.

От эсэсовцев добились увеличения порций супа для медперсонала. Они уступили, понимая, что ослабление медицинского обслуживания и контроля грозит вспышкой эпидемий, а значит, и большими потерями дешевой рабочей силы, за которую в их кассу шли деньги от промышленных концернов. Из своей добавки и выделяли медики помощь истощенным и особо нуждавшимся. Был и еще канал: повара и рабочие кухни зачастую зависели от врачей, от их допуска на работу в пищеблок. Следовательно, надо было угождать медикам, подбрасывать им дополнительные порции. Так, медики добились и добавки для узников в детском блоке № 8. Врачи рисковали ежедневно. Эсэсовцы, например, подписывали заявки на медикаменты в мизерных количествах. Перед тем как пойти на склад, медики подделывали эти уже подписанные требования, ставя дополнительно цифры перед или после проставленной. Помогали и родствен-

ники и друзья на воле, высылая в посылках дефицит. Некоторым эсэсовцам приходилось закрывать на это глаза:

— Врачи СС стремятся сделать карьеру, получить ученые степени — объясняли мне коллеги. — А диссертации и дипломные работы для них пишут наши специалисты...

Одним из таких специалистов был Густав Вегерер, капо «Патологии». И как мало было таких, кто хотя бы немного догадывался о повседневной, кропотливой, систематически самоотверженной и сугубо рискованной работе героев-медиков Бухенвальда!..

— Жаль! — сказал на прощанье после этой «экскурсии» Буссе. — Жаль, что ты не берешься за пневмотораксию. С врачами, фельдшерами у нас проблема. Но был бы я на твоем месте, поступил бы, пожалуй, так же[55].

Его помощник, Отто Кипп, был арестован в 1933 году. Ему удалось вырваться на волю. Сражался с фашизмом в Испании в рядах интербригадовцев, попал в плен, откуда и был переправлен на каторгу в Цвиккау, затем в Бухенвальд. Ему всего сорок лет. Живой, энергичный, непоседливый — полная противоположность спокойному, уравновешенному и рассудительному Буссе, он успевал повсюду, налаживал и контролировал работу, помогал и обучал... Оба они не имели медицинского образования, но по духу были настоящими врачами-администраторами, не по знаниям, а по опыту, по долгу сердца.

Общение с такими людьми помогало жить и здесь, в этом нацистском застенке, в лагере уничтожения трудом. Они помогали не смиряться с рабской участью, уготованной нацистами, не бояться их. А нацисты днем и ночью стремились добиться именно этого — звериного страха. До полусмерти избитую, выволакивали они из бункера (лагерного карцера) очередную жертву и тащили ее, полумертвую, волоком к разборной портативной виселице, установленной рядом с крематорием. Строй узников на плацу обязан был смотреть, как дергается в петле тело их товарища. А в это время лагерный оркестр, одетый в нашу форму югославских курсантов, исполнял разные шлягеры, марши и танго. Особенно часто в такие моменты исполнялось: «Комм цуррюк, их варте ауф дих!» (Вернись, я жду тебя!). Каждое утро по лагерю проезжали телеги на «людской тяге» (их та-

щили впряженные заключенные), доверху груженные трупами в бумажных мешках, с торчащими из них ступнями, более похожими на кости, обтянутые кожей. Эта команда узников-возчиков именовалась «лайхентрегерами» (труповозами). Рассказывали, что при «зеленых» возчиков хлестали плетками и заставляли двигаться бегом и при этом петь. Тогда их прозвали «поющими лошадьми»[56].

В «гертнерае»-огороде безостановочно бегом таскали носилки с отстоем фекалия весом примерно в шестьдесят килограммов. То были узники-штрафники. По их спинам гуляли эсэсовские плетки... Чтобы посмеяться, эсэсовцы сталкивали иногда узников в резервуар с фекалием... «Гертнерай», снабжавший эсэсовскую кухню свежими овощами, продуман отлично. Сточные воды стекали в очистные сооружения, затем в отстойники и сушилки. Вот отсюда и разносили в бешеном темпе «естественное удобрение» по всему огороду.

Была и другая штрафная команда — «Штайнбрух»-каменоломня. С непосильно тяжелыми камнями на плечах поднимались узники, после окончания работы, из котлована и несли их на строительные площадки для домов, дорог. С работы в лагерь возвращались, таща с собой тела погибших. Войдя в лагерь, складывали их у крематория. Апофеоз смерти — вишневое зарево из короткой толстой трубы, из которой днем и ночью стелился шлейф длинного, густого и черного, как смоль, дыма. О-о, его должно было быть видно далеко: во всех у подножия Эттерсберга лежащих «мирных» селах! А по лагерю распространялся характерный запах жареного мяса. Конечно, этот запах до сел не доходил, а жаль!

Безостановочно шел конвейер уничтожения, гордо именуемый эсэсовцами: «Фойер, раух, люфт, химмел унд — фрайхайт!» — «огонь, дым, воздух, небо и — свобода!» Вот и конец безвестного «гефтлингснуммера», десятков ежедневно. Кто-то подсчитал, что в среднем в Бухенвальде ежесуточно уничтожалось 24 узника. Не знаю, не знаю... Было это на глазах у всех, и стало по-вседневной реальностью, «естественным», обыденным явлением. Вначале непривычное чувство ежеминутного ожидания неминуемой смерти действительно угнетало именно своей неотвратимостью и неизбежностью. Тем более, что на моей кар-

точке стояли эти роковые буквы «NN» (Мрак и туман) и «Акция Меершаум»[57].

Затем постоянная близость со смертью, длящаяся днями и ночами, притупила это чувство. Я стал фаталистом: «Чему быть, того не миновать!», как это утверждал в камере Фрэна «виконт» Шарль д'Орлеан. И в то же время я видел: не сломленное страхом и покорное животное, любым способом цепляющееся за жизнь, металось тут, как того хотел добиться нацизм, а живой человек со всем, что ему присуще. А живому несвойственно смиряться с призраком смерти.

Вспоминаю, как однажды Отто Кипп вручил мне билет на... концерт! Какой еще концерт в этом аду?! Огромный барак, недалеко от ревира. В нем обычно проводилась массовая рентгеноскопия, почему и прозвали «киноклубом». Он буквально был забит до отказа. Более того: концерт был приурочен к Первомаю, но состоялся днями позже, чтобы не вызвать подозрений эсэсовцев.

Выступали коллективы разных национальностей. Это подчеркивало интернациональную солидарность и сплоченность представителей всех народов, порабощенных нацизмом. Более двадцати национальностей! На сцену вышел подросток. Тощий, бледный, почти прозрачный, как дух. Прекрасным дискантом он запел: «В далекий край товарищ улетает...» Пел он медленно, без срывов. Песня эта явно запрещенная — о родном городе, о войне, о летчике и солдатском долге и... о победном конце. Узнай эсэсовцы, участников концерта ждала бы плеть на «козлах для порки» (специальное приспособление). К счастью, в зале их не было. Впрочем, билеты были выданы лишь проверенным узникам, хотя «стукачей» в лагере не водилось: их «ликвидировали» заблаговременно. Перед зданием были оставлены пикеты-«маяки», в обязанности которых входило предупредить о появлении эсэсовцев: заранее были подготовлены нейтральные, взамен опасных, номера...

Фурор произвел клоун-циркач Яша Гофтман своими эксцентрическими выступлениями: игрой на пиле-поперечке, на метле (в нее, видимо, был вделан какой-то инструмент)... На чем только он ни играл! По моему мнению, самодеятельность русских своей оригинальностью была на высоте! Кстати, о Яше: он был

штубендинстом в детском блоке № 8. Лучшего выбора нельзя было придумать: Яша умело поддерживал дух подростков. Он не только умел веселить и развлекать, но и выискивал среди подопечных таланты и развивал их. Взять хотя бы того паренька с прелестным голосом. Был в детском блоке и еще один штубендинст — Володя Холопцев. Оба они, Яша из Таганрога и Володя из Николаева, оставили о себе в детях незабываемую, чуть ли не священную память...[58]

На сцене — интермедия. Каторжная работа в штайнбрухе — каменном карьере. «Полосатики» в темпе возят тачки, таскают, разбивают огромные камни. Их подгоняет капо. Замахивается плеткой на одного, на другого. Обзывает их свиньями, дегенератами... Для него они — скот, подневольная рабская сила. Его, узника, сделали начальником, — он должен оправдывать оказанное ему «доверие», и он старается... Обеденный перерыв. Один узник жалуется другому:

— Ну какой же я дегенерат или свинья? Я — оперный певец!

— А ты думаешь, я — свинья? Я — актер театра.

— А я — профессор. Мои труды известны всему миру...

И так далее. Там и врачи, музыканты, знаменитые конструктора, химики... Подкрадывается капо, прислушивается. Наконец встревает:

— Так ты, говоришь, — оперный певец? Ха-ха-ха! А ну, изобрази что-либо!

На сцене гаснет свет, затем постепенно начинает светлеть. Мы ощущаем себя в настоящем театре, с кулисами. В таинственном полусумраке, из-за кулис, в черном плаще, в маске, появляется Мефистофель. Взмахивает плащом-крыльями и исполняет свою арию. Какой прекрасный звучный голос, какая мимика на искусно загримированном лице! Ему аккомпанируют музыканты — скрипачи, флейтист, виолончелист... Ныне — узники, работавшие только что в самой каторжной команде...

В переполненном зале — мертвая тишина: никто не ожидал подобного зрелища! Капо поражен тоже, но еще не сражен:

— Ладно, этому верю, и этому... Ну а ты, ты тоже был кем-то?

И каждый из «рабов», кто катал тяжелые тачки, кто таскал камни, кого только что подгоняли и избивали, как скот, — каждый оказывался представителем высшей интеллигенции, культуры и искусства... И именно его, этот цвет ума человеческого, и старается нацизм уничтожить в первую очередь! Уничтожить все лучшее, так как оно мешает, сопротивляется, не согласно с его идеологией! Видимо, не зря один из рупоров этого режима — Герман Геринг произнес:

— Как только я услышу слова «культура», «совесть», моя рука тянется к пистолету!

А мы здесь, в концлагере, под воздействием этого концерта почувствовали в себе Человека, несломленного и гордого.

* * *

Ночами лагерь иногда будил рев громкоговорителей. Из черных тарелок неслось: «Парикмахеры, санитары, врачи! Бегом к бане!» Такие приказы были не в редкость. Но один случай запомнился особо. Днем и ночью в лагерь приходили все новые и новые этапы — эшелоны с узниками: из Компьеня, Маутхаузена, Аушвица (Освенцима), других лагерей, разных стран... По 600, 800, 2000 человек... Страшные эшелоны! Бывали случаи, когда в пути, чтобы развлечься, конвоиры стреляли из автоматов по переполненным вагонам. Многие в них оказывались ранеными, убитыми, и еще сутки-двое путь продолжался, пока состав не доставят до его конечной остановки — к нам в Бухенвальд. В одном таком транспорте из Бельгии помню седовласого старика. Его, в полубессознательном состоянии, товарищи дотащили до бани. Из пулевых ран в груди и в спине, пенясь, пузырилась и вытекала сукровица. Говорили, что он был бельгийским министром. Обмыв, я сделал ему перевязку и с другими ранеными на носилках отправил в ревир. Сомневаюсь, что бедняге удалось выжить...

Примерно к середине мая наша «Иннере амбуланц» пополнилась еще одним русским — военнопленным ветврачом Григорием Бойко. И меня Отто Кипп перевел в хирургическое отделение, чтобы я подучился и этой работе. Я понял: у руководства имеется какой-то план. Подъем для нас был в 4.00, и я отправлялся на новое место работы. К этому времени я уже был переселен в блок № 12, где жили врачи. Работа начиналась с подго-

товки к приему. Бинты использовались по нескольку раз, и полученные из прачечной надо было разглаживать и скатывать. Но больше всего было бинтов бумажных. Салфетки мы нарезали из специальной многослойной бумаги. Всё затем стерилизовалось. Подготавливали рабочие места: раскладывали инструменты, банки с мазями, растворами. Все имело свое строго определенное место: ни секунды не должно было уходить на поиск того или другого. Этапы в сотни и тысячи узников, с ранеными в дороге, длинные очереди «доходяг» с сочащимися язвами, фурункулезом (очень много было с карбункулами!), с ранами, полученными на работе или после избиений, обязывали работать быстро и быть к такой работе хорошо подготовленным. Мы обучались в накладывании повязок различных видов, жгутов, к местной анестезии, инъекциям. Во дворе ревира были организованы массовые курсы по первой и неотложной помощи: руководство подпольем негласно подготавливало нас к работе на случай вооруженного восстания. Естественно, мы этого тогда не знали. Но полученные навыки пригодились неожиданно намного раньше...

* * *

Периодически, раз в шесть месяцев, узникам предоставлялось право заполнять специальные бланки писем на волю, с предварительным на них перечислением, о чем можно писать. Пришел и мой черед. Писать или не писать? Кому? Надо было все обдумать, чтобы не подвести адресата. После долгих раздумий и консультаций с друзьями решил сообщить о себе Терезе Бинэ: Ренэ писать не рискнул из опасения, что она, возможно, «под колпаком» — негласным надзором. Основным моим желанием было узнать о Мишеле. И в письме я упомянул о «блохах» (блоха по-фрацузски — пюс). У подписи я ввел и слово «Зиг» (по-немецки — победа, но не так пишется). Ведь нынешнюю мою фамилию Тереза не знала, да и почерк больной рукой не был похож на мой старый. Добавил несколько фраз о том, о чем могли знать только она и я. Догадается ли? Получу ли ответ? — и стал ждать, но без особой надежды.

* * *

Отто Кипп пригласил как-то сыграть с ним в шахматы. Сыграли партию, вторую... и он предложил мне сходить в блок патологии. Назвал час:

— Подойдешь к капо, скажешь, что это я послал тебя сыграть с ним. Он — большой любитель...

Так я и познакомился с австрийцем, политическим узником Густавом Вегерером. В шахматы он играл преотлично: я не выиграл у него ни единой партии. За игрой у нас шли откровенные разговоры. Особенно он интересовался развитием событий во Франции, деятельностью подпольщиков в Бретани, в других местах, о связях с союзниками. И я «выкладывался» перед ним, как на духу: очень приятно, когда тебя умеют слушать! Он несколько раз побывал в Москве, якобы на шахматных турнирах. Когда Гитлер захватил Австрию, Вегерера арестовали. По-русски говорил он безупречно. Во время последней беседы он повел меня в кабинет патологии и показал хранившиеся там экспонаты. Только тут я узнал о садизме бывшей «комендантши» лагеря — Ильзы Кох, зверствовавшей здесь до сорок третьего года. «Экспонаты» были собраны при ее непосредственном участии. Ссушенные и каким-то способом уменьшенные чуть ли не до размеров кулака людские головы на мраморных подставках предназначались как пресс-папье в кабинетах — сувениры высокопоставленным эсэсовским чинам. В стеклянных сосудах — органы человеческого тела, в одном — сердце и кусок подкожного сала, якобы ее любовника-заключенного... Фрагменты высушенной татуированной кожи: Ильза Кох специально охотилась за узниками с красивой татуировкой: их убивали и в свинарнике-Швайнешталь — особая бригада занималась выделкой этой кожи, из которой затем изготавливали дамские сумочки, настольные абажуры, переплеты для книг и пр... До сих пор перед глазами эти банки с заспиртованными (или в растворе формалина) сердцем и салом! До чего только не додумается патологическая психика при вседозволяющем преступном режиме![59]

— Об этом нельзя забывать! — гневно отметил Густав. — Может, тебе удастся осуществить твою мечту. Я уже стар, слишком много знаю. Таких, как я, эсэсовцы в критический момент уничтожат первыми. Запоминай, будь свидетелем! Скоро тебя отправят на транспорт. Может повезет, и ты бежишь... Вот и рас-

скажешь, что видел, что здесь творилось. Пусть мир узнает!.. Учти, что даже после войны появятся круги, которые будут отрицать эти факты, будут стараться их исказить, сфальшивить. И для этой цели они будут нанимать «историков»! Найдутся и такие, кто будет обвинять тебя во лжи, — ты, мол, ничего этого не видел. Учти, как сказал один недалекий мудрец: «Заразная болезнь — заразна!» Конечно, если ее не лечить, не заниматься профилактикой![60]

* * *

Лагерные репродукторы вызвали двести номеров — голландцев. Среди них был и мой. Отправка на транспорт под кодовым названием «Вилле». Куда он? — никто не знал.

В ревире мне выдали нарукавную повязку «Арцт-пфлегер». Я назначался заведующим медпункта. Буссе и Кипп выделили мне два огромных ящика с медикаментами, инструментарием и перевязочным материалом. По норме — на три тысячи человек. Почему так много, — нас же всего двести! Погрузили на машины, и к вечеру мы прибыли к месту назначения — в палаточный лагерь на холме близ города Цайц. Вокруг — колючая проволока на изоляторах, вышки из бревен. Много больших палаток. В одной разместили голландцев, маленькую палатку предоставили мне. Это будет медпункт. В ее закутке — амбулатория с кроватью для меня, в остальной части — несколько тюфяков прямо на земле — «стационар». В углу лагеря вырыта глубокая траншея с системой бревен по обе ее стороны, как в уборной малого лагеря. Там же рядом — несколько бочек с хлорной известью. Эсэсовцы распределили должности голландцев — они будут обслугой. Фельдшер — СС-обершарфюрер (старшина). Оба ящика он сразу же забрал к себе, оставив мне лишь две банки — по полкилограмма ихтиоловой мази и вазелина, и некую толику перевязочного материала и инструментария:

— Если потребуется что-либо, будешь обращаться ко мне...

Через два дня стали прибывать грузовики с узниками. Все — венгерские евреи. Три тысячи человек! Рано утром их строили и выгоняли за ворота. Там заставляли разуться и с ботинками-хольцшуэ на плече гнали бегом по дороге из свеженасыпанного щебня. Около четырех километров. По спотыкавшимся и отстающим немилосердно гуляли резиновые шланги и приклады. Уже

с середины пути щебенка покрывалась кровавыми каплями...

В первые дни я выходил вместе со всеми и был невольным свидетелем произвола эсэсовцев. Но шел я как «экскурсант»: обутый, не по щебенке, а по обочине, среди конвоя. Я хотел ознакомиться с обстановкой, разведать возможности побега. И... воочию убедился в зверстве охраны и в трагедии евреев.

Нас ввели на территорию совсем недавно разбомбленного завода «Брабаг» (браун-коле-безин) — искусственного бензина из бурого угля. Бомбы большого вреда заводу не нанесли, зато были разрушены все коммуникации, силовые кабели, подсобные помещения, трубопроводы тепло- и водоснабжения. Евреи должны были рыть глубокие, в рост человека, траншеи и по ним затем протягивать тяжелые, освинцованные и большого сечения силовые кабели, расчищать завалы, восстанавливать железнодорожные пути. Часть траншей была уже вырыта ранее, видимо, экскаваторами. Работа по двенадцать часов, с перерывом на обед, но без еды. Возвращались евреи опять босиком по острым камням: — Обувь надо беречь. А самих евреев надо приучать к физическому труду! — злорадно утверждали конвоиры. И опять избиения шлангами...

Так, щеголяя друг перед другом, конвоиры вымещали свои культивированную ненависть к евреям и беспредельный, ненаказуемый садизм.

Через несколько дней стали прокладывать бронированный кабель. Он, словно нескончаемая длинная и толстая змея, медленно, давя на людские плечи, полз вперед. То прогибался вниз, то вихлял из стороны в сторону, то отрабатывал назад. Непомерный груз! Увидев, что один из несчастных вот-вот рухнет, я невольно сделал рывок, чтобы соскочить в траншею и подсобить, но тут же клацнул затвор:

— Цуррюк! — услышал я грозный окрик и увидел направленное в меня дуло карабина. Я остановился, а охранник опустил ствол и примирительно сказал:

— Это — иуды! Пусть учатся работать!

Возвращаясь в лагерь, узники каждый раз волокли с собой все новых и новых покалеченных: с раздробленными ступнями, переломанными ногами, руками... Число травмированных росло изо дня в день. Были и убитые. Их трупы отправляли в крема-

торий Бухенвальда, вместе с тяжелотравмированными. А обер-шарфюрер оставался непреклонным:

— Ты получил все необходимое. Иудам ничего не дам. Пусть узнают, что такое настоящий труд. Они сами придумали: «Кто не работает, тот не ест!» Тунеядцев нам не надо. Я дал распоряжение на кухню: неработающих — не кормить... Это — по их закону, обижаться им нечего. А твои лежачие не работают, значит, кормить их нет надобности!

Заводские трубы вскоре задымили, пошла продукция. Цистерны, заполненные горючим для танков, на утро должны выйти в путь. И тут — ночная бомбардировка. Пути разрушены. Зажигалок не пожалели — повсюду пылали и взрывались цистерны. Начинай все сначала! Странно: главный заводской комплекс опять цел!

За два месяца, что я был здесь, бомбардировки производились именно в тот момент, когда начинал работать завод: кто-то, по-видимому, своевременно и регулярно давал об этом знать. И опять та же восстановительная работа, и опять та же сказка про белого бычка, те же изощренные издевательства конвоя, вымещавшего на евреях ненависть и месть.

На раны накладывались бумажные бинты — других мне не дали. Держались они плохо, не более суток. Растягивались, сползали. Раны стали гноиться. А мух — туча, заводились черви. Я бегал от одного лежачего больного к другому, пинцетом выковыривал червей, заливал раны марганцовкой, йодом, старался хоть чем-либо помочь, облегчить страдания. Но все мои усилия были тщетны — от червей никаких средств, и в гною они себя чувствовали, как в раю. А эсэсовец-фельдшер насмехался: — Черви — это хорошо! Они — санитары, очищают раны! У евреев, видно, очень вкусный гной, ха-ха-ха...

Как же помочь? Как заставить выдать мне необходимое? Как найти управу на фельдшера, на конвой? Посоветовался с еврейскими старостами. Первым делом было решено, что они из общего пайка работающих будут выделять по нескольку литров супа для лежачих больных. Второе — напишем докладную в гроссревир и обрисуем произвол эсэсовцев, третье — будем требовать немедленной отправки лежачих больных в главный лагерь, иначе всем им — смерть! Да, с трудом, но удавалось вып-

рашивать из каждого термоса супа и «кафе-эрзаца» по нескольку литров для больных стационара, действительно лишенного продовольствия: голландцы-повара с удовольствием выполняли приказ СС-обершарфюрера и перестали отпускать баланду для санчасти. Тоже злорадствовали:

— Если захотят есть, пусть идут и зарабатывают!

Что же касается рапорта, то... подписало его менее половины старост: «Как бы чего не вышло!..»

* * *

Только что я получил письмо от Терезы Бинэ. В завуалированной форме она сообщила, что «Пюс», желая отомстить за мою гибель, предпринял со своим отрядом франтиреров дерзкую атаку. Но... силы были неравны, и все они полегли. Нет более Мишеля, нет моего друга! А я... я еще жив! Где же справедливость? Мной овладела глубокая тоска и душевная депрессия: ведь это я виноват в его гибели, не выполнив его приказа! Да, в человеческой душе бывают моменты, вызванные непомерной болью. И нет от нее, от этой боли, никаких лекарств! Какое я имею право жить!?..

— Срочно к обершарфюреру! — запыхавшись, выдохнул курьер-голландец.

Их собралось много, этих эсэсовцев. Я не обратил внимания на их злобные лица... — Так ты, собака, жидовский пособник, докладные на нас писать! Жаловаться вздумал?! — держа в руке мою бумажку, заорал обершарфюрер.

Удар в скулу, еще, еще... Я не защищался, не уклонялся. Зачем? Даже не удивился, что мой рапорт оказался у них: разве я мог предположить, что мне подстроят такую свинью? Меня повалили, стали бить ногами. Мне было не до них. Никакого ощущения боли, полное отрешение. Оказывается, душевное страдание заглушает боль физическую. Удары сыпались. Я это воспринимал, как должное. Думал совсем о другом — о Мишеле, о его гибели по моей вине...

— Встать!.. Встать! — завопили эсэсовцы, пораженные моей инертностью. Поднялся, как автомат. Меня шатало, мутило, отовсюду струилась кровь. Видимо, не желая пачкать пол, меня выбросили вон.

— Эту скотину отправить в крематорий! — донеслось до меня, и я, шатаясь, поплелся в свою палатку.

Ко мне никого не допускали. Через два дня, в сопровождении двух дюжих эсэсовцев, первым же грузовиком, вместе с трупами, меня отвезли в главный лагерь. Была ночь, когда меня втолкнули в шрайбштубе.

— Оформить! — приказали эсэсовцы дежурному писарю, бросив перед ним какую-то бумажку. И удалились.

За столом сидел Добричко. Прочитав бумажку, он вскинул голову:

— Ты?!.. Что ты там натворил?

Я безучастно рассказал. Когда дошел до Мишеля, из глаз брызнули слезы. Кажется, только тут депрессия стала спадать. Добри заволновался. Привел меня в блок номер № 17:

— Без приказа отсюда не выходи! — и сказал что-то блоковому. Позже рассказывали, что Буссе, к которому прибежал Добри, тут же собрал своих помощников. Затем вызвал меня:

— Я же тебе твердил: осторожность и еще раз осторожность! На кого и кому ты решил жаловаться? Подумал бы: ну что я могу против них?..

Его строгий взгляд остановился на мне. Сколько раз ему доводилось вот так, как сейчас, решать судьбы людей и ставить на карту свою собственную жизнь! Одних спасая от шприцевания, других — от крематория, третьих — от Доры или газовой камеры Освенцима...

— Положить в санчасть! — нарушив тревожную тишину, приказал Буссе и направился к выходу. Видимо, он и сейчас был готов погибнуть сам, но спасти товарища...

Спустя некоторое время в лагерных репродукторах послышался треск, а затем прозвучал приказ:

— Телефонный аппарат № 35, снять трубку!

Команду, усиленную репродукторами, слышно во всех блоках и закоулках лагеря. Ее смысл понятен каждому: в крематорий шло распоряжение об экзекуции. Узники знают и другое: минут через 25–30 к воротам, к щиту такому-то, вызовут номера узников, приговоренных к смерти. Таков нерушимый порядок, установленный комендантом. И он никогда не нарушался. Не был

он исключением и в этот августовский день. «Это — конец!» — подумал я.

Ярко светило солнце, играя светлым бликом в стеклах окон. Вспомнил далекое детство, щедрое теплом ялтинское побережье. Семнадцать лет минуло, как я покинул родину, побывав перед тем с тетей Ритой в Крыму... Воспоминания об этом сжали сердце...

В репродукторе послышался треск, и палата огласилась ревом команды:

— Гефтлингснуммер 44445, бегом к воротам, к щиту номер...

Меня вызывали на смерть. Депрессия улетучилась. «Лежи спокойно!» — приказываю себе. Там, в сырых подвалах гестапо, в морозильнике, когда меня пытали морально и физически, в минуты отчаяния я призывал смерть-избавительницу. Сейчас — наоборот: только что я узнал о высадке в начале июня союзников и теперь с боями продвигавшихся к границам Германии. Победа близка, нужно жить и бороться, а меня... меня вызывают в крематорий! Я окликнул санитара:

— Позови кого-нибудь!

Пришел Отто Кипп, приказал лежать: пусть, мол, вызывают. И снова ушел.

— Заключенный № 44445! — вновь зарычал репродуктор: — Живо к воротам! Бегом! — и из черной тарелки понеслась солидная порция брани. Я снова позвал Киппа:

— Я обязан идти, иначе из-за меня оштрафуют весь лагерь!

— Тебе сказали: лежи! Что делать дальше — скажем.

Третий раз вызывать Отто не пришлось — он пришел сам в сопровождении санитара. Повел по широким ступенькам в подвал. Открыл дверь, и мы очутились в морге. Кипп указал на один из трупов. Санитар молча стал выводить цветным карандашом на груди умершего цифры: 4... 4... 4... 45. По всему было видно, что в подобной операции участвует он не впервые, — понимал Киппа без слов.

— Теперь ты — Петр Бабич, русский из Сталино, номер 7015. Временный, не забывай!

Мне взамен моих дали три полоски с этим номером. Труп отправили в крематорий. Больше репродуктор меня не вызывал.

— Я для того показал тебе всю эту процедуру, чтобы ты усвоил: отныне наша жизнь, жизнь Эрнста Буссе и других — в твоих руках. Теперь ты не имеешь права ошибаться![61]

Несколько дней я провел в изоляторе ревира, затем Отто сказал, что все обошлось: приезжали эсэсовцы из Цайца, убедились, что «номер» сожжен. Теперь мне предстояло вновь носить свой номер, но не попадаться эсэсовцам на глаза: вдруг кто-нибудь из них меня узнает. Затем Кипп направил меня к Густаву Вегереру.

— Садись! — пригласил меня капо, проведя в свою комнатушку и поставив передо мной шахматную доску. — Сыграем, потолкуем...

— Почему не бежал? — было его первым вопросом.

Я описал обстановку в «коммандо Трёглитц-Ремсдорф», как назывался лагерь у Цайца, так как он находился между двух этих сел. Выходил, мол, я из зоны только в первые дни, убедился, что побег невозможен: как бежать без контакта с населением? Куда? Да еще в полосатом!

— В центре Германии, в «зебре» — невозможно! Надо что-то другое. А сейчас, в связи с продвижением союзников, такая возможность безусловно появится...

В этот день я познакомился и с моим соотечественником — Николаем Симаковым. С ним договорились о встрече в одном из блоков «Малого лагеря». Я уже знал, что Николай — бывший пограничник, военнопленный сержант, отважный и толковый человек. От него я узнал о судьбе первых советских пленных, доставленных в Бухенвальд: даже не заведя в зону, их провели в «конюшню» — специальное здание, где практиковался расстрел выстрелом в затылок. «Одна минута — один труп!» — гордо хвалили эсэсовцы производительность этого конвейера смерти, замаскированного под помещение для медицинского освидетельствования. Палачи были одеты, как врачи, — в белые халаты. Лишь последующие партии военнопленных были заведены в лагерь, где им выделено три специально огороженных дощатых блока, номера 1, 7 и 13.

Встреча наша произошла в блоке, где штубендинстом был русский моряк — Виктор Рачковский. Когда я вошел, Симаков лежал на его кровати. Глубоко ввалившиеся глаза блестели не-

здоровым лихорадочным блеском. Таким, как у ребят в туберкулезном блоке. Поставить диагноз было нетрудно. Все же, как только я вошел, Николай с усилием приподнялся.

— Знаю, что ты надумал бежать... — начал он без предисловий. — Но и здесь можно и должно бороться...

Намекнул, что подпольщики мало-помалу вооружаются, что проводится работа по подготовке к вооруженному восстанию и что требуются надежные люди. Не скрою, такая идея мне в тот момент показалась бредовой. Разве могут узники противостоять эсэсовской охране, насчитывающей 2000 человек, вооруженных до зубов! В их распоряжении, в случае надобности, и аэродром в Норе, танки, артиллерия... А кто такие узники? В этом я убедился на примере в Цайце: за них болеешь, а они же тебе и свинью подсунут, предадут! Нет, «лучше синичка в руки, чем журавль в небе»! Правильно говорит русская поговорка. Побег надежней, чем ждать у моря погоды! Тот же «аттантизм»! Не верил я ни в возможность, ни в успех восстания. Не верил даже в возможность серьезной подготовки к нему. Правда, знал, что несколько дней назад в зону удалось под трупами из эшелона провезти легкий пулемет с патронами. Ну привезли, ну спрятали, а что дальше?..

— Ну что ж, — вздохнул Николай, — вольному — воля!..

На том и закончился наш разговор.

Теперь я жил в блоке № 30. У русских:

— Русские там — надежные и проверенные ребята. Тебя не выдадут. Присматривайся к ним, подбирай друзей, которые бы могли составить тебе компанию! — посоветовал Густав.

На работу я ходил в «Гертнерай». Команда штрафная, но... не для меня и не для моего напарника, имя которого забыл: как только вводили в зону огорода, нас двоих отделяли от остальной команды, и мы, с кошелками, ползали между рядов помидоров, собирая спелые плоды. Никакого надзора, никаких эсэсовцев рядом. Они там, внизу — у очистных сооружений. Мы слышим их далекие голоса, их брань, видим, как хлещут они плетками по бегущим с носилками... Жуткая картина! Ну а мы, не спеша ползаем, промеж рядков, любуемся давно забытым видом этих прекрасных «золотых яблок» (помидоро — по-итальянски)...

Едим, сколько хотим, хоть и без соли. И где? — в одной из самых страшных штрафных команд, которая пугает многих!..

Нисколько на такой работе не утомившись (умудрялись время от времени и подремать на солнышке!), вечерами я ходил по блокам. В блоке № 34, где однажды проводил «лойзеконтроле» — проверку на вшивость, меня привлекало послушать веселых и остроумных французов. Вспоминаю об этом и сейчас с улыбкой. Был там не то клоун, не то просто комик от рождения: он такие рожи строить умел, что покатываешься, держась за живот! Мог он так закинуть свой длиннющий язык, что он доставал до переносицы и, как лопатой, накрывал весь нос! Удивительно подвижное лицо, удивительный язык! Другой француз с преотменным искусством и на полном серьезе красочно описывал технологию изготовления самых деликатесных блюд и давал их рецепты, как оформить, как презентовать. Мы еле успевали слюнки глотать! Вспоминаю студенческую шутку: пошли мы как-то послушать концерт духовых инструментов, уселись в первом ряду и, как только музыканты задули в них, мы, стараясь обратить на себя внимание, достали лимоны и стали их сосать, делая самые кислые гримасы. У музыкантов захлюпали, зафальшивили их трубы и нас в итоге выставили вон из зала... Вот так и здесь. Не знал я вначале, кто этот рассказчик: им оказался Кристиан Пино, бывший министр и сверх того — один из прославившихся руководителей французского подполья, под кличкой «Фрэнсис». Группы его организации «Либе-нор», именуясь «фалангами», работали на Атлантике параллельно с нами и с группами «когор»...[62]

* * *

24 августа 1944 года. Накануне, поздно вечером, лойфер вручил мне в блоке бумажку «Цум Арцт». Странно!

— Я же не болен!

— Ничего не знаю. Приказано тебе передать, чтобы ты завтра на работу не выходил. С 11.00 и до 13.00 ты должен быть в блоке. В ревир идти не надо. Ясно?

Ясным ничего не было. Но приказ есть приказ, зря бы его мне не передавали. Ломаю себе голову: что должно произойти со мной? Может, на обещанный этап?..

В указанное время в блоке, кроме меня, оказалось еще двое или трое. С такими же бумажками. Сгораем от любопытства, ожидаем чего-то сверхнеобычного...

В 11.15 внезапно раздался рев сирен. Воздушная тревога, сперва предварительная, почти сразу затем «полная». Бросились к окнам: над нами в небе появился малюсенький самолетик «Мустанг»-истребитель. Оставляя за собой след-инверсию, он описал над лагерем круг, влетел в его центр и сбросил дымовую шашку на парашюте. Ясно: по ее дыму бомбардировщики произведут корректировку на направление и скорость ветра. А вот и они — армада летающих крепостей. Поблескивая и переливаясь на солнце, стали опускаться тучи станиолевых лент. Бомбардировщики шли низко. Засвистели бомбы. Некоторые из нас бросились под кровати, будто те могут их спасти. Смешно! Мне к бомбардировкам не привыкать стать — продолжаю глазеть в окно. Первые бомбы заухали взрывами около «собачника», где находились эсэсовские овчарки, а также в стороне завода «Густлов». Затем серии бомб упали в стороне эсэсовских казарм и «каменоломни» и левее лагеря — на ДАВ, у самой «брамы» — ворот. Взрывы, столбы дыма... Посыпались «карандаши» — фосфорные зажигалки. Закувыркались, падая, стенки их кассет... Самолеты улетели, пожары разрастались. Загорелась крыша «Эффектенкаммер», в которой хранились чемоданы и вещи узников. Это здание было рядом с кухней, и мы бросились тушить...

В лагерь «заблудилось» три бомбы: две — у забора крематория, одна попала между двух дощатых бараков на аппель-плацу, где производился ремонт оптики и размещалась электромастерская. Крематорий остался невредим, а бараки полностью разрушены. Эффектенкаммер загорелась от двух упавших на нее зажигалок и искр от большого пожара в лесном складе ДАВ. Там полыхало здорово! Зажигалки нам удалось сбросить, ликвидировать огонь. Мне с крыши этого двух- или трехэтажного здания было все хорошо видно. Ворота были широко распахнуты, туда и сюда сновали узники: одни спешили за зону на помощь раненым, другие вносили их в лагерь — в ревир. Я бросился в лазарет помогать, пробежал мимо тлевшего «дуба Гёте». Согласно преданию, у этого дуба Гетё любил писать свои гениальные стихи. Эсэсовцы же утверждали, что «Третий Рейх так же кре-

пок и будет существовать вечно, как и этот дуб!». И вот — конец дубу, значит и рейх скоро «дуба даст»! Поскорее бы!..

Вот когда пригодились полученные знания по оказанию первой помощи!

Конечно, бомбардировка имела свою причину. Только два дня назад узники узнали, что некоторые цеха «Густлов» и ДАВ переоборудованы и переоснащены, в том числе и прибывшими итальянскими станками, для производства ракет «Фау-2» (фергель-тунгсфойер — огонь возмездия). На днях должно было начаться их серийное производство. Видимо, это стало известно и союзникам. Теперь заводы полностью уничтожены. Узнал я также и то, что за несколько дней перед тем радио Би-Би-Си сообщило о дне и часе бомбардировки. Об этом доложили Интернациональному лагерному комитету (ИЛК). Вот почему некоторым узникам были вручены повестки «Цум Арцт» или «шонунги»[63].

Сгорели почти все наружные дощатые эсэсовские службы, среди них и барак «Политише абтайлунг», где хранились документы и фотографии узников Бухенвальда, в том числе и мои. Как нельзя кстати: теперь много времени понадобится, чтобы все это восстановить по другим архивам. Тем, кто пошел на смертельный риск замены моего номера и мне лично это, — на руку!

И все-таки у бомбардировщиков был просчет: бомбы, предназначенные на каменные казармы СС, попали в карьер, и там погибла масса узников, эсэсовцев — тоже.

* * *

После бомбардировки, по указанию Густава Вегерера, я вплотную занялся подыскиванием надежных ребят.

— Подбери себе человек двадцать, — сказал он. — Мы вас включим в подходящий транспорт. При этом он протянул мне газету. Не помню, то ли «Тюрингише гауцайтунг», то ли «Фелькишер Беобахтер». От 27 августа. Там была короткая заметка: «...Во время бомбардировки англо-американскими воздушными пиратами одного из концлагерей под бомбами погибли Э.Тельманн и Брейтшейд...». Действительно, в специальном наружном бухенвальдском лагере «Фихтенхайм», где сидели «проминенты»-элита, погиб депутат ландтага Брейтшейд и была смертельно ранена принцесса Мафальда, дочь итальянского короля Витторио-Эммануела. А вот Тельмана там не было:

— Его привезли в ночь на 18 августа прямо в крематорий, где и застрелили, когда он спускался по лестнице в подвал. И сразу же сожгли, — уточнил Вегерер.

* * *

Русские ребята часто собирались у блока № 25. Заводилой и душой был здоровенный рыжий детина с грубыми чертами лица и некрасивым мясистым носом картошкой. Звали его Колей Бирюковым, по кличке «Сибиряк». Он, по-моему, и был не то из Сибири, не то с Волги. Да и фамилия его чем-то напоминала «бурлака». Неунывающий шутник и запевала — коронной его волжской частушкой была:

Эх, Жигули вы, Жигули, до чего ж вы довели!

и слова:

Артя, тяни! Ты, Микитка, подавай!
Волга, матушка-река, широка и глубока!

Ребята эти, в возрасте 17–25 лет, работали в «престижных» командах, куда их пристроили подпольщики: в прачечной, столярной, сапожной мастерских, в «транспортколонне штрумпфштопферай» (носильщиков носков для штопки) и других. Известно, что песни, шутки, общительность, юмор всегда сближают. Тем более, когда это в подобных, концлагерных, условиях. Это все и сколотило порядочную группу цвета юности. Я стал рассказывать о приключениях, эпизодах из подпольной жизни моих друзей, о партизанах и их борьбе, о дерзких побегах из тюрем и лагерей. Должен отметить, что рассказы о немецких подпольщиках были встречены ими явно недоверчиво: для них каждый немец был заядлым и ненавистным фашистом. Но рассказы о побегах, вот что находило самое жгучее любопытство! Да это и естественно: кто в юности безропотно согласится на рабство и не будет мечтать о побеге? Ко мне очень внимательно стал присматриваться бывший политрук Николай Лисицин, с непонятной кличкой «Америка». Почему «Америка»? Не потому ли, что своей осведомленностью и умением на все находить ответ он часто «открывал Америку». Во всяком случае он у ребят пользовался весомым авторитетом, хоть и был сдержан на язык и немногословен, даже сверхсерьезен.

— Давай начистоту! Какие у тебя планы, какие возможности? Не зря ведь ты так распространяешься о побегах!..

Что ж, раз парень понял, почему бы и не открыться? Да, он тоже считал, что сидеть в лагере и ждать конца войны, освобождения, пусть даже и путем восстания, не приличествует солдату. И он согласился войти в мою группу. А с ним свое согласие дали Коля-«Сибиряк» и некоторые другие. Присоединился и мой бывший «пациент», восемнадцатилетний высокий крепыш, чернобровый «Василек» Орлов. Ему на мебельной фабрике эсэсовец ради забавы перебил дверцей шкафа средний палец на левой руке. И мне, работавшему в то время в хирургическом отделении, пришлось ампутировать две фаланги. Я убедился в его выносливости. С тех пор он и питал ко мне большое уважение. Вошел в группу и Николай-«Белофин», тоже крепкий верзила. Всего удалось подобрать человек двенадцать-пятнадцать, но на этом все внезапно и самым неожиданным образом застопорилось.

В Бухенвальде во главе каждой национальности стояло свое руководство — «Центр». Во главе французов — полковник Фредерик-Анри Манэ, тот, который некогда помог Жану Мулену, будущему полномочному представителю генерала Де Голля на территории Франции, перебраться через Гибралтар в Лондон, снабдив его фальшивыми документами. В мае 1944 года этапом прибыл и разделил с Манэ руководство известный коммунист Марсель Поль. О нем я был наслышан: в 1902 году, в день национального праздника 14 июля (взятия Бастилии), он, трехдневным подкидышем, был найден на улице, воспитывался в крайне бедной крестьянской семье, затем определен в морское училище, где приобрел специальность электрика, стал активистом профсоюзного движения, за что и был перед началом войны на грани ареста. При вторжении гитлеровских войск бежал в Бретань, где занялся сколачиванием и спайкой разорванных звеньев коммунистической партии. Организовал выпуск и распространение антигитлеровских листовок, сбор оружия, но был арестован[64].

Югославами руководили Рудольф Супек и Славко Фигер. Лично я был знаком с Фигером. Чехами руководили Кветослав Иннеман и Милослав Моулис, поляками — Вацлав Чарнецки и т.д. Все они были объединены в один координационный коллектив — подпольный Интернациональный лагерный комитет — ИЛК. Эрнст Буссе и Густав Вегерер играли в нем немаловаж-

ную роль. Вскоре у Марселя Поля появился новый помощник — Пьер Дюран, бывший до ареста адъютантом у «полковника Фабиена» (моего «капитана Анри») во Франш-Конте.

Я не предполагал, что и среди советских узников имеется две организации: одна — у военнопленных, вторая — у штатских-«полосатиков». Военнопленными руководил тот самый Н.С.Симаков, с которым я познакомился у Вегерера[65].

Однажды после отбоя во флигеле «А» блока № 30, где мое место в спальне было на самом верхнем этаже, я по просьбе ребят рассказывал эпизоды из Франции. Вдруг погас дежурный свет, и в наступившей тьме чей-то голос потребовал «прекратить провокационную болтовню». Затем другой, спокойный голос зачитал сводку с фронтов. Рассказано было о победах Советской армии, об открытии Второго фронта, о начавшемся освобождении с одной стороны Польши, с другой — Франции, о восстании в Румынии, о партизанском движении в порабощенных странах — в Югославии, Греции, Франции... Голос говорил ровно, убедительно и бесстрастно. Рядом со мной какой-то парнишка восторженно прошептал: «Иван Иванович!» Хлопнула дверь, зажегся свет. Да, то была настоящая информация! Сколько смелости, однако, надо иметь, чтобы давать подобные сообщения! Так я и узнал, что и у советских «полосатиков» проводится важная и героическая работа, а следовательно, имеется и собственный «Центр»[66].

* * *

Нацистскую Германию теснили со всех сторон. Перед лицом наступавших уже с трех сторон (из Италии — тоже!) союзников гитлеровцам срочно приходилось эвакуировать концлагеря, паутиной опутывавшие всю захваченную ими Европу. В наш лагерь стали тянуться эшелоны с узниками. Лагерь был переполнен, блоков уже не хватало: численность контингента дошла до 80 тысяч. Разбили в рощице, ниже малого лагеря, напротив гроссревира большие брезентовые палатки. В одной из них разместили неизвестно откуда привезенных американских летчиков со сбитых бомбардировщиков. Сто пятьдесят человек! Вели они себя гордо, категорически отказываясь от общения с другими узниками. Считали, наверно, что мы — уголовники-каторжане. Тогда к ним послали «делегацию» из детей — ребят из

Восьмого блока. Со скромными подарками. Когда американцы увидели и детей в полосатой робе, то сердца их оттаяли. Вот только непонятно: на каком языке общались детишки с американцами? Во всяком случае, поняли они друг друга отлично! Долго они у нас не задержались. Или их увезли в лагерь военнопленных, или, как прошел между нами слух, всех их сожгли в крематории: очень уж большой зуб был у гитлеровцев на так называемых ими «воздушных пиратов», под бомбами которых уничтожены были многие их дома и погибли родственники!

* * *

Среди руководителей подполья находились и такие, кто считал побеги бессмысленной затеей, а сам разговор, мысль о них — преступными. Кое-кому явно не хотелось ослаблять сколоченные с трудом кадры. Обо мне был пущен слух, что я — провокатор. А это грозило мне смертью. К счастью, ребята этому не поверили, продолжали не только дружить со мной, но и охранять от возможных на меня «покушений». Тогда от угроз перешли к методу устрашения.

— Сашка!.. — прибежал Коля-«Сибиряк». — Василька!.. Василька только что забрали в блок № 46. Его там убьют... Вызывали и меня, грозили отправить туда же, если буду и дальше в твоей группе!

Я знал, что «Сибиряк» и некоторые другие из «моих» состоят в группе советского Центра. Дело приняло серьезный оборот. Как выручить Василька? Ведь это по моей вине оказался он на краю гибели! Если над ним начнут испытания, то пиши пропало. С другой стороны, все могут теперь от меня отвернуться, и я лишусь подобранных мною ребят. Я побежал к Буссе.

— Да-а, очень похоже на устрашение!.. — покачал он головой. — Беги к Густаву. Немедленно! Каждая минута дорога. Передай мою просьбу помочь. Лишь он один в силах что-либо сделать... Вегерер выслушал внимательно мое тревожное сообщение, но ничего определенного не пообещал: слишком серьезное дело! Отметил только, что вызволить из этого блока почти невозможно, — такого еще не бывало. Но попробует...

— Кстати, тебя уже три раза вносили в «плохие списки»: для отправки в Дору, даже в крематорий. Ты кому-то здорово насолил! К счастью, все такие списки нами предварительно про-

веряются, и каждый раз мы тебя вычеркивали. Но смотри, будь осторожен!..[67]

Нельзя сказать, что чувствовал я себя хорошо. Василек был одним из первых, кто мне поверил. И вот — угодил в блок уничтожения!..

В тоске прошел этот день. А вечером... вечером ворвался ко мне сам Василек. Собственной персоной! Выходец с того света!..

— Са-а-а-шка-а! Дорогой! — чуть не рыдал он на радостях. — Еще бы немножко, и был бы мне каюк!.. Как он рассказал, его начали готовить к какой-то пункции. Я не имел права назвать истинного его спасителя, кого именно он должен благодарить за столь чудесное и небывалое спасение. Зато сам в душе превозносил этого «чудотворца» — всемогущего Густава, а с ним и всех их, подпольщиков, кроме... кроме тех, кто, став руководством, потерял всякую совесть. Это — чтобы сказать помягче. Через несколько дней я передал Вегереру список на шестнадцать номеров. Большего числа желающих попытать со мной счастья в побеге, особенно после случая с Васильком, не нашлось, не осмелилились.

— Вовремя!.. Ну а то, что не всех набрал, не беда. Пополним! — успокоил Вегерер[68].

* * *

По репродукторам к воротам стали часто вызывать пачки «номеров» на транспорты под разными кодовыми названиями. И про каждый шел слух, что, мол, этот транспорт следует к Кёльну, то есть туда, куда хотел нас отправить Вегерер. Почему к Кёльну?

— Союзники приближаются вплотную к границам Рейха. Вы там будете ближе к ним, то есть скрываться после побега будете недолго. А следовательно, будет вам менее опасно, больше шансов уцелеть. С другой стороны, именно в Кёльне, как нам известно, уже имеются вооруженные группы наших беглецов-концлагерников. Мы предупредим йх о вас — так пояснил мне Густав. А я подумал: неужто у подпольщиков есть связь даже с бежавшими? Каким образом? Непонятно! Но каждый раз наших номеров не называли! А вдруг про нас забыли? И я бегал к капо патологии:

— Опять транспорт на Кёльн, а нас не вызвали!

Наконец Густаву надоели мои приставания:

— Да нет же, эти транспорты не в Кёльн, а в подземную Дору. Там ежемесячно погибает по три тысячи человек, и постоянно требуется пополнение. А чтобы не было паники, эсэсовцы придумывают разные кодовые названия...

* * *

Вечером вызвал Вегерер:

— Предупреди всех твоих: ваша отправка будет завтра утром. Все, что вы припасли — гражданское, ножи, — всё берите с собой. Цивильное наденьте под зебру. Обыска вам не будет, это устроим!

22 сентября утром к воротам вызван двадцать один номер, наших шестнадцать в их числе. Эсэсовцы бесновались, бегали в арбайтсстатистику, в шрайбштубе, орали... Внутрилагерная администрация задержалась с подготовкой документов, с нашим вызовом к воротам на целых два часа. Невиданная доселе нерасторопность! Мы, наконец, построены у ворот, нас на скорую руку пересчитали и бегом вывели за зону, где ждал грузовик. Он доставил нас на вокзал Веймара в последнюю минуту, уже на ходу мы вскочили в поезд[69].

Часа через два мы были в поселке Берга-Кельбра, близ Нордхаузена. На сердце стало неспокойно: где-то здесь рядом страшная Дора. Не туда ли?..

Пешком по шпалам нас довели до длинного товарного состава с вагонами-телятниками, стоявшего в открытом поле. Это — «транспорт на колесиках», где узники жили в вагонах, разъезжая с одного места работы на другое. Официальное его название «Mittelbau VI/SS-Baubrigade». Позже он был переименован в «I/SS-Eisenbahnbauzug» — Железнодорожно-ремонтный поезд № 1. Численный состав — 500 узников, из которых к тому времени выбыло из-за гибели или болезни столько, сколько нас и затребовалось, чтобы пополнить недостающее количество. Почти половина контингента — советские граждане. Вторая — в большинстве французы, несколько немцев, югославов, поляков. Нас разместили по разным вагонам, на места выбывших. Мы с «Америкой» попали в вагон вместе. Так наша группа была рассредоточена и прекратила свое существование как одно целое.

* * *

С левой стороны вагонов были сооружены двухэтажные сплошные нары с тюфяками. Посередине стоял длинный стол со скамьями по бокам. В углу правой половины, у самой двери, — сетчатая загородка с одной койкой для сопровождавших охранников. Напротив, в углу, — ящик-унитаз с желобом-выводом наружу, сквозь стену. В вагоне — двадцать четыре узника — отдельная бригада. Конвоя я насчитал семьдесят человек. Начальником нашей ремонтной бригады был СС-гауптштурмфюрер — австриец. Вот и все, что мы знали о нем. Молодой, с собственным мотоциклом, на котором он при любой длительной остановке гонял по окрестностям. Видели его редко, да и он нами абсолютно не интересовался. Помощниками у него, вернее нашими истинными хозяевами, были один гауптшарфюрер с шестью низшими чинами. Особый интерес представлял именно он, гауптшарфюрер. Среднего роста и плотного телосложения, с лицом ястреба и длинным подвижным носом-хоботом, с неизменным гибким стеком в руке, который, однако, в ход никогда не пускал, тем не менее для нас он был чуть ли не настоящим цербером. Бывают же такие люди, которые умеют внушить немалый страх к себе! Он и был одним из них. Следил за каждым и за всем лучше любой самой опытной ищейки. Из-под его лихо набекрень заваленной пилотки-мютце с кокардой-черепом проглядывали коротко стриженные черные, с серебром седины, волосы. Хоть он и не зверствовал никогда, но, как у Пушкина — «дядя самых честных правил», заставил себя не только уважать, но и испытывать перед ним некий необъяснимый трепет. И не только мы, но и вся охрана его боялась! Возможно, она о нем знала больше, знала, как он себя некогда где-то проявил (а это, видимо, поистине было страшно!). Не знаю... Возможно, времена переменились, чувствовался скорый конец, пришла пора перемениться, и он больше не зверствовал, как раньше... Нет, я не знаю. Но боялись его все! К счастью, он почти никогда не удостаивал нас участием в обысках. Мы были уверены, что от него не скрылось бы ничего. А прятать, как-никак, было что!

Перед нашим прибытием бригады занимались рытьем длинной траншеи для прокладки силового кабеля. Откуда и куда должен был подавать энергию этот кабель, мы не знали. Но догадывались: по нему пойдет аварийное электропитание для Доры.

Или работа подошла к концу, или рабочие руки понадобились для другого, более сейчас необходимого. И утром поезд повез нас на запад, значит, поближе к фронту! Ехали со многими длительными остановками, пропуская вперед военные эшелоны.

Прошел день, прошла ночь... Ранним утром нас разбудила какая-то суматоха. Поезд стоял в открытом поле. Наши внутривагонные охранники открыли дверь и соскочили. Эсэсовцы взбудоражены — за ночь опустел целый вагон: бежали 24 человека! В вагоне же осталось двое оглушенных, обезоруженных и связанных эсэсовца. Говорили, что там все были советскими офицерами...[70]

Дерзкий и, по-моему, совершенно безрассудный побег: в центре нацистской Германии, у города Кассель! Кругом — фанатизированное, запуганное террором и обозленное население, прыткие «ура-патриоты» — гитлерюгенды... А беглецы, в каторжанской робе-зебре. Пусть даже и с двумя пистолетами. При первой же попытке приобрести одежду, питание, население поднимет тревогу, начнутся облавы... Нет, шансов, как мы считали, у беглецов — ноль. Это не что иное, как безумство храбрых, скорее, доведенных до отчаяния! Не потому ли Густав Вегерер и Эрнст Буссе предупреждали, что ни в коем случае нельзя бежать раньше Кёльна, только у Кёльна! Да, я еще лучше понял, что такое дело надо подготовить тщательно, не пороть горячку, не видя ясных и положительных перспектив. Вот только вопрос: будем ли мы действительно у Кёльна? Когда? Откуда была у подпольщиков такая информация и уверенность про Кёльн?

Разозленные эсэсовцы долго вымещали злобу, не давали ни воды, ни еды. Предупредили: в случае еще одного побега отправят в Дору на виселицу каждого десятого. Так мы узнали, что отныне наш транспорт вышел из подчинения Бухенвальда, подлежит непосредственно Доре, ставшей автономной.

За это время в вагонах демонтировали клетки для эсэсовцев. Отныне конвою придется ехать на помостах над буферами, как это было в эшелонах из Компьеня. А мы в вагонах ночью — полные хозяева!

К вечеру прибыли в Бингербрюк-на-Рейне. Недавней массовой бомбардировкой вокзал, пути все разрушено. Многие вагоны опрокинуты, некоторые еще горят. В них слышна стрель-

ба, взрываются ящики с патронами, со снарядами. Кругом — воронка на воронке, во все стороны торчат концы покореженных рельсов... Вот почему нас экстренно сняли из Берга-Кельбры: этот вокзал лежал на пути к Франции, к фронту. Мы приступили к восстановительной работе.

Дней через десять привезли двух пойманных беглецов. Их схватили у Кройцнаха! Далёко удалось им добраться! Эсэсовцы заявили, что «поймали последних»... Может быть и так. Их тут же отправили в Дору. Жаль ребят!

Диаметр зоны оцепления во время работы был настолько велик, что нам удавалось рыскать по развалинам вокзала в поисках «чего Бог послал». Кто-то обнаружил вход в подвал, а там — бочки с вином. Ему подали несколько котелков, а потом и целый термос из-под кофе, на двадцать литров. Наполненный поставили в ряд с порожними. Конец работы, построение, пересчет. Вот-вот дадут команду трогаться. Откуда ни возьмись, гауптшарфюрер! Подходит. Уже видно, как он крутит своим хоботом с расширяющимися, как у собаки, ноздрями, нюхает, крутя головой во все стороны. Подошел прямо к бачкам, обошел их раз, другой... Стал по ним стеком постукивать. А сам все нюхает и нюхает...

— Открыть этот!

«Прямое попадание», никакой ошибки! Ой, что сейчас будет!.. А на его лице — ни малейшего удивления, будто этот бачок и должен был быть полным! Сунул внутрь палец, поднес к носу, понюхал, лизнул и... закатил глаза под лоб. А на морде расплылась блаженная улыбка! Вдруг подошел и уперся стеком мне в грудь:

— Этот бачок — ко мне в вагон!.. И каждый день мне по полному бачку, ясно? Колонна, форвертс онэ шритт марш! (вперед марш!).

Вот тебе и цербер!

* * *

Над нами часто стали кружить штурмовики-разведчики союзников. Изредка спускались до бреющего полета, постреливали очередями. Но никогда не атаковали «полосатиков». И эсэсовцы-конвоиры, при их появлении, прижимались к нам, как к

своим спасителям. Состав стоял у входа в какой-то туннель, ведший внутрь горы. Туда-сюда сновали крытые грузовики: в горе находился какой-то военный не то завод, не то склад. Видимо, на это обратили внимание и воздушные разведчики, стали чаще кружить над этим местом. В небе они были полными хозяевами — никаких немецких самолетов! Ни зениток, ни разрывов их снарядов!

Так прошло недели три. Вдруг, в разгар работы, нас бегом вернули к нашему составу. Погрузили и к вечеру поезд тронулся. Пронесся слух, что пришла какая-то телеграмма о нашей передислокации. Мы определили, что на этот раз едем на север, — справа часто показывалось зеркало реки Рейн. Примерно через полчаса-час в небе — армада бомбардировщиков, заухали взрывы бомб. Мы были уверены, что бомбят как раз тот туннель, где мы стояли. Других стоящих объектов там не было. Значит, нам здорово повезло! Уже ночь, мы все едем на север. А там — Кёльн! Ура, ура, ура!..

* * *

В эту ночь никто не спал, толпились у щелей, у окон: слева — скалы, справа — Рейн. Под утро поезд стал маневрировать: то вперед, то назад... Мы не выдержали этой монотонности, легли спать. Когда нас утром разбудили и построили перед вагонами, мы увидели, что стоим у какого-то туннеля. Несколько вагонов перед нашим, в том числе эсэсовский пассажирский и кухня, были загнаны в туннель. Вагон с Колей «Америкой» и мной, другие — стояли под открытым небом. Справа и слева — холмы. Вскоре мы узнали, что находимся у городка Брюль, в восемнадцати километрах южнее Кельна. Правы оказались подпольщики Бухенвальда! Тут и должны мы предпринять побег. Удастся ли он? По утрам подавали несколько порожних телятников, грузили в них наши бригады и везли в Кёльн. Стали работать на южной товарной станции.

Десятки груженых составов остались намертво прикованы на этой станции. Часть вагонов была обуглена, были и опрокинутые их остовы. Все пути разорваны, воронка на воронке, — знакомая картина! Понятна и наша работа: восстанавливать пути, засыпать и ровнять воронки, разбирать и относить покореженные рельсы, таскать и монтировать новые. Но кое-где зарылись

невзорвавшиеся бомбы. Их необходимо было находить и обезвреживать — выкручивать детонаторы. Из добровольцев составлено несколько «бомбензухер-коммандо», с особым усиленным питанием. Им и предоставлена работа по разминированию. Бывало, что из этих «престижных» команд с дополнительным питанием возвращался лишь конвой: неожиданные взрывы уничтожали ее всю, целыми оставались одни эсэсовцы, находившиеся на безопасном расстоянии и в укрытии. Набирали других добровольцев...

Мы должны были восстанавливать пути, чтобы дать возможность вывезти десятки груженных военным снаряжением и продовольствием составов. А бомбардировки не прекращались ни днем, ни ночью, — жизнь была веселой, ничего не скажешь...

* * *

Дважды в день, на работу и с работы, мы проезжали через полустанок Кальшойрен. Там, рядом с железнодорожным полотном, стояло два барака — лагерь девушек, остовских работниц. Без особого труда удалось установить с ними контакт, договориться: объяснили им место нашей работы, под каким большим камнем мы будем оставлять им записочки. Как нас, так и их прежде всего интересовали земляки. Они были из Смоленской, Брянской, Минской, Днепропетровской, Станиславовской и других областей. Когда дружба более-менее закрепилась, в одной из записочек мы попросили их содействия в случае нашего побега. Они ответили согласием.

* * *

Удивительнейший случай произошел у нас — побег с места работы. Такой, что и побегом-то его не назовешь! В моем вагоне был парнишка лет шестнадцати, Ваня-«Курский». Откровенно говоря, подобного трусишку я еще никогда не встречал: при первых звуках самолетов он, если это было на работе, распластывался ниц на земле, закрыв голову руками. Если в вагоне, он, как угорь, соскальзывал с нар и нырял под них. И ничто не могло его сдвинуть с места, пока звуки бомбардировщиков не удалятся. Прозвали мы его «Птицей-страусом».

— Ванька-а-а! Как ты сюда попал? — сквозь грохот близких разрывов донесся до меня удивленно-радостный возглас. Мы только что вбежали в полуразрушенное здание, а в нем уже ока-

зались мальчишки-остовцы. Я оглянулся: у нашего ничком на мусоре лежащего Ваньки сгрудились эти гражданские. Оказалось, земляки, из одного села. Услыхал, как нашу «Птицу-страуса» уговаривают бежать. Тот — ни в какую, слышать ничего не хочет! Здорово похоже на анекдот: ведут как-то длинную колонну на расстрел, проходят рядом с лесом... «Давай дернем в лес: три шага, и кусты нас скроют!» — предлагает один обреченный другому. А тот: «Да ты что, рехнулся? Ведь хуже будет!»...

— А вы украдите его! — пошутил я, не выдержав. Ребята глянули на меня удивленно. Затем пошушукались. Один из них исчез и вернулся с одеялом. Не успел я и глазом моргнуть, как Ваньке засунули кляп в рот, спеленали и были таковы со «свертком»! В суматохе, в свисте и разрыве бомб ничего не разберешь!

Бомбардировщики улетели, нас вывели из помещения, построили, стали пересчитывать:

— Штиммт нихт! Айнер фельт (Не сходится: одного не хватает!) — недоумевают эсэсовцы. Искали-искали — как в воду канул! Тут один из них обнаружил рядом со свежей воронкой кусочек «зебры» с пятнами крови. Решили, что кого-то разорвало и засыпало, поиски прекратили. Молодцы, ребята: отлично придумали! Да, здесь проявились настоящая солидарность, товарищество, решительность, мужество. Эти качества у русских юношей не были пустым звуком! Разве после такого можно их не уважать?! Уверен, что такими же окажутся и девчата из Кальшойрена, что верить им можно! Впрочем, будущее покажет.

* * *

Взрывы бомб, да еще когда они совсем рядом, сеяли панику среди эсэсовцев. Ох, как не хотелось им погибать! «Полосатикам» терять было нечего, и не всегда они «драпали», очертя голову, в поисках укрытия. Им важнее было использовать панику, отсутствие охраны, чтобы ринуться на поиски съестного. В одном полусгоревшем вагоне, довольно далеко от места работы, я обнаружил мешки с мукой. Конечно, схватил целый, взвалил его на плечи и пошел, еле передвигая ноги. Наполнить наши сумки мукой было бы делом секунды. Ну и тяжеленный же, килограммов на 70–80 (на неделю бы всем хватило! Каких бы лепешек напекли!). Вдруг слышу сзади крики: «Хальт!.. Хальт!» Оглянулся: увидел далеко-далеко полицейских с карабинами.

Мне лишь бы в зону оцепления — туда не сунутся! И я припустил, насколько мог, быстрей. Вдали грянул выстрел. В тот же миг меня что-то толкнуло в спину, и я чуть не клюнул носом. Откуда ни возьмись, навстречу мчится гауптшарфюрер. Со стеком в одной, со своим огромным пистолетом — в другой руке. Тоже кричит «Хальт!» Я остановился, сбросил с плеч мешок. Подбежали полицейские, хотели меня забрать.

— Зачем? Куда? — удивляется эсэсовец.

— Будем судить за мародерство...

— Глупости! У нас это проще и без волокиты, намного быстрей! По формуле: «Фойер, раух, люфт, химмель унд фрайхайт» (огонь, дым, воздух, небо и свобода)... — и он, записывая мой номер в свой блокнот, стал подробно и красочно разъяснять полицейским процедуру сожжения в крематории: как там в огне корчатся от жары тела живых и мертвых, а длинным черным шлейфом их души отправляются «без пересадки» в небо...

Лица полицейских позеленели, их чуть не стошнило. А эсэсовец, довольный произведенным эффектом, приказал отнести мешок на место. Да-а, взвалить его на плечи с пола вагона — одно, а вот приподнять с земли со-о-всем другое. Как я ни тужился, — не получалось. Тут я заметил дырочку в мешке, откуда струилась мука. Понял: вот, куда угодила пуля! Мука меня спасла!! Узнав, что меня ожидает, сострадательные полицейские помогли не только взвалить, но и донести мешок до вагона...

На вечерней поверке вижу: ко мне направился гауптшарфюрер. Теперь мне амба: отправит в Дору на виселицу!.. Подходит, вынимает свой блокнот, листает, находит листок с записанным сегодня моим номером, аккуратно вырывает и, хитро глянув на меня, разрывает его на мелкие кусочки и бросает по ветру:

— В следующий раз я тебе буду давать одного эсэсмана, чтобы он стоял «на атасе». Но... половину добычи вам, а половину — нам. Ясно?..

* * *

В пятницу вечером, 3 ноября, эсэсовцы долго не могли поверить своим глазам: испарилось двое узников! Мы и сами не могли понять, когда и где они исчезли. Неужто бежали? Но факт остался фактом: исчез здоровенный парень из моего списка в

шестнадцать человек — Иван-«Москва» — бывший, как он любил прихвастнуть, «урка», а с ним и незнакомый мне «капитан Андрей». Был ли он на самом деле капитаном — никто этого не знал. Но таковой была его кличка. С Иваном они оба были в одном вагоне-бригаде.

* * *

События устремили свой бег: пора и нам! В субботу нас сняли с работы на два часа раньше: эсэсовцы решили устроить себе баню — сегодня помоется малая часть, завтра — остальные, подавляющее большинство. Поэтому в воскресенье на работу повезут лишь два вагона, то есть две бригады — 48 французов, под охраной нескольких эсэсманов: особой опасности, как считали эсэсовцы, они не представляли — на побег французы не очень прытки.

И тут неожиданно «Сибиряка» и меня вызвал к себе гауптшарфюрер:

— Я отдаю приказ: с понедельника начать поголовную стрижку наголо. Скоты: побеги вздумали совершать! А вас назначаю: тебя, белого, — капо, а второго, бугая, — форарбайтером. Поэтому волосы вам пока стричь не буду. Но... чтоб у меня был полный порядок! И никаких побегов! Ясно?

Радости мало! Иметь какой-либо чин пособника эсэсовцев — позор! Но не согласимся — лишимся волос. А бежать стриженному наголо — больше шансов быть немедленно опознанным и пойманным. Что делать? Остается одно — бежать немедленно! Поговорил с Николаем-«Америкой» и, как он предложил, договорился с французами, назначенными на работу в воскресенье: двое из них останутся отдыхать, мы же выедем вместо них. С «Сибиряком», с Николаем-«Белофинном» — ребятами из нашей группы — договорились, что, в случае нашей удачи, связь с ними будем держать через те же «почтовые ящики» — под камнем. Они и останутся здесь за старших.

...Прогуливаемся перед своим вагоном с «Америкой», размышляем о возможных вариантах завтрашнего дня. Тут подходит к нам незнакомый «полосатик»:

— Айда, ребята, к нам на суп, из кролика!

Вагон незнакомца стоял в туннеле. Там нас ждало еще трое «хозяев». Представились советскими командирами. Суп оказал-

ся отменным. Из кролика ли? Впрочем, собака ли приблудная, кролик ли (откуда ему здесь взяться?!) или что другое — разве разберешь в этом вкусном мясном вареве? Но дело, конечно, было не в супе. Незнакомцы почему-то были убеждены, что мы готовимся бежать, просили и их включить в нашу компанию: «Хорошо, что, мол, кто-то знает немецкий!» Мы не могли отказать, пообещали. Сказать, однако, что побег решен на завтра, — этого мы тоже не могли: не удастся он — станем посмешищем. Не решились познакомить их ни с «Белофинном», ни с «Сибиряком»: кто знает, что у незнакомцев на уме?

В воскресенье, вдвоем с «Америкой», вместе с французами мы из нашего тоннеля Кирберг были увезены на работу на Южный товарный вокзал Кёльна. Нам помогло само провиденье: около полудня — налет огромной силы. Бомбили совсем рядом. Охрана и французы в ужасе распластались на земле. Нам было не до таких «нежностей»! Сперва ползком, затем полусогнувшись, наконец, во весь рост мы припустили что есть духу вон из зоны оцепления. Туда, где рвались бомбы, откуда свистели осколки, летели комья земли, где трещали и ломались ветви деревьев... Дальше, всё дальше, как можно дальше!!.

С хрипом вырывается последнее дыхание, а мы бежим и бежим... На бегу сбрасываем куртки-зебры, я остаюсь в цивильном пиджаке, Коля — в одной рубашке. Куртки тут же зарываем в куче опавшей листвы. Пробегаем через небольшую полянку. Всего несколько минут назад здесь располагалась и изрыгала в небо свой смертоносный огонь батарея длинноствольных орудий, суетилась обслуга — 17–19-летние солдатики. А сейчас здесь, в едком серо-желтом дыму, опрокинутые зенитки, перепахана земля, воронка на воронке. Кое-где подергиваются в последних конвульсиях шматки человеческих тел в лохмотьях полевой серо-зеленой униформы. Смрад, кровь, едкий дым... истинная картина неприкрашенных результатов обыкновенной войны! За что вы, юноши, боролись? За что вы проливали свою кровь? За что вы дали разорвать себя на мелкие куски? За что... за что?.. За кого? Во имя чего? Во имя будущего? Так у вас его нет и не будет! Не будет его и у ваших детей, так как и их самих у вас не будет! Поскорее долой от этого жуткого места!.. И тут я

заметил, что на моем пиджаке пришит красный треугольник и номер! С омерзением сорвал их и сунул в листву.

Лес внезапно оборвался. Начались огороды с сарайчиками и маленькими оранжерейками. К счастью, поздняя осень, и здесь — никого. Забежали в одну оранжерейку, в домик, в другой. Коля нашел ветхий комбинезон. Точно по росту! Сбросил брюки, надел его: теперь хоть один из нас в гражданском! С головы до ног! Нашли поломанный револьвер-бульдог и старый ржавый охотничий нож. Годится: пусть символически, но мы «вооружены»! Если настигнет погоня, бросимся на нее «с оружием». Конечно, нас тут же перестреляют. А это во сто крат лучше, чем избиения, а затем — виселица...

«Вооружившись», вернулись в лес. Побежали по опушке. Дальше — открытое поле — не перебежать! Самолеты уже улетели, вот-вот покажется погоня, куда спрятаться? На поле, приткнувшись к самой опушке, два стога сена. Не залезть ли в них?.. Нет, не будет никакого обзора, никакой свободы действий. Лучше замаскироваться... Куда?.. а вот сюда — под этим развесистым кустом! Он — на самой кромке леса. Листва еще на нем держится, а под ним — много опавшей. И обзор будет достаточный. Залезли, тщательно припушили себя листвой. Стали прислушиваться и ждать...

Глава 14. ПОЛГОДА ДО ПОБЕДЫ

Из чащи послышался треск сучьев и оттуда выскочила цепочка запыхавшихся эсэсманов. Их ничуть не заинтересовал обычный одинокий куст на опушке, но, завидев стога сена, они, чуть не наступив на наши ноги, ринулись к ним. Обступили один, раза два пальнули в него, потыкали штыками, крикнули: «Раус, ферфлюхте!» (Вон оттуда, проклятые!) Подбежали к другому, проделали то же. Затем поглядели направо, налево, потоптались, о чем-то споря, затем заторопились в сторону Кёльна и вскоре исчезли из виду.

Продолжаем лежать. Из нашего убежища хорошо видна насыпь железной дороги на горизонте. Часа через два по ней в сторону Брюля пропыхтел, дымя, паровоз с двумя вагонами — с

охранниками и французами: они даже не доработали до конца дня! Теперь можно вздохнуть: оцепления нет, погони больше не будет!

С самого утра я был уверен в успехе. Какое-то доброе суеверное предчувствие: в воскресенье я родился, в воскресенье началась война — бомбардировка Белграда, в воскресенье взят в плен и... все эти воскресенья заканчивались удачно. Я в них верил, в эти мои воскресенья. Воскресенье — мой хороший день, хоть и не обязательно сверхсчастливый. Сегодня тоже воскресенье, 5 ноября 1944 года. Вовремя стали бомбить именно там, где мы работали. Мы бежали, мы почти на свободе. Безусловно, провиденье — на нашей стороне! Но призрак первой удачи... нет, ни в коем случае он не должен опьянять! Не забывать об осторожности!..

Лишь с наступлением густых сумерек мы покинули наш куст-спаситель. Перешли через обширное поле. Вдоль железной дороги-ориентира направились к Кальшойрену. Теперь всё зависит от девчат. Ждут ли, как мы того просили во вчерашней записке? А если нет? Если испугаются и поднимут шум? Как будет обидно: на западе, близ Дюрена, не умолкает канонада, медленно, но верно наступают союзники, скоро конец испытаниям! Продержаться бы чуть-чуть, ну самую малость! Эх, не знали — не ведали мы тогда, что «малость» эта растянется на целых полгода. Полгода до Победы!.. Кровавых полгода!..

Девчата нас ждали! В их раскаленной печурке сгорели мои брюки, а с ними и последние каторжанские атрибуты — номер и красный винкель на брюках! Не стало номера 44445!!! Нет его больше! Нас прилично приодели, дали по кепке. Но это не все: нас ждал паренек, который тут же повел в свой мужской лагерь в Гермюльгайме, в нескольких километрах отсюда. По дороге рассказал, как нам «легализироваться». Прежде всего под кепками надо скрывать наши короткие волосы. Если все же обратят внимание, сказать, что, мол, недавно переболели тифом. В лагере большая текучка — одни приходят с прифронтовой полосы, другие уходят — торопятся на восток, поближе к своим, к родине. В случае расспросов надо будет сказать, что бежали от фронта, со стороны Дюрена. По утрам два мастера-немца забирают свои бригады. Попеременно: если сегодня первым один, то зав-

тра первым возьмет свою бригаду второй. Выходить поэтому нам надо со вторым, оправдываясь, что, мол, проспали своего мастера. То же повторим и на следующий день. Так и познакомим с собой обоих мастеров.

Лагерь-общежитие размещался в большом здании на окраине в «Кайзерсаале». Что здесь было раньше, почему такое название никто не знал. Скорей всего здесь был клуб. В огромном помещении, зале справа, у стены стояли двухэтажные стандартные койки-вагонки с узкими проходами между ними. Слева, у окон, — длинный ряд столов со скамьями. Сейчас здесь жило около восьмидесяти ребят в возрасте 15–18 лет. Прикреплены они к ратхаузу — поселковому управлению Гермюльгайма. Работа — содержание в порядке и ремонт асфальтных улиц и дорог поселка и окрестностей.

Через несколько дней оба мастера знали нас в лицо. Я вскоре был повышен в «переводчики», «Америка» — в помощники. Меня очень поразило: война, постоянные бомбардировки и разрушения не выбили аккуратных немцев из колеи. Каждый поселок ревностно продолжал следить за своим хозяйством. Даже маленькие рытвины, не говоря о воронках от бомб, мгновенно устранялись. Где-то работал и асфальтный завод.

Вечером мы с Николаем, каждый по своей бригаде, подавали количественный состав проработавших днем, и на них выдавались пайки.

Лагерь остовцев в «Кайзерсаале» являлся общежитием. Даже не верилось: никаких надсмотрщиков, вахтеров, конвоя, окриков, побоев! Обычный молодежный трудовой лагерь. Не сравнить с тем, который я видел в 1942 году в Берлине, на «Аскания-Верк АГ». Лишь бараки девчат в Кальшойрене и другие женские лагеря были огорожены, у входа в них — будки с вахтером. Чем это объяснить? Почему такая перемена в отношении к остовцам, бывшим ранее на положении рабов, вьючного скота? И если бы не чужбина, не война, не отрыв от семьи, не неуверенность в завтрашнем дне — жизнь была бы самая нормальная. Чужбина и неуверенность остро влекли к общению друг с другом. Молодежь всегда молодежь: шутки, смех, песни — их никто не запрещал — не были здесь в диковинку. В песнях — голос Родины, далекого родного. Но слагались и свои, где очень

осторожно упоминалось о подневольной жизни и критиковался «новый порядок»:

Новый год, порядки новые:
Колючей проволкой наш лагерь обнесен.
И караулят нас глаза суровые,
И смерть голодная глядит со всех сторон...

— наверное, слова эти — о прежней здесь жизни. Сейчас не было ни колючей проволоки, ни «суровых глаз», ни голодной смерти!

* * *

Связь с «полосатиками» поддерживалась через те же «почтовые ящики». «Сибиряк» и «Белофинн» просили форсировать заготовку «сменки» — одежды для будущих беглецов. А в этом могли нам помочь лишь группы из Кёльна. Да, о них здесь слышали, они существуют. Но как их найти? Безусловно, без контактов с внешним миром группы эти существовать не могли. А ведь и правда: девались же куда-то Иван-«Москва» и «капитан Андрей»! Все больше расширяли мы радиус наших поисков. И тут один эпизод призвал к пущей осторожности.

Два дня тому назад прибился к нам незнакомец лет тридцати — тридцати пяти. Назвался Андреем. Говорил вначале, что пришел из прифронтовой полосы. Затем стал намекать, что якобы бежал из концлагеря. «Не тот ли это Андрей?» — встал перед нами вопрос-загадка. С беглецом мы знакомы не были, в лицо его не знали. Тогда почему он один, без Ивана? И мы решили ему не открываться — мало ли что!..

— Ты обратил внимание на его волосы? — спросил через некоторое время Николай. — Слишком длинные для концлагерника! А вот наши он безусловно приметил...

— А если это все-таки Андрей Белановский?

— Тогда почему он один? Где «Москва»?..

Андрей между тем пытался сдружиться с ребятами. Тут и подвела его оплошность: одному из них он сказал, что в Кёльне у него сестра, случайно, мол, разыскал ее и на следующий день он сходит ее навестить, дня через два вернется.

— А как же с пропуском? — удивился парень.

Мы все знали, что для отлучки в Кёльн необходим пропуск — специальный аусвайс.

— Мне его уже дали, — и Андрей помахал какой-то бумажкой, на которой собеседник заметил печать с гитлеровским орлом. Нам об этом тут же доложили. Странно: то он из прифронтовой полосы, то — беглец из концлагеря, а теперь еще и «сестру разыскал». Когда, каким образом, где? И тут же ему выдали аусвайс! Верх наших подозрений увенчали переданные нам его расспросы про «Москву»: он их почему-то вел шепотом. Мы знали, что в Кёльне — гестапо. А завтра он пойдет туда. Не донесет ли на нас?

— Еще сегодня необходимо с ним разобраться! — решил «Америка» и поделился своим планом.

Ночью я разбудил «Андрея»:

— Идем на встречу с одним парнем из Кёльна. Не желаешь ли пойти с нами?

И «Андрей» пошел.

«Убрали» мы его километрах в трех от Гермюльгайма, — в поле со множеством свежих воронок. Последними его криками был зов на помощь по-немецки: «Цу Хильфе!... Хильфе!...» В одной из воронок руками прикопали его тело. Аусвайс позже сослужил нам немалую службу...

* * *

Прошло еще несколько дней. Наконец поиски наши увенчались успехом. Вспомнились слова одной песни: «Кто ищет, тот всегда найдет!» «Америка» сообщил, что в общежитии девчат на кирпичном заводе нас сегодня будут ждать. Указано время: 22.00. Конечно, я обрадовался: наконец-то! Николай же, как и всегда, сохранял ледяное спокойствие, будто ничего особенного не произошло. Таков его характер!

Не успели мы переступить через порог в барак девушек, как тут же были окружены молодыми людьми в длинных черных пелеринах-плащах, какие носят эсэсовцы-офицеры. Да и на головах их были эсэсовские фуражки. Под плащами явственно топорщились автоматы. Стало не по себе: неужто угодили в западню? Нас грубо общупали, затем меня одного препроводили в соседнее помещение:

— Рассказывай: кто ты, откуда, что вынюхиваешь? — посыпались отнюдь не дружелюбные вопросы. Не лучшими были и сверлящие насквозь взгляды. Мое утверждение, что я — бег-

лец из концлагеря, было встречено насмешливо и недоверчиво. Но это же явно свои! Худо, ой как худо! Не знаю, чем бы все это кончилось, возможно тем же, что случилось с «Андреем». Вдруг один из допрашивавших повел глазами за мою спину:

— Ты знаешь его?

Я обернулся: за мной стоял только что вошедший высокий парень в такой же одежде. Он оглядел меня и вскрикнул:

— Сашка!.. Ты?.. Наконец-то!.. Братва, это — он. Я не раз бывал у него в ревире. О нем нас и предупреждали...

Значит, Густав выполнил обещание, дал о нас знать. Но как?

Парня этого звали Федей. Его объятия разрядили обстановку. Лично я его не помнил: ведь столько побывало в лазарете на приеме! Ввели и Николая, нас предполагали допрашивать поодиночке. Что ж, они правы: осторожность в подобных условиях никогда не бывает излишней, является залогом жизни.

Кто эти ребята? В Кёльне и его окрестностях, в этом сугубо индустриальном районе, находилось множество крупных предприятий и концернов, использовавших дешевую рабочую силу — узников, заказанных в Бухенвальде. За них хозяевам-эсэсовцам в нацистскую кассу вносили соответствующую мзду. Вследствие частых бомбардировок некоторым узникам удавалось бежать с различных предприятий: из Дойца, с заводов «Форд», «Вест-вагон», «Брабаг» в Весселинге, а также из массового лагеря в «Кёльн-Мессе», оттуда их выводили на работы по расчистке завалов, улиц, на откапывание трупов. Использовали их также и по откапыванию и разминированию невзорвавшихся бомб.

За побег — смерть, виселица. Но перед смертью, если поймают, зверские избиения. Беглецы это знали. Знали, сколь зыбко их положение: поймают — верная мучительная смерть. Терять, следовательно, им нечего! Перед побегом у них не было предварительных связей с остовцами. Сам факт удачного побега не предполагал ничего, кроме жизни загнанной дичи, то есть в подполье, в подвалах...

Во время их пребывания в гестаповских застенках, в концлагерях на каторжной работе парни эти убедились в зверстве и бесчеловечности представителей нацизма. Да и до этого могли с ними ознакомиться...

Трудно представить, как чувствовали они себя сразу после побега, когда скрывались в полосатой одежде, с голыми руками, как беспомощно дрожали при малейшем шорохе, зарывшись в груды мусора и в развалинах. Одна только ночь была их единственным другом и союзником. И вот тогда и превращались они из дичи в охотников: берегись любой, кто попадется! Особенно, если он с оружием: приобретение его было самой заветной мечтой! Если уж жизнь ничего не стоит, так хоть отдать ее подороже! Вот откуда у этих парней пелерины, фуражки, сапоги и оружие — автоматы, пистолеты и гранаты.

Живя и промышляя вначале в одиночку или парами, в зависимости от того, сколько их бежало, они постепенно находили друг друга, объединялись, образовывали группы-«шалманы» по 4–8 человек: большее число вместить в «малины»-подвалы слишком было бы рискованным.

Чем питались? В больших многоэтажных домах жители имели свои сарайчики в подвалах, где хранили лишние вещи, продукты. Одни дома были разрушены или полуразрушены бомбардировками, другие покинуты их жителями, которые предпочли переселиться в спокойные места — села. А подвалы и все, что было в них, остались. Сумей лишь отрыть лаз в них, и ты будешь обеспечен и едой, и одеждой, а возможно, и подходящим жильем. Если это станет жильем-«малиной», то обязательно надо пробить несколько выходов, чтоб не оказаться в мышеловке. Так образовывались настоящие катакомбы с лазами наружу.

Жить, лишь бы пережить войну? Нет! У каждого накопилось много зла, мести. Особенно за перенесенные издевательства, побои, рабство, за гибель друзей. Наконец — за эту жизнь загнанной дичи, которую вынуждены теперь вести...

О, дайте, дайте мне свободу, —
Я свой позор сумею искупить!

— этими словами, после войны многие, счастливо и успешно дослужившиеся до высших чинов, стремились предать анафеме всех, кому не повезло и кто по не зависящим от него причинам оказался в плену. Эти «многие» якобы «не ведали» (вернее, скрывали!), что творилось в первые месяцы нашествия. Во всяком случае сами, наверное, находились вдали от соприкосно-

вения с противником — или в отдаленных от линии фронта штабах, а может, и в Ташкенте...

Нет, никто, подобно пленному князю Игорю, никакого «позора», попав в плен или в концлагерь, не ощущал! Не его в том вина! В плен — не по своей воле, ну, а в концлагерь — так туда тоже не за здорово живешь сажают! И о «свободе» никого они не молили, они добыли ее сами. Хотя, пожалуй, некий «позор» все же был. Был в том, что на твоих глазах истязали и убивали твоих друзей и товарищей, а ты и пальцем в знак протеста или в защиту не смог пошевельнуть! Был и в том, что вынужден был лазать по помойкам, искать картофельные и брюквенные очистки; и в том, что тебя сделали «номером», лишив имени и фамилии; и в том, что почти сделали (во всяком случае пытались сделать) из тебя безгласного, безропотного скота, дерьмо, а ты... а ты терпел! Зато сейчас... сейчас можно за все отплатить, можно поспорить на равных, кто есть кто: кто «господин», а кто «дерьмо». Нет, я не мог их осуждать, и у самого порядком накопилось.

* * *

— Так зачем, говоришь, ты нас разыскивал?

Я ответил, что надеюсь на их помощь: можно было бы нападением на транспорт в Брюле, у туннеля Кирберг, вызвать панику, и этим помочь в осуществлении побега. Кроме того, предварительно надо создать базы: с одеждой, обувью, продовольствием. Снабдить всем этим ближайшие к Брюлю и Кальшойрену лагеря остовцев. Надо бы наметить и места сбора, явок, укрытий...

Да, было бы неплохо помочь ребятам, было бы даже здорово! Но для настоящего нападения силенок маловато: всего двадцать три человека: пятнадцать автоматов, штук двадцать гранат-«кукуруз» (с длинными ручками), двадцать один пистолет. А эсэсовцев — семьдесят человек! Безусловно, фактор внезапности сыграет некую роль, многим удастся броситься врассыпную, а дальше? Надо заручиться согласием близлежащих остовских лагерей, в том числе и Кальшойрена, снабдить их предварительно одеждой, указать, куда направлять беглецов...

Прежде всего необходимо заготовить побольше «малин». Эту задачу взяли на себя группы Гены-«Ташкента» (говорили,

что он студент) и Феди. Они будущим беглецам выделят по одному-двум «старикам» для вживания их в нашу жизнь.

В самый разгар «прений» появился Иван-«Москва» с двумя товарищами. «Эх, ты! — вздохнул я при виде этого верзилы. — Где же ты был раньше? А меня чуть было не укокошили!» «Москва» тут же согласился взять на себя и свою группу обязанность обеспечить гражданской одеждой.

— А ты? У тебя у самого что ни на есть затрапезный вид! Ну что это за «лепеха» на тебе? — тискал он меня на радостях. И, вопреки моему желанию, повел на «скок». Все эти блатные выражения мне уже были знакомы. Как «Москва», так и подавляющая масса из групп были в прошлом «урками». И их лексикон укрепился в местном обиходе. «Лепеха» — одежда.

Перед «скоком» (налетом) мы с Колей, естественно, спросили, где Андрей.

— Вышла с ним осечка! — ответил Иван. — После побега мы с ним благополучно добрались до Кёльна. Белановский так ноги натер, что еле шел. Оставил его в развалинах — пусть ждет. Сам пошел дальше, под утро отыскал ребят. Переоделся. Пришлось ждать следующей ночи. Искали-искали, звали — никаких следов...

Я рассказал ему о незнакомце, назвавшемся «Андреем», описал его. Нет, не тот. Поняли: настоящего Андрея схватили, выбили из него об Иване, и гестаповцы вместо него пустили своего агента. И все-таки сомнения меня терзали. Лишь десятилетия спустя, в 1972 году в Севастополе, где я тогда жил, ко мне обратилась... вдова Андрея Белановского, Ирина. Попросила навести справки об исчезнувшем в войну муже, может, это помогло бы ей получить некую пенсию (получала она всего восемь рублей!). Копию полученного мной ответа любезно оставила мне[71].

Но вернемся к той ночи. Стыдно признаться: я участвовал в «скоке». Причем «два раза»: в первый и в последний! Стоял «на атасе», с финкой в руке, пока остальные шурудили в подвале. Затем пришлось нести один из «узлов» в какой-то женский лагерь. Там нас ждала жарко натопленная печь. Эх, сколько в нее полетело «ненужного»! И зачем только все это брали, тащили? «Москва» заставил выделить мне отличный костюм, макинтош,

шляпу, темные очки, рубашку с галстуком, даже перчатки. «Заставил», потому что парни оказались жадными и неохотно расставались с награбленным. Иван приколол к макинтошу позолоченный значок НСДАП. Такой, какой носил «заслуженный нацист» — начальник цеха «Аскания-Верк АГ» в Берлине! Не могу понять: почему решили приодеть меня одного, без Николая? Не потому ли, что тот был политруком?

Так началась двойная жизнь. В ближайшие ночи мы с Николаем должны были знакомиться с «действующими» и «резервными» малинами. Впервые мы поближе познакомились с Кёльном, вернее с тем, что от него осталось к концу 1944 года.

Первую массовую бомбардировку он испытал в мае 1942 года, когда на него совершило налет 1000 «летающих крепостей». Затем он подвергался систематическим бомбардировкам и днем и ночью, представлял сейчас собой океан сплошных развалин. Казалось бы: ну что тут еще бомбить? Так нет же — систематические бомбардировки продолжались! На площади, близ самого Рейна, за стеной из мешков с песком в небо высились два величественных, словно воздушных из очаровательной сказки, шпиля Кёльнского собора. Какое чудо готической архитектуры! Гордость творения! Но и его не пощадили: на одном из шпилей появились уродливые трещины. Но сам собор продолжал гордо стоять среди массы развалин. Будто все ему нипочем: «Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа...» — так и хотелось сказать о нем словами А.С.Пушкина! И горько стало на душе от того варварства, на которое обрекает человечество всеразрушающая война. Сколько труда, гениальных творений, сколько души, разума губит это противоестественное состояние, имя которому — война! А сколько калек, физических и нравственных, оставляет она после себя! Невосполнимые потери! Во имя чего? Нормальная жизнь должна вести к прогрессу. Здесь же — регресс, уничтожение с трудом созданного, отставание на десятилетия, которые будут сожжены на воссоздание, восстановление. И вспомнились стихи поэта:

Мы — культурны: чистим зубы, рот и оба сапога,
В письмах вежливы сугубо: «Ваш покорнейший слуга...»
Отчего ж при каждом споре, доведенном до конца,
Мы с бессилием глупца, подражая папуасам,
Бьем друг друга по мордасам?..

И не столько кулаком, —
Сколь змеиным языком!..
(Саша Черный)

Кулак или язык: что хуже, что ранит больней, неизлечимей?..

* * *

Запасные выходы — пробитые в стенах дыры в малинах, — чтобы не сквозило, затыкали матрацами. Светильниками служили склянки с керосином и фитилем. Входить в малины и выходить можно было, чтобы их не рассекретить, лишь в потемках. В достатке были «даймоны» — карманные фонарики. Днем «шалманы» отсыпались, ночью «работали». Шутили: «С 21.00 и до 5.00 — наш комендантский час!»

К тому времени шалманы уже вошли в контакт с остовцами и встали на их защиту: за бесчеловечное отношение к их батракам хозяева несли наказание. Не этим ли объясняется изменение их отношений к бывшим ранее беззащитным невольникам?

Как осуществлялась связь с остовцами? — На юге Кельна, в заброшенном домике на огороде, жили один-два парня. Они-то и являлись связниками.

— А как с питанием?

— Как-то ворвались на главную городскую базу, обезоружили охранников и заперли их в помещении. Они и не вздумали сопротивляться: подумали, что мы — эсэсовцы, а когда поняли, было уже поздно. А склад — целый городок. Пришлось у охраны узнавать, где что хранится. До самого утра таскали и возили... Куда? — Да там же, недалеко в развалинах, и прикапывали. А в последующие ночи развозили по нашим малинам, заполняли тайники. Хватит надолго, и будущих беглецов обеспечим. Вот только крысы проклятые изрядно портят...

Федя рассказал и о забавном случае при транспортировке этого «товара»:

— Ночь. Везем груженую тележку, а тут какой-то слегка подвыпивший офицер: «Что везете, откуда и куда?» Не обратил внимания на идущих сбоку. Хотел пошарить, а мы ему пистолеты в бока. Аж присел от неожиданности. Сам ремень с кобурой отдал. Просил потом, чтобы пистолет, хотя бы без патронов, вернули. Нет, пусть не любопытствует! А один раз не того убили: не заметили, что он — тодтовец, а не «желтопузик»...

«Желтопузиками» здесь называли штурмовиков СА. В такую же желтую форму были одеты и военные строители — тодтовцы. Разница лишь в том, что тодтовцы не носили пистолетов, как штурмовики, а ниже такой же красной повязки со свастикой у них была нашита белая ленточка с надписью «Орг.Тодт». В темноте ее-то и не разглядели...

Продовольственные запасы пополнялись и из вагонов на товарной станции: много составов застряло на разбомбленных путях. А вот хлеба не было:

— Мы его заменили сыром: отрежем ломтик, намажем маслом или маргарином, пришлепнем сверху колбасой или мармеладом, а то и «кунстхонигом» (искусственный мед) — вот и готов бутербродик!..

До сих пор с отвращением вспоминаю эти, хоть и высококалорийные, но до чего опротивевшие «бутербродики»!

Печками-буржуйками почти не пользовались: мог выдать дым. Зато девчата из ближайших лагерей устраивали отменные пиршества из принесенных им продуктов: борщи или супы из «бульбы с крупенями» — пальчики оближешь! Вечная хвала мастерицам-поварихам!..

«Почтовые ящики» продолжали нести свою службу, по-прежнему мы контактировали с «Сибиряком» и «Белофинном». Странно: оба были Коли, оба — здоровенные и оба... рыжие! К тому времени я познакомился с пленными французами, почувствовал, что среди них замаскировался радист. Как? Откровенно говоря, между радистами одной службы существуют свои особые опознавательные приметы. Но это очень долго объяснять. Главное: мне было оказано, если можно так сказать, «негласное доверие». Не думаю, чтобы я ошибся! Во всяком случае, французы пообещали помочь в освобождении узников из эшелона, а вскоре сообщили день и час — во время вечерней поверки. Эти данные мы сразу же передали в эшелон запиской: «День, час... Пусть пчелы приготовятся взломать свои соты!»...

А война шла. Близ Дюрена гремела канонада, днем в том районе можно было наблюдать «карусели» штурмовиков-союзников. Так назывались воздушные атаки по кругу в вертикальной плоскости. Эсэсовские части и отряды штурмовиков СА неистовствовали...

До нас дошел слух о трагедии в Аахене. Фюрер приказал его населению эвакуироваться, хоть на стенах по-прежнему оставалось написанным: «Вир капитулирен ни!» (Мы никогда не капитулируем!) Некоторые рискнули ослушаться приказа — попрятались в домах по подвалам и чердакам: не лучше ли дождаться американцев, тогда придет конец бессмысленной войне! А они были всего в 20–30 километрах! После указанного в приказе срока эсэсовцы-«чистильщики» прочесали город. Всех обнаруженных расстреляли на месте, от мала и до велика, — за нарушение приказа! Беженцы из Аахена шепотом упоминали, что таких было сотни... Местное население втайне возмущалось, но страшно было попасться на заметку какому-нибудь «партайгеноссе» — члену НСДАП. А эти «геноссе», держа всех в страхе, продолжали терроризировать и упиваться своей властью, все еще веря в чудо, в новое страшное оружие возмездия — «Фау». Уже всем были известны «Фау-1» и «Фау-2»: «летающий клоп» (беспилотный самолет-снаряд) и ракета-торпеда. Сейчас ждали более мощного, все сокрушающего. Ждали и лютовали. Лютовали, так как были уверены. Злобу свою вымещали на невольниках, работавших у них на фермах, предприятиях: это, мол, они виновны в гибели многих членов наших семей! И действительно, не оставалось уже ни единой немецкой семьи, где бы не было горестной утраты: в военной мясорубке перемалывались все новые и новые жертвы! И, как водится в народе, пошли своеобразные горькие остроты: «Мы ждем — скоро будет грозное оружие “Фау-5”: вперед двинутся семидесятилетние старцы-фольксштурмовцы, которых сзади будут подпихивать 12-летние юнцы-вервольфы»! Горькая острота, юмор отчаявшихся!

* * *

С нападением на эшелон ничего не получилось. Рассуждений было много, а как дошло до дела — полная осечка!

И суждены им благие порывы,
Да свершить ничего не дано!

— эта сентенция, нацарапанная чьей-то рукой на могиле одного из героев какого-то литературного произведения и врезавшаяся мне в память, в самый раз подошла бы к нам и к нашим неосуществленным задумкам. И действительно: проделать днем переход в восемнадцать километров, с оружием, сконцентрировать-

ся в никому не известном месте, совершить шумовую атаку и после этого опять вернуться назад, да еще, возможно, с массой беглецов — абсолютно абсурдная идея! Но пришел указанный французами день, и мы с Николаем, сгорая от любопытства, углубились в лес и направились в сторону туннеля Кирберг. Еще больше убедились в бредовости, к счастью, непредпринятого похода: в потемневшем незнакомом лесу мы почти сразу же заблудились! В какой стороне Кирберг? Куда идти? Плутаем туда-сюда. Вскоре послышались далекие завывания сирен. Да, точно: как раз сейчас будет построение перед эшелоном, поверка. Но где же Кирберг, где эшелон? Где мы сами?.. Уже слышится урчание самолетов. Они уже над головой! В лесу неожиданно стало светлеть, мы глянули вверх: сквозь гущу голых веток видим: с неба стали медленно спускаться разноцветные осветительные ракеты. Такого я еще не видел: что за странный фейерверк? Хоть и привык к бомбардировкам, в том числе и к ночным, такого странного явления, ничего хорошего не предвещавшего, еще не видывал! Что за иллюминация? Что сейчас произойдет? И Николай почему-то стал прижиматься ко мне, будто я его спасти могу... Стало не по себе... Послышался свист бомб, взрыв совсем рядом. Вдруг на наши головы стал надвигаться жуткий, переливающийся и все усиливающийся вой. Да такой, будто тысячу гоголевских «Виев» вместе со сворой всяких упырей и вурдалаков (честное слово, не знаю, чем они отличаются одни от других, но все равно, видимо, страшенные!) сорвались с неба и мчатся к нам наперегонки, чтобы кровавыми когтями и клыками впиться в нас и вырвать душу, которая и так от страха вывернулась наизнанку и еле держится в теле! Такая жуть, что мы, потеряв всякий рассудок, рванули с места и припустили что есть духу, сами не зная куда... и боясь потерять друг друга из вида... Нечеловеческий вой, длившийся, к счастью, одну-две минуты, вдруг оборвался на самой громкой ноте так же внезапно, как и начался. Но ноги наши, не имея тормозов, несли нас и несли...

Под самое утро, вывалив языки, мы кое-как добрались до «Кайзерсааля». Пряча друг от друга глаза, мы замертво свалились на свои койки. Что это было? Что так завывало? Мы предпочли не затрагивать этот вопрос, на который не могли бы придумать никакого ответа... Впрочем, часам к семи девчата из Каль-

шойрена привели к нам троих, уже ими переодетых беглецов. Среди них был... Василек! Радость встречи окончательно сгладила впечатление от неприятного ночного происшествия...

Ребята рассказали, что столь необычная иллюминация, взрыв бомбы где-то совсем рядом, а затем и тот звериный вой, ввергли в панику не только эсэсманов, но и узников. Все бросились врассыпную кто куда. Василек с напарниками прямо по рельсам добежали до Кальшойрена. О других они ничего не знали. К вечеру к нам привели еще двоих. Пользуясь положением переводчиков, мы с Колей стали колесить на велосипедах по окрестным дорогам. Заглядывали в скирды, дачные и огородные домики, сарайчики, кусты на опушках. Так мы и «выуживали» прятавшихся там «полосатиков». Затем по ночам, маленькими группами, мы разводили их по известным нам кельнским малинам.

Проезжая однажды близ места, где недалеко находился наш эшелон, мы увидели близ железнодорожной будки у переезда сплюснутую и врывшуюся в землю дырявую железную бочку. Тут я вспомнил слышанный мной рассказ об эффекте сброшенных с самолетов кусков просверленных рельсов и таких же дырявых бочек. Видимо, это и был тот «снаряд»-Вий, так напугавший нас своим неестественным ревом и вогнавший наши души в пятки...

Бывало, беглецов находили в самых немыслимых местах. Как-то рано утром девчата с одной фермы увидели, как хозяйский барбос уныло бродит вокруг своей будки и обиженно повизгивает. Заглянули туда, а там... «полосатик»! Привели его к нам, а сами с хохоту чуть не валятся. Им-то что, а вот парню, предполагаю, было отнюдь не до смеха...

Едем однажды с Колей на велосипедах. Одеты «по-немецки». Навстречу — два железнодорожника. Когда проезжал мимо, показалось, что оба были готовы шарахнуться в кусты. Странно: хоть они и в железнодорожной форме, но очень уж юны. Я развернулся, обогнал их, остановился впереди. Смотрю — что-то знакомое! Снял шляпу, очки, и тут оба бросились ко мне с радостным криком, чуть не плачут:

— Сашка-а!.. Мы думали, — нам конец!.. Девчата показали нам дорогу к тебе, да мы сбились, два дня бродим...

То были Семен Египов из Ворошиловграда и Иван Земляной из села Шульгивка Днепропетровской области. Ване было всего 15 лет! Оба — из нашей бухенвальдской дополнительной группы. В качестве «немцев»-хозяев мы взяли их «под конвой» и пошли через переезд. Вахтер, завидя на мне партийный значок, вытянул руку и рявкнул: «Хайль!» Ну а я, конечно, как и подобает высокому «партайгеноссе», небрежно ответил ему: «Гитлер!» И без всяких помех мы прошли мимо.

«Белофинн» сообщил, что во время паники разбежались почти все «полосатики», но, мол, к утру, за исключением нескольких десятков, вернулись. Почему не бежали ни он, ни «Сибиряк», — об этом ни слова! Затем он объяснил, что в темноте не смогли найти тот ориентир, который мы указали. Отчасти он был прав: даже мы и то заплутали. А вот Василек и его спутники, без всякого, пошли по рельсам и дошли!

* * *

...Под самое утро я привел на малину очередную группу беглецов. Шесть человек. Среди них были: Василек, Сеня Египов, один здоровенный верзила-югослав и крепкий парнишка Толя, сын, как он любил прихвастнуть, директора какого-то киевского завода.

Странно: нас на малине никто не ждал! Спустившись в подвал, я нашел и зажег светильник, показал, где находятся продукты, вода. Объяснил назначение аварийного выхода — дыры в стене, заткнутой матрацем. На полу — куча матрацев...

— Вот так, в таких условиях здесь и живут? — с явным неудовольствием воскликнул Толя. И я пожалел, что внял его просьбе и взял с собой: он определенно будет в тягость!

Ребята были уставшими. Я дал югославу, как самому крепкому, финку, а Толю назначил на первое дежурство: через два часа Толя должен меня разбудить. Для этого я ему дал часы. Мы повалились на матрацы. Дремал я чутко. Вдруг мне почудилась неясная возня за дверью, ведшей к лестнице наверх. Крысы, что ли? Внезапно дверь распахнулась настежь, в глаза ударили лучи нескольких фонариков. Я проснулся окончательно: надо мной стояли посторонние! Пришельцы в замешательстве замерли — не ожидали увидеть мирно лежавших на полу людей. Раздались крики: «Ауфштеен!.. Хенде хох!.. Раус!..» Все пришло в движе-

ние. Ребята стали вскакивать и метаться туда-сюда. Вскочил и я, оказавшись перед лазом, заткнутым матрацом. Тут увидел устремленные в меня и указывающие на лаз умоляющие глаза Сени. Тогда я двумя руками распахнул плащ, как это делают, чтобы накинуть его, и этим на миг скрыл дыру от щупавших глаз непрошенных гостей. Все пришельцы были в гражданском, кроме двоих в форме шупо-полицейских. При моем резком жесте один из гражданских вскинул руку с пистолетом. Вдруг между ним и мной вскочила тень. То был Василек! Раздался выстрел. Василек, все еще прикрывая меня, стал оседать. За это время я успел выхватить свой браунинг, снять с предохранителя, пальнуть дважды в метившего в меня гражданского и тут же ласточкой влететь в лаз. Ожидал, что выбью матрац, но вместо него встретил пустоту и мягко опустился на него снаружи. Вскочил, стрельнул еще раз в дыру и с плащом в другой руке помчался в потемки коридора. За его углом в стене была дверка, то ли от канала дымохода, то ли от вентиляционного ствола. Влез в тесную нишу этого колодца и прикрылся дверцей. Через минуту мимо протопали шаги. Крики «Хальт!.. Хальт!..». Несколько выстрелов ухнуло в катакомбе, затем все стихло...

Прошел час... другой... Я осторожно вылез. Темень, тишина. На цыпочках проделал путь до лаза, из которого чуть светило. Глянул в него: зажженный светильничек одиноко стоял на прежнем месте, тускло освещая пустое помещение. Матрацы на полу скомканы. Рядом с лазом — лужица крови, в двух метрах от нее — вторая. От них — ниточки кровавых капель потянулись к выходной двери...

Не влезая в дыру я достал из кармана плаща чудом уцелевший фонарик и, пропуская тоненький луч света через щель между пальцами, прошел по коридорам. Вначале тихо, потом громче стал звать: «Эй!.. Эгэ-гэй!.. Кто жив?» Никакого ответа! Вернулся к лазу, влез в комнату, чуть при этом не поскользнувшись на гильзах. Осторожно обходя лужи крови, осмотрел внимательно место происшествия. Нашел свою шляпу, под одним из матрацев обнаружил финку — ею не воспользовались! И больше ничего!.. Надо выходить! Нет, по лестнице не пойду: наверху могут ждать. Пролез обратно в лаз, и через другой выход выбрался наверх, на свет.

Кругом — пирамиды развалин, остовы стен. Никого. Внимательно осмотрел себя, тщательно почистился, до блеска надраил ботинки. Какое счастье: ниша оказалась колодцем вентиляционного, а не дымоходного канала — никакой сажи, одна пыль! Надел шляпу, очки. Осторожно выглянул наружу через пустой проем бывшей двери: невдалеке, на замусоренной улице, примерно там, где был лаз в малину, какой-то тип в плаще, облокотившись о стену, читал газету. Странные он выбрал время и место! Улучив момент, я вышел на улицу и прошел мимо него. Конечно, я все время ждал окрика «Хальт!», в любую секунду готов был выхватить пистолет. Но нет: тип рассеянно глянул на меня и опять углубился в чтение. Если это и был шпик (а кто бы мог быть другой?), то он явно не ждал кого-нибудь из нас в таком виде, и моя опрятная одежда, да еще партийный значок не вызвали подозрений. Поколесив по улочкам и убедившись, что слежки нет, я направился к окраине, где жил связник. Во что бы то ни стало необходимо срочно предупредить о провале этой малины, о мышеловке, которую могут там устроить...

— Ай-яй-яй!.. — покачал головой молодой парень-связник. — Ее же рассекретили еще позавчера, и ребятам еле ноги удалось унести. Вас не успели предупредить...

До вечера я пробыл у него и, дождавшись начала сумерек, направился в Гермюльгайм. На душе было мрачно. К «Кайзерсаалю» я подошел часам к девяти. Обошел все вокруг — не увижу ли замаскированных поблизости машин или засады. Нет, все было тихо и мирно, даже пустынно. Подошел поближе к окнам, приник к одному: внутри спокойный гомон. Осторожно приоткрыл дверь: толпа ребят у стола, происходит дележка пайков. Я вошел. Звук захлопнувшейся двери заставил всех глянуть в мою сторону.

— Вот он! Ура! — не своим голосом завопил Сенька: — Я же говорил, братва, что Сашка не из таких, чтобы попасться!..

Как он здесь очутился?

— Когда ты сделал то, что мне требовалось, — взмахнул плащом и одновременно скрыл от их глаз меня и лаз, я выбил матрац и нырнул в дыру. По коридорам домчался до отопительных котлов и спрятался между ними и стеной. Слыхал крики, стрельбу... Они пробежали мимо, меня не заметили...

— Я же говорил, я же говорил, что он уйдет! Нет, его не так-то просто взять!.. Я же говорил... — раз за разом прерывал свой рассказ Сеня Егупов. Да, конечно, я-то ушел, но какой дорогой ценой!

Тут может возникнуть вопрос: с какой целью я так подробно остановился на столь печальном происшествии? Не проще ли было в двух строках упомянуть, что-де однажды мы нарвались на засаду, погибло несколько человек? Отвечу: эпизод этот, хоть и прошло с тех пор несколько десятков лет, до сих пор жирным червем гложет мою неспокойную душу. Казню себя за гибель Василька и всей этой группы. А еще более за свое малодушие, резко отличившееся от героического поступка Василька Орлова. Даже не знаю, откуда он! Знаю одно: ценой своей жизни он спас мою. Есть ли в том моя вина, пусть судит сам читатель[72].

В «Кайзерсаале» все были предупреждены, что если мастера или кто из посторонних поинтересуются «долметчером (переводчиком) Сашкой», надо отвечать, что да, был такой, но несколько дней назад куда-то ушел и с той поры не возвращался.

Спокойно прошел второй, третий день. Мы с Колей начали успокаиваться: видимо, гестаповцам не удалось выбить адрес Гермюльгайма. Молодцы, ребята, выстояли! Неужто и Толя оказался крепким?! Наша настороженность начала спадать. Вечером четвертого дня мы с Николаем расселись за столом, в глубине зала, но лицом к двери в противоположном его конце. Напротив меня, спиной к ней, сидел Фома и еще несколько ребят. Фому звали «Беспалым»: на одной руке отсутствовали все пальцы, кроме большого. Он был одним из тех, кто, как раньше Толя, упрашивал меня взять его на малину. Щупленький, низкорослый, лицо блином, особенно если на нем берет, курносый, лет восемнадцати, он был веселым неунывающим парнем. И сейчас шел все тот же разговор о малине:

— Ну куда я тебя возьму? — отнекивался я. — Ты же слабенький, да еще и без пальцев. А там, брат, жизнь совсем не малина, как ты это воображаешь. Сегодня сыт, завтра — клади зубы на полку. Сегодня жив, завтра... Да и стрелять, бывает, приходится, а ты — без пальцев!..

— Не беда! Я ребятам белье стирать, еду готовить буду. Возьми, не пожалеешь. В тягость вам не буду. Очень уж хочется и за пальцы мои расплатиться...

— Подумай, Фома: зачем тебе подвергаться риску? Тебе здесь ничего не угрожает, живешь нормально, бутерброды свои регулярно получаешь. Да и война на исходе, вот-вот кончится... — продолжал я его разубеждать. И действительно, на примере Толи я убедился, что остовцам незачем ходить в бойню: живут спокойно, и пусть себе живут! Это не беглецы-концлагерники, для которых нет другого выхода и терять которым нечего...

В гости пришло несколько девушек из Кальшойрена и других лагерей — они часто захаживали к своим землякам. Расселись группками, часто раздавался смех. Неожиданно оживленную беседу нарушил ворвавшийся со двора холодный сквозняк. Все повернулись к открывшейся двери, готовые крикнуть, чтоб ее поскорее закрыли, но... в помещение ввалилось несколько гражданских. В плащах, в шляпах, руки в карманах. Человек восемь. Увидев незнакомцев, все настороженно замерли.

— Вер ист хие Сашка-долметчер? (Кто здесь Сашка-переводчик?) — перебрасывая губами из стороны в сторону остаток сигары, нарушил молчание один из них. «Всё! — ёкнуло во мне. Амба! Попался!» Что делать? Добежать до окошечка и выпрыгнуть в огород — не успею. Стрелять нельзя — побьют многих... Что, что делать?..

— Сашка-долметчер? — вырвалось у одной гостьи, и она машинально повернулась в нашу сторону, но тут же замялась, поняв свою оплошность. «Теперь уж точно мне каюк!» — и я судорожно сжал пистолет, готовый скорей застрелиться, чем попасть к ним в лапы. Другого выхода не было. Тут Фома глянул на меня, почему-то ехидно ухмыльнулся. Затем спокойно поднялся и, бросив на ходу злой взгляд на дуру-девчонку, направился к гестаповцам: то, что это именно они, — сомнений уже не было.

— Сашка-долметчер?! — не то вопросительно, не то утверждающе произнес он громко, подойдя к тому с сигарой. — Битте ум киппе! (Дайте окурок!)

И, будто уверенный, что отказа не будет, он протянул руку. «С чего это он? — молнией пронеслось во мне. — Он же не курит!»

Гестаповцы дружно рванули к Фоме, заломили ему руки за спину. Клацнули наручники, и вся свора, прихватив Фому, исчезла так же внезапно, как и ворвалась. Даже дверь не захлопнули! Бедный Фома!

Через час Николай и его старый друг, тоже беглец из нашего эшелона, бывший журналист из Полтавы, Гриша, отвели меня в какой-то заброшенный амбар или завод. Под самыми стропилами, на балках перекрытия, были разложены доски. Видимо, для сушки.

— Лезь наверх!.. Выбили-таки адрес... В Гермюльгайме, естественно, тебе больше быть нельзя! А мы будем думать, как быть с тобой. Покуда никуда не выходи!..

Долго оплакивать Фому не пришлось: ровно через три дня он сам появился в «Кайзерсаале»! Николай рассказал:

— Смотрим: Фома заявляется!.. Собственной персоной! Избитый, хромает, весь в синяках и кровоподтеках. А морда... ой-ой-ой, что за морда! Так вспухла, — от луны и впрямь не отличишь! Вид жуткий! А сам — сияет: «Вот, ребятки, и я! На что-то да пригодился!.. А вот Сашку срочно надо куда-то спровадить! Срочно! Знают его описание, будут за ним охотиться...»

Что же с ним произошло? А ничего особенного. Привезли его, значит, в кёльнское гестапо. Тот, с сигарой, оказался помощником начальника. Втолкнул Фому в кабинет шефа, хвастается: схватил, дескать, самого Сашку! Начальник аж подпрыгнул на радостях! А как глянул на Фому, пришел в неописуемую ярость, слюной в крике брызжет, жилы на шее вздулись: «Ты что, спятил? Вот это — Сашка?! Это — его жалкая пародия! Это же — обыкновенный выродок! Сашка — высокий, здоровенный, лицо и нос — длинные, седой. А этот... во-первых, карлик. Во-вторых, тщедушный. Морда — луна! Да вдобавок — нос картошкой. К тому же — рыжий! Плюс ко всему — калека беспалая!» Начали они его метелить, добиваться, почему он себя за Сашку выдал. Фома — в рев: клянется и божится, что, мол, не было такого! Просто он переспросил, хотел сказать, что Сашка еще три дня назад куда-то подался, да так и не вернулся. А заодно

хотел выпросить окурок сигары — больно уж он симпатичный и аппетитный был. Куда там! Опомниться не успел, как его скрутили и потащили к машине, не забывая при этом в бока поддавать. И за что, спрашивается? Что он такого плохого натворил?.. Ну, метелили его, метелили. В подвал посадили.. Ой, чего он там только не насмотрелся! Там — как селедок в бочке. На-а-роду — уйма! А через день — ногами в зад! — и выкинули на улицу. Даже назад отвезти не удосужились, паразиты!..

— Короче, нельзя тебе больше здесь оставаться! Ни в коем случае! Да и нам пора отсюда удочки мотать: в Кёльне началась настоящая бойня! Говорят, целый батальон желтопузиков с фронта сняли. Фаустпатронами, динамитом уничтожают подвалы... Мы решили: завтра утром дадим тебе двух ребят помоложе, да послабее, усадим в поезд. Поедете на юг, в Кобленц. Там должно быть теплее. Подыщете всем малины, а деньков через шесть и мы нагрянем, встречайте!

Далее Николай сказал, что накануне получена записка от «Белофинна»: тот сообщал, что «Сибиряк», не бежавший во время паники, совершил побег днем, с места работы. Погоня обнаружила его под каким-то мостом. Его сразу же отправили в Дору. Всех узников уже остригли... Не знали мы, что записка эта была последней весточкой от полосатиков: эшелон из Кирберга исчез...[73]

* * *

На следующее утро в рабочий поезд поднялось два остовца в сопровождении рослого, опрятного нациста с позолоченным партийным значком. Видимо, он сопровождал рабочих на свою ферму... Так выглядел наш с Семеном Егуповым и Иваном Земляным отъезд. Перед самой остановкой поезда в Кобленц-Лютцеле мы спрыгнули с вагона. Что нас здесь ждет?

* * *

Без всяких осложнений воспользовались тем же методом «легализации», что и в Гермюльгайме, нашли остовцев, работавших поблизости, поселилсь в их общежитии. Вместе с ними стали выходить на работу, а соответственно получать и пайки-бутерброды. Подыскали и другие остовские лагеря, куда можно было бы расселить и легализировать наших ребят из Кёльна. Но тут случилось непредвиденное: не более как через четыре-пять

дней союзная авиация произвела массированную бомбардировку «ковром» и полностью унчтожила единственную нить, связывавшую нас с Кёльном, — железнодорожные пути. Так навсегда оборвался с ним контакт. Что сталось с «Америкой», Гришей-«Полтавой», Геной-«Ташкентом», Федей, Иваном-«Москвой», Фомой-«Беспалым», другими?.. Несмотря на все мои розыски и поиски, ответа пока нет. И никто из современных кёльнцев и их историков не мог мне ничего ясного сказать о малинах. Хотя нет: позже следы раскопали, — они остались, и немалые! И о малинах, о перестрелках, и о кёльнском гестапо[74].

* * *

Кобленц находится в долине, где Мозель впадает в Рейн. Часть его, по левому берегу Мозеля в сторону Кёльна, называется Лютцелем. С основной частью города его соединяют два моста на правый берег — железнодорожный и автодорожный. Но железнодорожный к тому времени был разрушен бомбардировками. Третий мост, через Рейн из главной части города, ведет в глубь Германии. По подножью правого высокого берега Рейна тянется асфальтовая дорога Кёльн—Майнц. Сейчас все три оставшихся моста представляли собой сплошное решето: в них были сквозные дыры, пробитые бомбами. Их накрывали толстыми досками или стальными листами, что, с некоторой опаской, позволяло пользоваться мостами и дальше.

Бомбардировками был разрушен и вокзал Лютцеля. На отрезках путей остались стоять намертво к ним прикованные составы вагонов. Возле развалин товарной станции высились горы брикетного угля. Расчисткой путей вместе с остовцами занимались и итальянцы, разоруженные и «взятые в плен» после переворота в их стране. Немецкие конвоиры относились к ним не столь враждебно, сколь уничижительно-насмешливо: «Эх вы, итальянские макарони!», на что пленные равнодушно парировали: «Но макарони, — нои сьямо витамини!» Работали они вяло, безо всякого энтузиазма, никем не подгоняемые. Участь пленных их нисколько не печалила. Скорей наоборот: близится конец войны, и они теперь не обязаны участвовать в этом — каждому теперь ясно — абсолютно бесполезном кровопролитии...

С правой стороны асфальтовой дороги со стороны Кёльна к мосту через Мозель находился вокзал, а с левой ее стороны

стояло несколько корпусов военных казарм. В угол одного из них попала бомба и, разрушив его, засыпала единственный вход в подвал. Ну, а нам, как специалистам по развалинам, не доставило особого труда найти в пирамиде обломков щель, расчистить ее до нужных размеров и сделать из нее уютный и скрытый для посторонних лаз. Спускаться в подвал приходилось по крутому уклону обломков, среди глыб бетона и торчащих во все стороны концов покореженной арматуры. Ну и что? Зато помещения подвала, служившего ранее подсобным хозяйственным складом, были для нас искомым раем. Чего там только ни было: и штабеля матрацев, и разборные койки, скамьи, столы, печи-буржуйки, штабеля одеял... Даже фонари «летучая мышь»! А самое главное — зарешеченные окна, выходящие на уровень наружного тротуара! Есть все, абсолютно все, что требовалось. Ну а питание — его мы добудем сами.

Чтобы спуститься вниз, необходимо было чуть раздвинуть в стороны свисавшие с верхнего этажного перекрытия арматурные прутья с прилепленными к ним кусками бетона. В этом подвале мы и поселились. Над щелью, у изгибов прутьев, мы установили глыбу бетона «на честном слове», прислонив ее к арматурной катанке. Килограммов в 25 весом: непосвященному, желающему пробраться через щель-лаз, было бы естественным ухватиться за этот прут, чтобы придержаться. Но шатнув его, он бы неминуемо сбросил себе на голову эту «мину». Наш «сюрприз» удачно сработал несколько раз, пробив голову одним и навсегда отбив охоту у других солдат полюбопытствовать содержанием подвала.

Во всех этих четырехэтажных корпусах, даже в поврежденном, была расквартирована какая-то немецкая пехотная часть. И наш подвал, находясь под такой надежной маскировкой, надолго стал отличной малиной: кому бы в голову пришла мысль, что под ногами у солдат преуютно притаилась кучка вооруженных лиц?!

Естественно, мы не преминули проделать запасные выходы: разбетонировали вмурованные в проемы выходящих на тротуар окон торцы решеток, этим сделав их съемными. А с пола и до окон соорудили ступеньки. Теперь в любой момент можно было быстро и без труда покинуть наше убежище.

Трубу от печки-буржуйки мы вмонтировали в доходивший до нас канал дымохода. Ввиду холода солдаты над нами топили, наш дым выдать нас не мог.

Наученные горьким опытом с заснувшим на дежурстве в кёльнской малине Толей, в нескольких местах ведущего к нашим комнатам длинного коридора мы у стен расставили пустые жестяные банки из-под повидла (в складе их было предостаточно), попарно соединив их поперек прохода черными, невидимыми даже при свете фонариков, нитками: заденешь их ногой — попадают и покатятся банки. И в резонирующей пустоте подвала поднимется такой грохот, что и мертвый в своем гробу от страха перевернется! Опробовали: этот сигнал тревоги функционировал лучше любой сирены! Одно неудобство: влезать к нам и вылезать можно было лишь в темноту.

* * *

Перед казармами от дороги, ведшей к мосту, ответвлялось узкое асфальтовое шоссе, спускавшееся к левому берегу Рейна, к селу Нойендорф. Напротив его, на другом берегу, у подножия гористого склона, находилось село Нойдорф, а выше его — поселок Эренбрайтштайн. Там, за вершиной скалы, была установлена мощная артиллерийская батарея: с той стороны Рейна уже оборудовался новый заградительный рубеж.

Чуть ниже по Рейну, в глубине правого берега, — город Гренцхаузен. Там за горизонтом ночами по одному-два раза внезапно вспыхивало медленно разрастающееся зарево. Затем появлялся пук ярко-красного пламени, освещая над собой длинную черную сигару. Эта сигара, подгоняемая пламенем, все быстрее и быстрее всверливалась в черное небо, оставляя под собой белый шлейф, а затем стремительно уменьшающимся метеором, сделав где-то в высоте крутой поворот, исчезала из виду. Все это происходило при полной тишине. Лишь через две-три минуты, когда в небе не оставалось уже никаких следов, уши взрывал мощный, все содрогающий рев, грохот с завыванием. Он длился минуты четыре и, удаляясь вслед исчезнувшей сигаре, постепенно затухал. А уши долго еще не были в состоянии привыкнуть к наступившей тишине. Что это? Вскоре мы поняли, что близ Гренцхаузена производится запуск беспилотных радиоуправляемых ракет «Фау-2». Болтали, что, мол, они поднимались

на высоту в 70 километров и там сворачивали на Лондон. Несколько ракет на наших глазах взорвались в небе, не успев набрать нужной высоты. Мы знали, что узники некоторых концлагерей, таких, как Дора, занимались монтажом этих ракет. И в Бухенвальде собирались наладить их серийное производство, да не вышло: в августе разбомбили завод. Преждевременные взрывы этих ракет — не результат ли работы узников, их саботажа?..

* * *

В небе то и дело пролетали тучи союзных бомбардировщиков, то в глубь Германии, то возвращаясь оттуда. Не забывали они одаривать частью своего груза и наш город и его окрестности. Уже давно не видно немецких самолетов. Единственной защитой, кроме редких зениток, было несколько аэростатов, да бочки с искусственным туманом. Обслуживались они советскими военнопленными, переодетыми в форму «люфтваффе» и находящимися на немецком солдатском довольствии. Жили они бригадами по 6–8 человек в раскинутых вблизи их «агрегатов» брезентовых палатках. Искусственный туман! По-моему, в данном случае он был малоэффективен, скорее был соломинкой для утопающего: разве мог он скрыть город, если русла рек Рейна и Мозеля, да нити железнодорожных путей, пусть и разбитых, сходившиеся к вокзалу, оставались отличными ориентирами для летчиков? Видимо, тут больше пеклись о спасении мостов, которые, хоть и продырявленные и решетоподобные, продолжали нести свою службу. Сам город, в котором не было стоящих военных объектов, кроме нашей казармы, союзников интересовать не мог. Их бомбардировки «ковром» были нацелены на окончательное уничтожение любых коммуникаций, ведших в сторону фронта. Остовцы, прибегавшие из прифронтовых мест, рассказывали, что на фронте у немцев почти нет ни снарядов, ни патронов. Самое, мол, ходовое оружие у них — кирка и лопата: пока одна часть солдат сидит в окопах и изредка постреливает, другая часть вместе с мобилизованным населением и остовцами занимается рытьем окопов в тылу, километров на пять сзади. А американцы не спешат, не предпринимают никаких атак. Зато неустанно бьют их артиллерия и танки, без передышки пикируют и бомбят карусели штурмовиков. Отутюжив «на всякий случай» лишний день уже пустые окопы, они методично придвига-

ются на столько же, на сколько отступят немцы. И не более. Смерч их огня переносится на новые вражеские позиции. Жизнь их солдата — на вес золота. Так это или не так, — судить не берусь. Но кое в чем впоследствии пришлось убедиться.

В конце февраля гул канонады на западе значительно приблизился. Яснее стали видны воздушные карусели-хороводы: они не только бомбили, но и обдавали очередями окопы и все движущиеся цели. Через мост на ту сторону Рейна, всегда ночью, стали тянуться разрозненные мелкие группки немецких солдат, редкие машины, самоходные минометы...

В одну из последних февральских ночей мы бродили по близлежащему лесу. Вдруг сквозь деревья стали видны отблески костра. Кто бы это мог быть? Осторожно стали подкрадываться. Явственней донеслись обрывки раздраженных голосов, доходивших подчас до крика. Почудилось, что среди немецких были и русские ругательства. Русские?!.. Заинтригованные, подползаем еще ближе. Видим: у слабенького костра сидят человек шесть в немецкой полевой, а может и люфтваффевской, форме и о чем-то препираются со стоящими к нам спиной эсэсовцами в черном. Их было столько же. Донеслось смачное русское ругательство — его произнес один из сидевших. Неожиданно эсэсовцы, будто по команде, дали по короткой очереди в этих солдат и тут же, как саранча, накинулись на их ранцы. Подлецы! Убивать, да еще и мародерством заниматься!!! Мы и так были на них злы, а тут такое!.. Негодуя и не в силах сдержаться, мы выпустили в эсэсовцев чуть ли не по целой обойме. Подождали. Нет, уже никто не ворошится, тишина. Один из эсэсманов недвижно лежал чуть ли не в центре костра, противно завоняло шерстью.

Рядом мы обнаружили четырехколесную ручную тележку, а в ней — о, чудо! — два легких ручных пулемета и к ним полные диски, целых шесть штук! Советское оружие! Дегтяревское! Как оно сюда попало? Конечно же оно нам пригодится, надо только в нем разобраться, научить пользоваться им и ребят. Соблюдая осторожность, прикатили тележку к себе и замаскировли ее поближе к малине, присыпав опавшими листьями и снегом.

Дня через два по потолку над нами быстро-быстро затопали кованые сапоги. Напряглись, ожидая гостей. Но нет, наступила тишина... Что случилось? Не в силах превозмочь любопытство, выползли через щель, рискнули глянуть во двор: там стояли две поломанные телеги, валялись какие-то разбитые ящики, мусор... и ни живой души! Совсем уж необычная картина! Через час, не выдержав, вышли во двор. Со всех этажей на нас глядели пустые окна с разбитыми стеклами: казарму бросили! Мы в ней — единоличные хозяева!

События помчались за событиями... Казарма — лакомый кусочек для бомбардировки, ведь не знают же, что она пуста! Надо бы во время налета держаться от нее подальше Но, когда над головой были такие соседи, разве вылезешь из своей норы? И приходилось, как «премудрым пескарям», сидеть в подвале и дрожать, прикидывая: пронесет сегодня или не пронесет? Чтобы как-то успокоить ребят, я им, как непреложную истину, внушал: «Не бойсь, ребята, сегодня сюда бомбы не сбросят. Знаю точно!» Так было до сих пор. Но теперь, когда мы избавились от опасного соседства, когда до свободы оставались считанные дни, испытывать терпение судьбы было бы глупо. И вот завыли сирены, а меня, как назло, опять затрясла малярия. Паршивая это штука — болотная лихорадка-палюдизм. Подхватил я ее, видимо, в лагере Секелаж. Температура под сорок, губы потрескались, всего трясет, пот льет градом, ноги и руки — ватные! Попросил ребят помочь выбраться на свежий воздух, довести до палатки «люфтваффевцев». Только уложили к ним на койку, как показалась туча «летающих крепостей». Засвистели и завыли бомбы. Все умчались искать надежного укрытия. Рядом с палаткой на буржуйке осталась скворчать картошка. А я лежу, почти в полузабытьи. Кругом ухают взрывы. Вдруг почувствовал, что на одеяло над животом плюхнулось что-то, жжет... Тронул пальцами, обжегся и окончательно очнулся. Посмотрел: пропеллер-стабилизатор от бомбы. Вверху, в брезенте — проделанная им дыра!.. Э-э-э, нет, так мы не договаривались: раз на меня уже части бомб летят, надо убираться отсюда подальше! Кое-как встал на ноги и, шатаясь из стороны в сторону, побрел куда-то вперед. Дошел до каменного забора, придерживаясь за него руками и

облокачиваясь телом, проскользил таким образом еще с десяток шагов, пока, наконец, не свалился в полном беспамятстве...

Меня растолкали ребята. После налета они бросились, было, к палатке, но там — ни ее, ни печурки, ни картошки, ни меня!.. Одни воронки! Думали, меня разнесло на части... Понуро возвращаясь к себе, набрели на меня. Что ж, пойдем «домой»! Подошли, а и дома больше нет! От корпуса — одни развалины!..

— Нет, а все-таки: откуда ты так точно знаешь, куда упадут бомбы?

А вы говорите: чудес не бывает!.. Бывают они! Еще и какие! Короче, одно из них спасло в тот день и меня и всю мою братву. С тех пор смотрели они на меня как на кудесника-провидца... Да вот на вопрос, куда теперь податься, «кудесник» ответа не находил.

— А тобой очень интересуется переводчица из лагеря, все время о тебе спрашивает... Вместе с матерью она живет в Нойендорфе. Давай попросимся к ним! — предложил практичный Семен Егупов.

Переводчица?! А и правда, это она нас тогда выручила, помогла нам «легализироваться»! Очень симпатичная восемнадцатилетняя смуглянка. Говорила, что была студенткой киевской консерватории, класс фортепьяно. Что ж, попробуем...

Двум женщинам, да еще в такое ненадежное время оставаться одним не очень сладко. И они приняли нас чуть ли не с восторгом. Тем более, что мы — с оружием.

Дом был большой, хозяев в нем давно не было. Мы все разместились на втором этаже, окна которого выходили к Рейну. Памятуя о событиях в Аахене и «чистильщиках», ожидая, что и здесь может такое произойти, мы сразу же постарались закрепиться поосновательней. Пулеметы установили у окон, там же разложили и с десяток гранат: жизнь свою продадим подороже.

Из самоходных минометов, которые ночью спешили к мосту, два осталось близ Нойендорфа, — видимо, не хватило горючего. Еще через два дня не было днем видно ни единого немецкого солдата, а ночью два сильных взрыва возвестили о взрыве мостов. Так мы и очутились на «No man's land» — ничейной земле. Совсем близко на западе все громче ухали орудия. Им стали отвечать батареи за Эренбрайтштайном. И над головой с

характерным металлическим разноголосым скрежетом в одну и в другую сторону неслись невидимые глазу разнокалиберные снаряды. Необыденно и любопытно: летят, урчат, звенят. Их — тучи, как рой ос. Они, казалось бы, совершенно безвредны — не видно никаких разрывов, слышна лишь их музыка. А знаешь: они несут смерть! Очень впечатляюще быть на «ничейной земле»! Небо, как орган, наполнено звуками, а ты — в их центре, в центре войны, но... как посторонний наблюдатель и слушатель... Помню, отец посмеивался: «Ты — американский наблюдатель!» Вот и по-настоящему я им стал!

Еще событие: на «немецком» берегу Рейна, прямо против нас, из-за села Нойдорф, показалась колонна тягачей-тяжеловозов. Ага, вот оно что! — Понтоны! Засуетились саперы, стали их спускать на воду. Работают ритмично, быстро! Первая пара... вторая... третья уже в воде. Ой-ой-ой!.. мост налаживают прямо сюда, в Нойендорф! Если переправятся, то в живых нам не остаться! Обуяло отчаяние, но как их пугнуть? А что, если в их сторону дать несколько очередей, лишь бы показать, что берег уже занят? У нас же пулеметы! Конечно, если здраво разобраться, идея довольно-таки безрассудная, но и отчаяние было будь здоров! А придумывать что-либо другое... а что?

Село наше как бы вымерло — на улицах ни души. Метрах в ста пятидясяти от нашего жилища, почти на самом берегу, кирха с колокольней. Схватили оба пулемета, по диску к ним и... айда на колокольню. По крутой винтовой лестнице, громыхая о стены громоздким оружием, поднялись на самый верх и прильнули к окошкам: на том берегу все так же проворно снуют саперы, наращивая мост. Насадили диски, взвели, и по команде «Раз, два... пли!» нажали на спусковые крючки. Без паузы выпустили в немцев по всему диску. Я сообразил, что нас без труда можно засечь. Может уже и засекли, тогда... амба, как бабахнут по нам!..

— Всё! Сбросить оружие! Бегом вниз!

Скатились, будто нечистая сила хватает за пятки. Вверху на площадке осталась лишь россыпь горячих гильз. Бег остановили у перекрестка, выглянули из-за дома. Чудеса-а! На том берегу немцы мельтешились так же методично, но теперь в обратном порядке! Быстро залезли в кузова, грузовики развернулись и, натужно урча, полезли в гору. Три или четыре пары понтонов —

начатый мост — так и остались на плаву. «Ай да мы!» — хотелось крикнуть во все горло, но с этой высоты самовосхваления нас низвергли взрывы на дороге, по которой карабкались тягачи. Два из них загорелось, их тут же сковырнули и через несколько минут вся колонна исчезла за бугром. Ура! Американцы нас поддержали! Объятые воодушевлением побежали вверх к казармам: разве можно прозевать появление союзников, несших нам конец войне! Взобрались на самый верхний этаж уцелевшего корпуса, глянули в окна: нигде никого! Стали ждать. Вскоре вдали, из туннеля в насыпи, выпорхнуло три маленьких танка-шермана. Мчались они в нашу сторону быстро-быстро, хорошо были видны не то белые, не то желтоватые их звезды. Вдруг перед ними, прямо на шоссе, взметнулось несколько разрывов. Опережение! Это из Эренбрайтштайна дан залп по заранее, видимо, пристрелянной дороге. Танки «не смутились», мигом стали, и через секунду на такой же, как и раньше, скорости, даже не развернувшись, помчались назад и исчезли в туннеле. Ну и прыткие!

Ждали-ждали, но на сегодня «все военные действия были прекращены». По всей вероятности, «ко всеобщему удовлетворению обеих воюющих сторон». Это было 4 марта 1945 года. А над головами в небе продолжалась органная музыка летящих снарядов, да многоголосая канонада: война и дальше шла своим чередом. Как-то странно: не видно ни солдат, ни пленных, ни жителей... никаких жертв, никаких бомбардировок, никаких разрушений!.. В подворотнях так и остались лежать штабеля готовых к бою панцерфаустов, предназначенных для «вервольфовцев» и фольксштурмовцев. Но нигде их не было — ни тех, ни других, и никого эти штабеля не интересовали, никому они не нужны! И все же места, простреливаемые с немецкого берега, не излишне было миновать бегом: рядом цокали об асфальт и со звоном рикошетировали слепые пули. Правильны слова фельдмаршала А. Суворова: «Пуля — дура, а штык — молодец!» Штыков не было, а пуля как была дурой, так ею и осталась! Как-то не обратили внимания: из-за Гренцхаузена не видно и не слышно грохота взлетающих ракет! Давно ли прекратили их запускать? На этот вопрос никто из нас ответить не мог.

На следующее утро после появления и такого же молниеносного исчезновения американских танков мы их увидели у нас, в Лютцеле, — тайком пробрались сюда ночью и притаились за домами. Близко к ним их экипажи не подпускали: «Го хоум!» — слышали мы, и в нас устрашающе нацеливались автоматические карабины. Нет, но интересно же: чем будут здесь заниматься эти танки? Все-таки сумели подобраться поближе к одному из них. Стоит он чуть ли не впритык к стене дома, прячется, чтобы с того берега не видели! Вытянул из-за дома длинный хобот своего орудия. Казалось, что дуло его даже изогнулось в сторону Эренбрайтштайна и собирается стрелять «из-за угла»[75].

На танке, свесив в люк ноги, сидит деловитый американец в каске. На голове — наушники. Скучающе жует что-то (мы еще не имели понятия о жевательной резинке!). Часто поглядывает на часы: ага, пять минут прошло! и танк производит выстрел в сторону Эренбрайтштайна. Тем же занимаются и остальные танки. Какая скучища! Разве же так воюют? Никакого азарта! То, что и самим танкистам скучно, показывает весь их вид: будто чиновники в чертовски им надоевшей конторе! Зато какая на них аккуратная, удобная, красивая и опрятная, будто только что отутюженная, форма, скорее — спортивный костюм! Узенькие брюки заправлены внизу в гамаши. И ботинки прелесть: на толстой двойной — кожаной и резиновой — подошве. Не промочишь ножки, не схватишь ни насморка, ни ревматизма!.. Конечно, так воевать — одно удовольствие!..

В селе Нойдорф — частые разрывы артиллерийских снарядов. Уже горело несколько домов. Дня два затухали остатки подожженных тягачей. Давно не слышно батарей с немецкого берега. А обстрел его методично продолжается... На пятый день от Нойдорфа отчалила лодчонка. В ней — человек в гражданском, на носу лодки — белый флаг. Обстрел прекращен. Настороженная тишина, мы наблюдаем, что будет дальше.

Лодка уткнулась в берег у кирхи. Из нее, с флагом в руке, пугливо озираясь по сторонам, вышел полненький немец. Когда он приблизился к самой кирхе, из-за угла показался американец с карабином. Держа парламентера на прицеле, он к нему приближается. «Два шага вперед, один — назад» — такой, как мне показалось, была скорость его продвижения. Не дойдя шагов пяти

до немца, он останавливается, а гость с «вражеского» берега плюхается на колени и что-то жестикулирует... Оказалось, он — бургомистр Нойдорфа. Просит прекратить разгром его села: уже три дня, как в нем нет ни единого немецкого солдата!

Огонь больше не возобновляли.

На следующий день, по шоссе на том берегу, со стороны Ремагена к Майнцу, промчалась длинная колонна американских танков. Говорили, что они форсировали Рейн у Ремагена, по единственному, чудом оставшемуся невзорванным, мосту. Почему его не взорвали, об этом скажет история, изучающая тайны закулисных махинаций.

Итак, война незаметно перемахнула через наши головы и покатилась дальше на восток!

В первый же день появления американцев я отобрал у ребят все их «личное» оружие, спрятал его в тайнике на чердаке какого-то дома. Самого молодого — Сашу Кайдана — назначил хранителем этого склада, на случай, если со мной что-нибудь случится. Сделал это вовремя: вскоре появились объявления-приказы об обязательной сдаче любого оружия. Для нас наступила спокойная жизнь, появилась некая уверенность в завтрашнем дне.

Дней через десять по шоссе на том берегу потянулось несколько тягачей с длинными прицепами, на которых находились черные сигары, — так и незапущенные ракеты «Фау-2», штук пять. Их медленно тянули на юг, в сторону Майнца...

Над головой безостановочно пролетают тяжелые самолеты. В два этажа: выше — «летающие крепости», ниже — транспортные «Дугласы» с бензином и прочим «товаром» для фронта.

* * *

Советские мальчишки и девчонки, бывшие остовцы, стали стягиваться и расселяться в пустых казармах, где некогда находилась наша малина. Вдруг на одном из корпусов зареял французский трехцветный флаг! Французы! Действительно, у некоторых были береты с красными «помпонами». Для меня они — что «земляки», и я бросился к ним: вдруг кто-нибудь слыхал о Ренэ, о Мишеле и его гибели, о других?

Меня препроводили к командиру. Рослый, юный, но бородатый парень. Лейтенант. Он пытливо стал всматриваться в меня, потом его будто осенило:

— Послушай, не был ли ты во Франш-Конте? В Клервале, Монбельяре?

— Был.

— То-то твое лицо мне знакомо! А что ты там делал?

Я рассказал о Пьере Вильмино, капитане Анри, что в основном обучал обращению с огнестрельным оружием...

— Точно, теперь вспомнил: ты меня учил разбирать и собирать пистолет «Вальтер».

— Значит, вы знаете о капитане Анри, лейтенантах Ноэле и Николе?

Оказалось, что Анри уже был не капитаном, а полковником. И он — не Анри, а стал «Фабианом», участвовал в Парижском восстании, создал полк, который получил № 151. Да, этот лейтенант слыхал о гибели одного отряда в районе Виллер-ле-Лак, у швейцарской границы. Но, когда пройдено через столько боев, разве всех припомнишь?..

— Туго, очень туго нам приходилось. И не только бои тому причиной. Перед нами стояли и другие задачи: экипировка, снабжение, вопросы, кому подчиняться, чьи приказы выполнять? Мы так и не получили статус регулярной армейской части. Дошли с полком до Мюльхоуза, почти до Германии. И там, в штабе полковника Фабиана взорвалась мина. То ли диверсия, то ли несчастный случай — никто до сих пор толком не знает. Погиб наш Фабиан и все, кто с ним был. Теперь наш полк носит его имя...

Горько! Такой человек, такой командир! Вдруг, я удивился самому себе: раньше подобное сообщение вызвало бы во мне бурю страданий, а сейчас... сейчас я его воспринял почти спокойно! Отчего бы это? Неужели война и впрямь создана, чтобы «огрубел, опустился народ», как поется об этом в «Кирпичиках»? Да-а, за это время лихолетья пришлось пережить горькие утраты, потерять многих друзей. Смертью больше, смертью меньше — не все ли равно? И еще неизвестно, что и как будет дальше...

— Войне скоро конец. Такие, как ты, достаточно натерпелись: тюрьмы, пытки, концлагеря, ежедневная перспектива смерти, побеги, издевательства... Смотри: вон по дороге возвращаются наши из плена. Я дважды был в Париже, видел, как их встречают, — как мучеников, героев... Море цветов!

И в самом деле, по дороге на запад тянулись группки с самодельными трехцветными флажками. Доверху груженные ручные тележки и подводы на конной тяге. Чемоданы, мешки, узлы... Даже птица, поросята... Как только колеса выдерживают! Идут с песнями, шутками. На лицах — ликование. Многие едут рядом на велосипедах или ведут их в руке — в будущем хозяйстве все пригодится! В военной униформе с наляпанными на ней масляной краской буквами ЭЛПЭ («кригсгефангене» — военнопленный) — таких мало. Большинство — в добротной гражданской одежде, в отличной обуви. Для них война кончена, остались живы, свободны, начнут новую жизнь, жизнь нормальную, мирную и... по моему личному мнению, ими отнюдь не заслуженную.

Лейтенант продолжил:

— Мог бы тебе устроить место в самолете на Париж. Твое решение?

Слов нет, — заманчивое предложение, отличный выход! Париж... Ренэ... Разыскал бы Викки Оболенскую, Кристиана Зервоса — те бы помогли устроиться на работу... Поступил бы и закончил медицинский институт, стал бы хирургом или терапевтом (конечно же знаменитым!). Я был уверен в себе, в своих способностях, в своем трудолюбии. Да поскорее бы собственными детьми обзавестись! Сыном — обязательно! Именно им, чтобы воспитать его по собственному умению и разумению, чтобы он не стал белоручкой и потребителем-тунеядцем, как тот Толя — «сын директора» и некоторые ему подобные. Чтобы стал таким, каким был Мишель, каким был Василек, каким был «капитан Анри»!..

Первым порывом было — тут же ухватиться за такое неожиданное и любезное предложение! Я невольно глянул в сторону стоявших невдалеке моих ребят: они, с еле скрываемыми любопытством и нетерпением, ожидали конца нашей беседы с лейтенантом. Некоторые из них даже «рты забыли закрыть», услыхав, как я разговариваю по-французски! Как много связывало меня с ними, они стали для меня родными! Могу ли я, вот так сразу, взять да и покинуть их? А если с ними что случится? Сумеют ли они добраться до своих?.. Нет, надо подумать, взвесить,

посоветоваться с ними самими. И лейтенант согласился подождать ответа до завтра...

— Конечно... одной семьей, как раньше, было бы лучше... Но решать — тебе: поступай, как душа повелит! — таким был ответ сразу же приунывших ребят.

«Как душа повелит»! Как много в этих словах! И... у меня не хватило духу пойти против своей совести, против своей «души»! Может, чуть позже я бы и не устоял перед соблазном, передумал бы, но через три дня французский отряд исчез, никого из них я больше не встретил.

* * *

Американские саперы быстро наладили по остаткам мостов пешеходные переходы, а затем были задействованы и добротные понтонные мосты, по которым сразу же хлынули потоки груженных пакетами с набором продуктов грузовиков в сторону фронта. А дорога на запад, к Франции, все больше и больше взбухала устремившимися на родину бывшими военнопленными и гражданскими рабочими-французами. Казалось, что началось новое «переселение народов».

Встал вопрос: куда направиться? Не сидеть же здесь сложа руки! На восток — никакого смысла: там еще война; сколько она продлится — одному Аллаху известно. А надо бы поскорее! Не влиться ли в общий поток возвращавшихся домой французов? Доведу ребят до Марселя — к тому времени будут уже корабли на Одессу — и я, не кривя совестью, там и распрощаюсь со своими друзьями. Да и о будущем подумать надо: кроме, как «специальности стрелять» никакой другой не имею! Мысленно наметил наш путь: в Сааргемюнде повидаюсь с Полем Негло, братьями Мурерами и их матерью, семьей Людмана — всех надо отблагодарить за содействие, показать, что их доброе дело не пропало даром. Обязательно пройдем через Жювелиз, попробуем разыскать тех юных велосипедистов, спасших нас от засады и указавших, как перейти через границу. Крепко-крепко обниму обоих, брата и сестру. Затем Домбаль и Варан-жевиль, побываю у поляков, поищу самоотверженных девушек, «Зденека» — Ковальского... Короче, проделаю тот же путь по своим следам в августе — сентябре 1941-го. Затем Париж. Остановимся в «моей» гостинице «Миди», познакомлю ребят с Ренэ, с Энрико, обяза-

тельно побродим по городу-сказке, покажу его достопримечательности: Эйфелеву башню (хоть сам ни разу на нее не взбирался!), Сену, мост Александра III (пусть знают, как во Франции чтут русских императоров), собор Парижской Богоматери, русскую церковь на рю Дарю, покажу гроб Наполеона... Поищу Викки, Зервоса, Мари Златковски, и с их помощью препровожу ребят до Марселя...

Все казалось просто, никаких проблем. Да иначе и быть не могло: если уж благополучно прошли «через огонь, воду и медные трубы», то теперь, когда нет врагов, некого и нечего опасаться, разве не преодолеем такую малость?! И совсем нет необходимости мучиться, топать пешком или даже на телеге: на грузовике-то лучше! И быстрей! Почему же не использовать такую технику? Еще раньше я приметил брошенный немецкий грузовик. С тентом! Стоял он, бедненький беспризорный, окрашенный маскировочными пятнами и с крестами, и скучал. Сам будто ждал хозяина. Осмотрел его: аккумулятор отличный, радиатор не течет, все в порядке. Вот только бензина — ноль. Поэтому его, видимо, и бросили. Невдалеке приметил и пару самоходных минометов-танкеток. По опыту знал, что по литру-два, а то и больше, нацедить из баков можно...

Нашли ведро. Я подлез под одну, под вторую и нацедил-таки литров пять! Маловато! Следя за каждой каплей, влили бензин в бак грузовика. Лейки не было, так что, как ни старались, много пролили. Да и ветер саботажем занялся. Завел. Ура, работает! Сгорая от тщеславия, благо американцев вблизи не было, прокатил ребят. Лишь когда двигатель начал чихать, кое-как пригнал грузовик в укромное, скрытое местечко. Где же достать бензин?

— А почему бы не попросить его у американцев? — предложили ребята.

А и вправду: на каждом их виллисе или джипе всегда по целой батарее канистр. Чего-чего, а подобного «барахла» у них навалом. Неужели они жадины, и не дадут? Жаль только, не владею я их языком. А что если обратиться непосредственно в их штаб? Там наверняка найдется кто-нибудь из знающих немецкий или французский...

Пошли его искать с Сеней и Ваней. Естественно, чтобы нас не приняли за диверсантов, никакого оружия не взяли. Когда были близ села, где, как предполагали, находился этот штаб, оттуда навстречу ринулся джип. Полный американцев. Шагах в тридцати от нас остановился. Из него выскочило трое. Криками и жестами приказали, чтобы мы подняли руки. Я сделал шаг вперед, чтобы попробовать объяснить, что мы — русские, беглецы из концлагеря и хотим в штаб. Но при моем движении карабины угрожающе вперились в меня: «Хенде хох!» — истерически завопили американцы. Вот дураки! Стоим мы, стоят они... Сколько же мы будем так стоять? Наконец старший, судя по планкам на его пилотке, что-то приказал, и один из них боязливо двинулся в нашу сторону. Все они были готовы тотчас же нажать на гашетки... Нас тщательно обыскали. Я обратил внимание, что у американцев, кроме их коротких то ли карабинов, то ли автоматов, по обоим бокам болтается по кобуре с кольтом. Как у ковбоев! Ничего не скажешь: вид сугубо воинственный, да вот душонки, видимо, в пятках, приучены не рисковать, беречь жизнь пуще золота: таких с голой грудью под пулю не пошлешь! Интересно: пошли бы они в штыковую атаку? Или с одной гранатой против танка? И вообще, что такое героизм, что такое безрассудство? Есть ли между ними разница? И что полезней на войне? Войну американцы, как я убедился, вели по-своему: сперва массовыми бомбардировками вывернут все наизнанку, затем артиллерией перепашут уже перепаханное, а уж потом двинут танками, а за ними пойдет моторизованная пехота. Просто пехоты, как таковой, чтобы она грязь месила и топала, высунув язык и обливаясь потом, — таковой у них не существовало. Дорого? Конечно! Особенно если учесть бесприцельные бомбардировки «ковром», когда сотни тонн металла и взрывчатки перемешивали пустую землю, уничтожая зато малейшие замаскированные огневые точки, опорные пункты и коммуникации. Что дорого — то дорого. Ничего страшного: все расходы компенсирует поверженный враг. Так стоит ли мелочиться? Во всяком случае жизнь собственного солдата — драгоценней! Ее надо беречь: солдат — человек, а не особь бесплатной массы! В культурных странах, очевидно, «победа любой ценой» не котируется!

Закончив процедуру с обыском, — искали лишь оружие — нас заставили идти впереди джипа со все еще поднятыми руками. Когда они окончательно занемели, мы догадались обхватить ими шею, стало легче! Нет, ни разу еще не доводилось мне быть в подобном нелепом положении — с поднятыми руками. Не позавидуешь тем, кто так сдавался в плен!

В селе и на самом деле находился штаб: легковушки так и сновали туда-сюда. Ввели в дом, заперли в чулане. Через час-два поодиночке стали вызывать на допрос.

— Кто, откуда, почему бродили по окрестностям?

Допрашивал, как я понял, какой-то майор из «Си-Эй-Си», или как там называлась их армейская контрразведка. На чистейшем русском языке! Но глаза — колючие, выражение лица — недоверчивое и неприязненное. Жуть! А расспрашивал монотонным, бесстрастным голосом. Очень интересовался, чем я занимался во Франции, за что попал в Бухенвальд. Думая, что расположу его к своей персоне, я упомянул о записочке — «пароле Ноэля», постаравшись по памяти воспроизвести ее английский текст. Куда там! Мне показалось, что этим я только усугубил свое положение, еще больше распалил недоверие... Да-а-а, в друзья здесь запросто не напросишься! Будь начеку, Сашка!

Из этого дома к вечеру нас отконвоировали в другой, двухэтажный, с часовыми вокруг. На втором этаже было уже человек двадцать разной национальности. Хоть и кормили регулярно и неплохо, ждать неизвестно чего не больно хотелось: очень волновал меня тот майор из контрразведки. Самое интересное, что он абсолютно не заинтересовался моей информацией о Бухенвальде, об экспонатах в патологии, о том, что там ждут избавления... Зря ты, дорогой Густав Вегерер, надеялся, что я смогу оказать вам услугу! Обо всем здесь знали и без меня!

Через день мы решили смотать отсюда удочки. Ночью, когда все спали, мы с Сеней выпрыгнули через окно в огород. Приземлились довольно благополучно. А вот Ваня Земляной почему-то не рискнул: ему показалось слишком высоко! Странный какой-то! С ним и раньше была морока: в минуты опасности, когда необходимо было затаиться и быть тише воды, его начинал разбирать кашель. Что только он ни делал, что только ни придумывал, чтобы справиться со своим непонятным недугом!

И подушку с собой брал. Будто подобный «глушитель» поможет ему. Конечно, подушка немного помогала, но ведь это неудобно и громоздко — таскать ее с собой!.. А сейчас новая странность — боязнь высоты! Подождали его, подождали, затем, прошмыгнув за спиной часового, по задворкам выбрались из опасного квартала и к утру были в Нойендорфе у своих... Все же на душе было неспокойно и стыдно: бросили, мол, своего! Не выдержали и пошли его выручать. Не знаю, как бы нам это удалось, каким способом, но... на полпути столкнулись с ним самим, нос к носу! Молодец, Ванюшка, не подкачал, преодолел самого себя!

* * *

Казармы, где мы некогда жили в подвале, все больше и больше, как я уже упоминал, заполнялись остовцами, гражданскими, а также и бывшими советскими военнопленными. С питанием было сравнительно неплохо: на полях оставалось много неубранных картофеля, капусты, брюквы, сахарной свеклы, моркови, бурака. Мимо часто проезжали колонны грузовиков с наборами сухих пайков, и мягкосердечные водители-негры подбрасывали в лагерь консервы, а то и целые коробки наборов.

Многие советские граждане и не видели и не слышали о неграх и теперь разглядывали их с любопытством. Однажды один из остановившихся на отдых бразильцев, помывшись, попросил полотенце. Отказать такому симпатичному негру не осмелились, долго следили за процедурой вытирания, а потом недоверчиво разглядывали полотенце: почему оно осталось белым? Пригласили водителя отведать борща. Тот уплетал его за обе щеки, от удовольствия закатывая свои бельма и ослепляя своими снежно-белыми зубами, причмокивая, да поахивая... Потом стал допытываться, из чего он сделан.

— Из вашей консервы! — хором ответили юные поварихи и кое-как жестами разъяснили свой ответ. Впрочем, слово «консерва» было понятным и так.

— Ну да? — засомневался тот. Более подробно объяснить всю технологию изготовления борща, ввиду незнания языка, никто не смог: еще не было достаточного навыка в языке из смеси жестов и мимики. Негр поблагодарил, попрощался и вышел. Через некоторое время девчата, удивленные, что не слышат звуков отъезжающего грузовика, выглянули на шоссе. Видят: сре-

ди горы открытых картонных коробок, которые он вез, копается водитель с ножом в руке: вскроет одну консерву, отведает, сбросит ее вниз; берет другую, проделывает с нею то же. Сбоку машины валялась уже горка вскрытых банок. Поняли: водитель ищет ту, из которой получился такой вкусный «борч»!.. С неделю не утихал хохот над этим фактом...

* * *

— Сашка! Пашка застрелил в лагере Мишу-«Москвича»! прибежали встревоженные ребята.

Первая мысль: как он осмелился без моего разрешения взять пистолет? Как смог Саша Кайдан нарушить мой приказ и посягнуть на склад оружия, который должен был охранять?

— А где Кайдан?

— Он вместе с Пашкой куда-то сбежал!

Миша-«Москвич»!.. Он был самым старшим из ребят, и года на два старше меня, был поэтому одно время моей «правой рукой», чем вызывал во многих некую ревность. Как старшего, следовательно более рассудительного, я прочил его в «преемники» в случае моей гибели. Действительно был москвичом. Перед войной, как говорил, работал в Москве шофером такси. С месяц назад, когда мы жили в подвале казармы и еще не перебрались в Нойендорф и даже не думали об этом, мне показалось, что наша малина на грани провала. Срочно надо перебазироваться! Куда? И я послал Михаила на остров среди Рейна, недалеко от Нойендорфа. Там был маленький поселочек. Пусть он договорится с крестьянами, с остовцами о трудоустройстве «сезонных рабочих», то есть нас. Дней через десять и мы, мол, заявимся туда. Сказано — сделано. Но когда мы прибыли, Михаил уже преотлично устроился скотником. Угощая нас молоком, он признался, что о нас и не заикался. А нас просит поскорее покинуть остров, ни в коем случае здесь не оставаться, его самого оставить в покое... Конечно, для нас это было большим и неожиданным ударом. Куда теперь податься? И... нам пришлось вернуться обратно в малину и молить Бога, чтобы опасения и предчувствия мои оказались преувеличенными. Ребята, конечно, сильно возмутились: по меркам того времени поступок Михаила расценивался как предательство. Возмущались и тем, что я, и глазом не моргнув, проглотил такую пилюлю. Но то было с месяц

назад, когда наши жизни действительно зависли на волоске. Теперь же совсем другое, — зачем же ворошить старое? Все обошлось, и ладно! Да, Михаилу не повезло! Как только пришла свобода, его потянуло к старым друзьям, которых он так легко предал. И вот... Эх, Михаил! Михаил!.. Ну зачем ты вернулся?.. Сейчас он лежал на столе в одной из комнат казармы. Его готовились похоронить, как подобает по христиаскому обычаю. Вместе с двумя военнопленными, лежавшими рядом: они отравились древесным спиртом хотели отметить свою свободу! Обидно за троих: погибнуть на пятые сутки после освобождения! Все трое лежали рядом, обмытые, опрятные. А Паша... можно ли его судить? Судить за то, что не успел перестроиться? Не знаю, можно или нет, но он исчез. Вместе с нарушившим мой приказ его другом Сашей Кайданом..Иногда его встречали. Передавали ему, что я его наказывать не буду, просили к нам вернуться. Нет, вернуться он не рискнул. Какова дальнейшая его участь — неизвестно. На всякий случай, я изменил его имя.

* * *

Какие-то странные эти американцы! И развлечения у них престранные. Несколько раз я видел, как они разъезжают на «трофейных» велосипедах, производя неимоверный грохот: на ободах не было покрышек! Ну и весело ж им было, словно детям! А мне аж плакать хотелось!.. Вскоре американцы обнаружили и припрятанный нами грузовик. На буксире дотащили его до крутого обрыва на берег. Один садился в кабину за руль, другие сзади разгоняли по склону. А когда машина начинала срываться вниз, «шофер» в последний момент выпрыгивал из нее. Затем машину опять затаскивали наверх, в нее садился другой, и опять в обрыв... Не то спорт, не то тренировка каскадеров не знаю. Забава продолжалась, пока от машины не остался сплошной металлолом. Я всегда любил технику, даже в те моменты, когда приходилось ее портить. Но подобное варварство, да еще по отношению к «нашему» грузовику, на который мы столько надежд возлагали, разве можно было смотреть на это равнодушно? Родненький, ни в чем не повинный грузовичок, как злы и беспощадны люди! Ты уж их прости, «ибо не ведают они, что творят»! Позже мне стало казаться, что такое варварство поощрялось свыше вполне сознательно: уничтожать, чтобы заставить

приобрести, развить более обширный рынок сбыта собственной, американской, продукции. Может, ошибаюсь? Тогда чем объяснить, что по прошествии установленного срока нóски добротной обуви на двойной подошве — шесть месяцев, — которую еще носить — не переносить, она отбиралась, сваливалась в целые горы, обливалась горючим и сжигалась? Или факт с реквизированными свиньями: хоть армия и была обеспечена прекраснейшими продуктами, но тянуло на «свежинку». Так вот, из свиней использовалось лишь мясо, а толщенное сало сжигалось! Может быть, американцы просто-напросто никудышные и непрактичные хозяева? Могли же они все это отдать или даже продать голодающему населению: только предложи, и выстроится очередь желающих. Впрочем, я, кажется, ударился в финансово-экономическую политику. Мотивы же любой политики не всегда доступны простому смертному, и оставим их для мудрецов-специалистов!.. Правильно говорил мне отец: «Не верь ни политикам, ни дипломатам: говорят они одно, думают другое, а делают — третье!»

* * *

В апреле американцы перевезли всех русских из Лютцеля через Рейн, где в казармах города Лимбурга устроили большой лагерь для «Ди-Пи» — «перемещенных лиц». Поехали туда и мы, запрятав в свой незамысловатый скарб пистолеты и несколько гранат: война еще идет и, кто знает? вдруг оружие пригодится?

В Лимбурге нас и застал тот самый день...

Помню: сидели мы ночью за столом, спать не хотелось. Были чьи-то именины, мы их праздновали, пировали-выпивали и, как водится в военное время, спиртного не экономили. Пели песни, рассказывали анекдоты, с насмешками вспоминали, кто как себя вел в тот или иной момент. Ни о чем особо не думали, так как давно не имели никаких новостей с фронтов, знали только, что бои идут по-прежнему. Вдруг из громкоговорителя ухнули тяжеловесные слова, кувалдой стукнувшие по голове:

— Только что в Реймсе подписан протокол о безоговорочной капитуляции Германии... Войне конец! — таков был краткий смысл повторенного на нескольких языках сообщения... Что было дальше — помню очень смутно. Кажется, вначале насту-

пила мертвая тишина, длившаяся минуту-другую, когда все молча и растерянно смотрели друг на друга не в силах переварить в себе эту неожиданную и в первый миг непонятную весть. Затем наша комната взорвалась шумом, грохотом, нечленораздельными воплями. Все стали прыгать, обниматься, целоваться... Все это погрузилось для меня в туман и еле-еле пробивалось из внешнего мира. Навалилось какое-то странное затмение, над которым угрожающе завис жирный, тяжелый вопрос: «А дальше?» Действительно, что дальше? Что отныне делать? Как жить?.. На что ты способен? По какому пути идти?.. И стал вырисовываться нехороший и удручающий ответ: «Ты ни на что не пригоден!.. Перед тобой — никакого пути!»

По-прежнему вокруг бушевала пучина. По-прежнему я рассекал сопротивлявшиеся мне волны... Но раньше, на горизонте, мне мерцал маячок, указывая путь. А теперь? Теперь он угас. Все опустилось во тьму, вокруг — один хаос... Я привык к войне, к смерти, к стрельбе. Привык не думать ни о чем, кроме как драться, пребывать в вечных судорожных поисках выхода из всяких рисковых ситуаций, изворачиваться и изворачиваться... Последнее время пребывания на мирном положении считал не более как кратковременной паузой, которую каждую секунду может оборвать неожиданная опасность, опять стрельба, опять мираж смерти... К этому я был готов постоянно, был в вечном напряжении. Знал одно: впереди — враг, бей его! Именно на одно это, на то, чтобы бить, и были направлены все мысли, весь смысл жизни. Многие из фронтовиков, вспоминая, рассказывают, что и во время смертельных атак они-де не забывали о доме, близких, о том, как в будущем будут строить свою жизнь... Возможно. Возможно потому, что, очевидно, они были крепко связаны со своим прошлым, — их ждали дома! Меня никто не ждал. Не было и дома. Ничего не было! Лишь изредка подумывал я о дорогой мне Ренэ. Но... жива ли? Конечно, для нее я давно погиб... «Если милый не вернется, — трудно милого любить!» — очень правильные слова! Гораздо ближе был передо мной враг, о нем были самые ближайшие мысли. И вот не стало его, врага этого. До сих пор я был уверен в своей полноценности, целенаправленности. А тут не стало и цели... Навалилась беспросветная пустота...

Как-то отец говорил, что идеал человека — его маяк. К нему он должен стремиться, но достичь его никогда не сможет. Ибо маяк — это идеал, а идеал — недостижимое совершенство. И если, мол, за идеал ты примешь нечто фальшивое, мелкое, что-то, чего сможешь достичь и достигнешь, то берегись! — впереди будет ничто, хаос... Видимо, именно это и случилось со мной: идеалом я поставил драку до Победы. А достигнута она без меня, да еще и совершенно внезапно. К этому я не был подготовлен. И вот, впереди — пустота!..

Итак, я спустился по лестнице, вышел во двор, завернул за угол корпуса, взвел парабеллум и, когда рука подносила его ко рту, вдруг... вдруг что-то судорожно сжало ее и рвануло в сторону! Что это? Кто это? Затуманенными глазами увидел: я окружен моими ребятами — Ваня, Вася, Федя...

— Ты что, Саша, погоди!.. Ты что это надумал?

— Да вот, ребятки... — стал я оправдываться заплетающимся языком, — всё уже кончено, войны больше нет. Я теперь никому не нужен... Зачем зря небо коптить?

— Как это «не нужен»? Как это «зря небо коптить»? Да ты что? Ты же нам был батькой, батькой и остался! Куда мы без тебя?.. Нет-нет, так не пойдет! У нас на тебя вся надежда: ты был и остаешься нашим учителем! Родной ты наш!..

И... от этих слов мои глаза превратились в гейзеры, извергавшие соленую, горячую воду! Значит, я все-таки кому-то нужен!!! Родненькие мои ребятишечки, мои настоящие, верные друзья!.. И вы мне родные... и вы мне дороги!..

Глава 15. SUUM CUIQUE

O, Buchenwald, ich kann dich nicht vergessen,
Weil du mein Schicksal bist.
Wer dich verlieЯ, der kann es erst ermessen,
Wie wunderbar die Freicheit ist...

О, Бухенвальд, тебя я не забуду,
Ты стал моей судьбой!
Тебя всегда я помнить буду,
Если вернусь домой...

(Марш узников Бухенвальда)

«SUUM CUIQUE» — «Каждому — своё!» — так звучала одна из летучих фраз Древнего Рима.

Гитлеровский национал-социализм обожал мистику и часто обращался к давно ушедшим цивилизациям. А как же иначе? Ведь он, Гитлер, — второй Мессия, призванный, как утверждалось, покорить весь мир и облагодетельствовать немецкий народ, всех арийцев. Не этим ли объясняется и знак свастики, символизировавший в Древней Индии божество Солнца — Вечного Двигателя?

Древняя символика многозначна, таинственна. Этим она очаровывает, увлекает, покоряет. Говорят, сам фюрер преклонялся перед мистикой. Подражая ему, «фюреры» и «ляйтеры» рангом пониже окружали свои персоны сонмом всякого рода прорицателей, спиритов, хиромантов, экстрасенсов и астрологов. Последние, в угоду власть имущим заказчикам, составляли обнадеживающие и благоприятствующие гороскопы. Говорят, что... да мало ли что говорят!...

Со свойственным национал-социализму цинизмом не только символы, но и древнейшие лаконичные изречения пускались в ход для прикрытия и оправдания волчьей сущности тоталитарного режима.

«JEDEM DAS SEINE» — так по-немецки зазвучала «Suum cuique». И это изречение чугунными буквами было отлито на тяжелых воротах концлагеря Бухенвальд. Осталось оно и сейчас, когда бывший нацистский «лагерь уничтожения трудом», оказавшись волею судьбы в Советской зоне оккупации, был пре-

вращен в «Спецлагерь № 2» — подсобное хозяйство при СМЕРШ 8-й армии. СМЕРШ — советская армейская контрразведка.

Заново восстановлено прорванное за время освобождения колючее ограждение, но смертельный ток, ввиду его дороговизны, пропущен по нему не был. Вновь на вышках замаячили охранники, но теперь уже советские, с автоматами и пулеметами. Не на каждой, а через одну: слишком малочисленным был выделенный охранный гарнизон. Начальником лагеря назначен советский стрелковый капитан Матусков, с боями прошедший всю войну. Он сильно хромал после недавнего очередного ранения. Парадокс: прошел войну, чтобы освобождать, а теперь обязан быть лагерным охранником! Лагерь стали заполнять схваченными бывшими высшими и средними руководителями НСДАП, офицерами СС, СА и СД, даже вожаками гитлеровской молодежи — 15–17-летними юношами и девушками, — «хайот-фюрерами». Было там и одиннадцать генералов. В гражданском. Видимо, взятые уже после войны, на дому. Было и до 30 научных сотрудников из бюро ракетчика Вернера фон Брауна. Сам он, естественно, оказался у американцев.

В сентябре 1945 года водворили сюда и меня. Как это получилось? Неужели Бухенвальд и впрямь «стал моей судьбой»? Как случилось, что я, содержавшийся в нем при нацистах, снова в него угодил при советской власти? Не похоже ли это на некую закономерность?!

* * *

Прошли долгие месяцы кошмара, когда мы, на положении огрызавшегося после нашего побега зверя, были загнаны в подземелье. Радость призрачной свободы и счастье сражаться, а не сидеть сложа руки многим из нас стоила жизни. Каждая гибель близкого друга острой болью отзывалась в сердцах остававшихся еще в живых. И той же мыслью: кто узнает, кто расскажет, где и как погиб их сын? Как жутко чувствовать, что ты безвестный, «без вести пропавший»! Много было эпизодов, достойных целой книги. Гестапо не дремало, засылало своих агентов. Один из них выдал себя за беглого концлагерника. Устраивались облавы, засады. Кровь, кровь, кровь... Кровь за кровь, смерть за смерть! Погиб «Василек», подставив себя под пулю, предназначенную мне, — не хотел оставаться передо мной в долгу! Не

оставались без дела и виселицы, гильотина, топор... Земля загорелась под ногами. Втроем с Семеном Егуповым и Иваном Земляным — из тех, кто бежал после меня, — мы отправились в Кобленц, чтобы там подыскать места укрытия для остальных. Увы, через несколько дней бомбардировка «ковром» полностью ликвидировала нить, связывавшую нас с Кёльном. Связь с товарищами Николаем-«Америкой», Геной-«Ташкентом», Иваном-«Москвой», Гришей-«Полтавой», остальными — оборвалась навсегда. Где вы? Кто остался жив? Откликнитесь! Пока... никаких вестей. Были слухи, что погибли все...

В Кобленце — Лютцеле группа обросла, стало 16 человек. В нее влились остовцы — смелые юноши, имевшие кое-какие счеты с нацистами. Помню Федю Антощука из Каменец-Подольска, Васю Лашко из Орловщины, Сашу Кайдана из Полтавы... Бомбежки, бомбежки... Беспорядочное отступление гитлеровских разрозненных частей на ту сторону Рейна, эсэсовцев с кровавыми драмами между ними: имея подмышками наколку группы крови, никто из них не хотел сдаваться в плен.

Наконец, все они убрались на правый берег Рейна. Мы остались на «ничейной полосе». Несколько дней над нашими головами с металлическим скрежетом проносились в обе стороны артиллерийские снаряды. И вот, без потерь (какое отличное понятие — «без потерь»!) мы встретили американо-французские войска. Незаметно война перемахнула через наши головы! Среди французов оказался лейтенант, знакомый по Франш-Конте. Он рассказал о печальной и загадочной гибели нашего бывшего командира. «Капитан Анри» уже давно был известен как «полковник Фабиан», герой Парижского восстания. Со своим полком № 151 он, изгоняя оккупантов, был уже на рубеже своей страны, когда в Мюльхоузе, в его штабе, взорвалась мина...

У Сени Егупова появилась невеста и, вместе со своим другом Сашей Кайданом, они решили остаться в Кобленце. Оттуда нас вскоре перевезли на сборный пункт для «Ди-Пи» (перемещенных лиц) — в казармы города Лимбурга. Там, в мае, нас и оглушило сообщение о капитуляции фашистской Германии, о... ПОБЕДЕ !

* * *

...Июль 1945 года. Прекрасный солнечный день, как по заказу! К нашему лагерю была подана колонна студебеккеров и доджей. Водители-негры помогли погрузить наш незамысловатый скарб. Самих разместили в кузовах. Мне посчастливилось занять место в кабине, рядом с водителем. С замиранием сердца я восхищался его виртуозностью в езде на сумасшедшей скорости по отличной бетонке, которой так и не смогла коснуться всеразрушающая война. Поистине, что сработано на славу, тому и век!

За считанные часы домчали до Эльбы, пересекли ее и оказались в Советской зоне. Ребята в восторге: у своих! Над головами проносятся растянутые поперек дороги красные транспаранты: «Слава воинам-победителям!», «Слава пехоте!», «Слава танкистам!», «Слава...», «Слава...»... Странное и непривычное для меня зрелище самовосхваления или тщеславия! Не подобное ли имел в виду дедушка Крылов, когда писал:

Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку!..

Большая зеленая лужайка близ города Торгау. Представители советского командования. Трибуна, обтянутая красным. (Боже, сколько тратят здесь денег на красное!) Вспоминаю строчки А.Блока:

...Старушка убивается, плачет, —
Никак не поймет, что значит:
На что такой плакат, огромный лоскут?
Сколько бы вышло портянок для ребят!
А каждый раздет, разут!..

(А.Блок. Двенадцать)

Духовой оркестр играет марши. Выгружаемся. Водители-негры сверкают в улыбках своими белоснежными зубами: довольны столь теплой встречей!..

— Мы рады принять вас из фашистской каторги. Мытарства ваши кончились. Родина ждет вас!.. — торжественно вещают с трибуны.

— Гуд бай, комрад!.. — машут нам негры, восхищенные столь радушным приемом, и отправляются восвояси.

— Среди вас есть вооруженная группа... — уже серьезней продолжают с трибуны. — Благодарим вас за вашу борьбу с врагом! Родина по достоинству оценит ваш героизм. Сейчас война

для вас кончилась, сдавайте оружие, кладите его вон на тот брезент!...

Михаил Михайлик, примкнувший к нам со своей женой в Лимбурге, шепчет: «Маленький браунинг не сдавай! Оставь себе на память!» Как я потом был рад, что не внял этому «дружескому» совету!..

Оркестр, торжественные марши, отличные речи с трибуны... Но... ни машин, ни даже простейших телег. С вещами, бросив их часть (нет, брошенное отнюдь не пропало: мы видели, как сзади солдаты даже дерутся из-за них!), с трудом протащились мы несколько километров до какого-то замка. Набилось нас битком. Стали заполнять анкеты, отвечая на различные вопросы, — началась «фильтровка». Дней через десять, опять «своим ходом», с оставшимся скарбом, — разве его бросишь, когда знаешь, что впереди у тебя ничего нет и идешь туда, где тоже нет ничего, — добрели до села Добра. Кое-как разместились. Отныне, имя нам — «батальон». Командиром приставлен советский стрелковый лейтенант Александр Сосков. Он почти моих лет, возможно, на год-два моложе. Я сразу же был определен в его «штаб», а мои ребята — «курьерами». Обязанность: руководство батальоном, составление списков, распределение довольствия, соблюдение порядка. Для этого из нас самих выделен «комендантский патруль»... Э-эх, ничего: моих советских малолеток я благополучно доставил, а теперь как-нибудь стану добираться к себе, в Югославию. Оттуда постараюсь попасть во Францию! Буду наводить справки о моей дорогой Ренэ: а вдруг она жива?!..

Сосков ни днем, ни ночью не давал покоя, требовал величайшей бдительности. Чего бояться?

— Немцам доверять нельзя: могут мстить за поражение! Да и агенты разные бродят, агитируют за невозвращение...

Какое еще «невозвращение»?! Этот термин мне совершенно непонятен: мы же сами сюда приехали. Не хотели бы — остались бы там, как Сеня и Саша. Никто ведь не неволил, скорей наоборот — ребята сами с нетерпением торопились к своим, поскорее бы к родным! Стали поговаривать, что по нашим лагерям ходит какой-то «особоуполномоченный», собирает сведения о бывших старостах, полицаях, о врагах и предателях. Выискивает: не внедрился ли в нашу среду какой шпион? А с какой целью?

— Чтобы замаскировавшись среди вас, проникнуть к нам, в Советский Союз. Чуть что — докладывайте!..

Нет, ни агитаторов, ни шпионов видно не было.

— Плохо работаете!

Как потом оказалось, «шпион» действительно был, да еще и маститый!..

* * *

Изголодавшиеся ребята не устояли и самовольно реквизировали одного кабанчика. Винюсь, не без моего ведома и участия. Угрызений совести не чувствовали: гитлеровцы в оккупированных странах занимались делами похлеще, вывозя к себе не только скот, но и рабов. И не было предела их варварству и садизму! Разве грех «грабить награбленное»? Но... об этом факте стало известно Михайлику...

Только я улегся после ночного обхода с Сосковым, как меня срочно затребовали в штаб. Несколько незнакомых офицеров. Глядят враждебно:

— Почему скрыл, что был лейтенантом разведки? Где твой браунинг?.. Гад ползучий, ты еще и бойцов наших порешить задумал?!..

Перед носом закрутился кулак... Меня водворили в какой-то погреб, приставили охрану. Пришел Сосков, и весь остаток ночи мне пришлось рассказывать о своей жизни. Под конец он участливо сказал:

— Я так и понял, что на тебя поклеп. Не зря ты мне сразу же понравился. Верю и тебе и твоим ребятам. Уверен: разберутся и выпустят. Не дрейфь! Пойми: мы обязаны быть бдительными!..

По его распоряжению мне вбросили три огромных охапки душистого сена. Стало мягко и тепло, а следовательно, и веселей. Много значит чужое сочувствие! Жаль только: никого из моих ребят, как они того ни добивались, ко мне не допустили. На пару дней я стал «таинственным узником замка Иф» — в его миниатюре. А затем меня отвезли в какое-то «хозяйство» на окраине Дрездена.

Отдельный двухэтажный особняк с большим садом, надворными постройками. По-видимому, здесь ранее жил зажиточный крестьянин, бежавший на запад при подходе советских войск. Сейчас здесь располагался СМЕРШ. Так высокопарно и

устрашающе именовалась армейская контрразведка: «Смерть шпионам!» В одну из надворных построек, видимо, в летнюю кухню, меня подселили к лейтенанту с двумя автоматчиками. Мы с офицером спали на койках, а бедные автоматчики — на полу: один — под окном, второй — у входной двери, с оружием под боком.

Днем разрешалось гулять по саду, «пастись» в густых зарослях малины. Конечно, «свобода» моя была относительной: маскируясь за кустами, за мной неустанно наблюдали — не вздумаю ли чего предпринять?

Днем, но чаще поздними вечерами меня приглашали на долгие беседы. Их никак нельзя назвать допросами: протоколы не велись, делались лишь кое-какие пометки. Я вкратце рассказывал мою биографию. Подробней надо было останавливаться на моментах пленения, побеге, на эпизодах из работы в Движении внутреннего Сопротивления. Особенно интересовались историей с «Кошечкой», сведениями о полковнике Бакмастере и майоре Баддингтоне, как о руководителях ветви «Френч Секшен». Интересовала и личность Ноэля Бюрдейрона, а также моя деятельность и связи в концлагере Бухенвальд...

Почти неделю провел я на этой тихой даче затруднительно сказать в качестве кого. Правда, как-то мне послышался во дворе приглушенный зов: «Саша-а-а!». Но сколько я ни искал, откуда он мог исходить, — не нашел, или почудилось, или...

И вот рано утром мне придают двух автоматчиков и говорят:

— С тобой хочет познакомиться руководство. Эти бойцы отправляются в том же направлении, будут твоими попутчиками...

То пешком, то на попутных мы двигались на запад. Спутники-«попутчики» искали некое «хозяйство Киреева» («Киреев?» Не законспирирована ли так «контрразведка»? Не к теще же на блины!..).

Наконец, в порядком разбитом городе Веймар, по прибитым на улочках фанерным табличкам-указателям, нашли это «хозяйство». Большое здание с часовым у входа. «Попутчики» сдали меня вместе с сопроводительным пакетом под расписку. Вот-

те и «попутчики»! В кабинете я предстал перед двумя офицерами. Молча меня рассматривали...

— Да-а... Ничего себе пташечка! — встретило меня непонятное приветствие. Краткая ознакомительная беседа. Затем:

— Интереснейшая легенда!.. Вы думали, мы ей поверим? Хорошо и складно составлено, но... явная липа! Вы ожидали, что обвесим вас орденами (жест рукой поперек груди, где бы им болтаться), а мы вас для начала — в подвал (жест большим пальцем вниз, как этим в Древнем Риме требовали смерти поверженному гладиатору)!

Поворот довольно-таки неожиданный. Впрочем, и вправду: меня никто сюда, в Советскую зону, не приглашал. Говорят же, что «незваный гость — хуже татарина!» Естественно: мне, чтобы вернуться в Югославию, так или иначе надо бы было проехать через эту зону. И вот... А если подумать? Разве не могла бы разведка воспользоваться аналогичным методом? Конечно, могла! Может, был уже подобный случай, ну и приняли соответствующие меры... Правда, очень уж сомнительно, чтобы Советский Союз кого-то так интересовал, но... всякое бывает! Очевидно, у «товарищей» были такие опасения. Что ж, у них есть право проверять, и пусть проверяют. Вины не чувствую, чист как стеклышко!

...Подземелье бывшей гестаповской следственной тюрьмы «Маршталь». Как и во всех подобных заведениях: не привыкать стать! Тишину изредка взрывают вопли, кого-то бьют, кого-то куда-то волокут, женские крики, истерики... Удивился и возмутился: калифактором (раздатчиком пищи) — молодой украинец в черной униформе, в какой стояли на бухенвальдских вышках охранники концлагеря на пару с эсэсовцами. Парню, видимо, не удалось переодеться, и его так и схватили. Не ирония ли судьбы: бывший эсэсовец пользуется здесь привилегиями, преспокойно служит новым «хозяевам», а я... я завишу от его черпака, наполненного соответственно его настроению?!

В моей камере лежит советский офицер восточной национальности. В пылу ревности он застрелил жену и ее любовника, стрелялся сам. К нему изредка наведываются медики, делают перевязки. Бедняга в нескончаемом бреду, стонет, мечется, сры-

вает бинты. Неужели у русских аннулированы тюремные больницы?

Жители камеры менялись часто. В основном это те, кто побывал в плену. По их рассказам, ни тяжелое ранение, ни контузия, ни отсутствие патронов и полное безвыходное положение, в каком они очутились по вине неподготовленности и бездарности командования, — ничто их не оправдывало. Недоумевали:

— Что мы могли сделать? Вся наша часть попала в окружение. Бились до последнего патрона... Странно: немец наступает, казалось бы, это у него должна была быть недостача в снабжении, а не у нас, раз мы откатываемся в свои тылы! Вспомнить только, как я ходил в последнюю атаку: в одной руке пустой наган, в другой — полная обойма к пистолету ТТ. Много ли так навоюешь?

— А меня контузило. Очнулся — кругом немцы. Пережил все унижения и ужасы лагерей. Видел, как ослабевших немцы, чтоб не возиться с ними, приканчивали на месте... Сколько раз пытался бежать! Но, не зная языка, местности, без цивильной одежды, разве далеко убежишь? Ловили, избивали, опять пытался... Сколько было радости, когда пришли освободители! Наконец-то у своих родненьких! А теперь что? Теперь и сам не рад, что жив остался. Да и на допросах один и тот же вопрос: как и почему остался жив?...

Одно и то же обвинение: «Не выполнил присяги, не пустил в себя последнюю пулю». «Последняя пуля»!? Была ли она, если в пылу боя и она вылетела во врага? Выходит, не врага ею надо было сразить, а себя: родине бы от того полезней было! И вот, статья «58-1б» — «прямая измена Родине военным лицом». Можно ли по-человечески согласиться с подобным чудовищным обвинением? — Можно! Обязан! — говорят мне следователи. — Почему? — Потому что всем известно, что пленных у нас не было и быть не могло, — были лишь изменники, предатели, враги народа...

Любые средства, любые способы шли в ход, лишь бы услужить данной свыше установке. Впрочем, согласен ли ты подписаться под таким возведенным против тебя обвинением или нет — это роли не играло: «Подпиши, что ознакомлен!» А разве

мало было таких, кому удалось бежать из плена и активно сражаться в рядах Сопротивления или в союзных войсках?! Или тех, кто и в плену самоотверженно занимался саботажем, нанося этим врагу немалый ущерб? Нет, пленные не имели права считаться героями, хоть этого многие из них были достойны! Ка-ак, восхвалять героизм в плену?! Да вы что: это то же, что восхвалять и сам плен! Разве допустимо воспитывать молодежь подобным образом? Разве допустимо разрешать попадать в плен?.. И длинные эшелоны осужденных военнопленных (виноват! — освобожденных из плена «врагов»), именуемых ныне «врагами народа», потянулись на восток... из немецкой каторги к себе на Родину, в родные лагеря. Куда-то в Магадан, на Колыму. Где это? Там, куда Макар телят не гонял, — у черта на куличках.

— При подозрении, что среди десяти есть хоть один виноватый, необходимо изолировать всех десять! — В этом наша работа. Нам некогда с вами цацкаться. «Лес рубят — щепки летят!» Основное — обезопасить себя, и всё тут! — поучали следователи. Правы ли они?

Подавить волю к сопротивлению, развеять веру и надежду на торжество ничем не доказуемой истины — вот основа первоначального следствия. Не следователь обязан доказать твою вину, а подследственный — свою невиновность. А как это сделать, если ты полностью изолирован? Назвав свидетелей, ты только увеличишь этим список подозреваемых...

— Докажи, что ты — не верблюд! Не докажешь! Будешь показывать, что, мол, у верблюда горбы, а у тебя их нет. Ну и что? Ты мог их замаскировать! Будешь утверждать, что, мол, верблюды не говорят по-русски, ответим: тебя отлично выдрессировали, научили. И не пытайся отрицать! Бесполезно!..

Такие внушения делал мне не только мой первый следователь, но и все последующие. Теми же словами, с теми же саркастическими интонациями, ухмылками, с тем же сознанием полной, неконтролируемой власти над подследственным. Значит, внушения эти были централизованно предопределены, разработаны, узаконены и взяты на всеобщее вооружение, санкционированы и стали следственным методом.

У абверовцев и в гестапо тоже была своя следственная система-схема: впиваться в глаза и, задавая вопрос вначале тихим, вкрадчивым голосом, постепенно повышая его, заканчивать истошным криком с разбрызгиванием слюны, стуканьем кулаком по столу, а то и в скулу... Гамма звуковых эффектов! Я не говорю об «особых, специальных мерах» — здесь они тоже применялись. Основным же было, кроме как вогнать в подследственного побольше страху, довести его до осознания, что, мол, как ты ни крутись-вертись, а дело твое — табак, никто и ничто тебя не спасет. И, что не менее важно, дать ему понять, что он отныне никому не нужен, уже давно списан и отпет, что он — обычная щепка из миллионов таких же, короче — конченый человек! Зря копошиться, сопротивляться, чего-то добиваться — дело твое предрешено заранее. Своим упорством ты лишь усугубляешь вину, свое положение. А разве не так? — Ведь своим сопротивлением ты у следователя отнимаешь его драгоценное время: вон у него сколько таких, как ты! Так что, «не трать, куме, силы, а потихонечку иди на дно»! И ты тогда будешь молодцом. А нет, то... пеняй на себя! «Мы, мол, такого не хотели, а ты нас вынуждаешь. А раз ты, подонок, отказываешься от самой малости — признаться и расписаться, то мы из тебя все твои кишки вымотаем, на руку их намотаем и скажем, что, мол, так у тебя всю жизнь было!..» Такова была «линия допросов». Но были и варианты...

* * *

Первым моим следователем был капитан Саатсадзе. Впрочем, фамилию я, возможно, и исказил. Стройный, не лишенный ума и некоего обаяния, человек. По инерции, он и меня попытался, было, припугнуть применением ко мне «особых мер». На это я показал ему еще хорошо и отчетливо видные шрамы на предплечьях и переносице:

— Гестаповцы тоже пытались... Так что не привыкать.

И Саатсадзе изменил тактику. Я уже был знаком с советскими офицерами-фронтовиками. Взять хотя бы того же лейтенанта Соскова. Отличный парень! К тому времени мы неплохо стали разбираться, безошибочно могли определить, кто есть кто. Вот этот, например, — фронтовик, прошел через бои, подвергался смертельным опасностям, знает почем фунт лиха. А этот —

напыщенный тыловик. Огромнейшая между ними разница! И во взаимоотношениях, в самом видении и восприятии смысла жизни, в мировоззрениях... Про работников СМЕРШ и особистов говаривали, что-де они — «из Пятого Украинского фронта», то есть из тех, кто при наступлении врага в страхе приступом брали Ташкент, а при его отступлении «героически», во втором эшелоне (на всякий случай!), «подчищали» тылы. Интенданты тоже относились к этой категории.

Следствие велось по протоколам: вопрос — ответ. Мой случай был явно нов и необычен. До сих пор разбирались дела советских военнопленных и угнанных на работу в Германию граждан. Для ведения их допросов была скрупулезно разработана схема, и все поэтому было просто. А тут — иноподданный! Как ему приписать измену присяге, родине, народу? За что уцепиться, к чему придраться?

Первым делом Саатсадзе пытался не признавать, что я — иноподданный, что намного упростило бы допрос. Начал с того, что мой отец — белогвардеец, а мать, — по меньшей мере, анархистка, если не хуже. А раз так, то «яблоко от яблони недалеко откатывается», доверия ко мне быть не может, ибо я — потенциальный, наследственный враг.

— В каком звании был отец? (вопрос)

— Закончил школу прапорщиков в Эрзеруме, германский фронт, штыковое ранение в грудь, тяжелое ранение в бедро, находился в Ялтинском военном госпитале. Стал инвалидом, почти не мог ходить... (ответ)

— Прапорщик?!.. Не хочешь ли ты сказать, что «рак — не рыба, прапорщик — не офицер»? Нет, он был белым офицером!

— Как вам угодно. Пусть будет и так. Мне это безразлично, тем более, что ко мне это отношения не имеет. (И действительно, отец был поручиком.)

— Ах, ты согласен? А слыхал ли притчу про дворника и барина? Метет он и приговаривает: взмах влево — «И так плохо!»; взмах вправо — «И так нехорошо!». Услыхал это барин, поинтересовался. А дворник объясняет: «А что говорить? Барин с моей женой спит, — и так плохо! Денег мне не платит, — и так нехорошо!» Через день присказки дворника изменились: «И так хорошо... И так неплохо!»

Конечно, для офицера анекдотик этот, пожалуй, грубоват. Но... о вкусах не спорят!

Саатсадзе категорически отказался согласиться, что я — югославский гражданин.

— В 1928 году мои родители приняли югославское подданство. Следовательно, и я автоматически подданый этой страны[76].

— Смотри-ка, «ав-то-ма-тически»! Ерунда!

— Ерунда не ерунда, но я — курсант югославского военного училища, юнкер.

А вот почему я перебрался из американской зоны сюда, — этого Саатсадзе никак уразуметь не мог:

— Ну кого ты хочешь одурачить и убедить, что, мол, сам, добровольно, чтобы, якобы, сократить путь домой да помочь нашим ребятам ты приехал сюда, к нам? Такого не может быть! Посуди сам: ехать туда, откуда все бегут, или только и думают, как бы сбежать!.. Конечно, за хорошее у нас не судят, — не будем судить, что привез к нам молодежь. Но расскажи чистосердечно: кто тебя к нам послал, с каким заданием? Кто и когда завербовал, при каких обстоятельствах? Кто твой хозяин? Сколько платят за такую работу?..

Вопросы сыпались. По мнению следователя, я обязательно должен был дать расписку: «Так всегда делается, так заведено во всех разведках!»

Бухенвальдское подполье, как он утверждал, было детищем гестапо. Всё, что со мной произошло, что спасло меня от гибели, даже побег из транспорта под Кёльном, лишнее тому доказательство, продумано и инсценировано гестаповцами. Или абвером. Для чего? Чтобы лучше подкрепить ими же разработанную для меня легенду, для более успешного последующего моего внедрения в Советский Союз. И Тельмана, мол, в Бухенвальде никто не убивал, а погиб он при бомбардировке. Относительно Густава Вегерера, Эрнста Буссе, Эриха Решке и других — никакие они не антифашисты, а ставленники-марионетки гестапо. Оружие в лагере накапливали и пеклись о товарищах лишь для того, чтобы снискать к себе доверие, а затем выявить истинных борцов-антифашистов и в нужный момент их обезвредить...

— При том эсэсовском терроре никакого подполья не было и быть не могло! И не было никаких побегов! — утверждал Саатсадзе.

И мне подумалось: не оказал ли я медвежьей услуги моим друзьям, упомянув их фамилии? Какой я, однако, дурак! Но... теперь поздно: что сделано, то сделано, назад не воротишь. Впредь умней надо быть: если и будут о ком спрашивать или предъявлять их фотографии, — ни в коем случае никого не узнавать! Особенно тех, кто мог бы остаться жив и, так или иначе, угодить им в лапы. При моем упоминании о боевой или просто человеческой дружбе Саатсадзе заявил, что всё это — «сюсюканье», «буржуазные предрассудки»:

— Дружба, которую ты так восхваляешь, — чувство неискреннее: один из друзей — раб, другой — повелитель. Материальная корысть и достижение реальной цели — вот основа всех так называемых благородных чувств. Ты помог русским парням, это верно. А цель? Очень простая: тебе необходимо было обеспечить себя свидетелями, поддержкой. Ты в этом, надо признаться, неплохо преуспел: они за тебя горой! Однако ты не учел мелочи: желая тебя восхвалить и выгородить, они рассказали о фактах отнюдь не в твою пользу: о том, что ты всегда знал, в каком месте и когда будут бомбить, о твоих связях с английской разведкой, о твоих контактах с французским офицером, о твоем первоначальном намерении лететь в Париж...

Не знал я тогда, что, вслед за моим «задержанием», в подвалах Особого отдела очутились и все мои ребята. Вот почему в Дрездене мне и послышался тот зов «Саша-а!», кто-то из них увидел меня в саду, сам находясь в подвале! Как потом узнал, ребят «мариновали», стращали, что не увидят они родных, избивали, требовали показаний против меня. Но они... «стояли горой»!

Вопросы продолжали сыпаться:

— Кто дал тебе право работать на союзников? Они как были, так и остались нашими врагами. А сейчас, взрывом какой-то ерундовой бомбы в Японии, хотят нас поставить на колени! Не выйдет!.. Почему не искал связи с нашей разведкой? Кто дал тебе право организовывать боевые группы в Кёльне, убивать нацистов и эсэсовцев? А вдруг среди них были наши разведчики?.. Нет, активность ваших рейнских групп могла нанести нам огромный ущерб. Может и нанесла, — в этом надо еще разобраться, проверить...

Логическая последовательность вопросов явно захромала. В чем же стремятся меня обвинить: или в том, что я — агент гестапо, или в том, что я — засланный шпион? Саатсадзе высказал подозрение, что я — вовсе не Агафонов, а «шпион, заимствовавший его личину». Если так, то что сделали с подлинным?

— Вражеские разведки часто прибегают к таким трюкам!..

* * *

... Сейчас, через многие десятилетия, когда удивляются и не верят, что я так подробно запомнил свой жизненный путь, до мельчайших деталей, могу сказать: да, в этом мне помогли допросы — в абвере, в гестапо, в СМЕРШ, в НКГБ, МГБ, КГБ... Чуть ли не десятилетия допросов, когда надо было рассказывать, чтобы снова и снова повторять и повторять. И именно во всех деталях. Причем с некоторыми вариантами: приходилось создавать и заучивать различные нюансы, а то и целые легенды. Поневоле не то что запомнишь, а зазубришь все, как первоклашка. Попробуйте пройти через подобное и нигде не запутаться, сами убедитесь! Запутаетесь, — и не снести вам головы! В самом начале мне пришлось описывать совершенно незнакомый мне Тунис, его улицы, «мой» в нем дом.. А под конец — описывать Малогончаровку, бабушку, тёток, дядю, квартиру, двор, соседей... Невольно вспомнил нашу библиотеку — драгоценнейшие старинные иллюстрированные издания Пушкина, Лермонтова, Гоголя, толстую книгу горячо любимых сказок Афанасьева (хоть меня и не заставили их пересказывать, и в этом, наверное, единственное упущение следователей. А может, они о них и не слыхали?). Помню, как без чтения сказок на ночь я не засыпал, поднимая требовательный рев: «Никто меня не любит, никому я не нужен!» Библиотека досталась в наследство от деда, профессора химии Киевского университета — Агафонова Анатолия Андреевича. Отличный, полагать надо, дед: знаменитый профессор и, как следует из справки ЦГАОР, не менее знаменитый конспиратор.

Я должен был подробно рассказать, как выехал в Югославию, о жизни в ней. Невольно ожили картинки детства, отрочества, юности... Песни родителей и знакомых, романсы Вертинского, цыганские... арии Ленского, Онегина, князя Игоря... Чудесные украинские песни... Художественные чтения, сборники

«Чтецов-декламаторов» — настоящие литературно-художественные «огоньки»!.. Богатейший духовный мир!.. Но разве поймет меня этот черствый «материалист», противопоставляющий себя «идеалистам»? Он в каждом видел врага и предателя, любого эмигранта или его отпрыска считал «недорезанным буржуем»... И я, прокручивая былое внутри себя, наружу выплескивал лишь сухие факты, перечисляя их нехотя отрешенным звуком. Внутри же оплеванную душу согревал вздуваемый этими воспоминаниями костер. Я стал понимать, сколько прошло мимо меня такого, что не дало угаснуть искре русскости, а неистовые вихри жизни лишь сильней раздули ее жар... Немало помогли этому Плетневская I-я Русско-Сербская Гимназия, среда преподавателей и гимназистов, организация русских скаутов — юных разведчиков, церковь, традиции. Никакой политики, кроме одной, — воспитания любви к Родине, к ее культуре, развитие чувства долга и благородства. В голове проносились песни, которыми тогда все мы жили...

Конечно, — думал я, сидя на табурете подследственного, — конечно, мы, русские, всегда ими были и ими оставались, всегда были готовы прийти Родине на помощь...

...Вспоили вы нас и вскормили,
России родные поля.
И мы беззаветно любили
Тебя, святой Руси земля!..

«Святая Русь»! — доступно ли подобное понятие этому следователю? Он утверждает, что все духовное — предрассудки. Сухарь бездушный! Насколько я выше тебя! И вот таким невеждам доверен анализ человеческих душ! Я знал: попробуй я только упомянуть о нашей скаутской организации, даже только назвать ее, как он... ого! — он припишет мне... И куда только меня занесло!? Никак не могу понять, почему Организация Российских Юных Разведчиков — скауты — стала так ненавистна советскому строю? А ведь именно она меня и воспитала, дала самые светлые понятия о жизни, и каким надо быть. Нет, не могу устоять, чтобы не вынести на суд читателя наш гимн. Каждая его строка — призыв к действию! И к какому! Посудите сами:

Будь готов, разведчик, к делу честному,
Трудный путь лежит перед тобой!

Глянь же смело в очи неизвестному,
Бодрый телом, мыслью и душой!
В мире много горя и мучения,
Наступила страдная пора.
Не забудь святого назначения:
Стой на страже правды и добра!
Тем позор, кто в низкой безучастности
Равнодушно слышит брата стон!
Не страшись работы и опасности,
Твердо верь: ты молод и силен!
Помогай больному и несчастному,
К погибающим спеши на зов!
Ко всему большому и прекрасному
Будь готов, ты будь всегда готов!

Что ни говори, а это и есть настоящий кодекс — закон для воспитания и для руководства в жизни. И, конечно, не на образе Павлика Морозова могут развиваться добрые чувства и из юношей получаться настоящие люди. Слова этого гимна воспитывали и затем сопутствовали мне в жизни! И я боготворил все русское, создавшее такой жизненный кодекс, бесконтрольно принимал и все советское — «новое русское», как я думал. Но что конкретного знал я об этом «новом»? Отличные песни: «Широка страна моя», «Степь донецкая», «Веселый ветер»... По этим песням я считал, что в России всё нормально...

Удалые, молодые, не немецкие,
Песни русские, лихие, удалецкие!..

— так некогда гордо я распевал, вторя родителям, не имея ни малейшего понятия о тех «немецких»...

Но сейчас, с чем я столкнулся сейчас?!.. «O tempora, o mores!»... Нет, не мечите бисер перед свиньями! Такие люди ничего не поймут! Несчастный, оболваненный человек, этот следователь! Все же я чувствовал, что он все-таки стремится что-то понять. Конечно, не он виноват, что его так выхолостили. А кто? И до меня еще смутно, но стало доходить расплывчатое новое понятие о некой «системе». Что это такое? Будем милостивы: «Не судите сами, да не судимы будете!» И в глубине моей пронеслось еще одно воспоминание — о моих мечтах юности, о моей первой любви и связанным с ней романсом-танго:

Как хороши вечерние зарницы,
В ночной тиши уснувшие цветы!
Как хороши смущенные ресницы,
Как хороши неясные мечты!..

... Не знаю, но мне сегодня кажется, что именно этот любимый романс, романс моих семнадцати лет, о чудесных «неясных мечтах», я и пропел на одном из последних допросов. Не пойму, как это получилось. Но вдруг мне до безумия стало жалко следователя. А может, и своих прожитых, по всей вероятности впустую, и бесследно ушедших лет. Возможно, мне просто захотелось попрощаться с друзьями юности, моими мечтами... Я ожидал, что Саатсадзе оборвет меня, бешено крикнет: «Молчать! Встать!» Нет, ничего подобного: он сидел и растерянно глядел на меня. Ну, я и пропел все четыре куплета. А что? — терять-то нечего!

* * *

Сегодня следователь порылся в бумагах, нашел одну:

— Вот тут написано, что ты надумал убить четырех бойцов с целью завладеть новейшим автоматом. И, чтобы восстановить немецкое население против советской администрации, ты организовал экспроприацию поросенка. Упоминается, что ты — лейтенант английской разведки, скрывший это. Что ты на это скажешь?

— Интересно: почему убить надо было именно четверых? Они что, вчетвером владеют одним автоматом?.. Насчет поросенка — правда. Но цель была чисто утробной: «пожрать» хотелось! Насчет «лейтенанта» — так я всего-навсего ефрейтор, юнкер югославского офицерского училища. Об этом я говорил...

Саатсадзе согласился, что автоматы вряд ли могли представлять какой-либо интерес для союзников. Да и ко всему доносу он отнесся довольно брезгливо. Очевидно, они ему своей безграмотностью успели набить оскомину. Относительно же «лейтенанта» ему очень хотелось, чтобы я им обязательно был. Лейтенантом, и не менее!.. Я знал, что с простыми солдатами у СМЕРШ разговор короток. А что, если и на самом деле предстать эдакой «важной» персоной? Только никак не соглашаться, что «специально заслан для подпольной работы против Советского Союза». Это ни к чему! Пусть попробует доказать! Ну

что ж, сделаем ему одолжение — «признаемся». А как тогда мотивировать мое прежнее упорное отрицание? Очень просто: я, мол, действительно бывший лейтенант разведки, но попался в лапы абвера, еле уцелел; затем «погостил» в тюрьме «Фрэн», в Бухенвальде, еле оттуда выбрался живым, бежал... Убедился, насколько такая «работа» ненадежна. Тут и война кончилась. Встала дилемма: или вернуться к «хозяевам», а они, как считал следователь, обязательно бы заставили и дальше работать по «специальности», или же сбежать от них, от их досягаемости. Куда? В Советскую зону, конечно. И таким образом начать новую, мирную и безопасную жизнь. Вот и решил: покой — лучше! И прибыл сюда.

— Давно бы так! — посочувствовал Саатсадзе. — Вот и расскажи о прежней деятельности, где кончал разведшколу, как туда попал, чему учили, какой определили гонорар? Кстати, как по-французски «аппетит приходит во время еды»?

— Лаппети вьен пандан ле манже, — не моргнув глазом исказил я известную поговорку.

— Лаппети вьен пандан ле манже... — задумчиво и без носовых звуков повторил Саатсадзе: — Правильно, знаешь французский!

«Я-то более-менее знаю. А вот у тебя, милок, с ним явные нелады!» — позлорадствовал я мысленно.

Отвечая на вопросы, я раскрутил целую легенду-роман. А что прикажете делать? Ведь тут больше котируется выдумка, чем обычная истина. Не зря говорят, что «русские романописцы-историки славились тем, что очень плохо знали историю. За исключением графа Солиаса, который вообще о ней понятия не имел»! Если бы я сказал, что являюсь внуком Наполеона III, а кроме того, родственником кайзера Вильгельма, то и это, пожалуй, сошло бы: в СМЕРШ очень уж любят приключенческие и детективные романы, шпионские — особенно! И, для большего веса, что-то вроде этого я и преподнес.

Саатсадзе не назвал автора доноса. Сказал только:

— Раз к нам поступил «сигнал», мы обязаны дать ему ход![77]

* * *

Несколько дней тому назад меня перевели в другую камеру. В ней было двое: бывший майор немецкой жандармерии и мо-

лодой негр с удивительно знакомым лицом. Точно! Я его видел в Бухенвальде! Узнал и он меня. Встреча со знакомым, пусть и не совсем близким, всегда приятна в подобных условиях, располагает к откровенности. После освобождения из Бухенвальда негритенок работал шофером у одного из советских офицеров. Совершил наезд, помещен сюда, дело его разбирается. Он был уверен, что долго здесь его не продержат. Не стоило труда догадаться, что «спаровали» нас с ним не зря и не случайно. Что-то вроде очной ставки: узнать, был ли я в Бухенвальде, как там себя вел. Одновременно, это было и проверкой показаний моих ребят. Оказывается, и у СМЕРШа те же методы, что и у абвера: вспомнилась история с «Кики», «Кошечкой» и Блейхером! Конечно же, негритенка будут обо мне расспрашивать, а я как раз на стадии раскручивания легенды о «лейтенанте английской разведки»... Теперь у меня прекраснейшая возможность, через этого юнца, предварительно «иллюстрировать» выдуманную мной легенду, которую по разделам буду преподносить следователю.

Подружившийся со мной юноша однажды, когда майора увели на допрос, доверительно сообщил:

— Ты не обижайся, Алекс, но меня все время о тебе выспрашивают, велят пересказывать всё, о чем ты здесь говоришь. Будь осторожен: майор, по-моему, тоже должен доносить о тебе, о наших разговорах...

Так и хотелось ему сказать: «Знаю, дружище, и без тебя!» А вместо этого просто поблагодарил его за сообщение такой «важной и неожиданной для меня» новости.

Недели через две, вернувшись с очередного допроса, паренек поделился только что полученным радостным сообщением:

— Порядок! Меня выпускают! Тебя тоже скоро выпустят, — я о тебе очень лестно отзывался...

На память он оставил мне свое одеяло.

* * *

Последняя встреча с Саатсадзе. Подшивая мое дело, он сказал:

— Нами установлено, что за время войны ты действительно не был в Советском Союзе, наших граждан не предавал, подрывной деятельностью против нас не занимался. Претензий к тебе не имеем. Но твой опыт нам еще пригодится...

Я не привык задавать лишних вопросов, хотя последняя фраза и заинтриговала. Ладно, будущее покажет! И вот меня привозят в... Бухенвальд! Причем в громком звании «начальника штаба внутренней администрации спецлагеря № 2» в качестве помощника «начальника лагеря» капитана Матускова. По прежним понятиям, я был просто «лагерным старостой», как в концлагере был Эрих Решке: такой же, как и все здесь, интернированный, но подконвойный функционер. Обладая, по мнению руководства Саатсадзе, «опытом», я должен был восстановить и задействовать прежние лагерные службы: баню, дезинфекцию, кухню, сапожную, столярную и прочие мастерские, прачечную... По-видимому, в советских лагерях подобного не имелось, было в диковинку.

В эти дни сентября 1945 года интернированных было здесь около 300–400 человек.

Уже действовавший лагерный лазарет-ревир был в ведении капитана медицинской службы Кароева. Очень грамотный, добросовестный, обаятельный, знающий свое дело медик. Я ему помогал разбираться в незнакомых ему «трофейных» медикаментах и с ним быстро наладил дружеские отношения. Штат лазарета он набрал из девушек контингента.

В блоке № 5, где при эсэсовцах находились «шрайбштубе» и «арбайтсстатистика», были соответственно размещены канцелярия и контора-бюро, предоставленная бывшим сотрудникам ракетчика Вернера фон Брауна. Фон-Браунские физики, инженеры и конструкторы восстанавливали на бумаге и ватмане все, что осталось у них в памяти, а также вычерчивали в красках детали и узлы американских автомашин. В глубине канцелярии была комнатушка, где некогда жил «ЛА-I» — Эрих Решке. Туда я и вселился.

От старого лагеря в подвале под кухней осталось несколько бочек с какой-то кисло-соленой травой, что-то вроде шпината. Первое время снабжение интернированных продовольствием было более чем недостаточным, и «превентивно-задержанные» находились на голодном пайке. Близ крематория была построена хлебопекарня — в ведении исключительно комендантуры лагеря: размер па́йки определялся советским руководством.

Чтобы улучшить снабжение провиантом, мне разрешалось в сопровождении одного или двух сержантов-автоматчиков (конвой) разъезжать на тракторе с прицепом по окрестным селам Тюрингии и обеспечивать лагерь необходимым количеством картофеля, мяса, муки и прочим. Денег же на это не отпускалось, да на них никто бы ничего и не продал. Но котировалось золото, драгоценности. Откуда все это достать? К счастью, многим из задержанных удалось припрятать от обысков в тюрьмах некоторые их ценности. Здесь, в лагере, да и по прежнему личному моему опыту мне были известны все ухищрения и лазейки, все щели в стенах, койках — утаить что-либо от меня было трудно. Несколько раз я обнаруживал маленькие мешочки, в которых, кроме колец и перстней, были золотые зубы и коронки. Помнится, таких мешочков я нашел три. Хозяев этих «атрибутов» обнаружить не удалось, да я и не утруждал себя этим. Зубы и коронки — свидетельства бывших страшных злодеяний. В подобном виде, естественно, обменивать их на продукты я не осмеливался. Приходилось их расклепывать.

Когда дело со снабжением наладилось, я стал мимоходом приобретать различные музыкальные инструменты и другое оборудование для задуманного мной театра. Приобрел даже такие громоздкие инструменты, как рояль, пару контрабасов и виолончелей. Многое из этого мне было передано родственниками интернированных, по их запискам, которые я на свой страх и риск передавал из лагеря: всякая связь с волей контингенту, как находящемуся на предварительном следствии, была запрещена. Пошили и установили занавес, кулисы. Оснастили сцену прожекторами, светофильтрами, светильниками для рампы, реостатом для осуществления световых эффектов. Затем был объявлен смотр-конкурс, я набрал штат певцов, музыкантов, актеров разного жанра. К счастью, среди контингента нашлось два-три режиссера театра и кино. С ними разрабатывались программы будущих концертов, проводились репетиции. Художники и столяры сооружали необходимые декорации, шились и костюмы.

Уместен вопрос: к чему в лагере театр? Интернированные не были заняты работой, были предоставлены своим мыслям об их неопределенном будущем. А это очень опасно, так как трав-

мируется психика. Необходимо было дать хоть какую-то разрядку. Эту роль, решил я, и должен сыграть театр.

Вначале я встретил со стороны части контингента некое недоверие, даже сопротивление. Крах Третьего Рейха, естественно, не сломил нацистского духа в сознании находившихся здесь бывших идеологических руководителей НСДАП. Это и понятно: что насаждалось и вбивалось десятилетиями, не могло кануть в небытие вот так, сразу, в один присест. А тут еще слухи...

Уже доподлинно было известно о самоубийстве одного из нацистских бонз — Гиммлера, задержанного и опознанного американцами. Но никаких точных сведений не было о судьбе Гитлера и Бормана. Где они? Что с ними? И под большим секретом пополз слух, будто они со своей свитой благополучно добрались на подводной лодке до какой-то латиноамериканской страны, где готовят реванш, который сметет всё и вся. А пока, мол, надо ждать, ни в коем случае «не изменять»! Настоящее выжидание перед взрывом! В затаившейся массе, как и до разгрома, продолжала господствовать высокая внутрипартийная дисциплина с ее чинопочитанием, доходившим до подхалимажа. И... скрытая, молчаливая, а поэтому и особо опасная неприязнь к победителям, особенно к русским. Миф о спасшемся, якобы, Гитлере усиленно муссировался некоторыми политическими кругами и в среде союзников. Передо мной встал вопрос: как перед такой массой вскрыть истинную сущность и преступность нацизма, доказать, что крах подобного режима был неизбежен и необратим?

Генерал Джордж Паттон, командующий 3-й американской армией, увидев во дворе бухенвальдского крематория штабеля скелетов, обтянутых кожей, и поняв, до какого измождения доводились в лагере узники, приказал прогнать через это место все взрослое население города Веймара и окрестных сел: пусть отныне не утверждают, что-де ничего такого не было! Пусть всё увидят собственными глазами! «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!» А тут — один раз показать, чем сто раз рассказать!

Я решил повторить то же. Но теперь это будет не с «просто населением», а с контингентом лагеря — истинными или косвенными виновниками, бывшими идейными вождями и функ-

ционерами НСДАП. Откровенно говоря, в гитлеровской Германии «просто жителей» не было (не осталось): как при любом монопартийном (читай бесконтрольном!) тоталитарном режиме, если кто хотел жить и жизнью жуировать, то обязан был быть членом партии.

Ни трупов, ни экспонатов патологии уже не было. А вот в затухших топках крематория все еще оставались горки мелких кальцинированных косточек, а в поддувалах — характерный серый людской пепел. Кстати, кто-то утверждал, что при приближении союзников эсэсовцы, мол, сжигали в крематории свои архивы. Здесь же бумажного пепла не было!

Молча проходили через подвал вереницы присмиревших бывших фюреров и ляйтеров, эсэсовцев и генералов. Я стоял сбоку и без единого слова указывал на прах от моих бывших товарищей, на вмурованные в стену крюки-виселицы, на оцинкованный стол, на котором подрезали сухожилия рук и ног, чтобы трупы от жары не корчились и это не мешало «заправить» в каждую топку не одно, а два-три тела, и этим... повысить «производительность» крематория. Я молчал, говорил мой взгляд: «Смотрите, запоминайте! Так было при вашем режиме, выводы делайте сами!»

То же проделывалось и со всеми прибывавшими позже этапами. Как бы вместо приветствия и предупреждения. Пусть подумают! Ведь многие избрали своим оправданием, что-де «они лишь выполняли приказы старших. Ответственности поэтому нести не должны»!

И лагерь притих. Не столько от увиденного, сколько от родившейся мысли: не уготована ли подобная участь каждому из них? Гитлер грозил миру своим «фергельтунгсфойером» — огнем возмездия. Не обернется ли теперь этот неудавшийся огонь против каждого из них, верных его сатрапов? Я не учел, что ущербная психика прочивших себя во «властители мира» способна будет поставить подобный вопрос... Страх, страх, страх... О, как ты велик в мелких, исковерканных душонках! И этот страх толкнул некоторых на отчаянные попытки тем или иным путем искать себе спасения. Куда девались былые надменность и высокомерие! Теперь передо мной оказалась в основном безликая масса запуганных, трепещущих за свою жизнь и поэтому угод-

ливо лебезящих кроликов-подхалимов. Не скрою, во мне еще теплились искорки мести, но... в разумных пределах.

Еще издали, при моем приближении к их блоку (заселялись исключительно каменные), там раздавалась зычная команда: «Ахтунг! Штабслайтер коммт!» (Внимание! Идет начальник штаба!). В помещениях меня ожидал идеальный строй обитателей, руки по швам «бубликом», «глаза, пожирающие начальство», отлично заправленные койки... Немецкая аккуратность, не придерешься!

* * *

Ночью я, как обычно, обходил спящий лагерь. Вдруг от меня шарахнулись две тени. Кто это? Помчался вдогонку. По булыжнику покатились котелки. Схватил одного — худющий парнишка! Бог ты мой! Как же я не учел, как мог забыть о молодежи!? «Гитлеровская»? — ну и что! Все равно молодежь! Она, молодежь, всегда является жертвой режима, если он преступен. Даже под эсэсовцами старшие узники пеклись о молодежи, а я... Ну и непутевый же я! Ведь молодежь — будущее! От того, как мы ее воспитаем, какими себя покажем, от тех чувств, какие в ней сумеем пробудить и развить, от этого зависит всё... Виновата ли она, что была в «гитлерюгенде»? Конечно, нет! Даже если и была в «Вервольфе», — не по ее вине: она, повторяю, была обычной безвинной жертвой правящего режима. Другое дело — взрослые: они — закоренелые, во всяком случае, полностью ответственные за их действия! Так сразу их не исправишь! Для этого понадобятся годы... Вся надежда — на молодежь: именно она и сможет построить будущее общество правильных людей!..

Я привел дрожащего от страха юнца на кухню. Распорядился, чтобы отныне все юноши до девятнадцати лет регулярно получали дополнительное питание — по полчерпака супа. Бóльшим, как, например, хлебом, я не располагал: этим ведало командование лагеря. А на следующий день разместил всех юношей в отдельном флигеле, предоставив им полное самоуправление. Парнишку назначил старостой. Ему я тут же предложил сколотить из желающих молодежную группу для участия в концертах. И он стал руководителем этой «Шпорт унд Шпиль-группе» (спортивно-игровой). Насчитывала она около шестидесяти человек. Остальные или же не захотели, или не обладали дарова-

ниями. Не захотели потому, что остались «политически верными» и на согласившихся смотрели как на «наймитов», «изменников». Спорил с ними, пытался переубедить, доказывал, что не собираюсь внушать им какие бы то ни было политические идеи... Нет, они держались стойко. Судить их не мог: будь я на их месте, возможно, поступил бы так же: ведь лагерь этот, по их понятию, образован «оккупантами» их родины, а следовательно, врагами.

В основном группа состояла из ребят из города Альтенбурга. Секретом подготавливаемых номеров делиться со мной отказывались: репетиции, обсуждения программ прекращались при моем появлении. Кстати, для этих репетиций я им выделил флигель в пустом деревянном блоке. На мои расспросы они неизменно отвечали: «Это — сюрприз. Иначе вам будет неинтересно!» Я понимал, что дело тут не только в «интересности»: ребята ревниво оберегали свою самостоятельность от возможных попыток диктата со стороны. Что ж, они правы. Оказываемое им доверие рано или поздно принесет свои плоды. Кроме того, юношеская естественная романтика, чувство самостоятельности — зачем их пресекать? Зачем связывать инициативу? Лишь бы не подвели под монастырь! Вместе с тем они всегда внимательно выслушивали мои предложения, пересказы разных миниатюр и пантомим и... внедряли.

Первое представление было дано через месяц.

Зал битком. Увертюра. В двух передних рядах — офицеры гарнизона с женами и солдаты. Позади — интернированные. Что нам покажут? Горю от нетерпения и... страха: а вдруг подстроят каверзу?

Выходит тот парнишка-руководитель. Сейчас он — конферансье. Предлагает зрителям напрячь сообразительность: перед нами пройдет ряд миниатюр, по которым надо будет отгадать задуманную шараду.

Занавес поднимается. За палитрами восемь парней. Конферансье превращается в дирижера. Взмах рукой, и в зал полились звуки задорной музыки: кто на флейте, кто на банджо, на гитаре, на губной гармошке или, как Герхард Диттель, на расческе с папиросной бумажкой исполняют молодежную песенку «So sind wir — wir pfeifen auf die Sorgen» (Таковы мы — плюем на все невзгоды!). Оригинальный самодеятельный оркестр! Отлично!

Мой рассказ об искусстве артиста Хенкина, поразившего меня за время его гастролей по Югославии, был ребятами взят на вооружение. С молниеносной быстротой, без заминки, происходят смены декораций, сценок, переодевание и перевоплощение.

Во второй миниатюре перед нами школьный класс. Конферансье теперь учитель, музыканты — ученики за партами. Учитель делает замечание одному из них, проверяя его тетрадь:

— Какой же ты олух! Здесь ты пропустил букву «н», а последние две буквы надо поменять местами. Исправь немедленно!

Мысленно меняю название, какое бы дал предыдущей сценке: «концерт» на «концентр». А дальше?

Следует сценка с сетованием на то, что, как ни говори, а очень уж здесь мизерный «рацион», то есть пайка. (Ага: «концентрацион»!)

Продовольственный магазин. Покупатель просит полкило колбасы. Продавец с сожалением разводит руками, показывая на пустой прилавок:

— Шаде, гибтс нихтс мер им лагер! (сожалею, нет больше в наличии).

В книжном магазине — разговор о книге (по-немецки «бух»). В последней сценке двое возлюбленных мечтают, как бы хорошо отдохнуть в лесу («вальд»).

Всё ясно: совокупность сценок составила название «Концентрационный лагерь Бухенвальд». Зал рукоплещет, а у меня ёкнуло сердце. Ищу глазами оперуполномоченного Дзуцова — как он отреагирует? Не запретит ли концерты? Если бы понял, то мне, как инициатору, не поздоровилось бы: тут явное отождествление фашистского концлагеря с советским! К счастью, Дзуцова не оказалось. Неприятнейший человек!

За миниатюрами последовали гимнастические, акробатические номера, жонглирование... Помню пантомимы «Памятник», «Парикмахер», миниатюру «Девушка и пастух», где романс исполнил Блюмель, а девушкой был, кажется, Карл Куно. Исполнены были и знаменитые оперные арии (были у нас и «свои» оперные певцы из альтенбургского и берлинского оперных театров). Выступали комики, эксцентрики, волшебники...

Манфред Фогт комично изобразил турецкого муллу с тюрбаном на голове. Подобострастно воздевая руки вверх, он обращался за ответами на задаваемые вопросы, произнося слова «молитвы»:

Allah ist mächtig,
Allah ist groß:
Zwei Meter sechzig
Und arbeitslos!..

(Аллах могуществен,
Аллах высок:
Два метра шестьдесят
И безработный!..)

После концерта — танцы для гарнизона.

Капитан Матусков и весь гарнизон были довольны: концерты скрашивали будничную монотонность солдатской походной жизни. А об их женах и говорить нечего — могли натанцеваться «до упаду». В них я нашел горячих покровительниц...

Концерты ставились дважды в месяц. Новые программы, фольклорные пьески. Но иногда «на всеобщую просьбу публики» отдельные номера повторялись[78].

* * *

Конечно, лагерь жил не только концертами. Была и своя, суровая жизнь: распорядок дня, утренняя и вечерняя поверки-аппели, внутренние и наружные рабочие бригады. Были и ЧП: частые туманы на горе Эттерсберг, малочисленность охраны на вышках плюс страх привели к побегам. При мне их было два. В первом, проползши под проволокой, выскользнул один из бывших эсэсовских офицеров. Командование распорядилось обнести лагерь наружным дощатым забором, оставив между ним и существовашим проволочным узкий проход. Возводить его стали бригады из добровольных плотников лагеря. А когда закончили, бежало еще двое бывших СС-штурмфюреров: в тумане прислонили лестницу к проволочному, а с него перекинули доску-мост на дощатый забор. Не были ли то «хозяева» обнаруженных мной мешочков с золотыми зубами и коронками?..

Для соблюдения режима и порядка в лагере создан отряд «лагершутцев», начальником его поставлен бывший майор полиции Хайнц. Перед тем я долго беседовал с ним, убедился: это

честнейший, добросовестнейший служака. Из тех, кто службу знает и любит, кому безразлично кому служить, но раз уж служить, то честно. Вроде бы все должны любить порядок и дисциплину. А вот чтобы отдать бескорыстно всего себя этому порядку — увы! На это не всякий способен. Для Хайнца порядок был превыше всего. Он сам набрал себе отряд из тридцати человек. Все они разместились во флигеле дощатого блока № 11, ниже блока № 5. В смежном флигеле стали жить «фойерверы» — пожарники и работники кухни. Должен сказать, что ни в Хайнце, ни в его отряде разочаровываться мне ни разу не пришлось: своевременно раскрывались все кражи, пресекались драки, не допускались и другие нарушения в зоне. Во всем чувствовалось, что Хайнц меня уважает. Неплохо поставил он и службу информации, сумев убедить в ее необходимости: узнав, что одному из нацистских бонз удалось пронести в лагерь страшный яд «0-8» (так назывался не только пистолет «парабеллум», но и доза, возможно по ее весу, гидрохлорида морфия), был произведен тщательный обыск. Хитроумно запрятанный порошок был найден. Говорили, что этой дозы было достаточно, чтобы отравить 150 человек! Эта удача не была, естественно, по сердцу оперуполномоченному Дзуцову: он посчитал, что раз не он обнаружил этот яд, то запятнана честь его мундира...

* * *

Контингент насчитывал уже более 12 000 человек: из Берлина доставили этап в 6 000 человек.

Январь 1946 года. Ребята из молодежной группы настойчиво выпросили снабдить их двадцатью перочинными ножами. «Режуще-колющие» предметы в зоне строжайше запрещены. Конечно, я попытался узнать, для какой им это цели. «Величайший секрет, герр штабслайтер! Знаем: вы нам доверяете и не откажете. Даем честное слово, что вас не подведем, через две недели вернем». Да, на подлость по отношению ко мне они не пойдут, в этом я был уверен. Ножи были выданы. Узнал бы только об этом Дзуцов!..

...Раннее утро, 18-е число. Неожиданно меня будят чудесные звуки любимого вальса Штрауса, а за ним последовала не менее любимая «Серенада» Шуберта. Что это? Откуда? Открываю дверь: перед моей комнатушкой несколько музыкантов. Пос-

ледние звуки. Вперед протискиваются двое поваров в торжественном убранстве, в белоснежных колпаках. Вручают мне живописный, чудесно пахнущий торт на блюде. Кремом на нем выведено: «18 января». Что за день, в честь чего? Тут выходят члены молодежной группы — Манфред Фогт и Герхард Хенниг, дают мне отлично изготовленную лакированную шкатулку с шахматными клетками. Открываю: какие в ней изящные фигурки! Изнутри на крышке надпись: «Унзерем штабслайтер, цум Гебуртстаг. Шпорт унд Шпиль-группе» (Нашему начальнику штаба, в день рождения. Спортивно-игровая группа). А ведь верно: сегодня день моего рождения! Но как и откуда они об этом прознали?! Теперь ясно, для чего им понадобились ножи. За столько лет мне впервые напомнили о моем дне! И кто! — бывшие гитлеровские юнцы!!! Невероятно! Невольная мысль: даже такое сильное давление, какое на психику народа оказывал нацизм, не в силе было выхолостить в юности присущую ей чистоту и человечность! Увы! Не вся молодежь обладала подобным иммунитетом: половина ее, шестьдесят человек, так и продолжала смотреть на меня волком. Очень справедлива притча о Сеятеле, Его зернах и неоднородной почве: упадут зерна на камень — и не прорастут!.. Но впереди много еще времени, а души — не камень! Будем же надеяться! Надеяться и ждать!

* * *

Этот день принес и другую неожиданность. Прибыл очередной большой этап. Я его принял, а майор Хайнц провел через дезинфекцию, душ, разместил на жилье.

После вечернего аппеля ко мне робко постучали: какой-то немец! Что ему надо?

— Алекс! — удивил меня его возглас: — Разве ты меня не узнаешь? Я — Карл Ройтер. Был санитаром у Роберта, в хирургическом. Работали вместе с тобой!..

Боже, действительно он! Но тогда мы были в полосатом и привыкли видеть себя в «зебре», а сейчас он — в гражданском, разве узнаешь?

— Как ты сюда попал?

— А ты как?

«Неисповедимы пути Твои, Господи!»...

— Когда меня в числе нацистов ввели через ворота сюда, первой мыслью было — повеситься! Вдруг вижу тебя, глазам не верю: ты и... тоже здесь! Но раз и «наши» тут, не только нацисты, то позора нет, будем жить!

В оживленной беседе за тортом и шахматами я от него узнал о последних днях Бухенвальда, о голоде, доведшем некоторых до каннибализма; о том, что в день освобождения несколько тысяч узников от истощения не могли встать с нар, а получив американские консервы, так на них набросились, что большинство скончалось... Узнал и о превратностях судьбы человеческой. По его словам, Эрих Решке служит сейчас в «народной полиции» в чине полковника. Отто Кипп устроился директором какого-то крупного комбината в Галле, а Эрнст Буссе стал вице-президентом в Министерстве внутренних дел в Тюрингии. О других он не знал...

— Мы узнали, что ты, а затем и большая группа благополучно бежали у Кёльна, и были очень рады...

Конечно, все это отрадно. Но... не знали мы тогда, что над головами наших хороших друзей, занимающих сейчас высокие посты, уже завис дамоклов меч: им вскоре снова придется пройти через огромные испытания, унижения, пытки в застенках. А некоторым, как Эрнсту Буссе, придется и погибнуть, на этот раз — в сталинских лагерях. Почему? Да по той простой причине, что и при новой, «народной» власти, взявшей на вооружение доносительство, фальсификацию, они остались такими же несгибаемыми борцами с любыми, какими бы и чьими бы они ни были, тоталитарно-диктаторскими режимами. Новые власти скоро приступят к обезвреживанию неугодных им, но популярных противников — возможных претендентов на их кресла и посты. И через прокрустово ложе невредимыми пройдут лишь те, кто приспособится, у кого окажутся «стандартные», разрешенные размеры. «Кто не с нами, — тот против нас!» А те, кто наберется храбрости и «нахальства» сопротивляться, произнести слово критики, будут посажены за решетку, в лагеря, уничтожены... Очень обидно узнать победителям, что боролись они и завоевали совсем не то, за что прошли через столько нечеловеческих мучений и пролили реки крови!.. Отнюдь не то! Еще обидней — погибнуть и не знать, что погиб не за то, за что боролся. К счас-

тью, мертвые так об этом и не узнают! Пусть же почивают в мире! Хоть это заслужили они честно!

* * *

На смотре-конкурсе ко мне обратился Фрэд Паркер. Почему такая фамилия? Оказалось, он уже 25 лет работает на сцене, в основном в цирке. Иллюзионист-астролог. Фамилия его — артистическая. «Астролог»? Оккультист? — Гм... в такие «науки» я не верил... На сцену выпускать шарлатана, как я считал, не хотелось...

— Вы, герр штабслайтер, несоветский человек! — сразил он меня своей проницательностью

— Почему вы так решили?

— Это видно из вашей манеры ходить, бегать. Она — западная. Русские так не умеют: у них своя характерная походка — враскачку, вразвалку, как у медведей. И зря вы не верите в астрологию. Я вам это докажу.

На его просьбу я сообщил ему дату, примерный час и место моего рождения. Через несколько дней передо мной лежал гороскоп: на бумаге были вычерчены разноцветные кривые, какие-то пометки.

— Разъясняю: вот этим цветом обозначены ваши счастливые, а этим — несчастливые семь лет. Жизнь у вас долгая. Вы родились под созведием Ориона. И ваша жизнь зависит от него и от влияния на него других звезд. Прорицать будущее не буду: не поверите, и я вам ничего не докажу. Но назовите несколько запомнившихся вам дат, и гороскоп расскажет, что с вами тогда произошло. Вы убедитесь, что он не врет.

Я назвал 1927 год, даты, когда тонул в реке Лопани под селом Покотиловка и когда выехал заграницу.

— Летом с вами произошел случай, чуть не стоивший вам жизни. А осенью вы предприняли долгое путешествие, с которого и начался отсчет семи ваших счастливых лет...

Назвал я и 1941 год: 6 апреля и 22 августа. И на все получил точные ответы. Поразительно! Мое неверие пошатнулось. Других дат я не стал называть. Хватит! В гороскопе что-то да есть!

Затем Паркер продемонстрировал совсем непонятные и уникальные способности: безошибочно, по прикосновению к зажатому в моей руке карандашу, обнаруживать спрятанные в его

отсутствии предметы. В те годы я, да наверное и многие другие, и слыхом не слыхивал о каких-то биотоках. Способность Паркера поразила: фокусник! И он был допущен на сцену, где пользовался огромным успехом.

* * *

Изредка то одного, то другого интернированного увозили на следствие. Назад никто не возвращался, судьба их оставалась неизвестной. Настал черед и старосте молодежной группы, отличному организатору. Жаль, ни имени, ни фамилии его я не запомнил. По-моему, звали его Фриц, лет шестнадцати-семнадцати. Славный, душевный, талантливый парнишка! Я не знал, что его вызвали на проходную. Парень там сумел выпросить разрешение попрощаться со мной. Долго тряс руку, глаза блестели, голос срывался. Как его успокоить, как обнадежить?

— Русские — хорошие, справедливые люди. Уверен, что ты не совершил ничего дурного. Вот увидишь: разберутся и отпустят!

«Разберутся и отпустят!» — до чего банальная фраза! Впервые я услышал ее от лейтенанта Соскова в селе Добра. Затем от негритенка в Веймарской тюрьме Маршталль. И верил, верил, что справедливость не может не настать. Очень верил! И верил в русских. И еще много раз придется услышать эту фразу, слышать и верить... Увы! С каждым разом веры становилось меньше и меньше...

* * *

Оперуполномоченный Дзуцов... Я уже упоминал, что личность эта была пренеприятнейшая, — его старались обходить стороной даже кадровые офицеры. Помощником у него был «краснопогонник» — старшина Фейерман, тоже не менее неприятная, скрытная и алчная персона. Используя свое бесконтрольное положение, оба они бессовестно обирали интернированных. Все чаще и чаще в зоне встречались мне люди в одном исподнем: их одежда приглянулась этой ненасытной паре. Мало того, они совершали, не знаю, законные или незаконные, налеты на санчасть капитана Кароева. Причем в его отсутствие. «Незаконные»?! Писан ли закон для власть имущих? Говорят же: «Мы — чтобы писать законы, вы — чтобы им безоговорочно повиноваться!» Взламывались двери амбулатории, ящики аптек, шка-

фы — производились «обыски». А что искали? Спиртное! Это не могло не возмущать врача. Я впервые познакомился с новым для меня законом, когда «тот прав, у кого больше прав»! Позже эта новая истина стала аксиомой и перестала удивлять.

Интернированные, которых раздели, поставили передо мной необычную проблему: как и во что их одеть? Как впредь предотвратить подобные факты? Дело в том, что, вопреки древней римской поговорке «Quod licet Jovi, non licet bovi!» (Что прилично Юпитеру, не положено быку!), здесь оказалось другое: «Раз это разрешается начальству, почему нельзя мне?», и некоторые из гарнизона тоже не побрезговали приобрести себе неплохие костюмы, «разгуливающие» по лагерю.

Чтобы лучше понять кого-то и его поступки, я всегда старался поставить себя на его место. Так было и здесь. Представил себе: я — свидетель и жертва нападения врага на мою Родину, свидетель его варварства, деспотизма, огня и меча, ураганом пронесшихся по стране, коснувшихся моего родного очага, близких... Я видел оставленную врагом при отступлении выжженную землю, опустошенные и полные взрывоопасных сюрпризов поля и пастбища. Короче, видел результаты тотальной войны, — войны до полного уничтожения. Там у меня — представлял я себе, — разруха, голод, калеки, сироты, слезы и нищета, «ни кола, ни двора». И на долгие годы, отсюда и краю не видать!.. А он здесь, тот самый враг — фашист. Доказательством тому, что он причастен к моему горю, это то, что он изолирован в лагерь. Разве сажают в лагеря невиновных?! А мешочки с золотыми зубами и коронками — разве они это не подтверждают?! Правда, их, мешочков этих, было найдено всего три, причем в разных флигелях, — одному лицу принадлежать не могли. Я не искал хозяев. Отчасти потому, что боялся их найти: не был уверен, что смогу сдержать свою реакцию! Да и все здесь взрослые представлялись мне одинаково закоренелыми врагами. А они — прекрасно одеты, обуты. Как же так?! Меня скоро демобилизуют, отпустят домой в одежде «тридцать третьего срока» — в латаной-перелатаной. Нет уж, извиняюсь, так не пойдет!.. «Эй, ты! Власть переменилась, скидай сапоги!» — вспомнились мне слова из одного фильма, и я понял справедливость местного «Эй, ты! Отдай то, что награбил у меня!..». А разве не те же мысли

были у нас в селе Добра, когда мы с голодухи попользовались немецким поросенком?

И все же: действительно ли все здесь враги и преступники? Все ли одинаковы? Нашел же я среди взрослых простых и честных людей! Правда, то были единицы. Ну, хотя бы тот же Хайнц и набранный им отряд. Или некий Келлер. Он превосходно говорил по-русски, был, по его словам, одним из переводчиков при капитуляции Берлина. Отлично исполнял лирические романсы, аккомпанируя себе на гитаре. До сих пор помню: «Abend, in der Taverne vergess' ich ja nie...», «In Rosen-Garten von Sans-Souci»... — отличные это люди, ничего не скажешь! Или хотя бы та же гитлеровская молодежь: я ее считал жертвой правящего тогда режима. Но есть, определенно есть и отпетые мерзавцы. Их тоже, видимо, единицы. Основная же масса — мелочь, простые обыватели. Как камешки, были они подхвачены мощным торнадо, скорей — селевым потоком нацизма и, не сопротивляясь, покатились вниз по бурному течению. В то время мне еще не были известны такие термины, как «военные преступники», «преступники против человечества». Я знал только, что были «шишки-бонзы», развязавшие эту страшную кровопролитную войну, одобрившие ее варварство, садизм, геноцид, расизм. Они, по моему представлению, не могли находиться среди интернированных. Интернированные — это мелкие сошки, превентивно-задержанные. Их изолировали по подозрению, не имея еще явных доказательств их вины. Дела их расследуются, а для этого, естественно, необходимо время, собираются данные... А пока... почему бы мне самому не поинтересоваться, не разобраться? А как? Да пусть сами о себе сообщат! Захотят ли? Я был уверен: достаточно приказать и... свойственная немцам дисциплина, плюс страх перед «начальством» сыграют свою роль. Конечно, найдутся и такие, кто постарается увильнуть: самые заядлые, имеющие что скрыть, не сразу рискнут, постараются затаиться... Все-таки попробуем!

По блокам была дана команда: всем функционерам НСДАП, начиная с «целленлайтеров» и выше, всем членам СС, СА и СД, начиная с «оберштурмфюреров» и выше и соответствующим им чинам, немедленно, до 12.00, подать о себе следующие данные: чин, стаж, где и когда работал, на каких фронтах, когда и в каких

частях воевал, какой пост занимал, в каком блоке и флигеле находится сейчас...

К 12.00 в канцелярию было подано около 600 записок. Тут же последовал следующий приказ: «Мне известно, что данные поданы не всеми, кого это касается. Предупреждаю в последний раз: немедленно исполнить приказ. Даю последний срок — до 15.00, после чего буду вынужден поднять ваши досье. Обнаруженные нарушители пусть тогда пеняют на себя!»

Естественно, никаких досье, никаких дел, кроме списков фамилий, у меня не было. Да и быть не могло.

К 15.00 пришло еще около 250 записок. Боже, какие сложные и непонятные чины и должности! Чему, например, в армии соответствует «штандартенфюрер», «штурмбанфюрер», «группенфюрер»?.. И вот Хайнцу, Келлеру и работникам канцелярии я приказал отобрать триста, самых-самых высших. Я, мол, проверю!

Почему был дан подобный приказ, никто из моих «приближенных и доверенных» лиц пока и понятия не имел. К 19.00 передо мной лежал аккуратный список на этих 300 самых высших функционеров нацистской партии и офицеров. Так мне и стало известно, что в лагере находится одиннадцать генералов.

В складе «Беклайдунгскаммер» от старого лагеря осталось триста комплектов полосатой одежды и достаточное количество деревянных башмаков. Вот я и решил: почему бы не приодеть высшие чины попарадней? Среди них наверняка окажутся и хозяева тех злосчастных мешочков с золотыми зубами и коронками. Пусть на себе испытают, каково было их узникам, лишенным имени и фамилии и превращенным в «номера»! По-моему, это было вполне справедливым.

Приглашен Хайнц, с ним разработана «технология» задуманной операции. Пять человек из его команды выделено в «Беклайдунгскаммер», где станут раздатчиками зебры и башмаков. Остальные разойдутся по блокам и флигелям, откуда по спискам вызовут с вещами соответствующие фамилии. Построят их перед блоками, затем эти кучки сольют в одну колонну. Ее приведут в «Беклайдунгскаммер». Колонна, как это было прежде с этапом узников, разденется и, оставив вещи, продефилирует перед раздатчиками, получая полосатую одежду. За это время не-

сколько человек из отряда Хайнца освободят один из флигелей на втором этаже, расселив его прежних обитателей по освободившимся местам. Начало операции назначено на 1.00 ночи, когда все будут одурманены глубоким сном. Все учтено по минутам. Закончится эта операция водворением превращенных в «полосатиков» на их новое местожительство. Использовать их на каких-либо работах строжайше запрещено.

Почти до обеда отряд Хайнца сортировал одежду, вещи. В одной из комнат на втором этаже «Эффектенкаммер» развесили костюмы первого сорта — для офицерского состава; для сержантов — в другой; для солдат — костюмы третьего сорта — в третьей. «Пожалуйста, приходите и берите кому что нужно! Только не унижайтесь, не доставляйте мне хлопот, не раздевайте людей в зоне!» В первую очередь одели тех, кто был раздет раньше.

Через несколько дней я направился во флигель с «полосатиками». Еще издали оттуда рявкнуло: «Ахтунг! Штабслайтер коммт!» Порядок и строй — блестящи. Вдруг мне в глаза бросился красный винкель на груди одного из выстроенных обитателей. Винкель политического узника! Мой винкель! Да как он, подлец, осмелился!.. Я выхватил нож и ринулся к нему. Соседи шарахнулись в стороны... С каким злорадством я срезал винкель, оставшийся от бывшего хозяина, приговаривая этому, готовому потерять сознание, «полосатику»:

— Красный винкель носили политические, враги нацизма. А ты... ты — уголовник, преступник! Тебе положен винкель зеленый!..

Так вырвалось у меня наружу еле до тех пор сдерживаемое желание мести. Теперь оно было удовлетворено!!!

* * *

У капитана Дзуцова была «походно-полевая жена» (ппж), из остовских работниц. Звали ее Оксаной. Молоденькая, чистенькая, приятная и симпатичная. Полный контраст мужу. Она охотно танцевала, в том числе и со мной. Об этом донесли особисту, и тот решил нас наказать: оба мы очутились в разных камерах бухенвальдского «бункера»-карцера. Не знаю, в каких условиях содержалась Оксана, но меня Дзуцов запретил кормить

и поить, приказал не давать воды даже для умывания. А ночами напролет я сидел в его кабинете на так называемом допросе:

— Если не скажешь и не напишешь, с каким заданием тебя заслали к нам, — сгною в камере, и следа от тебя не оставлю!

С подобным «следствием» я еще не встречался. Интереснейший метод! По одну сторону стола сидел Дзуцов, чуть ли не по складам читая газету (во всяком случае, так мне показалось: очень уж долго задерживался он на одной странице!). По другую — я. Передо мной лежало несколько листков бумаги и чернильница с ручкой. Время от времени Дзуцов отрывался от газеты, задумчиво поковыривал у себя в носу, затем равнодушным голосом бросал один и тот же вопрос:

— Ну, так как? С каким заданием заслали к нам? — после чего, даже не ожидая ответа, опять погружался в штудирование газеты. На чтение двух страниц у него уходила целая ночь. Однажды он залихватски сморкнулся с помощью двух пальцев. Длинная жирная сопля повисла на радиаторе отопления и закачалась. Заметив, что я внимательно наблюдаю за амплитудой столь необычного феномена, Дзуцов равнодушно вытянул ногу в валенке и растер ее:

— Ну, с каким заданием прибыл? — протянул он и опять уткнулся в свою «прессу». Что мне отвечать, о чем писать? Да он особенно и не настаивал. Ждал, видимо, своего часа: кто бы мог выдержать без воды и еды? «Когда же он, этот упрямец, начнет шататься от голода и жажды? Когда начнут его приканчивать антисанитарные условия?» — ожидал, видимо, он.

Вот только не знал он, что «шефство» надо мной установила героическая молодежная группа. Не имею понятия, как она проведала про мою участь, но в камеру по ночам (благо, окно ее выходило в лагерь!), несмотря на козырек и решетки, регулярно подавались котелок супа и кусочек хлеба! Для этого ребятам приходилось использовать поистине акробатические способности и обладать величайшей храбростью: вышка с часовым и прожектором находилась в нескольких десятках метров! Славные мои, отличные и самоотверженно добрые ребята! Зерна мои упали на благодатную почву, и вот я собираю урожай!..

Дзуцов между тем стал задавать и другие вопросы:

— Пиши, как вы с капитаном Кароевым собирались переметнуться к американцам!..

Ого-го! Значит, он уже и своего кадрового офицера решил опорочить и пристегнуть к делу! Это серьезно! Поняв, что Кароеву грозит нешуточная опасность, я через ребят передал ему записочку с сообщением о кознях особиста.

За две с лишним недели я оброс, как Робинзон Крузо. Но тому безусловно было намного лучше: на свободе, на чистом воздухе, на природе, рядом плескался океан с чистыми-чистыми водами...

...Послышался топот сапог, дверь камеры отворилась. Передо мной предстали капитан Матусков и какой-то незнакомый полковник в папахе. Покачали головой, увидя мое состояние. Потом полковник произнес:

— Так вы, говорят, не все о себе рассказали?

— Рассказал все.

— Ну-ну, посмотрим...

Дверь захлопнулась. Через час-другой меня препроводили в баню. Отлично вымылся, подстригли, побрили, выдали чистое белье. За воротами лагеря ждал джип, который и доставил меня в тюрьму Веймара, на этот раз — под следствие трибунала[79].

Разбирался со мной капитан Николаев. Оказалось, Дзуцов завел на меня целую папку. В ней были собраны показания нескольких интернированных немцев, где говорилось, что я занимался сколачиванием групп из числа эсэсовцев и гитлеровской молодежи. Цель: организация группового побега. Указывалось, вдобавок, что я подбивал и капитана Кароева примкнуть к группе и что тот, якобы, дал согласие переметнуться к американцам. Говорилось также, что и два осуществленных эсэсовцами побега — дело моих рук.

Пробыл я в тюрьме чуть более месяца. Затем, к моему крайнему удивлению, меня вернули обратно в лагерь. Только тут я узнал, как развивались события. Получив мою записку, Кароев немедленно помчался в Берлин, где в вышестоящих инстанциях потребовал безотлагательного разбора возводимой на него напраслины. Из Берлина инспектором послали полковника Свиридова. Свалился он как снег на голову:

— Позвать начальника штаба! — приказал он капитану Матускову. Тот вызвал Портефая, интернированного балтийского немца, поставленного на мое место.

— Вот этот?.. Нет, того, кого мы вам прислали!

— Тот находится под следствием у капитана Дзуцова.

Особист не успел замести следы. Состряпанное им дело передано в трибунал. И в Веймар были вызваны все, кто дал показание. Немцы сразу же от всего отреклись, объясняя, что ложные показания вынудил дать оперуполномоченный, обещая взамен свободу, а пока одаривая хлебом и маргарином. Да и подписывали они то, что было составлено по-русски и им было непонятным.

С Оксаной было хуже. Инспектор и ее обнаружил в камере. Дзуцову задним числом пришлось открыть дело и на нее. Если доказать фальшивку насчет меня не составило труда, то дело Оксаны оказалось более квалифицированным: особист, как ее «муж», знал о ней достаточно, чтобы составить подходящий компромат. Во всяком случае из Веймара ее не вернули. Впрочем, и сами Дзуцов и Фейерман исчезли. Скорее всего, их перевели в другое место: у щук для провинившейся подруги наказание одно — утопить ее в реке!

Занять свой прежний пост я категорически отказался — пусть балтийский немец Портефай руководит и дальше! А ему это очень нравилось: по лагерю ходил в окружении свиты человек в восемь — как-никак «начальство»! Я стал жить во флигеле вместе с молодежью. А ее подарком мне — шахматами — еще раньше завладел начальник лагеря капитан Матусков...

* * *

Прошел еще месяц или два. Вдруг поздно ночью меня разбудил возбужденный Фрэд Паркер:

— Беда!.. Только что я смотрел на звезды. На Орион неожиданно неблагоприятное влияние. Завтра вас увезут далеко из лагеря. Перед вами два пути! Не ошибитесь, сев не на тот поезд! Доброго вам пути!

Что за чушь!? Какие пути, какие поезда? Я разозлился, что меня разбудили из-за какой-то несусветной ерунды. Но... Паркер и на этот раз оказался провидцем: ранним утром, еще все спали, меня вызвали за ворота. Первым делом конвой приказал

мне снять сапоги, пиджак. Все это отобрали, выдали «сменку» — растоптанные полуботинки и американскую курточку с пилоткой. Какая мне разница? Разве вещи, одежда играют какую-либо роль в столь неопределенной, возможно, без будущего, жизни? Веры в справедливый разбор моего дела уже давно не было!..

Итак, прощай Веймар, прощай Тюрингия, прощайте ребята из молодежной группы, ставшие мне словно братья!.. Будьте здоровы, станьте хорошими людьми и да хранит вас Бог!..[80]

В тот день к вечеру я был привезен в огромный лагерь в Фюрстенвальде-Кетчендорф, под Берлином. Десятки тысяч бывших военнопленных, несколько власовцев, о чем можно было судить по их немецкой униформе с трехцветным флажком на рукаве. Только тут я узнал, что существовала «власовская армия» — «РОА — Русская Освободительная Армия».

Ожидалась международная комиссия-инспекция, но, накануне ее приезда, часть из нас — около 500 человек — спешно погрузили в телятники, и нас тут же повезли на восток. Исполнилось предсказание Паркера: инспекционная комиссия безусловно перевела бы меня в лагерь с югославами (если такой существовал). Два разных пути, разных поезда! В одном Паркер ошибся: выбирать и совершить при этом «ошибку» мне не довелось — я просто-напросто был посажен на поезд на Восток! Закрытые телятники, конвой...

В пути кормили неплохо, на остановках можно было менять через посредников — конвой — вещи, у кого они были, на продукты. В Польше наш поезд подвергся обстрелу каких-то «банд». Наконец прибыли в Брест. Длительная остановка с баней, прожаркой: в Россию въедем чистенькими. Зато под усиленным отныне конвоем. И кормить нас будут после Бреста «сухим пайком»: пригоршней ржаных сухарей с такой же пригоршней «ржавой» соленой-пресоленой хамсы (кильки) — на сутки. Население и близко к эшелону не подпускали. Название нам отныне — «спецконтингент». Что это такое? Как встретит нас Родина? Но уже ясно, что совсем не так, как о том «вещали» с трибуны в Торгау. Что нас ждет? Идет пока июль 1946 года...

ЭПИЛОГ

А дальше... а дальше все пойдет «по кочкам и буеракам»: строительство Шекснинской ГЭС под Рыбинском... В декабре 1946 года, в лютую зиму, нас в нашей летней одежде и истоптанных полуботинках сгрузят в снег до пояса, при морозе в –25 — –35°С... Недостроенные бараки-срубы у города Ухта, Коми АССР, «район, приравненный к Крайнему Северу», то есть где «двенадцать месяцев — зима, а остальное — лето». Валенки-ушанки, рукавицы и ватную робу выдадут примерно через месяц. Тем, кто жив еще останется. Так будет соблюден принцип «экономии» и... «естественного отбора». Строительство «Гофманской печи» для обжига кирпича для Ухты и других новых городов...

В мае 1949 года в зону лагеря, где мы находились вместе с «бытовиками» со сроками «трижды по 25 + 10 и 5», где «попки» на вышках, сменяясь, «вещали»: «Сдаю... Принимаю охрану врагов народа», мне вручают на подпись «ознакомлен» бумажку. Это — «ордер на арест». Только тогда я узнал, что, как оказалось, до тех пор я был «на свободе»! Все эти несколько лет под строжайшим конвоем, когда в любой момент, если «попке» не понравишься, можно было ждать пулю в затылок «за попытку к бегству!»... — я был «свободен». Наконец-то я и вправду «арестован»! По настоящему!!!

Меня мгновенно «изолируют», то есть из лагеря привозят во «внутреннюю тюрьму МГБ» в столице Коми Республики в Сыктывкаре. Допросы, уговоры, пытки: «Подпиши, что ты — засланный в СССР шпион! С каким заданием?» Соответственно предъявляют статью «58-6» — шпионаж. Так указано и в ордере на арест.

Через некоторое время я «дошел»: сломлено, ввиду бесполезности, мое упрямство. Я согласен на все: «Пиши, гражданин майор, все, что хочешь! Подпишу всё!..» И в самом деле: к чему сопротивляться, отнекиваться, на что можно надеяться? И какой в том смысл? Раньше, там, когда дрался, я знал, на что и за что иду: они — враги, и я им враг! И всё было правильным: и пытки, и суды, и приговоры... или просто пытки и перпектива уничтожения без суда и приговора, Бухенвальд... Всё было правиль-

ным, всего этого я был достоин, как злостный враг, от врага и получал по заслугам. А здесь?! Зачем и сколько можно терпеть? Какой смысл? Что и кому, с какой целью доказывать? Кому это нужно? А допросы и пытки тоже варварские. Пропали и все мои зубы. Надоело! Смерть — лучше! Это — избавление от никому не нужной жизни. И мне она не нужна. Поскорее бы покой! Поскорей бы!.. И вот — радость: я наконец в камере смертников! Мы слыхали о ней: на седьмые сутки, по конвейеру, вызывают «с вещами» и... навсегда покой! Наконец-то! Каждый из нас (нас постоянно семеро: одного заберут, другого приводят) с радостью ожидает «своего седьмого дня». На седьмые сутки для каждого из нас наступит-таки этот долгожданный вечный покой! Ура-ура-ура!... Аж танцевать вприсядку захотелось.

Но... телега жизни не смогла остановиться и, сделав крутой пируэт, помчала по кочкам дальше. «Все дороги ведут в Рим»? Меня они привели в «любимую Москву-столицу». Прекраснейшие, знаменитейшие тюрьмы: Лубянка, Лефортовская и Бутырская-пересыльная. Всё ведь надо познать! На Лубянке, после допросов в основном в Лефортовской со мной беседовала дружная компания симпатичнейших мужей — полковников, генералов... Беседовали, как равный с равным. Я даже расположился в шикарнейшем кожаном кресле. Там все было кожаным и богатым — живут же люди! Даже анекдотами друг друга потчевали — дружно гоготали. Поинтересовались условиями в нацистских тюрьмах, концлагере... Где, мол, лучше, вольготней? Чего, мол, в наших, по сравнению с заграничными, не хватает?... На такой вопрос я ответил, что «там», даже в концлагерях, были простыни. И они постановили:

— Парень ты — симпатичный, веселый! Вот только слишком много зла в тебе накопилось против нас! Выпустим — много дров наломаешь!.. Лучше будет, чтобы ты пару годиков дровец попилил, в мирной обстановке. А там успокоишься, придешь в себя... Вот тогда и откроем тебе двери в наше общество!..

А и вправду: раз здесь сидят даже такие заслуженные люди, далеко не чета мне, как, например, Лев Захарович Треппер (с ним в одной камере я просидел с месяц), то лучше дрова пилить, небо голубое, северное сияние, снег, мороз видеть, иногда даже болотной морошкой, голубикой лакомиться, чем, как он, из ка-

меры в камеру, из тюрьмы в тюрьму и кроме 20-минутных прогулок раз в неделю никакого свежего воздуха, ни неба, ни солнца!...[81]

В одиночной камере пересыльной Бутырки мне вручают тоже на подпись «ознакомлен!» очередную бумажку: теперь я более не «шпиён», а «СОЭ» — «социально-опасный элемент» (статья 7-35 — ни в одном кодексе толком не разъяснено, что это такое). Так «постановило» некое «Особое Совещание при МГБ СССР». И всё тут! То есть без всякого суда: разве же можно осудить, не имея на то оснований?! И срок, вроде бы, гуманный — 5 лет! Но... «со дня предъявления ордера на арест», то есть с мая 1949 года. А годы, что были раньше? Не в счет! О них никто ничего не знает и слышать не хочет!

Статья гуманная, правда, лишь на первый взгляд: давали-то по 25, а то и трижды по 25! Да еще плюс 10 — поселения, да плюс 5 «по рогам», то есть лишения всех гражданских прав... Так что эта статья очень-очень гуманная. Вот только все мы знали, что по истечении срока по таким статьям-формулировкам (СОЭ, СВЭ, ПШ, АСА...) его повторяют, и еще, и еще... Итак, по настоящему я получил «пять лет в периоде». Как «цифра в периоде» в математике... Срок — бессрочный, постоянный!

Еще раз телега поворачивает назад. Я опять в Коми, Железнодорожный район, какой-то Вожаэль, какие-то Ветлосяны... Где-то выше «Воевожнефть», где-то выше «Тяжелая вода», Воркута, Инта, Минлаг, 501-я стройка... тундра... И кругом — вышка на вышке! Кости на костях! Имя нам в ГУЛАГе — миллионы!

5 марта 1953 — кончина «Усатика». Тут же, в этом месяце, мне — амнистия. Выпустили же лишь через год: такие бумаги, как амнистия, помилование, освобождение, в системе ГУЛАГа «тянутся на волах»: а вдруг «начальство» вновь передумает!?

Итак, в который уже раз, я — «новорожденный»! Вместо паспорта — «Вид на жительство», с обязательной, каждые три месяца, регистрацией в милиции по месту прописки — как всем бывшим «зэкам». Естественно, в каждой «автобиографии» я обязан упоминать о годах в ГУЛАГе. Работа в угольной шахте, вскоре становлюсь бригадиром монтажников, вечерняя школа «рабочей молодежи», аттестат зрелости, и тут же через год сам становлюсь учителем черчения в той же вечерней школе. Все выше

и выше: институт, становлюсь учителем технического обучения в десятилетке... Университет... Карабкаюсь и карабкаюсь. Выбиваюсь в люди всеми четырьмя! Как в той песне: «Все выше, все выше и выше!..» А куда? Будущее в тумане и ненадежно... Потихонечку, в перерывах на уроках, рассказываю своим ученикам о превратностях жизни, о своих друзьях, их борьбе за идею — об их гибели... Хотя нет — о гибели и смерти говорить избегаю. В юные сердца надо вкладывать оптимизм — веру в торжество справедливости, горючее на пути к достижению намеченного идеала. Подчеркиваю значение дружбы и самоотверженности, значение чести. Слегка критикую поступок и образ «идеала пионерской организации» — Павлика Морозова.

Вездесущие «глаз и око» кривятся, ждут момента, ловят случая... Часто приходится менять место работы, место жительства. Ничего, не привыкать стать! А ученики мои все требуют и требуют: «Пиши, Михалыч, обо всем, что было и как было! Это нам, ой, как нужно!»

«Kopf hoch!» — «Голову выше!» — приказывали себе в самые критические моменты мои друзья, узники Бухенвальда. Последовал их примеру, «плевал на все невзгоды» и... выжил! Дожил даже до реабилитации: в 1973 году было «начальством» признано, что «прокатили меня по кочкам» ошибочно, в чем и выдали соответствующую справку. «Повинную голову меч не сечет!» — так говорят. Да вот, голов таких не оказалось: в стране, где нет судей, не может быть и палачей для них!

«Конец — всему делу венец!» — великая народная мудрость. Каковым же оказался этот самый «венец» моей бурной жизни? Надеюсь — заслуженным.

В 1990 году, в Питере, меня разбудил неожиданный звонок. Сразу в трубке узнал милый голос Ренэ!!! Она жива! Ждет! И вот, через 49 лет, на гар дю Нор в Париже меня встречают... ее дочь Даниэль и она! Объятья, слезы — всё, как всегда при таких встречах через полвека... И теперь мы живем вместе. Все трое: Ренэ, я и... покойный Мишель, наш незабвенный друг! Где-то рядом, в двадцати километрах от нас, близ Виллер-ле-Лак, в безымянной, никем не найденной могиле, последним сном покоятся его останки. Но дух его, как был, так и остался с нами. Память о нем облагораживает, объединяет, помогает легче перене-

сти любые жизненные невзгоды... Не его ли молитвами мы и смогли найти друг друга (через полвека!) и вновь объединиться?

Казалось бы, пережитое должно бы было озлобить человека, отвернуть его от Родины — России. Но нет, не Россия, не русский народ виноват в моем «пути по кочкам и буеракам». И вам, читатели, особенно юноши, и те, которые просили, чтобы я все это описал, — а я это и сделал пока частично (будет сила, напишу и продолжение) — советую: никогда не унывать, духом не падать, «плевать на все невзгоды»! В нашей жизни все преходяще и относительно. Говорят же гороскопы: семь счастливых лет сменят семь несчастливых, и наоборот! Каких-то семь несчастливых переживем, чтобы прожить затем семь счастливых! Знайте самое главное: с земного шара нас, как бы кто ни старался, а не спихнут. Так утверждал мой отец! И в этом — великий наш козырь. Не будьте же злы и мстительны! Жизнь прекрасна — слов нет. Стоит лишь шире глаза раскрывать, не унывать от досадных мелочей. Помните:

Деньги потерял — ничего не потерял,
Друзей потерял — многое потерял,
Мужество, честь, надежду потерял —
Всё потерял!!!

Geld verloren — nichts verloren.
Freunde verloren — viel verloren!
Mut, Ehre, Hoffnung verloren, —
Alles verloren!!!

(Goethe)

— так, в этих нескольких строках, значимо выразил отец в подаренной к моему четырнадцатилетию книге свою жизненную мудрость. Это и стало моим девизом, вело меня всю жизнь и не дало повесить голову и опустить руки даже в самые критические ее моменты. Насчет же друзей добавлю словами древних римлян: «Amjeus cognoscitur amore, more, ore, re» (друг познается по любви, по обычаям, по облику и в деле)!

Примечания

Глава 1

[1] Во Франции фильм «Броненосец Потемкин» был допущен на экраны лишь в 1962 году. Предыдущие правительства, под предлогом его революционного характера, способного пропагандировать неповиновение в армейских частях, показ его запрещали. В Веймарской республике власти пошли еще дальше, устроив над ним настоящий судебный процесс с соблюдением всех юридических норм — с присяжными и прокурором. В своей речи прокурор заявил: «...коммунисты хотят обучить своих членов военной тактике и показать им, как надо себя вести в будущих сражениях. Такова основная цель фильма. Хоть это и было историческим фактом, но взят он лишь для того, чтобы натравить солдат против правительства и обучить их, как захватывать власть в свои руки...»

[2] В действительности же фрагменты финальной сцены фильма, где якобы участвуют «корабли Черноморского флота», были взяты из документального фильма «Последних Новостей» еще до 1-й мировой войны, показывавшего маневры одной иностранной державы. И если югославские зрители и попались на удочку, то они были не единственными: даже более сведующие лица, как, например, парламентарии Рейхстага, обратились с запросом к правительству относительно ложных, по их мнению, сообщений военных атташе из Москвы о якобы слабом военно-морском потенциале Советского государства.

[3] Знал бы я тогда, когда в 1927 году мы с тетей Ритой проводили ее отпуск в Ялте и, прогуливаясь в Алупкинском парке, любовались каменными львами Воронцовской усадьбы, что именно эти львы засняты в фильме, я бы почувствовал себя «кумом королю»! И не предполагал я, что через 30 лет и до моего выхода на пенсию буду преподавать в Севастополе, где на рейде и проходили съемки фильма Эйзенштейна. Для этого им был использован броненосец такого же типа — «Двенадцать Апостолов», где и разыграна сцена бунта.

[4] Никита Ракитин в Испании лишился ноги. В СССР жил под другой фамилией.

[5] Учитель Е.А. Елачич погиб во время оккупации.

[6] Всеволод Селивановский после войны перебрался в США, где стал известным художником-иллюстратором учебников. Скончался несколько лет тому назад.

[7] Gustave Le Bon (1841–1931). «La psychologie des foules». 1895.

[8] Шибанов, Кочетков, Роллер, Покотилов, Качва и Савицкий — известные активисты Французского Сопротивления. После бегства из тюрьмы Шибанов, став членом «Национального Фронта при ФКП», руководимого Гастоном Лярошем (Борисом Матлиным), вел с товарищами, к которым примкнул и бежавший с каторги И. Троян, активную пропагандистскую и организационную работу среди советских военнопленных на территории Франции. Они организовали много боевых отрядов. Сам Шибанов участвовал в Парижском восстании, штурмом освободил от гитлеровцев здание бывшего советского посольства. После войны многие вернулись на родину, награжденные испанскими, французскими и советскими орденами. Савицкий и Покотилов участвовали в редколлегии подпольной газеты в Париже «Русский Патриот» (позже «Советский Патриот»). Г.Шибанов скончался близ Донецка, его сын Александр служил в Севастополе, где часто бывал моим гостем. Л.Савицкий проживал в Волгограде, А.Покотилов — в Астрахани. Мы встречались и долго переписывались.

[9] Л.Илич и М. Калафатич, после побега из тюрьмы, возглавили работу по вербовке иностранных рабочих в боевые отряды «МОИ». После Победы Калафатич жил в Одессе, работал преподавателем в Одесском гос. университете, а я некоторое время был у него студентом.

[10] И.Троян после побега стал видным активистом и организатором нелегальной борьбы в Париже и Лотарингии. Организовывал побеги военнопленных и их переправку в боевые отряды ФТПФ. Попал в засаду в городе Туле, близ Нанси в начале июня 1944 года. На допросах вел себя очень стойко и принял мученическую смерть. Посмертно награжден орденом Отечественной войны. О нем я сообщал на допросах в СМЕРШе. Встретиться с ним так и не довелось.

Глава 2

[11] Так называемыми «брошенными регионами и землями» — собственностью тех, кого изгнали из приграничных районов, заведовало нацистское общество «Остланд».

[12] Noguère H. L'Histoire de la Résistance en France. T.1 / Ed. R. Laffont. Paris, 1967.

[13] В 1967 году свое первое мне письмо Поль и закончил именно этими фразами.

[14] Исследователь Анри Колпи отмечает в своем труде: «У песни "Лили Марлен" и у ее исполнителей было много необычного. Слова ее были написаны в 1923 году, на музыку положена Норбертом Шульцем в 1938 году. Исполненная в первый раз шведской певицей Лале Андерсен в одном из берлинских кабаре, успеха она не имела. Затем в апреле

1941 года ее транслировали по белградскому радио для немецких солдат, оккупировавших Югославию. Только тут она произвела такой фурор, что "по просьбе радиослушателей" ее стали передавать каждые двадцать минут. Затем "Лили Марлен" стала песней-амулетом для танкового корпуса Роммеля — "Африка-Кор". Вскоре и британские войска, переложив танго на марш, сделали ее маршевой песней 8-й армии. Но раньше "благодарные немецкие солдаты" установили на дороге у Смоленска памятник-статую Лале Андерсен. Сама же певица, за ее критику нацистского режима, была брошена в концлагерь.

На этом история песни не остановилась. В 1951 году вышел на экраны английский фильм "Лили Марлен", где музыка песни явилась его лейтмотивом. А в 1958 году был снят немецкий фильм "Лили Марлен", с благополучно выжившей Лале Андерсен в главной роли и пущен в прокат...» (Colpi H. Défense et illustration de la musique dans les films. Société d'édition de recherches de documentations cinématographiques. 1963).

Глава 3

[15] В 1968 году Поль Негло поинтересовался, принял ли нас его кузен («...На мой вопрос о вас он мне ничего не ответил!»), и сообщил его адрес. Хоть и нехотя, но Луи нам все-таки помог, и я посчитал своим долгом поблагодарить его. Вскоре получил статью из газеты «Репюбликен Лоррен», под заголовком «Сопротивленец из Домбаля разыскал одного из тех, кого некогда спас». На фотографии он такой же тщедушный, но уже старенький. Указывалось, в каком бедственном виде мы пред ним предстали. «...Моя супруга и я были очень напуганы: меня только освободили из плена, а тут трое незнакомцев, за которых запросто можно было угодить в концлагерь...» Говорилось, что Луи совершил «поистине героический и самоотверженный поступок, достойный настоящего благородного лотаринжца».

[16] Из письма мэра Варанжевилля, месье Клавеля, от 21 марта 1968 года — ответ на запрос о Ковальском: «Действительно, группа молодых поляков организовала в Варанжевилле центр Сопротивления, особо отличившийся в распространении листовок, в переправке беглецов, в актах саботажа. Все были арестованы. Руководитель группы Ковальский был обезглавлен в Кёльне, немецком городе. Остальные погибли в концлагерях. Вернулся лишь один, очень больной...» Лев Захарович Треппер, шеф «Оркестр руж» — «Роте капелле», находясь со мной в камере в Лефортовской тюрьме (или на Лубянке — сейчас точно не помню), вспоминая о Ковальском, рассказал, что именно с помощью последнего ему, вырвавшемуся из гестапо, удалось в 1943 году вновь связаться с

Москвой. О гибели Ковальского в то время, в 1950 году, мы еще не знали.

Глава 4

[17] Раскольников был послом СССР в Болгарии. Опубликовал в знак протеста «Открытое письмо Сталину».

[18] А.Левицкий и Б.Вильде, этнографы в парижском «Музее человека», арестованы в марте 1941 года. Перед тем их связной съездил в Ля Рошель, откуда привез план строившейся в Ля Палиссе базы для подлодок. Не он ли, семнадцатилетний парнишка — «Гос» — Ренэ Сенешаль — ночевал у старушек? В феврале 1942, на Мон-Валерьене казнили семерых из этой группы, в том числе Левицкого, Вильде и Сенешаля. Столбов было четыре, и Левицкий, Вильде и Норман упросили, чтобы их расстреляли в последнюю очередь, избавив этим друзей от неприятного зрелища. «Все они умерли героями, даже еврей Норман!» — цинично восхитился их палач — эсэсовец Готлеб.

[19] Мать Мария (Е.Ю.Пиленко — Кузьмина-Караваева — Скобцова-Кондратьева), поэтесса. Арестована вместе с сыном Юрием и священником Д.Клепининым, ведавшим переправкой беглецов в Южную зону. Мать Мария погибла в концлагере Равенсбрюк. Д.Клепинин и Юрий погибли в Бухенвальде.

[20] В.А.Оболенская вступила в ряды Сопротивления, работая секретаршей у руководителей «ОСМ» — капитанов Д'Артюис и Лефоришона, в августе 1941 года. По их указанию вела разведывательную работу, организовывала побеги военнопленных и переправку добровольцев в армию Де Голля. Арестована в декабре 1943 года. На все вопросы гестаповцев отвечала: «Я ничего не знаю». Они ее так и прозвали: «Княгиня Я Ничего Не Знаю». В августе 1944 года ей в берлинской тюрьме Плётцензее отрубили голову. Посмертно награждена орденом Почетного Легиона, медалью Сопротивления с присвоением ей звания «Лейтенанта войск Сражающейся Франции». А также и советским орденом Отечественной войны 1-й степени.

Глава 5

[21] В Париже, на бульваре Капуцинов № 14, были продемонстрированы первые фильмы братьев Люмьер: «Прибытие поезда на вокзал» и др.

Глава 6

[22] «Комиссары» с рогами изображались и на немецких листовках.

[23] «Goldenes Abzeichen» — «Золотой значок» был выдан первым 200 000 членам НСДАП.

[24] Мать осталась жива, прошла через концлагерь в Линце, затем жила в Нью-Йорке, где и умерла от рака в 1975 году. В письме она подтвердила, что отец действительно застрелился.

[25] Французская газета «Rèpublicain Lorrain» от 7.1.1968 года подтвердила, что склад готовой продукции завода «Аскания» был действительно взорван и сгорел. Считала это моей заслугой. На самом же деле акция эта была продумана и организована «Роте капелле» («Оркестр руж»), во главе берлинской секции которой стояли антифашисты Харро Шульце-Бойзен и Арвид Харнак. В Лефортовской тюрьме в 1950 году в одной камере я находился с главным руководителем «Оркестр руж» — Л.З.Треппером, советским разведчиком. Он мне и рассказал, что это по его распоряжению, на просьбу берлинской секции, и было отправлено несколько пар из Парижа и Бельгии, в качестве «посредников», в том числе и мы с Мишелем. Сейчас уже доподлинно известно, что именно по вине «Директории», то есть Московского разведуправления, погибли отменные немецкие антифашисты Х.Шульце-Бойзен, А.Харнак и вся их группа... Очевидно, и мой «Макс».

Глава 7

[26] По некоторым причинам имена и национальности я изменил.

[27] Фамилия Мориса с рю де ля Конвансьон — Феферман, напарника — Фельд.

[28] «Аттантизм» — выжидание до дня высадки — начала открытия Второго фронта, запрет до тех пор атаковать врага, применять против него оружие.

[29] Осенью 1972 года, в канун 30-летия со дня Сталинградской битвы, в Волгограде проходила советско-французская встреча ветеранов Сопротивления. Генерал Пьер Пуйяд, командир полка «Нормандия—Неман», вручил мне номерной Почетный Знак «ФАФЛ» — ВВС Свободной Франции. Тут же произошла неожиданная встреча с мадам Жизель Крепо-Паскрэ, бывшей одно время под кличкой «мадемуазель Жод» связной «двух братьев — Зига и Пюса».

Глава 8

[30] У немецких полевых жандармов на груди — пластинка в виде полумесяца, висящая на цепочке через шею. Немецкие солдаты называли ее «Хундемарке» (собачий жетон).

[31] Эти руководства разрабатывались и издавались начальником военного штаба ФТП — полковником Марселем Пренаном. По поручению ФКП было выпущено их пять или семь. Мы пользовались лишь одним.

Глава 9

[32] Об этом эпизоде я рассказал в парижской тюрьме «Фрэн» своему сокамернику Морису Монте. А тот, после войны, — друзьям. Так и нашелся наш собеседник. В 1987 году, на вокзале «Гар дю Нор» в Париже, среди встречавших меня был незнакомец: — Хочу тебе представить, Алекс, — обратился ко мне Морис. — Вот и еще один твой старый знакомый, штурман-радист Венсан. Не удивляйся, вы знакомы давно, даже разговаривали с ним... по морзе. Только он был над тобой, а ты — на земле. Помнишь случай в Майнце? — Конечно, помню! — И был рад увидеть этого удивительного шутника. Ему тоже запомнился тот случай. Надо же: самолет горит, еле ковыляет, а радист сохраняет присутствие духа! Всего доля минуты способна жить вечно! Через десятилетия, через расстояния, и нет для нее границ!.. Мы долго трясли друг другу руки, а затем продолжили встречу в Клубе летчиков «Free French».

Глава 10

[33] Известно, что Матильда Карэ в английской тюрьме написала книгу своих воспоминаний «Меня звали Ля Шатт», конечно, по-своему интерпретировав события. Абверовец Хуго Блейхер, и тоже в английской тюрьме, написал мемуары «История “полковника Анри”», в которых рассказал и о разоблачении им и аресте английского разведчика Питта Черчилля (о нем я упоминаю в главе 12).

Глава 11

[34] Макс и другие антифашисты-рабочие Берлина состояли членами Берлинской ветви большой сети «Оркестр руж» — «Роте капелле».

[35] «Гараж» — высокий бетонный короб с несколькими «альвеолами», вмещавший более одиннадцати подлодок. Его железобетонный потолок первоначально был толщиной в четыре метра, затем долили до семи и под конец довели до 10 метров. С любопытством осматривал я их в Ля Палиссе и в Сен-Назере в 1991 и в 1994 годах. Они стоят и поныне.

[36] В октябре 1943 года Нант подвергся сильной бомбардировке, дом этот был разрушен, но семья чудом уцелела.

[37] «Милис де Дарнан» (служба генерала Дарнана) была предназначена в помощь оккупантам для розыска, облав, поимок «террористов» — франтирёров — и как каратели. В случае высадки союзников ею планировали подменить немцев, охранявших стратегически важные объекты в Париже.

[38] Как оказалось, фамилия была настоящей. Сам он — из эмигрантов, бывший гардемарин.

[39] В 1942 году было выполнено требование Заукеля, ведавшего обеспечением Германии наемной рабочей силой: 240 000 французских рабочих отправлено в Германию, где уже работало 923 000 французских военнопленных. 27 января 1943 года был издан закон о СТО (Сервис де травай облигатуар) — об обязательной трудовой повинности для всей французской молодежи. По нему Заукель потребовал отправки в Германию до 15 марта еще 250 000 рабочих, из которых 150 000 — квалифицированных.

[40] Согласно справке из Интернациональной Службы Розыска, Арользен, № 262150 от 21 ноября 1972, наша группа была арестована в акции СД под кодовым названием «Меершаум» (Морская пена), по распоряжению начальника Службы безопасности Парижа. В тот день было арестовано более десяти членов нашей организации, почти целая ее ветвь — группа «Бретань».

Из документа СС-Главного Хозяйственного Управления, Ораниенбург, № 829/43, от 6 июля 43 года:

Секретно! Начальникам концлагерей. Относительно «Акции Меершаум»... В случае гибели узников, арестованных по данной акции, ни в коем случае не ставить в известность кого-либо из их родственников, а лишь непосредственно сообщать Начальнику Службы безопасности (БДС) — Париж.

СС-оберштурмбаннфюрер (подпись)

Глава 12

[41] В 1969 году Поль Негло побывал по моей просьбе на рю де Ванв. Узнал: Энрико умер через несколько лет после войны. При немцах в тюрьме пробыл с дочерью около трех месяцев. Ренэ вышла замуж, соответственно переменила фамилию и переехала в район Безансона. Из-за перемены фамилии дальнейшие розыски казались бессмысленными, но я их все же продолжил. Думал: не коротает ли она жизнь с кем-нибудь из наших бывших макизар? И вот, в 1990 году, звонок по телефону — она! Да, под Безансоном, двое взрослых детей, вдова. И... в 1991 году на парижском вокзале меня неожиданно встретили... ее дочь и она сама! Мы снова вместе!..

[42] Проживавший в Москве И.А.Кривошеин, томившийся в тюрьме Фрэн с февраля 1944 года, затем узник Бухенвальда, сообщил мне, что при нем передач уже не было, не было и перестуков в стены, гестаповцы приняли меры. Что касается морзянки, если рядом не было радистов, то он и слышать их не мог. Впрочем, сам он азбукой не владел.

[43] Churchill P. Duel of Wits. London, 1950.

[44] Благодаря этому запомнившемуся мне адресу удалось разыскать Мориса через 30 лет! Сам Монте там более не жил, но новый жилец дал в газеты анонс о моем розыске. В Нанте газета попала в руки к знакомому Мориса, и тот ему сообщил об этом. Именно знание этого адреса и доказало Морису, что я действительно тот, кого он сам разыскивал более 25 лет: «Более 25 лет я искал тебя, все думал: в какой стране, под какой фамилией ты, если жив, мог бы быть? Я знал тебя как Качурина, затем как Глянцева. Но то, что ты станешь Агафоновым, окажешься, вдобавок, в СССР, — такого и предположить не мог!.. Бери самолет, немедленно лети ко мне!» — из его первого письма мне в Севастополь, 1968 год. После освобождения женился на дочери спасенной им разведчицы, супруги знаменитого художника Пикабиа, имеет трех сыновей.

[45] Ноэль после войны вернулся из плена в Довиль. Через несколько лет, взяв бывшую кличку за фамилию, став «Фрэнком Норманом Бёрлей», переселился с семьей в Лондон. Об этом мне сообщил в 1987 году его сосед и бывший соратник Боб Ш*. Боб, в свою очередь «погостивший» во Фрэне, вспоминал о пожеланиях добрых утра и ночи: «Приветствия эти придавали нам и, думаю, всем узникам чувство уверенности, что жизнь еще не кончена и, вопреки всем мытарствам, будет продолжаться...» Мы с ним встречались в Питере и в Париже, куда он приехал к нашему соратнику Кристиану Пино, чтобы проводить меня в обратный путь — в Россию.

[46] В числе других 23 членов группы Манушяна, Марсель Рейман был расстрелян на Мон-Валерьене 24 февраля 1944 года. Ему исполнилось 23 года. «Помилована» была лишь одна беременная румынка: казнь заменили концлагерем, из которого она так и не вернулась. Мелинэ Манушян издала книгу воспоминаний о группе ее супруга — Миссака — под названием «Афиш руж» — «Красная афиша».

[47] Реальный миллион обернулся для Мориса призрачной свободой. Следующим этапом его привезли в Маутхаузен. Там его не приняли (еще действовал миллион!) и его одного повезли к французской границе, в лагерь военнопленных. Тоже не приняли, отправили в концлагерь Нойенгамм. Когда там топили узников, он чудом остался жив. При освобождении весил всего 28 кг, при росте в 182 см! Три года «выкарабкивался» по разным санаториям. Взятка в миллион пошла, видимо, на погашение «непредвиденных транспортных расходов», когда его катали, подыскивая подходящий для него лагерь...

Глава 13

[48] Этим парикмахером был Володя Панчук, проживающий ныне в Киеве.

[49] «Капо» от «капораль» или латин. «капут» — голова, глава. Ничего общего не имеет с надуманной некоторыми историками-невеждами расшифровкой «камарадшафтсполицай».

[50] Анжа я искал 30 лет. Об Иве, адрес которого помнил, мэр города Нанта ответил мне сразу же: умер через год после возвращения из концлагеря. В 1976 году вдруг получаю от Анжа две открытки: из Волгограда и из Праги. Без обратного адреса. Затем пришло письмо из Бретани, города Поншато, с лепестками красной гвоздики: Анж не удивлен ни моей новой фамилией, ни страной, где я жил, в Севастополе: «...Ты — единственное светлое пятно в той моей жизни, о которой не могу, не хочу вспоминать!..» Прислал свои фотографии, готовился навестить. Мое письмо с вопросом, почему он не едет, вернулось нераспечатанным с почтовым штампом «скончался»: перед самым отъездом ко мне его прикончил очередной инфаркт. Похоронен в Поншато, ни семьи, ни родственников не имел.

[51] Пленного звали Владимиром Железновым. Мы успели найти друг друга, обменяться десятком писем с интересными воспоминаниями, пока рак горла его не сразил.

[52] Руди в очках — Рудольф Хемпель. После освобождения из Бухенвальда ослеп окончательно и через год умер от туберкулеза. Второй — Рудольф Менцель, интербригадовец. В чине генерал-майора был военным атташе в посольстве ГДР в Москве. В память о тех днях он мне вручил книгу «По заветам отцов». Объяснил, что в Бухенвальде сортировщики одежды в «эффектенкаммер» обнаружили в носках документы Качурина, а в пиджаке — заштопанный «пароль Ноэля». Все это передано подпольному руководству. Меня и опознали по фотографии на «карт д'идантитэ», почему и считали, что моя настоящая фамилия — Качурин.

[53] Лойфером был Володя Власов, ветеран финской войны. На одной из встреч в Москве он меня узнал и признался: «У меня было задание от нашего русского Центра прощупать тебя, узнать, что ты за птица, что у тебя за связи...» Проживает он ныне в станице Кавказской, Краснодарского края.

[54] Из журнала «Отчизна», 1985, № 4 (Москва) — Апенченко. Несколько эпизодов из жизни Агафонова.

В 1984 году в Москву съехались участники антифашистского Сопротивления из Подпольного комитета Бухенвальда... Во время одной из встреч тех дней к Агафонову подошел незнакомый человек и заговорил с ним по-сербски. «Почему ты решил, что я знаю этот язык?» — спросил Агафонов. «Неужели ты не узнаешь меня, Алекс?» — «Нет». — «А я тебя сразу узнал, по профилю. Лалин Миливой». Имя Агафонову

тоже ничего не сказало. «Ну, а барак с палатой № 5 в Бухенвальде помнишь?» — «Помню. Туберкулезные дети». — «Правильно. Ты иногда заходил к нам рассказать сказки. Так вот, один из них — с обмороженными ногами, помнишь? — был я».

[55] Эрих Решке (1902–1980). С 1933 года находился в заключении, в 1937 — в концлагере Лихтенберг, в 1938–1945 годах — Бухенвальд, вначале в строительной бригаде, затем «ЛА-I». В конце 1944 года за участие в траурном митинге по Э.Тельману заключен в Веймарское гестапо. После освобождения был полковником Народной полиции. По сфабрикованному доносу был арестован органами НКВД, до 1954 года находился в ГУЛАГе — Воркуте. Реабилитирован XX съездом КПСС. Эрнст Буссе (1897–1952). Депутат Райхстага. В 1933–1936 годах — в заключении в Касселе, в 1937 году — в концлагере Лихтенберг. С 1937–1945 годах — в Бухенвальде, некоторое время — «ЛА-I», затем капо Гросс-ревира, член руководства Интернационального лагерного комитета (ИЛК). После освобождения был Первым вице-президентом и министром МВД Тюрингии. По сфабрикованному доносу арестован органами НКВД, в 1950–1952 годах находился в Воркуте, где и погиб. Посмертно реабилитирован XX съездом КПСС. Еще долго в ГДР не осмеливались упоминать его преданное некогда анафеме имя. Но на этом не закончились мытарства борца-антифашиста. После объединения Германии началась против него и других антифашистов неистовая кампания: всех их обозвали «концлагерными убийцами, уничтожавшими узников с ведома и согласия эсэсовцев». Особым злопыхательствам в предвыборных кампаниях подверглись те, кто после войны занимали посты в «Стази» — органах Госбезопасности ГДР: Рольф Маркерт, бывший капо «Арбайтсстатистики» Зайферт, другие. Для этого «комиссиями» использованы сфабрикованные некогда органами НКВД «компроматериалы». Признанная XX съездом КПСС фальшь при культе Сталина вновь обрела силу!.. Но уже для политических игр, особенно в предвыборные кампании!

[56] Историческая справка г-на Ролля, музей Бухенвальда: «В команде “Поющие лошади” были исключительно евреи». А какая в том разница?

[57] «NN» — Nacht und Nebel (Мрак и туман) и «Meerschaum» (Морская пена) — акции во Франции по ликвидации опасных нацистскому режиму элементов.

[58] Яша и Володя родом из этих городов.

[59] После объединения Германии разгорелась полемика насчет остававшихся еще в музее экспонатов. Вначале одна комиссия «экспертов» утверждала, что «сердце — не человечье, а свиньи». Затем пришлось при-

знать, что оно все-таки человечье. Однако все экспонаты из музея изъяты. Видимо, дабы и следов об ужасном прошлом не осталось, слишком уж позорно!

[60] Один из рецензентов этой главы научный сотрудник — историк музея Бухенвальда — Др. Ролль в своей справке подтвердил существование перечисленных мной экспонатов «патологии». Да, ссушенные головы, татуированная кожа и прочее изготавливались по заказу Медакадемии для врачей СС в г. Граце, но использовались и как сувениры для высокопоставленных чинов СС. Однако немецкое издательство моей книги «Ровольт» (Берлин) постеснялось оставить это в тексте и частично перенесло в «Исторические справки» в конце книги. Якобы «из коммерческих соображений». Действительно, существует два рода истин и свидетельств: полезные и... вредные. О вредных истине свидетельствах предпочитают умалчивать, «дабы не распалять страсти» в некоторых слоях современного общества и не отравлять умы подрастающих поколений... А я, как и предупреждал Вегерер, стал нежелательным свидетелем.

[61] Из письма О.Киппа. Галле, 16.06.1976: «Дорогой Алекс. Твое письмо доставило мне огромное удовольствие, но и не меньшее душевное огорчение: ты — единственный из всех, кому я посредством замены номера спас жизнь и кто до сегодня дал о себе знать.... У меня лично со здоровьем плоховато: прошедшее не прошло бесследно для моей нервной системы, особенно годы после освобождения (подразумеваются годы допросов и пыток, затем годы в сталинских лагерях. — *А.А.*) И теперь идем по нисходящей, с болезнью Паркинсона, почему и могу писать лишь на машинке...» О.Кипп (1903–1979). После освобождения Бухенвальда был арестован органами НКВД, находился в сталинских лагерях. Реабилитирован XX съездом КПСС. Вследствие пережитых нервных потрясений получил болезнь Паркинсона.

[62] С Кристианом Пино мы встречались в Ленинграде, затем у него дома в Париже, на рю Вано.

[63] В числе «освобожденных от работы по болезни» был и Эрих Хаазе (1908–1983), фельдшер заводской амбулатории «Густлова», вместе с его подопечным русским малолеткой Гавриилом Кривоносом, проживающим ныне в Донецке. Мы знали друг друга по Бухенвальду, несколько раз встречались в Лейпциге и в СССР — в Донецке, когда он приезжал навестить Г.Кривоноса, которого я нашел по его просьбе. Переписывались до его кончины.

[64] Ф.-А. Манэ (1889–1956), полковник. Арестован гитлеровцами в 1943 году, содержался в концлагерях Компьень и Бухенвальд. После Победы — почетный Президент «ФИР» (Международной Федерации Со-

противления). М.Поль (1902–1982). После Победы был министром, членом ЦК ФКП, президентом «Интернационального комитета Бухенвальд-Дора» и ФНДИРП (Национальной Федерации депортированных и интернированных сопротивленцев-патриотов). Встречались с ним в Веймаре, Бухенвальде и в Волгограде и были в постоянной переписке до его кончины. На все его четыре официальных приглашения меня во Францию в выездной визе мне было отказано.

[65] Н.С.Симаков (1915–1970). Сержант-пограничник, защитник Брестской крепости. 1941–1945 годы — Бухенвальд: санитар, член ИЛК, руководитель подпольной военной секции. После освобождения — Лубянка, Лефортовская тюрьма, ГУЛАГ. Реабилитирован.

[66] И.И.Смирнов (1898–1967). В Бухенвальде был с 1943 года, где официально числился санитаром сыпнотифозной станции, пленный советский подполковник. Член ИЛК, руководитель советской военной секции «полосатиков».

[67] В 1950 году, читая по окончании следствия в Лефортовской тюрьме мое дело, я ознакомился и с четырьмя протоколами допроса Н.К*. Трижды ему задавали вопрос: знает ли он № 44445? Трижды он отвечал отрицательно. Задали вопрос: знает ли Глянцева? Ответ был тоже отрицательным. В четвертый раз ему была предъявлена его бухенвальдская записная книжка, задан вопрос: «Почему же этот номер записан и трижды подчеркнут на страницах с номерами, по вашему утверждению, “провокаторов”?». И он «вспомнил», что да, он требовал уничтожения этого «номера» как агента союзников и провокатора, но кто-то каждый раз вычеркивал его из всех «плохих» списков. Н.К* в Бухенвальде руководил Службой безопасности, живет под Москвой, пользовался немалым влиянием, авторитетом и доверием. Был и директором школы. Приложил руку к фальсификации истории бухенвальдского подполья, всюду выпячивая свои персональные «заслуги». Мы с ним часто встречались в Москве.

[68] Г.Вегерер (1890–1954), член австрийского Центра подполья. Участвовал в траурном митинге по Э.Тельману, что стало известно гестаповцам. Сразу же после нашего отъезда он в числе других участников митинга был из лагеря водворен в Веймарское гестапо (тюрьма Маршталь), которое считало, что этим обезглавило высшее руководство лагерного Сопротивления. От них гестапо ничего не добилось и при приближении союзников их отправили на транспорт, из которого Вегереру удалось бежать 15 апреля 1945 года.

[69] В лагере «вокзал» был уничтожен бомбардировкой еще 24 августа.

[70] Органы СМЕРШ, НКГБ, МГБ и КГБ и соответственно вся страна внушали бывшим пленным, что они — «бывшие» офицеры и сержан-

ты и не кто иные, как «изменники Родины». Но для нас они так и сохранили свои прежние звания. Никто не имеет права лишать званий, во всяком случае без суда.

Глава 14

[71] Вот он, этот документ (сокращенно): «Международная служба розыска, Арользен. 20.02.1973. Выдержки из документов № 777: «Белановский Андрей, рожд. 16.11.1909 в Волжском... Последнее место жительства: ст. Игрень, Днепропетровской области, ул. Конечная, 7. Арестован по распоряжению СИПО (полиции безопасности — *А.А.*) 18.02.1943 в Днепропетровске. Доставлен в Бухенвальд 29.08.43. Отправлен на транспорт «I/SS- Eisenbahnbaubrigade». Бежал 3 ноября 1944 года из транспорта «VI/SS-Eisenbahnbauzug». Пойман 13.11.1944 в Брюле-Кёльн. Отправлен в концлагерь Миттельбау. Других сведений не имеется». (Архив автора)

[72] В 1989 году в Кельне, приглашенный его обербургомистром Норбертом Бюргером, я посетил несколько кладбищ советских граждан, жертв нацизма, вчитывался в надгробные плиты. И вот на одной делянке, в последнем ряду, я вдруг нашел плиту: «Орлов Василий». Не может быть! Василек!.. Я бережно очистил ее, опустился перед ней на колено и низко-низко поклонился: «Спасибо тебе, Василек!»

[73] В бюллетене французских узников-бухенвальдцев «Серман» мне на глаза попались воспоминания Роберта Кана о нашем эшелоне, в котором мы были вместе. В ответном письме он сообщил, что «после той странной бомбардировки и массового побега» все они после разных перипетий прибыли, наконец, в Австрию, где около Линца или Зальцбурга и встретили свою свободу. В живых осталось мало... О дальнейшей судьбе советских граждан из этого транспорта ему ничего не известно. В 1987 году я побывал у него в Венсенне, пригороде Парижа. Он хорошо помнит, как я бежал...

[74] В Кельне работает историко-исследовательская комиссия «L.D-Haus» по разоблачению преступлений национал-социализма и городского гестапо. Она выкупила здание этого гестапо на Аппельгофплаце, где и обосновалась после его восстановительного ремонта. Ежегодно по одному разу приглашаются оставшиеся в живых бывшие узники, свидетели тех жутких лет. Финансйрует — кельнский ратхауз во главе с Норбертом Бюргером. Когда я был в числе приглашенных, естественно пытался найти следы бывших товарищей. В книге «Граффити» (надписи на стенах камер) я нашел записи нескольких моих товарищей, как, например, «А.Мищенко». Осматривал камеры, ставшие музеем. В некоторых оставил свою подпись некий «Толя», без каких бы то ни было

указаний. Не тот ли, что попался в мышеловку? В надписях часто указывались дата, место рождения и когда автора ждет казнь. Вот две из них: «Арестована за связь с вооруженными парнями. Казнят завтра» и дата этого страшного «завтра». «Была атаманом малины. Повесят (указано число). Клара». Я перелистывал и перелистывал эту книгу с фотокопиями надписей на многих языках, смотрел их оригиналы на стенах. Просматривал архивные гестаповские списки казненных, захороненных. Мало их сохранилось! Мне любезно показали несколько фотографий: в бешеном темпе гонят с десяток молодых парней со скрученными сзади руками на казнь; вот они стоят на скамье с накинутыми петлями... вот они уже висят... Показалось, что в одном из них я узнал Толю. Нет, не он: казнь эта была совершена еще до того, как мы попали в западню. Но вот вопрос: кому и для какой цели понадобилось все это фотографировать? Как учебный материал? Чтобы оставить свидетельство для потомков? Или чтобы пополнить семейные альбомы памятью о «героизме и патриотизме» палачей? Конечно, о вкусах не спорят. Эх, война, война!.. Сколько в ней дикости и зверства, сколько узаконенных ею бесчеловечности и садизма!

И еще был неприятный эпизод. В одном из перерывов на симпозиуме ко мне после моего выступления неожиданно подошла миловидная, одетая по последней моде, дама. Оказалось, из бывших остовцев, из Днепропетровской области. На родину возвращаться не пожелала, осталась. Назвать себя наотрез отказалась: «...Но вас я отлично помню, вы были атаманом бандитов!» Так узнал я об одной бывшей моей «специальности»! К счастью, по субъективному мнению лишь этой женщины.

А вот и еще след:

«КЕЛЬНЕР ШТАДТАНЦАЙГЕР» от 4 января 1985. Заголовок статьи: «ЛИШЬ БЫ ВЫЖИТЬ»

Многим жителям Кёльна, прятавшимся в последние месяцы войны по погребам и подвалам и в подавляющем большинстве с тоской ожидавшим прихода ами (американцев), по лично пережитым моментам достаточно хорошо известно о ночных перестрелках между гестаповцами и оппозиционными группами, не являвшихся редкостью. После мобилизации молодежи в строительные части «Вестваллс» («Западно-оборонный вал») многие юноши дезертировали и при содействии и полном понимания железнодорожников вернулись домой. Чтобы скрыться от отрядов охотников из гитлерюгенда, они прятались в развалинах или у знакомых. Ответственный за строительство окопов обербаннфюрер (генерал) Вальрабе был убит во время участия в одной из облав...

Годами, вопреки утверждениям невежественных кабинетных стратегов, длительная воздушная война уже давно погребла не толь-

ко волю к продолжению ее, но также и веру в вождей. Осталось лишь одно желание — любыми способами пережить войну.

Британцы были отлично осведомлены о хаотическом положении разбомбленного Кёльна. Об этом свидетельствует сообщение швейцарского корреспондента под заголовком: «Гиммлер повесил 21 в Кельне», опубликованное 16 ноября 1944 года в британской газете «Дейли Экспресс». Печатный орган СС «Дас шварце Корпс» от 28.11.1944 года опубликовал извещение о смерти «Тодесанцайге» шефа кельнского гестапо Др. Макса Гоффманна, погибшего в перестрелке в Кёльне. Вилли Ниссен.

Некролог из «Дас Шварце Корпс»:

«СС-штурмбаннфюрер д-р Макс Гоффманн, шеф государственной полиции безопасности Кельна, кавалер Почетного Ордена, погиб смертью героев 27.11.1944 года в Кёльне в возрасте 37 лет.

Супруга Эдит Гоффманн, в девичестве Штарк, сыновья Феликс, Редигер и Болко, ближайшие родственники...»

Второе восстание в Кёльне датируется 1944 годом. Кельн был единственным городом внутри Третьего Рейха, в котором к концу войны осуществлялось вооруженное сопротивление нацистам. В нем принимали участие «Эдельвайспираты»: дезертировавшие солдаты, бежавшие концлагерники, политически преследуемые, а также и «Национальный Комитет "Свободная Германия"» — объединение антифашистов и коммунистов. Лишь за две недели декабря 1944 года полицией запротоколировано семь перестрелок в Кёльне, проводившихся как настоящие партизанские бои Сопротивления. Вершиной явилось двенадцатичасовое сражение на Большом греческом рынке. В подвалах и развалинах домов окопалась группа Сопротивления, защищавшаяся с автоматами и ручными гранатами. Лишь когда взорвали подвалы, эта группа была уничтожена. При этом погибло семь человек. Общей численностью в перестрелках и сражениях в Кёльне осенью и зимой 1944 года погибло пятнадцать политических вождей, в том числе группенлайтер НСДАП Зоентген и шеф гестапо Гоффманн, а также один хайотфюрер, один член СА и шесть полицейских. (Из городского архива + архива М. Станковского)

В малине, осажденной на Большом греческом рынке, защищалось 12 человек. Среди наших было два поляка, один испанец и испанка. Когда мы поспешили к ним на выручку, наши автоматные очереди и пара гранат — их с тыла не ждали — рассеяли осаждавших. Таким образом, было спасено семь человек (испанка — тоже). Они выдержали действительно длительную осаду, в подвалы бросали динамит, гранаты, было выпущено и два фаустпатрона.

Сейчас, когда история города Кёльна возвеличила наши вооруженные группы в ранг «партизан», хотелось бы добавить: бесспорно,

масса жизней, которыми расплатились «эдельвайспираты», внесла некую лепту в борьбу за ускорение Победы. Пусть будет она и малой. Но и океан состоит из мельчайших капелек, незначительных самих по себе. Ну, а если какой-то из них суждено оставить о себе особый след, не испарившись окончательно? Не бахвальство ли это?

[75] Много лет спустя один из моих бывших учеников, честнейший парень, утверждал, что в музее военного инженера Дегтярева в г. Коврове он своими глазами видел пулемет с изогнутым дулом, специально изготовленный, «чтобы стрелять из-за угла». Не знаю, не знаю... Лично я, когда посетил этот музей, такого «особо секретного» оружия что-то не приметил. Да и по теории баллистики, сами понимаете....

Глава 15

[76] Тогда я еще не знал, что в «Сведочанстве» (Свидетельстве о принятии родителями югославского подданства) было указано: «... с их малолетним сыном Александром». Значит, действительно никакой «автоматичности» не было.

[77] «Сигнал» был сочинен М*. Своего он добился: с одной стороны, «пристроил» меня, расчистив себе дорогу, с другой — предстал эдаким бдительным истинным советским патриотом и этим очистился за плен. После войны он проживал в Черкассах. Возможно, и сейчас там.

[78] «Театр» существовал до 12 декабря 1946 года, когда был запрещен. В тот день, вернее ночью, бежало пятеро юношей из молодежной группы. В своих воспоминаниях Ганс Вагнер (один из молодежной группы) в книге «Melder am Tor» дает их имена: Кречмар, Штаудте, Хенниг, Хертш и Батушка. После их побега охрана лагеря приняла драконовские меры: запретила концерты, всех юношей лишила дополнительного питания, каждый блок был изолирован отдельно высокой оградой из колючей проволоки, при входе в их малюсенькие дворики поставлены вахтеры. Было огорожено несколько деревянных блоков с особым в них режимом — карцеры-«изоляторы». Таким образом была полностью ограничена возможность общения интернированных каждого блока с их товарищами из других блоков. Вдвое уменьшен и рацион хлеба — теперь он равнялся 300 граммам. На 25-е декабря, католическое Рождество, весь лагерь был лишен и этого суточного хлебного пайка. В лагере к тому времени содержалось уже около 28 000 интернированных. Начался массовый голодный мор: согласно с трудом полученным из Госархива Москвы спискам, в одном спецлагере № 2 — Бухенвальд с 1945 по 1950 годы погибло 7 131 интернированных от голода и простудных заболеваний. Их тела были закопаны в общих ямах, обнаруженных ныне.

[79] В совсем недавно переданных музею Бухенвальда документах из архивов НКВД обнаружены пока такие, где упоминается моя фамилия:

Сов. секретно. Начальнику спецлагеря НКВД СССР № 2. капитану тов. Матускову Бухенвальд

Для проведения следствия и предания суду Военного Трибунала, прошу выдать следующих заключенных: (гриф: Нач.уч.отд. Выдать и исключить! 4/III.46)

1. *(фамилия затушевана)* ... 1886 г. рожд., урож. г. Берхау.

2. АГАФОНОВ Александр Михайлович 1920 г. рожд., урож. с. Корицы. Крымская АССР.

(Далее следует вырезанное место с фамилиями)

———————— Андреевич 1926 г.рожд. урож. г.

——————— г. рожд. урож. деревни ДЮРЛЕТЕЛЬ.

————————— г. рожд. урож. г. Берлин-Симен-

——————— рожд. урож. с. КРАЖВИЦ, р-н Бунц-

—————————— 81 г. урож. г. Берлин

Указанных арестованных из спец.лагеря исключить.
НАЧ. ОПЕРАТ. ОТДЕЛА ОПЕРСЕКТОРА ф/з Тюрингии
2/III 1946 г. № ... г. Веймар.
Майор (подпись, печать)(ПОПОВ)

А К Т

5 марта 1946 г. мы, нижеподписавшиеся: начальник учетного отделения спецлагеря НКВД СССР № 2 — лейтенант Соловьев и комендант спецлагеря НКВД СССР № 2 — лейтенант Антонов с одной стороны, сотрудник оперсектора ф/з Тюрингии — старший лейтенант Козырев, с другой стороны, составили настояший акт в том, что первые сдали, а второй принял след. спецконтингент:

1. *(фамилия затушевана)* ....1886 г.р. урож. г.Берхау

2. АГАФОНОВ Александр Михайлович 1920 г.р. урож. с. Кориц, Крым. АССР

3. *(фам. затушевана)* Борис Андреевич,1920 г.р. урож. г. Запорожье.

4. *(фам. затушевана)* 1894 г. р. урож. дер. Дюрлетель.

5. *(фам. затушевана)* 1928 г.р. урож. г.Берлин-Сименсштадт

6. *(фам. затушевана)* ..08 г.р. урож. с. Кржавиц, р-н Бунцлаву

7. *(фам. затушевана)*..рд 1881 г.р. урож. г. Берлин

Вместе с ними принято семь уч. пров. дел (7)

Основание: отношение начальника оперативного отдела оперсектора ф/з Тюрингии майора тов. ПОПОВА от 2.3.46 г. и резолюции о выдаче спецконтингента начальника спецлагеря НКВД СССР № 2 - капитана Тов. Матускова от 4.3.46 г.

СДАЛИ: подписи (лейтенанты Соловьев, Антонов).

ПРИНЯЛ: подпись (ст. лейтенант Козырев)

Помню этого парня — Вибе (возможно, была двойная фамилия) Бориса Андреевича: привезли его в английской военно-морской форме. Говорил, что некоторое время служил на флоте у англичан, после его побега из нацистского лагеря или с места работы — точно не помню. В тюрьме трибунала в Веймаре я вскоре услышал его фамилию: вместе с группой других его «отправили на Колыму», что на нашем жаргоне обозначало «на смерть». Безграмотность и несоответствия в этих двух документах я так и оставил. Но могу отметить, что Вибе был не 1920, а 1926 года рождения, как правильно указано о нем в первом документе.

Итак, из семи лишь одной звезде не суждено было закатиться! Катится она и поныне: привык я, видимо, делать всё всем назло!..

[80] К счастью, большинство юношей с другими еще относительно крепкими и работоспособными интернированными попали на этапы в Караганду в 1947 и 1948 годах и таким образом избежали голодной смерти. К середине 1949 года они вернулись домой, где подверглись репрессиям со стороны правительства ГДР как «неблагонадежные». Всякое упоминание о существовании спецлагерей и о том, что в них творилось, в ГДР строжайше каралось. Лишь в единственном спецлагере № 2 существовала «культура» — театр. С благодарностью в их книгах-воспоминаниях бывшие юноши вспоминают о «штабсляйтере Алексе-спасителе». В то же время пожилые интернированные упоминают о страхе, который им внушал тот же «Алекс».

Первая встреча с членами бывшей «спортивно-молодежной группы» состоялась совершенно неожиданно, когда я, приглашенный в 1992 году на симпозиум в Веймар, в музее Шиллера, вошел на трибуну. Раздались бурные аплодисменты и выкрики «Ура нашему штабсляйтеру!». Весь зал, полный журналистов, и я не поняли в чем дело. В зале оказалось... несколько человек из этой группы, в их числе Герхард Диттель и Герхард Этцольд, регулярно подававшие мне некогда котелок супа через окошко в карцер (в 1946 году)! Большая встреча была организована ими близ Альтенбурга, затем — для документального фильма в Веймаре и Бухенвальде. Все эти бывшие «ребята», у которых уже помногу внуков, с теплом вспоминают об отношении к ним населения в России и в Казахстане! «Зерна Сеятеля попали в плодородную почву»!!!

[81] Л.З.Треппер еще в 1937 году был заслан известным Разведуправлением Яна Берзиня в Европу (Бельгию и Францию) с целью развертывания советских разведсетей в Европе. Еврей по национальности, он развил бурную деятельность, организовал множество ветвей своей сети, в том числе и берлинскую группу во главе с Харро Шульце-Бойзеном и Арвидом Харнаком. Одной из его заслуг было то, что он, наряду с Рихардом Зорге, заблаговременно, за несколько дней, поставил Москву в известность о дне и часе вторжения Гитлера в СССР. Но его информации не придали значения. Даже категорически было запрещено работать против Германии, «до особого распоряжения». В помощь ему было послано несколько разведчиков, в том числе майор Макаров, быстро в Бельгии разоблаченный абвером. Макаров — «Кент» тут же переметнулся и стал «двойняшкой». Треппер предупредил Центр, что «Кенту» доверять нельзя. Безрезультатно! Как разведчику из бывшей команды расстрелянного Берзиня, числившегося «врагом народа», доверия ему не было! И в одной из шифровок Макарову — «Кенту» Москва передает поручение для Шульце-Бойзена и Харнака, указав и их явочные адреса. Таким образом, абвером, при помощи самой Москвы, была раскрыта и уничтожена берлинская группа. Чуть позже был схвачен и сам «шеф» «Роте капелле» — Лев (Леопольд) Захарович Треппер. Ему вскоре удалось бежать. Сразу после войны он был доставлен самолетом в Москву и из аэропорта — прямо на Лубянку: за его критику грубейших ошибок «Директории» — разведуправления. Волею судьбы мы с ним и встретились в камере: сам высший «шеф» и один из его случайных бойцов! Только тут я и узнал, по чьему распоряжению, в 1941 году, в Берлин было отправлено несколько «посредников», мы в их числе.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Библиотека журнала «Новый Часовой»

Ответственный редактор А. В. Терещук

Литературно-художественное издание

Александр Михайлович Агафонов (Глянцев)
ЗАПИСКИ БОЙЦА АРМИИ ТЕНЕЙ

Книга выходит в авторской редакции

Зав. редакцией *Г. Чередниченко*

Корректор *М. Унковская*
Художественное оформление *Е. Соловьевой*
Компьютерная верстка *Н. Петрова*

Лицензия ЛР № 040050 от 15.08.96.

Подписано в печать с оригинала-макета 05.11.98.
Ф-т 84x108/32. Печать офсетная. Усл. печ. л. 22,75 + илл. 0,42.
Уч.-изд. л. 24,63 + илл. 0,48. Заказ № 171.

РОПИ Издательства Санкт-Петербургского университета.
199034, С.-Петербург, Университетская наб., 7/9.

Участок оперативной полиграфии СПбГУ.
199061, С.-Петербург, Средний пр., 41.



Александр Михайлович Агафонов (Глянцев), сын белого офицера, в 1927 году в восьми летнем возрасте был вывезен из СССР в Югославию к родителям-эмигрантам. В Белграде окончил школу, учился в университете и офицерском училище. А затем - война, немецкий плен, побег, участие во французском Сопротивлении...



Библиотека журнала «НОВЫЙ ЧАСОВОЙ»